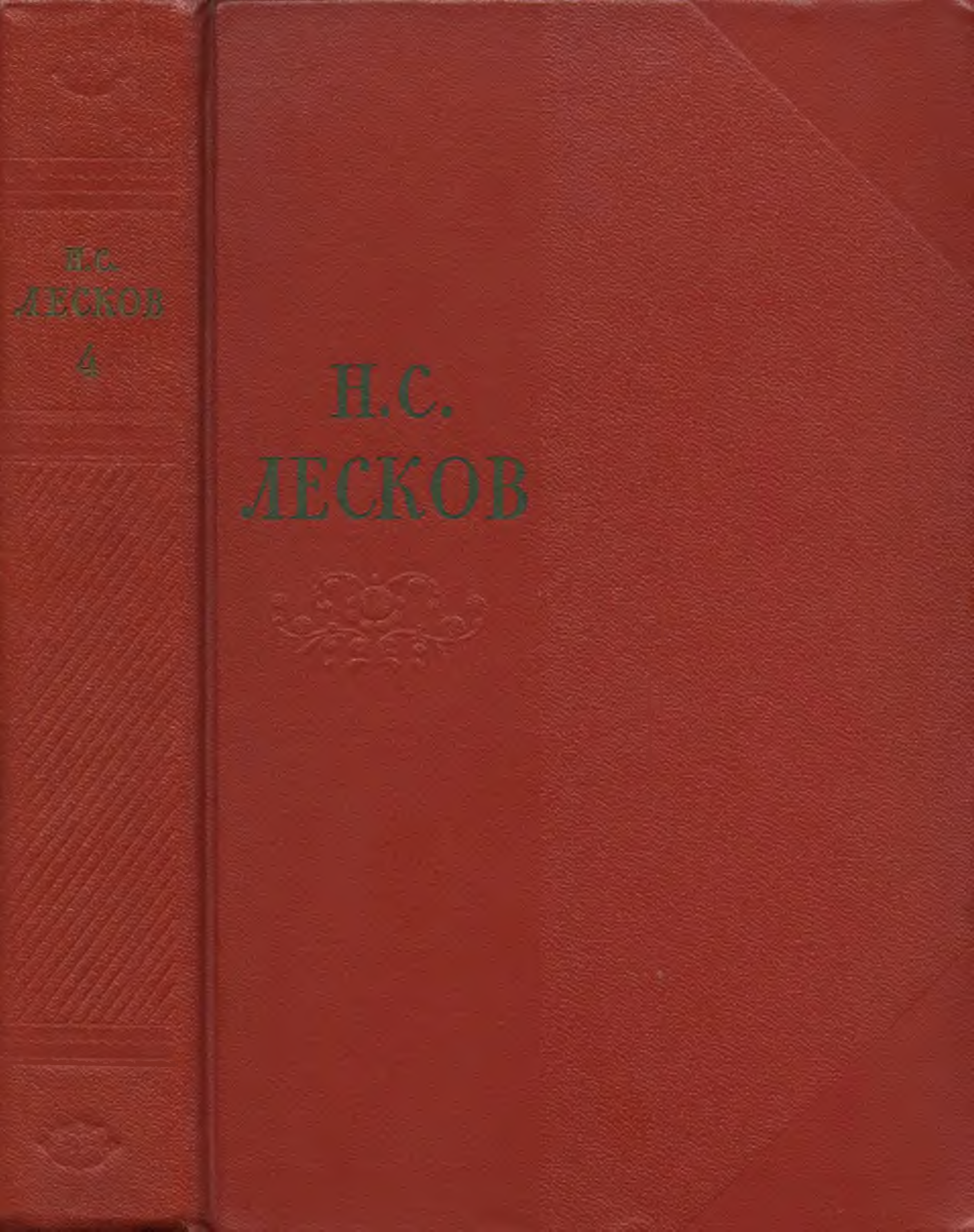

Н.С.
ЛЕСКОВ
4
Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

# Н. С. ЛЕСКОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,
А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,
Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Н. С. ЛЕСКОВ

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



## ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

*Подготовка текста и примечания*
И. З. СЕРМАНА

# СОБОРЯНЕ

ХРОНИКА

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жи́тели старгородской соборной поповки. Это — протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын. Годы ранней молодости этих людей, так же как и пора их детства, нас не касаются. А чтобы видеть перед собою эти лица в той поре, в которой читателю приходится представлять их своему воображению, он должен рисовать себе главу старогородского духовенства, протоиерея Савелия Туберозова, мужем уже пережившим за шестой десяток жизни. Отец Туберозов высок ростом и тучен, но еще очень бодр и подвижен. В таком же состоянии и душевные его силы: при первом на него взгляде видно, что он сохранил весь пыл сердца и всю энергию молодости. Голова его отлично красива: ее даже позволительно считать образцом мужественной красоты. Волосы Туберозова густы, как грива матерого льва, и белы, как кудри Фидиева Зевса. Они художественно поднимаются могучим чубом над его высоким лбом и тремя крупными волнами падают назад, не достигая плеч. В длинной раздвоенной бороде отца протопопа и в его небольших усах, соединяющихся с бородой у углов рта, мелькает еще несколько черных волос, придающих ей вид серебра, отделанного чернью. Брови же отца протопопа совсем черны и круто заломанными

латинскими S ами сдвигаются у основания его довольно большого и довольно толстого носа. Глаза у него коричневые, большие, смелые и ясные. Они всю жизнь свою не теряли способности освещаться присутствием разума; в них же близкие люди видали и блеск радостного восторга, и туманы скорби, и слезы умиления; в них же сверкал порою и огонь негодования, и они бросали искры гнева — гнева не суетного, не сварливого, не мелкого, а гнева большого человека. В эти глаза глядела прямая и честная душа протопопа Савелия, которую он, в своем христианском уповании, верил быти бессмертною.

Захария Бенефактов, второй иерей Старгородского собора, совсем в другом роде. Вся его личность есть воплощенная кротость и смирение. Соответственно тому, сколь мало желает заявлять себя кроткий дух его, столь же мало занимает места и его крошечное тело и как бы старается не отяготить собою землю. Он мал, худ, тщедушен и лыс. Две маленькие букольки серо-желтеньких волосинок у него развеваются только над ушами. Косы у него нет никакой. Последние остатки ее исчезли уже давно, да и то была коса столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный хвостик. Вместо бороды у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки. Ручки у него детские, и он их постоянно скрывает и прячет в кармашки своего подрясника. Ножки у него слабые, тоненькие, что называется соломенные, и сам он весь точно сплетен из соломки. Добрейшие серенькие глазки его смотрят быстро, но поднимаются вверх очень редко и сейчас же ищут места, куда бы им спрятаться от нескромного взора. По летам отец Захария немножко старше отца Туберозова и значительно немощнее его, но и он, так же как и протопоп, привык держаться бодро и при всех посещающих его недугах и немощах сохранил и живую душу и телесную подвижность.

Третий и последний представитель старогородского соборного духовенства, дьякон Ахилла, имел несколько определений, которые будет нелишним здесь привести все, дабы при помощи их могучий Ахилла сколько-нибудь удобнее нарисовался читателю.

Инспектор духовного училища, исключивший Ахиллу Десницына из синтаксического класса за «великовозрастие и малоуспешие», говорил ему:

— Эка ты дубина какая, протяженно сложенная!

Ректор, по особым ходатайствам вновь принявший Ахиллу в класс риторики, удивлялся, глядя на этого слагавшегося богатыря и, изумляясь его величине, силе и бестолковости, говорил:

— Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров.

Регент же архиерейского хора, в который Ахилла Десницын попал по извлечении его из риторики и зачислении на причетническую должность, звал его «непомерным».

— Бас у тебя, — говорил регент, — хороший, точно пушка стреляет; но непомерен ты до страсти, так что чрез эту непомерность я даже не знаю, как с тобой по достоинству обходиться.

Четвертое же и самое веское из характерных определений дьякону Ахилле было сделано самим архиереем, и притом в весьма памятный для Ахиллы день, именно в день изгнания его, Ахиллы, из архиерейского хора и посылки на дьяконство в Старый Город. По этому определению дьякон Ахилла назывался «уязвленным». Здесь будет уместно рассказать, по какому случаю стало ему приличествовать сие последнее название «уязвленного».

Дьякон Ахилла от самых лет юности своей был человек весьма веселый, смешливый и притом безмерно увлекающийся. И мало того, что он не знал меры своим увлечениям в юности: мы увидим, знал ли он им меру и к годам своей приближающейся старости.

Несмотря на всю «непомерность» баса Ахиллы, им все-таки очень дорожили в архиерейском хоре, где он хватал и самого залетного верха́ и забирал под самую низкую октаву. Одно, чем страшен был регенту непомерный Ахилла, это — «увлекательностью». Так он, например, во всенощной никак не мог удержаться, чтобы только трижды пропеть «Свят господь бог наш», а нередко вырывался в увлечении и пел это один-одинешенек четырежды, и особенно никогда не мог вовремя окончить пения многолетий. Но во всех этих случаях, которые уже были известны и которые потому можно было предвидеть, против «увлекательности» Ахиллы благоразумно принима-

лись меры предосторожности, избавлявшие от всяких напастей и самого дьякона и его вокальное начальство: поручалось кому-нибудь из взрослых певчих дергать Ахиллу за полы или осаживать его в благопотребную минуту вниз за плечи. Но недаром сложена пословица, что на всякий час не обережешься. Как ни тщательно и любовно берегли Ахиллу от его увлечений, все-таки его не могли совсем уберечь от них, и он самым разительным образом оправдал на себе то теоретическое положение, что «тому нет спасения, кто в самом себе носит врага». В один большой из двунадесятых праздников Ахилла, исполняя причастный концерт, должен был делать весьма хитрое басовое соло на словах: «и скорбьми уязвлен». Значение, которое этому соло придавал регент и весь хор, внушало Ахилле много забот: он был неспокоен и тщательно обдумывал, как бы ему не ударить себя лицом в грязь и отличиться перед любившим пение преосвященным и перед всею губернскою аристократией, которая соберется в церковь. И зато справедливость требует сказать, что Ахилла изучил это соло великолепно. Дни и ночи он расхаживал то по своей комнате, то по коридору или по двору, то по архиерейскому саду или по загородному выгону, и все распевал на разные тоны: «уязвлен, уязвлен, уязвлен», и в таких беспрестанных упражнениях дождался наконец, что настал и самый день его славы, когда он должен был пропеть свое «уязвлен» пред всем собором. Начался концерт. Боже, как велик и светло сияющ стоит с нотами в руках огромный Ахилла! Его надо было срисовать — пером нельзя его описывать... Вот уже прошли знакомые форшлаги, и подходит место басового соло. Ахилла отодвигает локтем соседа, выбивает себе в молчании такт своего соло «уязвлен» и, дождавшись своего темпа, видит поднимающуюся с камертоном регентскую руку... Ахилла позабыл весь мир и себя самого и удивительнейшим образом, как труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашает: «И скорбьми уязвлен, уязвлен, у-й-я-з-в-л-е-н, у-й-я-з-в-л-е-н, уязвлен». Силой останавливают Ахиллу от непредусмотренных излишних повторений, и концерт кончен. Но не кончен он был в «увлекательной» голове Ахиллы, и среди тихих приветствий, приносимых владыке подходящею к его благословению аристократией, словно

трубный глас с неба с клироса снова упал вдруг: «Уязвлен, уй-яз-влен, уй-я-з-в-л-е-н». Это поет ничего не понимающий в своем увлечении Ахилла; его дергают — он поет; его осаживают вниз, стараясь скрыть за спинами товарищей, — он поет: «уязвлен»; его, наконец, выводят вон из церкви, но он все-таки поет: «у-я-з-в-л-е-н».

— Что тебе такое? — спрашивают его с участием сердобольные люди.

— «Уязвлен», — воспевает, глядя всем им в глаза, Ахилла и так и остается у дверей притвора, пока струя свежего воздуха не отрезвила его экзальтацию.

В сравнении с протоиереем Туберозовым и отцом Бенефактовым Ахилла Десницын может назваться человеком молодым, но и ему уже далеко за сорок, и по смоляным черным кудрям его пробежала сильная проседь. Роста Ахилла огромного, силы страшной, в манерах угловат и резок, но при всем этом весьма приятен; тип лица имеет южный и говорит, что происходит из малороссийских казаков, от коих он и в самом деле как будто унаследовал беспечность и храбрость и многие другие казачьи добродетели.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Жили все эти герои старомодного покроя на старгородской поповке, над тихою судоходною рекой Турицей. У каждого из них, как у Туберозова, так и у Захарии и даже у дьякона Ахиллы, были свои домики на самом берегу, как раз насупротив высившегося за рекой старинного пятиглавого собора с высокими куполами. Но как разнохарактерны были сами эти обыватели, так различны были и их жилища. У отца Савелия домик был очень красивый, выкрашенный светло-голубою масляною краской, с разноцветными звездочками, квадратиками и репейками, прибитыми над каждым из трех его окон. Окна эти обрамливались еще резными, ярко же раскрашенными наличниками и зелеными ставнями, которые никогда не закрывались, потому что зимой крепкий домик не боялся холода, а отец протопоп любил свет, любил звезду, заглядывавшую ночью с неба в его комнату,

любил лунный луч, полосой глазета ложившийся на его разделанный под паркет пол.

В домике у отца протопопа всякая чистота и всякий порядок, потому что ни сорить, ни пачкать, ни нарушать порядок у него некому. Он бездетен, и это составляет одну из непреходящих скорбей его и его протопопицы.

У отца Захарии Бенефактова домик гораздо больше, чем у отца Туберозова; но в бенефактовском домике нет того щегольства и кокетства, каким блещет жилище протоиерея. Пятиоконный, немного покосившийся серый дом отца Захарии похож скорее на большой птичник, и к довершению сходства его с этим заведением во все маленькие переплеты его зеленых окон постоянно толкутся различные носы и хохлики, друг друга оттирающие и друг друга преследующие. Это все потомство отца Захарии, которого бог благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль. У отца Захарии далеко не было ни зеркальной чистоты протопопского дома, ни его строгого порядка: на всем здесь лежали следы детских запачканных лапок; изо всякого угла торчала детская головенка; и все это шевелилось детьми, все здесь и пищало и пело о детях, начиная с запечных сверчков и оканчивая матерью, убаюкивавшею свое потомство песенкой:

Дети мои, дети!
Куда мне вас дети?
Где вас положити?

Дьякон Ахилла был вдов и бездетен и не радел ни о стяжаниях, ни о домостройстве. У него на самом краю Заречья была мазаная малороссийская хата, но при этой хате не было ни служб, ни заборов, словом, ничего, кроме небольшой жердяной карды, в которой по колено в соломе бродили то пегий жеребец, то буланый мерин, то вороная кобылица. Убранство в доме Ахиллы тоже было чисто казацкое: в лучшей половине этого помещения, назначавшейся для самого хозяина, стоял деревянный диван с решетчатою спинкой; этот диванчик заменял Ахилле и кровать, и потому он был застлан белою казацкою кошмой, а в изголовье лежал чеканенный азиатский седельный орчак, к которому была прислонена маленькая блинообразная подушка в просаленной китайчатой наволочке. Пред этим казачьим ложем стоял белый липовый

стол, а на стене висели бесструнная гитара, пеньковый укрючный аркан, нагайка и две вязанные пукольками уздечки. В уголку на небольшой полочке стоял крошечный образок успения богородицы с водруженною за ним засохшею вербочкой и маленький киевский молитвословик. Более решительно ничего не было в жилище дьякона Ахиллы. Рядом же, в небольшой приспешной, жила у него отставная старая горничная помещичьего дома, Надежда Степановна, называемая Эсперансою.

Это была особа старенькая, маленькая, желтенькая, вострорылая, сморщенная, с характером самым неуживчивым и до того несносным, что, несмотря на свои золотые руки, она не находила себе места нигде и попала в слуги бездомовного Ахиллы, которому она могла сколько ей угодно трещать и чекотать, ибо он не замечал ни этого треска, ни чекота и самое крайнее раздражение своей старой служанки в решительные минуты прекращал только громовым: «Эсперанса, провались!» После таких слов Эсперанса обыкновенно исчезала, ибо знала, что иначе Ахилла схватит ее на руки, посадит на крышу своей хаты и оставит там, не снимая, от зари до зари. В виду этого страшного наказания Эсперанса боялась противоречить своему казаку-господину.

Все эти люди жили такою жизнью и в то же время все более или менее несли тяготы друг друга и друг другу восполняли не богатую разнообразием жизнь. Отец Савелий главенствовал над всем положением; его маленькая протопопица чтила его и не слыхала в нем души. Отец Захария также был счастлив в своем птичнике. Не жаловался ни на что и дьякон Ахилла, проводивший все дни свои в беседах и в гулянье по городу, или в выезде и в мене своих коней, или, наконец, порой в дразнении и в укрощении своей «услужающей Эсперансы».

Савелий, Захария и Ахилла были друзья, но было бы, конечно, большою несправедливостью полагать, что они не делали усилий разнообразить жизнь сценами легкой вражды и недоразумений, благодетельно будящими человеческие натуры, усыпляемые бездействием уездной жизни. Нет, бывало нечто такое и здесь, и ожидающие нас страницы туберозовского дневника откроют нам многие мелочи, которые вовсе не казались мелочами для тех, кто их чувствовал, кто с ними боролся и переносил их. Бывали

и у них недоразумения. Так, например, однажды помещик и местный предводитель дворянства, Алексей Никитич Плодомасов, возвратясь из Петербурга, привез оттуда лицам любимого им соборного духовенства разные более или менее ценные подарки и между прочим три трости: две с совершенно одинаковыми набалдашниками из червонного золота для священников, то есть одну для отца Туберозова, другую для отца Захарии, а третью с красивым набалдашником из серебра с чернью для дьякона Ахиллы. Трости эти пали между старгородским духовенством как библейские змеи, которых кинули пред фараона египетские кудесники.

— Сим подарением тростей на нас наведено сомнение, — рассказывал дьякон Ахилла.

— Да в чем же вы тут, отец дьякон, видите сомнение? — спрашивали его те, кому он жаловался.

— Ах, да ведь вот вы, светские, ничего в этом не понимаете, так и не утверждайте, что нет сомнения, — отвечал дьякон, — нет-с! тут большое сомнение!

И дьякон пускался разъяснять это специальное горе.

— Во-первых, — говорил он, — мне, как дьякону, по сану моему такого посоха носить не дозволено и неприлично, потому что я не пастырь, — это раз. Повторительно, я его теперь, этот посох, ношу, потому что он мне подарен, — это два. А в-третьих, во всем этом сомнительная одностойность: что отцу Савелью, что Захарии одно и то же, одинаковые посошки. Зачем же так сравнять их?.. Ах, помилуйте же вы, зачем?.. Отец Савелий... вы сами знаете... отец Савелий... он умница, философ, министр юстиции, а теперь, я вижу, и он ничего не может сообразить и смущен, и даже страшно смущен.

— Да чем же он тут может быть смущен, отец дьякон?

— А тем смущен, что, во-первых, от этой совершенной одностойности происходит смешанность. Как вы это располагаете, как отличить, чья эта трость? Извольте теперь их разбирать, которая отца протопопа, которая Захариина, когда они обе одинаковы? Но, положим, на этот бы счет для разборки можно какую-нибудь заметочку положить — или сургучом под головкой прикапнуть, или сделать ножом на дереве нарезочку; но что же вы поделаете с ними в рассуждении политики? Как теперь у одной из них против другой цену или достоинство ее отнять,

когда они обе одностойны? Помилуйте вы меня, ведь это невозможно, чтоб и отец протопоп и отец Захария были одностойны. Это же не порядок-с! И отец протопоп это чувствует, и я это вижу-с и говорю: «Отец протопоп, больше ничего в этом случае нельзя сделать, как, позвольте, я на отца Захариину трость сургучную метку положу или нарезку сделаю». А он говорит: «Не надо! Не смей, и не надо!» Как же не надо? «Ну, говорю, благословите: я потаенно от самого отца Захарии его трость супротив вашей ножом слегка на вершок урежу, так что отец Захария этого сокращения и знать не будет», но он опять: «Глуп, говорит, ты!..» Ну, глуп и глуп, не впервой мне это от него слышать, я от него этим не обижаюсь, потому он заслуживает, чтоб от него снесть, а я все-таки вижу, что он всем этим недоволен, и мне от этого пребеспокойно... И вот скажите же вы, что я трижды глуп, — восклицал дьякон, — да-с, позволяю вам, скажите, что я глуп, если он, отец Савелий, не сполитикует. Это уж я наверно знаю, что мне он на то не позволяет, а сам сполитикует.

И дьякон Ахилла, по-видимому, не ошибся. Не прошло и месяца со времени вручения старгородскому соборному духовенству упомянутых наводящих сомнение посохов, как отец протопоп Савелий вдруг стал собираться в губернский город. Не было надобности придавать какое-нибудь особенное значение этой поездке отца Туберозова, потому что протоиерей, в качестве благочинного, частенько езжал в консисторию. Никто и не толковал о том, зачем протопоп едет. Но вот отец Туберозов, уже усевшись в кибитку, вдруг обратился к провожавшему его отцу Захарии и сказал:

— А послушай-ка, отче, где твоя трость? Дай-ка ты мне ее, я ее свезу в город.

Одно это обращение с этим словом, сказанным как будто невзначай, вдруг как бы озарило умы всех провожавших со двора отъезжавшего отца Савелия.

Дьякон Ахилла первый сейчас же крякнул и шепнул на ухо отцу Бенефактову:

— А что-с! Я вам говорил: вот и политика!

— Для чего ж мою трость везти в город, отец протопоп? — вопросил смиренно моргающий своими глазами отец Захария, отстраняя дьякона.

— Для чего? А вот я там, может быть, покажу, как нас с тобой люди уважают и помнят, — отвечал Туберозов.

— Алеша, беги, принеси посошок, — послал домой сынишку отец Захария.

— Так вы, может быть, отец протопоп, и мою трость тоже свозите показать? — вопросил, сколь умел мягче, Ахилла.

— Нет, ты свою пред собою содержи, — отвечал Савелий.

— Что ж, отец протопоп, «пред собою»? И я же ведь точно так же... тоже ведь и я предводительского внимания удостоился, — отвечал, слегка обижаясь, дьякон; но отец протопоп не почтил его претензии никаким ответом и, положив рядом с собою поданную ему в это время трость отца Захарии, поехал.

Туберозов ехал, ехали с ним и обе наделавшие смущения трости, а дьякон Ахилла, оставаясь дома, томился разрешением себе загадки: зачем Туберозов отобрал трость у Захарии?

— Ну что тебе? Что тебе до этого? что тебе? — останавливал Захария мятущегося любопытством дьякона.

— Отец Захария, я вам говорю, что он сполитикует.

— Ну а если и сполитикует, а тебе что до этого? Ну и пусть его сполитикует.

— Да я нестерпимо любопытен предвидеть, в чем сие будет заключаться. Урезать он мне вашу трость не хотел позволить, сказал: глупость; метки я ему советовал положить, он тоже и это отвергнул. Одно, что я предвижу...

— Ну, ну... ну что ты, болтун, предвидеть можешь?

— Одно, что... он непременно драгоценный камень вставит.

— Да! ну... ну куда же, куда он драгоценный камень вставит?

— В рукоять.

— Да в свою или в мою?

— В свою, разумеется, в свою. Драгоценный камень, ведь это драгоценность.

— Да ну, а мою же трость он тогда зачем взял? В свою камень вставлять будет, а моя ему на что?

Дьякон ударил себя рукой по лбу и воскликнул:

— Одурачился!

— Надеюсь, надеюсь, что одурачился, — утверждал отец Захария, добавив с тихою укоризной: — а еще ведь ты, братец мой, логике обучался; стыдно!

— Что же за стыд, когда я ей обучался, да не мог понять! Это со всяким может случиться, — отвечал дьякон и, не высказывая уже более никаких догадок, продолжал тайно сгорать любопытством — что будет?

Прошла неделя, и отец протопоп возвратился. Ахилла-дьякон, объезжавший в это время вымененного им степного коня, первый заметил приближение к городу протоиерейской черной кибитки и летел по всем улицам, останавливаясь пред открытыми окнами знакомых домов, крича: «Едет! Савелий! едет наш поп велий!» Ахиллу вдруг осенило новое соображение.

— Теперь знаю, что такое! — говорил он окружающим, спешиваясь у протопоповских ворот. — Все эти размышления мои до сих пор предварительные были не больше как одною глупостью моею; а теперь я наверное вам скажу, что отец протопоп кроме ничего как просто велел вытравить литеры греческие, а не то так латинские. Так, так, не иначе как так; это верно, что литеры вытравил, и если я теперь не отгадал, то сто раз меня дураком после этого назовите.

— Погоди, погоди, и назовем, и назовем, — частил в ответ ему отец Захария, в виду остановившейся у ворот протопоповской кибитки.

Отец протопоп вылез из кибитки важный, солидный; вошел в дом, помолился, повидался с женой, поцеловал ее при этом три раза в уста, потом поздоровался с отцом Захарией, с которым они поцеловали друг друга в плечи, и, наконец, и с дьяконом Ахиллой, причем дьякон Ахилла поцеловал у отца протопопа руку, а отец протопоп приложил свои уста к его темени. После этого свидания началось чаепитие, разговоры, рассказы губернских новостей, и вечер уступил место ночи, а отец протопоп и не заикнулся об интересующих всех посохах. День, другой и третий прошел, а отец Туберозов и не заговаривает об этом деле, словно свез он посохи в губернию да там их оба по реке спустил, чтоб и речи о них не было.

— Вы же хоть полюбопытствуйте! спросите! — беспрестанно зудил во все дни отцу Захарию нетерпеливый дьякон Ахилла.

— Что я буду его спрашивать? — отвечал отец Захария. — Нешто я ему не верю, что ли, что стану отчет требовать, куда дел?

— Да все-таки ради любознательности спросить должно.

— Ну и спроси, зуда, сам, если хочешь ради любознательности.

— Нет, вы, ей-богу, со страху его не спрашиваете.

— С какого это страху?

— Да просто боитесь; а я бы, ей-богу, спросил. Да и чего тут бояться-то? спросите просто: а как же, мол, отец протопоп, будет насчет наших тростей? Вот только всего и страху.

— Ну, так вот ты и спроси.

— Да мне нельзя.

— А почему нельзя?

— Он меня может оконфузить.

— А меня разве не может?

Дьякон просто сгорал от любопытства и не знал, что бы такое выдумать, чтобы завести разговор о тростях; но вот, к его радости, дело разрешилось, и само собою. На пятый или на шестой день по возвращении своем домой отец Савелий, отслужив позднюю обедню, позвал к себе на чай и городничего, и смотрителя училищ, и лекаря, и отца Захарию с дьяконом Ахиллой и начал опять рассказывать, что он слышал и что видел в губернском городе. Прежде всего отец протопоп довольно пространно говорил о новых постройках, потом о губернаторе, которого осуждал за неуважение ко владыке и за постройку водопроводов, или, как отец протопоп выражался: «акведуков».

— Акведуки эти, — говорил отец протопоп, — будут ни к чему, потому город малый, и притом тремя реками пересекается; но магазины, которые всё вновь открываются, нечто весьма изящное начали представлять. Да вот я вам сейчас покажу, что касается нынешнего там искусства...

И с этими словами отец протопоп вышел в боковую комнату и через минуту возвратился оттуда, держа в каждой руке по известной всем трости.

— Вот видите, — сказал он, поднося к глазам гостей верхние площади золотых набалдашников.

Ахилла-дьякон так и воззрился, что такое сделано политиканом Савелием для различения одностойных тростей; но увы! ничего такого резкого для их различия не было заметно. Напротив, одностойность их даже как будто еще увеличилась, потому что посредине набалдашника той и другой трости было совершенно одинаково вырезано окруженное сиянием всевидящее око; а вокруг ока краткая, в виде узорчатой каймы, вязная надпись.

— А литер, отец протопоп, нет? — заметил, не утерпев, Ахилла.

— К чему здесь тебе литеры нужны? — отвечал, не глядя на него, Туберозов.

— А для отличения их одностойности?

— Все ты всегда со вздором лезешь, — заметил отец протопоп дьякону и при этом, приставив одну трость к своей груди, сказал: — вот эта будет моя.

Ахилла-дьякон быстро глянул на набалдашник и прочел около всевидящего ока: «Жезл Ааронов расцвел».

— А вот это, отец Захария, будет тебе, — докончил протопоп, подавая другую трость Захарии.

На этой вокруг такого же точно всевидящего ока такою же точно древлеславянской вязью было вырезано: «Даде в руку его посох».

Ахилла как только прочел эту вторую подпись, так пал за спину отца Захарии и, уткнув голову в живот лекаря, заколотился и задергался в припадках неукротимого смеха.

— Ну что, зуда, что, что? — частил, обернувшись к нему, отец Захария, между тем как прочие гости еще рассматривали затейливую работу резчика на иерейских посохах. — Литеры? А? литеры, баран ты этакой кучерявый? Где же здесь литеры?

Но дьякон не только нимало не сконфузился, но опять порскнул и закатился со смеху.

— Чего смеешься? чего помираешь?

— Это кто ж баран-то выходит теперь? — вопросил, едва выговаривая слова, дьякон.

— Да ты же, ты. Кто же еще баран?

Ахилла опять залился, замотал руками и, изловив отца Захарию за плечи, почти сел на него медведем и театральным шепотом забубнил:

— А вы, отец Захария, как вы много логике учились, так вы вот это прочитайте: «Даде в руку его посох». Нуте-ка, решите по логике: чему такая надпись соответствует!

— Чему? Ну говори, чему?

— Чему-с? А она тому соответствует, — заговорил протяжнее дьякон, — что дали мол, дескать, ему линейкой палю в руку.

— Врешь.

— Вру! А отчего же вон у него «жезл расцвел»? А небось ничего про то, что в руку дано, не обозначено? Почему? Потому что это сделано для превозвышения, а вам это для унижения черкнуто, что, мол, дана палка в лапу.

Отец Захария хотел возразить, но и вправду слегка смутился. Дьякон торжествовал, наведя это смущение на тихого отца Бенефактова; но торжество Ахиллы было непродолжительно.

Не успел он оглянуться, как увидел, что отец протопоп пристально смотрел на него в оба глаза и чуть только заметил, что дьякон уже достаточно сконфузился, как обратился к гостям и самым спокойным голосом начал:

— Надписи эти, которые вы видите, я не сам выдумал, а это мне консисторский секретарь Афанасий Иванович присоветовал. Случилось нам, гуляя с ним пред вечером, зайти вместе к золотарю; он, Афанасий Иванович, и говорит: вот, говорит, отец протопоп, какая мне пришла мысль, надписи вам на тростях подобают, вот вам этакую: «Жезл Ааронов», а отцу Захарии вот этакую очень пристойно, какая теперь значится. А тебе, отец дьякон... я и о твоей трости, как ты меня просил, думал сказать, но нашел, что лучше всего, чтобы ты с нею вовсе ходить не смел, потому что это твоему сану не принадлежит...

При этом отец протопоп спокойно подошел к углу, где стояла знаменитая трость Ахиллы, взял ее и запер ключом в свой гардеробный шкаф.

Такова была величайшая из распрей на старогородской поповке.

— Отсюда, — говорил дьякон, — было все начало болезням моим. Потому что я тогда не стерпел и озлобился, а отец протопоп Савелий начал своею политикой еще более уничтожать меня и довел даже до ярости. Я свирепел,

а он меня, как медведя на рогатину, сажал на эту политику, пока я даже осатаневать стал.

Это был образчик мелочности, обнаруженной на старости лет протопопом Савелием, и легкомысленности дьякона, навлекшего на себя гнев Туберозова; но как Москва, говорят, от копеечной свечи сгорела, так и на старогородской поповке вслед за этим началась целая история, выдвинувшая наружу разные недостатки и превосходства характеров Савелия и Ахиллы.

Дьякон лучше всех знал эту историю, но рассказывал ее лишь в минуты крайнего своего волнения, в часы расстройства, раскаяний и беспокойств, и потому когда говорил о ней, то говорил нередко со слезами на глазах, с судорогами в голосе и даже нередко с рыданиями.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Мне, — говорил сквозь слезы взволнованный Ахилла,— мне по-настоящему, разумеется, чтó бы тогда следовало сделать? Мне следовало пасть к ногам отца протопопа и сказать, что так и так, что я это, отец протопоп, не по злобе, не по ехидству сказал, а единственно лишь чтобы только доказать отцу Захарии, что я хоть и без логики, но ничем его не глупей. Но гордыня меня обуяла и удержала. Досадно мне стало, что он мою трость в шкаф запер, а потом после того учитель Варнавка Препотенский еще подоспел и подгадил... Ах, я вам говорю, что уже сколько я на самого себя зол, но на учителя Варнавку вдвое! Ну, да и не я же буду, если я умру без того, что я этого просвирниного сына учителя Варнавку не взвошу!

— Опять и этого ты не смеешь, — останавливал Ахиллу отец Захария.

— Отчего же это не смею? За безбожие-то да не смею? Ну, уж это извините-с!

— Не смеешь, хоть и за безбожие, а все-таки драться не смеешь, потому что Варнава был просвирнин сын, а теперь он чиновник, он учитель.

— Так чтó, что учитель? Да я за безбожие кого вам угодно возделаю. Это-с, батюшка, закон, а не что-нибудь.

Да-с, это очень просто кончается: замотал покрепче руку ему в аксиосы, потряс хорошенько, да и выпустил, и ступай, мол, жалуйся, что бит духовным лицом за безбожие... Никуда не пойдет-с! Но боже мой, боже мой! как я только вспомню да подумаю — и что это тогда со мною поделалось, что я его, этакого негодивца Варнавку, слушал и что даже до сего дня я еще с ним как должно не расправился! Ей, право, не знаю, откуда такая слабость у меня? Ведь вон тогда Сергея-дьячка за рассуждение о громе я сейчас же прибил; комиссара Данилку мещанина за едение яиц на улице в прошедший великий пост я опять тоже неупустительно и всенародно весьма прилично по ухам оттрепал, а вот этому просвирнину сыну все до сих пор спускаю, тогда как я этим Варнавкой более всех и уязвлен! Не будь его, сей распри бы не разыграться. Отец протопоп гневались бы на меня за разговор с отцом Захарией, но все бы это не было долговременно; а этот просвирнин сын Варнавка, как вы его нынче сами видеть можете, учитель математики в уездном училище, мне тогда, озлобленному и уязвленному, как подтолдыкнул: «Да это, говорит, надпись туберозовская еще, кроме того, и глупа». Я, знаете, будучи уязвлен, страх как жаждал, чем бы и самому отца Савелия уязвить, и спрашиваю: чем же глупа? А Варнавка говорит: «Тем и глупа, что еще самый факт-то, о котором она гласит, недостоверен; да и не только недостоверен, а и невероятен. Кто это, говорит, засвидетельствовал, что жезл Ааронов расцвел? Сухое дерево разве может расцвесть?» Я было его на этом даже остановил и говорю: «Пожалуйста, ты этого, Варнава Васильич, не говори, потому что бог иде же хощет, побеждается естества чин»; но при этом, как вся эта наша рацея у акцизничихи у Бизюкиной происходила, а там всё это разные возлияния да вино все хорошее: все го-го, госотерн да го-марго, я... прах меня возьми, и надрызгался. Я, изволите понимать, в винном угаре, а Варнавка мне, знаете, тут мне по-своему, по-ученому торочит, что «тогда ведь, говорит, вон и *мани факел фарес* было на пиру Вальтасаровом написано, а теперь, говорит, ведь это вздор; я вам могу это самое сейчас фосфорною спичкой написать». Ужасаюсь я; а он все дальше да больше: «Да там и во всем, говорит, бездна противоречий...» И пошел, знаете, и пошел, и все опровергает; а я все это сижу да

слушаю. А тут опять еще эти го-марго, да уж и достаточно даже сделался уязвлен и сам заговорил в вольнодумном штиле. «Я, говорю, я, если бы только не видел отца Савелиевой прямоты, потому как знаю, что он прямо алтарю предстоит и жертва его прямо идет, как жертва Авелева, то я только Каином быть не хочу, а то бы я его...» Это, понимаете, на отца Савелия-то! И к чему-с это; к чему это я там в ту пору о нем заговорил? Ведь не глупец ли? Ну, а она, эта Данка Нефалимка, Бизюкина-то, говорит: «Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? что такое, говорит, ваш Авель? Он больше ничего как маленький барашек, он низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каин гордый деятель — он не помирится с жизнию подневольною. Вот, говорит, как его английский писатель Бирон изображает...» Да и пошла-с мне расписывать! Ну, а тут все эти го-ма-го меня тоже наспиртуозили, и вот вдруг чувствую, что хочу я быть Каином, да и шабаш. Вышел я оттуда домой, дошел до отца протопопова дома, стал пред его окнами и вдруг подперся по-офицерски в боки руками и закричал: «Я царь, я раб, я червь, я бог!» Боже, боже: как страшно вспомнить, сколь я был бесстыж и сколь же я был за то в ту ж пору постыжен и уязвлен! Отец протопоп, услыхав мое козлогласие, вскочили с постели, подошли в сорочке к окну и, распахнув раму, гневным голосом крикнули: «Ступай спать, Каин неистовый!» Верите ли: я даже затрепетал весь от этого слова, что я «Каин», потому, представьте себе, что я только собирался в Каины, а он уже это провидел. Ах, боже! Я отошел к дому своему, сам следов своих не разумеючи, и вся моя стропотность тут же пропала, и с тех пор и доныне я то́лько скорблю и стенаю.

Повторив этот рассказ, дьякон обыкновенно задумывался, поникал головой и через минуту, вздохнув, продолжал мягким и грустным тоном:

— Но вот-с дние бегут и текут, а гнев отца протопопа не проходит и до сего дня. Я приходил и винился; во всем винился и каялся, говорил: «Простите, как бог грешников прощает», но на все один ответ: «Иди». Куда? я спрашиваю, куда я пойду? Почтмейстерша Тимониха мне все советует: «В полк, говорит, отец дьякон, идите, вас полковые любить будут». Знаю я это, что полковые очень могут

меня любить, потому что я и сам почти воин; но что из меня в полку воспоследует, вы это обсудите? Ведь я там с ними в полку уж и действительно Каином сделаюсь... Ведь это, ведь я знаю, что все-таки один *он*, один отец Савелий еще меня и содержит в субординации, — а он... а он...

При этих словах у дьякона закипали в груди слезы, и он, всхлипывая, заканчивал:

— А он вот какую низкую штуку со мною придумал: чтобы молчать! Что я ни заговорю, он все молчит... За что же ты молчишь? — восклицал дьякон, вдруг совсем начиная плакать и обращаясь с поднятыми руками в ту сторону, где полагал быть дому отца протопопа. — Хорошо, ты думаешь, это так делать, а? Хорошо это, что я по дьяконству моему подхожу и говорю: «благослови, отче?» и, руку его целуя, чувствую, что даже рука его холодна для меня! Это хорошо? На троицын день пред великою молитвой я, слезами обливаясь, прошу: «благослови...» А у него и тут умиления нет. «Буди благословен», говорит. Да что мне эта форменность, когда все это без ласковости!

Дьякон ожидал утешения и поддержки.

— Заслужи, — замечает ему отец Захария, — заслужи хорошенько, он тогда и с лаской простит.

— Да чем же я, отец Захария, заслужу?

— Примерным поведением заслужи.

— Да каким же примерным поведением, когда он совсем меня не замечает? Мне, ты, батя, думаешь, легко, как я вижу, что он скорбит, вижу, что он нынче в столь частой задумчивости. «Боже мой! — говорю я себе, — чего он в таком изумлении? Может быть, это он и обо мне...» Потому что ведь там, как он на меня ни сердись, а ведь он все это притворствует: он меня любит...

Дьякон оборачивался в другую сторону и, стуча кулаком по ладони, выговаривал:

— Ну, просвирнин сын, тебе это так не пройдет! Будь я взаправду тогда Каин, а не дьякон, если только я этого учителя Варнавку публично не исковеркаю!

Из одной этой угрозы читатели могут видеть, что некоему упоминаемому здесь учителю Варнаве Препотенскому со стороны Ахиллы-дьякона угрожала какая-то самая решительная опасность, и опасность эта станови-

лась тем грознее и ближе, чем чаще и тягостнее Ахилла начинал чувствовать томление по своем потерянном рае, по утраченном благорасположении отца Савелия. И вот, наконец, ударил час, с которого должны были начаться кара Варнавы Препотенского рукой Ахиллы и совершенно совпадавшее с сим событием начало великой старогородской драмы, составляющей предмет нашей хроники.

Чтобы ввести читателя в уразумение этой драмы, мы оставим пока в стороне все тропы и дороги, по которым Ахилла, как американский следопыт, будет выслеживать своего врага, учителя Варнавку, и погрузимся в глубины внутреннего мира самого драматического лица нашей повести — уйдем в мир неведомый и незримый для всех, кто посмотрит на это лицо и близко и издали. Проникнем в чистенький домик отца Туберозова. Может быть, стоя внутри этого дома, найдем средство заглянуть внутрь души его хозяина, как смотрят в стеклянный улей, где пчела строит свой дивный сот, с воском на освещение лица божия, с медом на усладу человека. Но будем осторожны и деликатны: наденем легкие сандалии, чтобы шаги ног наших не встревожили задумчивого и грустного протопопа; положим сказочную шапку-невидимку себе на голову, дабы любопытный зрак наш не смущал серьезного взгляда чинного старца, и станем иметь уши наши отверзтыми ко всему, что от него услышим.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Над Старгородом летний вечер. Солнце давно село. Нагорная сторона, где возвышается острый купол собора, озаряется бледными блесками луны, а тихое Заречье утонуло в теплой мгле. По пловучему мосту, соединяющему обе стороны города, изредка проходят одинокие фигуры. Они идут спешно: ночь в тихом городке рано собирает всех в гнезда свои и на пепелища свои. Прокатила почтовая телега, звеня колокольчиком и перебирая, как клавиши, мостовины, и опять все замерло. Из далеких лесов доносится благотворная свежесть. На острове, который образуют рукава Турицы и на котором синеет бакша кривоносого чудака, престарелого недоучки духовного

звания, некоего Константина Пизонского, называемого от всех «дядей Котином», раздаются клики:

— Молвоша! где ты, Молвоша!

Это старик зовет резвого мальчишку, своего приемыша, и клики эти так слышны в доме протопопа, как будто они раздаются над самым ухом сидящей у окна протопопицы. Вот оттуда же, с той же бакши, несется детский хохот, слышится плеск воды, потом топот босых ребячьих ног по мостовинам, звонкий лай игривой собаки, и все это кажется так близко, что мать протопопица, продолжавшая все это время сидеть у окна, вскочила и выставила вперед руки. Ей показалось, что бегущее и хохочущее дитя сейчас же упадет к ней на колени. Но, оглянувшись вокруг, протопопица заметила, что это обман, и, отойдя от окна в глубину комнаты, зажгла на комоде свечу и кликнула небольшую, лет двенадцати, девочку и спросила ее:

— Ты, Фёклинька, не знаешь ли, где наш отец протопоп?

— Он, матушка, у исправника в шашки играет.

— А, у исправника. Ну бог с ним, когда у исправника. Давай мы ему, Фёклушка, постель постелем, пока он воротится.

Фёклинька принесла из соседней комнаты в залу две подушки, простыню и стеганое желтое шерстяное одеяло; а мать протопопица внесла белый пикейный шлафрок и большой пунцовый фуляр. Постель была постлана отцу протопопу на большом, довольно твердом диване из карельской березы. Изголовье было открыто; белый шлафрок раскинут по креслу, которое поставлено в ногах постели; на шлафрок положен пунцовый фуляр. Когда эта часть была устроена, мать протопопица вдвоем с Фёклинькой придвинули к головам постели отца Савелия тяжелый, из карельской же березы, овальный стол на массивной тумбе, поставили на этот стол свечу, стакан воды, блюдце с толченым сахаром и колокольчик. Все эти приготовления и тщательность, с которою они исполнялись, свидетельствовали о великом внимании протопопицы ко всем привычкам мужа. Только устроив все как следовало, по обычаю, она успокоилась, и снова погасила свечу, и села одиноко к окошечку ожидать протопопа. Глядя на нее, можно было видеть, что она ожидает его неспокойно;

этому и была причина: давно невеселый Туберозов нынче особенно хандрил целый день, и это тревожило его добрую подругу. К тому же он и устал: он ездил нынче на поля пригородных слобожан и служил там молебен по случаю стоящей засухи. После обеда он немножко вздремнул и пошел пройтись, но, как оказалось, зашел к исправнику, и теперь его еще нет. Ждет его маленькая протопопица еще полчаса и еще час, а его все нет. Тишина ненарушимая. Но вот с нагорья послышалось чье-то довольно приятное пение. Мать протопопица прислушивается. Это поет дьякон Ахилла; она хорошо узнает его голос. Он сходит с Батавиной горы и распевает:

Ночною темнотою
Покрылись небеса;
Все люди для покою
Сомкнули очеса.

Дьякон спустился с горы и, идучи по мосту, продолжает:

Внезапно постучался
Мне в двери Купидон;
Приятный перервался
В начале самом сон.

Протопопица слушает с удовольствием пение Ахиллы, потому что она любит и его самого за то, что он любит ее мужа, и любит его пение. Она замечталась и не слышит, как дьякон взошел на берег, и все приближается и приближается, и, наконец, под самым ее окошечком вдруг хватил с декламацией:

Кто там стучится смело?
Сквозь двери я спросил.

Мечтавшая протопопица тихо вскрикнула: «Ах!» и отскочила в глубь покоя.

Дьякон, услыхав это восклицание, перестал петь и остановился.

— А вы, Наталья Николаевна, еще не започивали? — отнесся он к протопопице и с этими словами, схватясь руками за подоконник, вспрыгнул на карнизец и воскликнул:

— А у нас мир!

— Что? — переспросила протопопица.

— Мир, — повторил дьякон, — мир.

Ахилла повел по воздуху рукой и добавил:

— Отец протопоп... конец...

— Что ты говоришь, какой конец? — запытала вдруг встревоженная этим словом протопопица.

— Конец... со мною всему конец... Отныне мир и благоволение. Ныне которое число? Ныне четвертое июня; вы так и запишите: *«Четвертого июня мир и благоволение»,* потому что мир всем и Варнавке учителю шабаш.

— Ты это что-то... вином от тебя не пахнет, а врешь.

— Вру! А вот вы скоро увидите, как я вру. Сегодня четвертое июня, сегодня преподобного Мефодия Песношского, вот вы это себе так и запишите, что от этого дня у нас распочнется.

Дьякон еще приподнялся на локти и, втиснувшись в комнату по самый по пояс, зашептал:

— Вы ведь небось не знаете, что́ учитель Варнавка сделал?

— Нет, дружок, не слыхала, что такое еще он, негодивец, сотворил.

— Ужасная вещь-с! он человека в горшке сварил.

— Дьякон, ты это врешь! — воскликнула протопопица.

— Нет-с, сварил!

— Истинно врешь! — человека в горшок не всунешь.

— Он его в золяной корчаге сварил, — продолжал, не обращая на нее внимания, дьякон, — и хотя ему это мерзкое дело было дозволено от исправника и от лекаря, но тем не менее он теперь за это предается в мои руки.

— Дьякон, ты врешь; ты все это врешь.

— Нет-с, извините меня, даже ни одной минуты я не вру, — зачастил дьякон и, замотав головой, начал вырубать слово от слова чаще. — Извольте хорошенько слушать, в чем дело и какое его было течение: Варнавка действительно сварил человека с разрешения начальства, то есть лекаря и исправника, так как то был утопленник; но этот сваренец теперь его жестоко мучит и его мать, госпожу просвирню, и я все это разузнал и сказал у исправника отцу протопопу, и отец протопоп исправнику за это... того-с, по-французски, пробире-муа, задали, и исправник сказал: что я, говорит, возьму солдат и положу этому конец; но я сказал, что пока еще ты возьмешь солдат, а я

сам солдат, и с завтрашнего дня, ваше преподобие, честная протопопица Наталья Николаевна, вы будете видеть, как дьякон Ахилла начнет казнить учителя Варнавку, который богохульствует, смущает людей живых и мучит мертвых. Да-с, сегодня четвертое июня, память преподобного Мефодия Песношского, и вы это запишите...

Но на этих словах поток красноречия Ахиллы оборвался, потому что в это время как будто послышался издалека с горы кашель отца протопопа.

— Во! грядет поп Савелий! — воскликнул, заслышав этот голос, Ахилла и, соскочив с фундамента на землю, пошел своею дорогой. Протопопица осталась у своего окна не только во мраке неведения насчет всего того, чем дьякон грозился учителю Препотенскому, но даже в совершенном хаосе насчет всего, что он наговорил здесь. Ей некогда было и раздумывать о нескладных речах Ахиллы, потому она услыхала, как скрипнули крылечные ступени, и отец Савелий вступил в сени, в камилавке на голове и в руках с тою самою тростью, на которой было написано: «Жезл Ааронов расцвел».

Протопопица встала, разом засветила две свечи и изпод обеих зорко посмотрела на вошедшего мужа. Протопоп тихо поцеловал жену в лоб, тихо снял рясу, надел свой белый шлафор, подвязал шею пунцовым фуляром и сел у окошка.

Протопопица совершенно забыла про все, что ей за несколько минут пред этим наговорил дьякон, и потому ни о чем не спросила мужа. Она пригласила его в смежную маленькую продолговатую комнатку, которая служила ей спальней и где теперь была приготовлена для отца Савелия его вечерняя закуска. Отец Савелий сел к столику, съел два сваренные для него всмятку яйца и, помолясь, начал прощаться на ночь с женой. Протопопица сама никогда не ужинала. Она обыкновенно только сидела перед мужем, пока он закусывал, и оказывала ему небольшие услуги, то что-нибудь подавая, то принимая и убирая. Потом они оба вставали, молились пред образом и непосредственно за тем оба начинали крестить один другого. Это взаимное благословение друг друга на сон грядущий они производили всегда оба одновременно, и притом с такою ловкостью и быстротой, что нельзя было надивиться, как их быстро мелькавшие одна мимо

другой руки не хлопнут одна по другой и одна за другую не зацепятся.

Получив взаимные благословения, супруги напутствовали друг друга и взаимным поцелуем, причем отец протопоп целовал свою низенькую жену в лоб, а она его в сердце; затем они расставались: протопоп уходил в свою гостиную и вскоре ложился. Точно так же пришел он в свою комнату и сегодня, но не лег в постель, а долго ходил по комнате, наконец притворил и тихо запер на крючок дверь в женину спальню.

— Отец Савелий, ты чего-то не в светлом духе? — спросила через стенку протопопица, хорошо изучившая все мельчайшие черты мужнина характера.

— Нет, друг, я спокоен, — отвечал протопоп.

— Тебе, отец Савелий, не подать ли на ночь чистый платочек? — осведомилась она, вскочив и приложив нос к створу двери.

— Платочек? да ведь ты в субботу дала мне платочек!

— Ну так что ж что в субботу?.. Да отопритесь вы в самом деле, отец Савелий! Что это вы еще за моду такую взяли, чтоб от меня запираться?

Протопоп молча откинул крючок, а Наталья Николаевна принесла чистый фуляровый платок и, пользуясь этим случаем, они с мужем снова начали прощаться и крестить друг друга тем же удивительным для непривычного человека способом и затем опять расстались. Дверь теперь оставалась отворенною: объяснилось, зачем старик непременно хотел ее припереть. Отцу протопопу не спалось, и он чувствовал, что ему не удастся уснуть: прошел час, а он еще все ходил по комнате в своем белом пикейном шлафоре и пунцовом фуляре под шеей. В старике как бы совершалась некая борьба. При всем внешнем достоинстве его манер и движений он ходил шагами неровными, то несколько учащая их, как бы хотел куда-то броситься, то замедляя их и, наконец, вовсе останавливаясь и задумываясь. Это хождение продолжалось еще с добрый час, прежде чем отец Савелий подошел к небольшому красному шкафику, утвержденному на высоком комоде с вытянутою доской. Из этого шкафа он достал Евгениевский «Календарь», переплетенный в толстый синий демикотон, с желтым юхтовым корешком, положил эту книгу на стоявшем у его постели овальном столе, за-

жег пред собою две экономические свечи и остановился: ему показалось, что жена его еще ворочается и не спит. Это так и было.

— Будешь читать, верно? — спросила его в эту минуту из-за стены своим тихим заботливым голоском Наталья Николаевна.

— Да, я, друг Наташа, немножко почитаю, — отвечал отец Туберозов, — а ты, одолжи меня, усни, пожалуй.

— Усну, мой друг, усну, — отвечала протопопица.

— Да, прошу тебя, пожалуй усни, — и с этими словами отец протопоп, оседлав свой гордый римский нос большими серебряными очками, начал медленно перелистывать свою синюю книгу. Он не читал, а только перелистывал эту книгу и при том останавливался не на том, что в ней было напечатано, а лишь просматривал его собственной рукой исписанные прокладные страницы. Все эти записки были сделаны разновременно и воскрешали пред старым протопопом целый мир воспоминаний, к которым он любил по временам обращаться.

Очутясь между протопопом Савелием и его прошлым, станем тихо и почтительно слушать тихий шепот его старческих уст, раздающийся в глухой тиши полуночи.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### ДЕМИКОТОНОВАЯ КНИГА ПРОТОПОПА ТУБЕРОЗОВА

Туберозов просматривал свой календарь с самой первой прокладной страницы, на которой было написано: «По рукоположении меня *4-го февраля 1831 года* преосвященным Гавриилом в иерея получил я от него сию книгу в подарок за мое доброе прохождение семинарских наук и за поведение». За первою надписью, совершенною в первый день иерейства Туберозова, была вторая: «Проповедовал впервые в соборе после архиерейского служения. Темой проповеди избрал текст притчи о сыновьях вертоградаря. Один сказал: «Не пойду», и пошел, а другой отвечал: «Пойду», и не пошел. Свел сие к благим действиям и благим намерениям, позволяя себе некото-

рые намски на служащих, присягающих и о присяге своей небрегущих, давая сим тонкие намеки чиноначалиям и властям. Говорил плавно и менее пышно, чем естественно. Владыка одобрили сию мою пробу пера. Однако же впоследствии его преосвященство призывал меня к себе и, одобряя мое слово вообще, в частности же указал, дабы в проповедях прямого отношения к жизни делать опасался, особливо же насчет чиновников, ибо от них-де чем дальше, тем и освященнее. Но за прошлое сказание не укорял и даже как бы одобрил.

*1832 года, декабря 18-го*, был призван высокопреосвященным и получил назначение в Старгород, где нарочито силен раскол. Указано противодействовать оному всячески.

*1833 года, в восьмой день февраля,* выехал с попадьей из села Благодухова в Старгород и прибыл сюда 12-го числа о заутрене. На дороге чуть нас не съела волчья свадьба. В церкви застал нестроение. Раскол силен. Осмотревшись, нахожу, что противодействие расколу по консисторской инструкции дело не важное, и о сем писал в консисторию и получил за то выговор».

Протоиерей пропустил несколько заметок и остановился опять на следующей: «Получив замечание о бездеятельности, усматриваемой в недоставлении мною обильных доносов, оправдывался, что в расколе делается только то, что уже давно всем известно, про что и писать нечего, и при сем добавил в сем рапорте, что наиглавнее всего, что церковное духовенство находится в крайней бедности, и того для, по человеческой слабости, не противодейственно подкупам и даже само немало потворствует расколу, как и другие прочие оберегатели православия, приемля даяния раскольников. Заключил, что не с иного чего надо бы начать, к исправлению скорбей церкви, как с изъятия самого духовенства из-под тяжкой зависимости. Образцом сему показал раскольничьи сравнения синода с патриаршеством и сим надеялся и деятельность свою оправдать и очередной от себя донос отбыть, но за опыт сей вторично получил выговор и замечание и вызван к личному объяснению, при коем был назван «непочтительным Хамом, открывающим наготу отца». Сие, надлежит подразумевать, удостоен был получить за то, что сознал, как бедное, полуголодное духовенство само

за неволю нередко расколу потворствует, и наипаче за то, что про синод упомянул... Простите, пожалуйте, кто обижен! В забвение вами мне сея великия вины вспомяну вам слова светского, но светлого писателя господина Татищева: «А голодный, хотя бы и патриарх был, кусок хлеба возьмет, особливо предложенный». Вот и патриарху на орехи!»

Ниже, через несколько записей, значилось: «Был по делам в губернии и, представляясь владыке, лично ему докладывал о бедности причтов. Владыка очень о сем соболезновали; но заметили, что и сам господь наш не имел где главы восклонить, а к сему учить не уставал. Советовал мне, дабы рекомендовать духовным читать книгу «О подражании Христу». На сие ничего его преосвященству не возражал, да и вотще было бы возражать, потому как и книги той духовному нищенству нашему достать негде.

Политично за вечерним столом у отца соборного ключаря еще раз заводил речь о сем же предмете с отцом благочинным и с секретарем консистории; однако сии речи мои обращены в шутку. Секретарь с усмешкой сказал, что «бедному удобнее в царствие божие внити», что́ мы и без его благородия знали, а отец ключарь при сем рассказали небезынтересный анекдот об одном академическом студенте, который впоследствии был знаменитым святителем и проповедником. Сей будто бы еще в мирском звании на вопрос владыки, имеет ли он какое состояние, ответствовал:

— Имею, ваше преосвященство.

— А движимое или недвижимое? — вопросил сей, на что оный ответствовал:

— И движимое и недвижимое.

— Что же такое у тебя есть движимое? — вновь вопросил его владыка, видя заметную мизерность его костюма.

— А движимое у меня дом в селе, — ответствовал вопрошаемый.

— Как так, дом движимое? Рассуди, сколь глуп ответ твой.

А тот, нимало сим не смущаясь, провещал, что ответ его правилен, ибо дом его такого свойства, что коль скоро на него ветер подует, то он весь и движется.

Владыке ответ сей показался столь своеобразным, что он этого студиозуса за дурня уже не хотел почитать, а напротив, интересуяся им, еще вопросил:

— Что же ты своею недвижимостью нарицаешь?

— А недвижимость моя, — отвечал студент, — матушка моя дьячиха да наша коровка бурая, кои обе ног не двигали, когда отбывал из дому, одна от старости, другая же от бескормицы.

Немало сему все мы смеялись, хотя я, впрочем, находил в сем более печального и трагического, нежели комедийной веселости, способной тешить. Начинаю замечать во всех значительную смешливость и легкомыслие, в коих доброго не предусматриваю.

Житие мое провожу в сне и в ядении. Расколу не могу оказывать противодействий ни малым чем, ибо всеми связан, и причтом своим полуголодным и исправником дуже сытым. Негодую, зачем я как бы в посмешище с миссионерскою целию послан: проповедовать — да некому; учить — да не слушают! Проповедует исправник меня гораздо лучше, ибо у него к сему есть такая миссионерская снасть о нескольких концах, а от меня доносов требуют. Владыко мой! к чему сии доносы? Что в них завертывать? А мне, по моему рассуждению, и сан мой не позволяет писать их. Я лучше чистой бумаги пожертвую...

Представлял рапортом о дозволении иметь на пасхе словопрение с раскольниками, в чем и отказано. Вдобавок к форменной бумаге секретарь, смеючись, отписал приватно, что если скука одолевает, то чтобы к ним проехался. Нет уж, покорнейше спасибо, а не прогневайтесь на здоровье. И без того мой хитон обличает мя, яко несть брачен, да и жена в одной исподнице гуляет. Следовало бы как ни на есть поизряднее примундириться, потому что люди у нас руки целуют, а примундироваться еще пока ровно не на что; но всего что противнее, это сей презренный, наглый и бесстыжий тон консисторский, с которым говорится: «А не хочешь ли, поп, в консисторию съездить подоиться?» Нет, друже, не хочу, не хочу; поищите себе кормилицу подебелее.

*13-го октября 1835 года.* Читал книгу об обличении раскола. Все в ней есть, да одного нет, что раскольники блюдут свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем; а сие, мню, яко важнейшее.

Сегодня утром. *18-го марта сего 1836 года,* попадья, Наталья Николаевна намекнула мне, что она чувствует себя непорожнею. Подай господи нам сию радость! Ожидать в начале ноября.

*9-го мая,* на день св. Николая Угодника, происходило разрушение Деевской староверческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное; а к сему же еще, как назло, железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на цепях, а будучи остервененно понуждаем баграми разорителей к падению, упал внезапно и проломил пожарному солдату из жидов голову, отчего тот здесь же и помер. Ох, как мне было тяжко все это видеть: господи! да, право, хотя бы жидов-то не посылали, что ли, кресты рвать! Вечером над разоренною молельной собирался народ, и их, и наш церковный, и все вместе много и горестно плакали и, на конец того, начали даже искать объятий и унии.

*10-го мая.* Были большие со стороны начальства ошибки. Пред полунощью прошел слух, что народ вынес на камень лампаду и начал молиться над разбитою молельной. Все мы собрались и видим, точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. Городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать. Было сие весьма необдуманно и, скажу, даже глупо, ибо народ зажег свечи и пошел по домам, воспевая «мучителя фараона» и крича: «Господь поборает вере мучимой; и ветер свещей не гасит»; другие кивали на меня и вопили: «Подай нам нашу пречистую покровенную богородицу и поклоняйся своей простоволосой в немецком платье». Я только указал городничему, сколь неосторожно было сие его распоряжение о разорении, и срывании крестов, и отобрании иконы, но ему что? Ему лишь бы у немца выслужиться.

*12-го мая.* Франтовство одолело: взял в долг у предводительской экономки два шелковые платья предводительши и послал их в город окрасить в масака цвет, как у губернского протодиакона, и сошью себе ряску шелковую. Невозможно без этой аккуратности, потому что становлюсь повсюду вхож в дворянские дома, а унижать себя не намерен.

*17-го мая.* Попадья Наталья Николаевна намекнула, что она в рассуждении своего положения ошиблась.

*20-го июня.* По донесению городничего, за нехождение со крестом о пасхе в дома раскольников, был снова вызван в губернию. Изложил сие дело владыке обстоятельно, что не ходил я к староверам не по нерадению, ибо то даже было в карманный себе ущерб; но я сделал сие для того, дабы раскольники чувствовали, что чести моего с причтом посещения лишаются. Владыко задумались и потом объяснение мое приняли; но не мимо идет речь, что царь жалует, да его псарь не жалует. Так как дело сие о моей манкировке некоторою своей стороной касалось и гражданской власти, то, дабы положить конец сей пустой претензии и обонпол, владыка послали меня объяснить сие важное дело губернатору. Но и было же объяснение!.. Оле мне, грешному, что я только там вытерпел! Оле и вам, ближние мои, братия мои, искреннии и други, за срамоту мою и унижение, которые я перенес от сего куцего нечестивца! Губернатор, яко немец, соблюдая амбицию своего Лютера, русского попа к себе не допустил, отрядил меня для собеседования о сем к правителю. Сей же правитель, поляк, не по-владычнему дело сие рассмотреть изволил, а напустился на меня с криком и рыканием, говоря, что я потворствую расколу и сопротивляюсь воле моего государя. Оле же тебе, ляше прокаженный, и ты с твоею прожженною совестию меня сопротивлением царю моему упрекаешь! Однако я сие снес и ушел молча, памятуя хохлацкую пословицу: «скачи, враже, як пан каже». И вышло так, что все описанное случилось как бы для обновления моей шелковой рясы, которая, при сем скажу, сделана весьма исправно и едва только при солнце чуть отменяет, что из разных материй.

*23-го марта.* Сегодня, в субботу страстную, приходили причетники и дьякон. Прохор просит, дабы неотменно идти со крестом на пасхе и по домам раскольников, ибо несоблюдение сего им в ущерб. Отдал им из своих денег сорок рублей, но не пошел на сей срам, дабы принимать деньги у мужичьих ворот как подаяние. Вот теперь уже рясу свою вижу уже за глупость, мог бы и без нее обойтись, и было бы что причту раздать пообильнее. Но думалось: «нельзя же комиссару и без штанов».

*24-го апреля 1837 года.* Был осрамлен до слез и до рыданий. Опять был на меня донос, и опять предстоял пред оным губернаторским правителем за невхождение со

крестом во дворы раскольников. Донос сделан самим моим причтом. Как перенести сию низость и неблагородство! Мыслитель и администратор! сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь попа русского сочетавается. Возвращаясь домой, целую дорогу сетовал на себя, что не пошел в академию. Оттоль поступил бы в монашество, как другие; был бы с летами архимандритом, архиереем; ездил бы в карете, сам бы командовал, а не мною бы помыкали. Суетой сею злобно себя тешил, упорно воображая себя архиереем, но, приехав домой, был нежно обласкан попадьей и возблагодарил бога, тако устроившего, яко же есть.

*25-го апреля.* Был я осрамлен в губернии; но мало в сравнении пред тем, сколь дома сегодня остыжен, как школьник. Вчера только вписал я мои нотатки о моих скорбях и недовольствах, а сегодня, встав рано, сел у окна и, размышляя о делах своих, и о прошедшем своем, и о будущем, глядел на раскрытую пред окном моим бакшу полунищего Пизонского. Прошлый год у него на грядах некая дурочка Настя, обольщенная проходящим солдатом, родила младенца и сама, кинувшись в воду, утонула. Пизонский в одинокой старости своей призрел сего младенца, и о сем все позабыли; позабыл и я во главе прочих. Но утром днесь поглядаю свысока на землю сего Пизонского да думаю о делах своих, как вдруг начинаю замечать, что эта свежевзоранная, черная, даже как бы синеватая земля необыкновенно как красиво нежится под утренним солнцем, и ходят по ней бороздами в блестящем пере тощие черные птицы и свежим червем подкрепляют свое голодное тело. Сам же старый Пизонский, весь с лысой головы своей озаренный солнцем, стоял на лестнице у утвержденного на столбах рассадника и, имея в одной руке чашу с семенами, другою погружал зерна, кладя их щепотью крестообразно, и, глядя на небо, с опущением каждого зерна, взывал по одному слову: «Боже! устрой, и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного», и едва он сие кончил, как вдруг все ходившие по пашне черные глянцевитые птицы вскричали, закудахтали куры и запел, громко захлопав крылами, горластый петух, а с рогожи сдвинулся тот, принятый сим чудаком, мальчик, сын дурочки Насти;

он детски отрадно засмеялся, руками всплескал и, смеясь, пополз по мягкой земле. Было мне все это точно виденье. Старый Пизонский был счастлив и громко запел: «Аллилуйя!» — «Аллилуйя, боже мой!» — запел и я себе от восторга и умиленно заплакал. В этих целебных слезах я облегчил мои досаждения и понял, сколь глупа была скорбь моя, и долго после дивился, как дивно врачует природа недуги души человеческой! Умножь и возрасти, боже, благая на земли на всякую долю: на хотящего, просящего, на *произволящего* и *неблагодарного*... Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, боже мой! этот старик садил на долю вора и за него молился! Это, может быть, гражданскою критикой не очищается, но это ужасно трогает. О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!

*6-го августа,* день преображения господня. Что это за прелестная такая моя попадья Наталья Николаевна! Опять: где, кроме святой Руси, подобные жены быть могут? Я ей говорил как-то, сколь меня трогает нежность беднейшего Пизонского о детях, а она сейчас поняла или отгадала мысль мою и жаждание: обняла меня и с румянцем стыдливости, столь ей идущим, сказала: «Погоди, отец Савелий, может, господь даст нам». (Она разумела: даст детей.) Но я по обычаю, думая, что подобные ее надежды всегда суетны и обманчивы, ни о каких подробностях ее не спрашивал, и так оно и вышло, что не надо было беспокоиться. Но и из ложной сей тревоги вышла превосходная трогательность. Сегодня я говорил слово к убеждению в необходимости всегдашнего себя преображения, дабы силу иметь во всех борьбах коваться, как металл некий крепкий и ковкий, а не плющиться, как низменная глина, иссыхая сохраняющая отпечаток последней ноги, которая на нее наступила. Говоря сие, увлекся некоею импровизацией и указал народу на стоявшего у дверей Пизонского. Хотя я по имени его и не назвал, но сказал о нем как о некоем посреди нас стоящем, который, придя к нам нагий и всеми глупцами осмеянный за свое убожество, не только сам не погиб, но и величайшее из дел человеческих сделал, спасая и воспитывая неоперенных птенцов. Я сказал, сколь сие сладко — согревать беззащитное тело детей и насаждать в души их семена добра. Выговорив это, я сам почувствовал мои

ресницы омоченными и увидал, что и многие из слушателей стали отирать глаза свои и искать очами по церкви некоего, его же разумела душа моя, искать Котина нищего, Котина, сирых питателя. И видя, что его нету, ибо он, поняв намек мой, смиренно вышел, я ощутил как бы некую священную острую боль и задыхание по тому случаю, что смутил его похвалой, и сказал: «Нет его, нет, братия, меж нами! ибо ему не нужно это слабое слово мое, потому что слово любве давно огненным перстом божиим начертано в смиренном его сердце. Прошу вас, — сказал я с поклоном, — все вы, здесь собравшиеся достопочтенные и именитые сображдане, простите мне, что не стратига превознесенного воспомнил я вам в нашей беседе в образ силы и в подражание, но единого от малых, и если что смутит вас от сего, то отнесите сие к моей малости, зане грешный поп ваш Савелий, назирая сего малого, не раз чувствует, что сам он пред ним не иерей бога вышнего, а в ризах сих, покрывающих мое недостоинство, — гроб повапленный. Аминь».

Не знаю, что заключалося умного и красноречивого в простых словах сих, сказанных мною совершенно ex promptu,[1] но могу сказать, что богомольцы мои нечто из сего вняли, и на мою руку, когда я ее подавал при отпуске, пала не одна слеза. Но это не все: важнейшее для меня только наступало.

Как бы в некую награду за искреннее слово мое об отраде пещись не токмо о своих, но и о чужих детях, вездесущий и всеисполняющий приял и мое недостоинство под свою десницу. Он открыл мне днесь всю истинную цену сокровища, которым, по безмерным щедротам его, я владею, и велел мне еще преобразиться в наидовольнейшего судьбою своею человека. Только что прихожу домой с пятком освященных после обедни яблок, как на пороге ожидает меня встреча с некоторою довольно старою знакомкой: то сама попадья моя Наталья Николаевна, выкравшись тихо из церкви, во время отпуска, приготовила мне, по обычаю, чай с легким фриштиком и стоит стопочкой на пороге, но стоит не с пустыми руками, а с букетом из речной лилеи и садового левкоя. «Ну, еще ли не коварная после этого ты женщина, Наталья

[1] Вдруг *(лат.)*.

Николаевна!» — сказал я, никогда прежде сего ее коварством не укорявши. Но она столь умна, что нимало этим не обиделась: она поняла, что сие шуткой сказано, и, обняв меня, только тихо, но прегорько заплакала. Чего эти слезы? — сие ее тайна, но для меня не таинственна сия твоя тайна, жена добрая и не знающая чем утешать мужа своего, а утехи Израилевой, Вениамина малого, дать ему лишенная. Да, токмо речною лилеею и садовым левкоем встретило меня в этот день ее отверстое в любви и благоволении сердце! В тихой грусти, двое бездетные, сели мы за чай, но был то не чай, а слезы наши растворялись нам в питие, и незаметно для себя мы оба заплакали, и оборучь пали мы ниц пред образом Спаса и много и жарко молились ему об утехе Израилевой. Наташа после открылась, что она как бы слышала некое обетование чрез ангела, и я хотя понимал, что это плод ее доброй фантазии, но оба мы стали радостны, как дети. Замечу однако, что и в сем настроении Наталья Николаевна значительно меня, грубого мужчину, превосходила как в ума сообразительности, так и в достоинстве возвышенных чувств.

— Скажи мне, отец Савелий, — приступила она ко мне, добродушно ласкаючись, — скажи, дружок: не был ли ты когда-нибудь, прежде чем нашел меня, против целомудренной заповеди грешен?

Такой вопрос, откровенно должен признаться, крайне смутил меня, ибо я вдруг стал понимать, к чему моя негодящая женка у меня такое ей несоответственное выпытывает.

Но она со всею своею превосходною скромностью и со всею с этою женскою кокетерией, которую хотя и попадья, но от природы унаследовала, вдруг и взаправду коварно начала меня обольщать воспоминаниями минувшей моей юности, напоминая, что тому, о чем она намекнула, нетрудно было статься, ибо был будто бы я столь собою пригож, что когда приехал к ее отцу в город Фатеж на ней свататься, то все девицы не только духовные, но даже и светские по мне вздыхали! Сколь сие ни забавно, однако я старался рассеять всякие сомнения насчет своей юности, что мне и нетрудно, ибо без лжи в сем имею оправдание. Но чем я тверже ее успокоивал, тем она более приунывала, и я не постигал, отчего оправдания мои ее нимало не

радовали, а, напротив, все более как будто печалили, и, наконец, она сказала:

— Нет, ты, отец Савелий, вспомни, может быть, когда ты был легкомыслен.... то нет ли где какого сиротки?

Тут уже я, что́ она сказать хочет, уразумел и понял, к чему она все это вела и чего она сказать стыдится; это она тщится отыскать мое незаконное дитя, которого нет у меня! Какое благодушие! Я, как ужаленный слепнем вол, сорвался с своего места, бросился к окну и вперил глаза мои в небесную даль, чтобы даль одна видела меня, столь превзойденного моею женой в доброте и попечении. Но и она, моя лилейная и левкойная подруга, моя роза белая, непорочная, благоуханная и добрая, и она снялась вслед за мною; поступью легкою ко мне сзади подкралась и, положив на плечи мне свои малые лапки, сказала:

— Вспомни, голубь мой: может быть, где-нибудь есть тот голубенок, и если есть, пойдем и возьмем его!

Мало что она его хочет отыскивать, она его уже любит и жалеет, как неоперенного голубенка! Этого я уже не снес и, закусив зубами бороду свою, пал пред ней на колени и, поклонясь ей до земли, зарыдал тем рыданием, которому нет на свете описания. Да и вправду, поведайте мне времена и народы, где, кроме святой Руси нашей, родятся такие женщины, как сия добродетель? Кто ее всему этому учил? Кто ее воспитывал, кроме тебя, всеблагий боже, который дал ее недостойному из слуг твоих, дабы он мог ближе ощущать твое величие и благость».

Здесь в дневнике отца Савелия почти целая страница была залита чернилами и внизу этого чернильного пятна начертаны следующие строки:

«Ни пятна сего не выведу, ни некоей нескладицы и тождесловия, которые в последних строках замечаю, не исправлю: пусть все так и остается, ибо все, чем сия минута для меня обильна, мило мне в настоящем своем виде и таковым должно сохраниться. Попадья моя не унялась сегодня проказничать, хотя теперь уже двенадцатый час ночи, и хотя она за обычай всегда в это время спит, и хотя я это и люблю, чтоб она к полуночи всегда спала, ибо ей то здорово, а я люблю слегка освежать себя в ночной тишине каким удобно чтением, а иною порой пишу свои нотатки, и нередко, пописав несколько, подхожу к ней спящей и спящую ее целую, и если чем огорчен, то в сем

отрадном поцелуе почерпаю снова бодрость и силу и тогда засыпаю покойно. Днесь же я вел себя до сей поры несколько инако. По сем дне, повергавшем меня всеми ощущениями в беспрерывное разнообразие, я столь был увлечен описанием того, что мною выше описано, что чувствовал плохую женку мою в душе моей, и поелику душа моя лобзала ее, я не вздумал ни однажды подойти к ней и поцеловать ее. Но она, тонкая сия лукавица, заметив сие мое упущение, поправила оное с невероятною оригинальностью: час тому назад пришла она, положила мне на стол носовой платок чистый и, поцеловав меня, как бы и путная, удалилась ко сну. Но что же, однако, за непостижимые хитрости женские за ней оказываются! Вдруг, пресерьезнейше пишучи, вижу я, что мой платок как бы движется и внезапно падает на пол. Я нагнулся, положил его снова на стол и снова занялся писанием; но платок опять упал на пол. Я его положил на колени мои, а он и оттоль падает. Тогда я взял сего непокорного да прикрепил его, подложив немного под чернильницу, а он, однако, и оттуда убежал и даже увлек с собою и самую чернильницу, опрокинул ее и календарь мой сим изрядным пятном изукрасил. Что же сие полотняное бегство означает? означает оно то, что попадья моя выходит наипервейшая кокетка, да еще к тому и редкостная, потому что не с добрыми людьми, а с мужем кокетничает. Я уж ее сегодня вечером в этом упрекнул, когда она, улыбаючись, предо мною сидела на окошечке и сожалела, что она романсов петь не умеет, а она какую теперь штуку измыслила и приправила! Взяла к этому платку, что мне положила, поднося его мне, потаенно прикрепила весьма длинную нитку, протянула ее под дверь к себе на постель и, лежачи на покое, платок мой у меня из-под рук изволит, шаля, подергивать. И я, толстоносый, потому это только открыл, что с последним падением платка ее тихий и радостный хохот раздался и потом за дверью ее босые ножонки затопотали. Напрокудила, да и плюх в постель. Пошел, целовал ее без меры, но ушел опять, чтобы занотовать себе всю прелесть жены моей под свежими чувствами.

*7-го августа.* Всю ночь прошедшую не спал от избытка моего счастия и не солгу, если прибавлю, что также и Наташа немало сему бодрствованию способствовала. Словно

влюбленные под Петров день солнце караулят, так и мы с нею, после пятилетнего брака своего, сегодняшнего солнца дождались, сидя под окном своим. Призналась голубка, что она и весьма часто этак не спит, когда я пишу, а только спящею притворяется, да и во многом другом призналась. Призналася, что вчера в церкви, слушая мое слово, которое ей почему-то столь много понравилось, она дала обет идти пешком в Киев, если только почувствует себя в тягости. Я этого не одобрил, потому что такой переход беременной не совсем в силу; но обет исполнить ей разрешил, потому что при такой радости, разумеется, и сам тогда с ней пойду, и где она уставать станет, я понесу ее. Делали сему опыт: я долго носил ее на руках моих по саду, мечтая, как бы она уже была беременная и я ее охраняю, дабы не случилось с ней от ходьбы какого несчастия. Столь этою мыслью желанною увлекаюсь, что, увидев, как Наташа, шаля, села на качели, кои кухаркина девочка под яблонью подцепила, я даже снял те качели, чтобы сего вперед не случилось, и наверх яблони закинул с величайшим опасением, чему Наташа очень много смеялася. Однако, хотя жизнь моя и не изобилует вещами, тщательной секретности требующими, но все-таки хорошо, что хозяин домика нашего обнес свой садик добрым заборцем, а господь обрастил этот забор густою малиной, а то, пожалуй, иной сказал бы, что попа Савелия не грех подчас назвать и скоморохом.

*9-го августа.* Заношу препотешное событие, о чем моя жена с дьяконовым сыном-ритором вела сегодня не только разговор, но даже и спор. Это поистине и казус и комедия. Спорили о том: *Кто всех умнее?* Ритор говорит, что всех умнее был Соломон, а моя попадья утверждает, что *я*, и должно сознаться, что на сей раз роскошный царь Сиона имел адвоката гораздо менее стойкого, чем я. Ох, сколь же я смеялся! И скажите, сделайте ваше одолжение, что на свете бывает! Я все это слышал из спальни, после обеда отдыхая, и, проснувшись, уже не решился прерывать их диспута, а они один другого поражали: оный ритор, стоя за разум Соломона, подкрепляет свое мнение словами Писания, что «Соломон бе мудрейший из всех на земли сущих», а моя благоверная поразила его особым манером: «Нечего, нечего, — говорит, — вам мне ткать это ваше: *бе,* да *рече,* да *пече;* это ваше *бе,* — говорит, —

ничего не значит, потому что оно еще тогда было писано, когда отец Савелий еще не родился». Тут в сей дискурс вмешался еще слушавший сей спор их никитский священник, отец Захария Бенефактов, и он завершил все сие, подтвердив слова жены моей, что «это правда», то есть «правда» в рассуждении того, что меня тогда не было. Итак, вышли все сии три критика как есть правы. Неправ остался один я, к которому все их критические мнения поступили на антикритику: впервые огорчил я мою Наташу, отвергнув ее мнение насчет того, что я всех умнее, и на вопрос ее, кто меня умнее? отвечал, что *она*. Наиотчайнейший отпор в сем получил, каким только истина одна отвергаться может: «Умные, — говорит, — обо всем рассуждают, а я ни о чем судить не могу и никогда не рассуждаю. Отчего же это?» На сие я ее тихо тронул за ее маленький нос и отвечал: «Это оттого ты не спешишь мешать рассуждением, что у тебя вместо строптивого носа сия смиренная пуговица на этом месте посажена». Но, однако, она и сие поняла, что я хотел выразить этою шуткой, намекая на ее кротость, и попробовала и это в себе опорочить, напомнив в сей цели, как она однажды руками билась с почтмейстершей, отнимая у нее служащую девочку, которую та сурово наказывала.

*10-го августа, утром.* Пришла мне какая мысль сегодня в постели! Рецепт хочу некий издать для всех несчастливых пар как всеобщего звания, так и наипаче духовных, поелику нам домашнее счастие наипаче необходимейшее. Говорят иносказательно, что наилучшее, чтобы женщина ходила с водой против мужчины, ходящего с огнем, то есть дабы, если он с пылкостию, то она была бы с кротостию, но все это, по-моему, еще не ясно, и притом слишком много толкований допускает; а я, глядя на себя с Натальей Николаевной, решаюсь вывесть, что и наивернейшее средство ладить — сие: пусть считают друг друга умнее друг друга, и оба тогда будут один другого умней. «Друг, друг, друга!» Эко как бесподобно выражаюсь! Но, впрочем, настоящему мечтателю так и подобает говорить без толку.

*15-го августа.* Успение пресвятыя богородицы. Однако в то самое время, как я восторгался женой моей, я и не заметил, что тронувшее Наташу слово мое на преобра-

женьев день других тронуло совершенно в другую сторону, и я посеял против себя вовсе нежеланное неудовольствие в некоторых лицах в городе. Богомольцы мои, конечно не все, а некоторые, конечно, и впереди всех почтмейстерша Тимонова, обиделись, что я унизил их намеком на Пизонского. Но все это вздор умов пустых и вздорных. Конечно, все это благополучно на самолюбиях их благородий, как раны на песьей шкуре, так и присохнет.

*3-го сентября.* Я сделал значительную ошибку: нет, совсем этой неосторожности не конец. Из консистории получен запрос: действительно ли я говорил импровизацией проповедь с указанием на живое лицо? Ах, сколь у нас везде всего живого боятся! Что ж, я так и отвечал, что говорил именно вот как и вот что. Думаю, не повесят же меня за это и головы не снимут, а между тем против воли смутно и спокойствие улетело.

*20-го октября.* Всеконечно, правда, что головы не снимут, но рот замкнуть могут, и сделать сего не преминули. 15-го же сентября я был вызван для объяснения. Одна спешность сия сама по себе уже не много доброго предвещала, ибо на добро у нас люди не торопливы, а власти тем паче, но, однако, я ехал храбро. Храбрость сия была охлаждена сначала тридцатишестидневным сидением на ухе без рыбы в ожидании объяснения, а потом приказанием все, что вперед пожелаю сказать, присылать предварительно цензору Троадию. Но этого никогда не будет, и зато я буду нем яко рыба. Прости, вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностию бесстрастною совершать дело проповеди. Я ощущаю порой нечто на меня сходящее, когда любимый дар мой ищет действия; мною тогда овладевает некое, позволю себе сказать, священное беспокойство; душа трепещет и горит, и слово падает из уст, как угль горящий. Нет, тогда в душе моей есть свой закон цензуры!.. А они требуют, чтоб я вместо живой речи, направляемой от души к душе, делал риторические упражнения и сими отцу Троадию доставлял удовольствие чувствовать, что в церкви минули дни Могилы, Ростовского Димитрия и других светил светлых, а настали иные, когда не умнейший слабейшего в разуме наставляет, а обратно, дабы сим уму и чувству человеческому поругаться. Я сей дорогой не ходок.

Нет, я против сего бунтлив, и лучше сомкнитесь вы, мои нельстивые уста, и смолкни ты, мое бесхитростное слово, но я из-под неволи не проповедник.

*23-го ноября.* Однако не могу сказать, чтобы жизнь моя была уже совсем обижена разнообразием. Напротив, все идет вперемежку, так что даже и интерес ни на минуту не ослабевает: то оболгут добрые люди, то начальство потреплет, то Троадию скорбноглавому в науку меня назначат, то увлекусь ласками попадьи моей, то замечтаюсь до самолюбия, а время в сем все идет да идет, и к смерти все ближе да ближе. Еще не все! Еще не все последствия моей злополучной преображенской проповеди совершились. У нас, в восьмнадцати верстах от города, на берегу нашей же реки Турицы, в обширном селе Плодомасове, живет владелица сего села, боярыня Марфа Андревна Плодомасова. Сия кочерга столь старого леса, что уже и признаков жизни ее издавна никаких не замечается, а известно только по старым памятям, что она женщина весьма немалого духа. Она и великой императрице Екатерине знаема была, и Александр император, поговорив с нею, находил необременительною для себя эту ее беседу; а наиболее всего она известна в народе тем, как она в молодых летах своих одна с Пугачевым сражалась и нашла, как себя от этого мерзкого зверя защитить. Еще же о чем ежели на ее счет вспоминают, то это еще повторение о ней различных оригинальных анекдотов о ее свиданиях с посещавшими ее губернаторами, чиновниками, а также, в двенадцатом году, с пленными французами; но все это относится к области ее минувшего века. Ныне же про нее забыли, и если когда речь ее особы коснется, то думают, что и она сама уже всех забыла. Лет двадцать уже никто из сторонних людей не может похвастаться, что он боярыню Плодомасову видел.

Третьего дня, часу в двенадцатом пополудни, я был несказанно изумлен, увидев подъезжающие ко мне большие господские дрожки тройкой больших рыжих коней, а на тех дрожках нарочито небольшого человечка, в картузе ворсистой шляпной материи с длинным козырем и в коричневой шинели с премножеством один над другим набранных капишончиков и пелерин.

Что бы сие, думаю, за неведомая особа, да и ко мне ли она едет или только ошибкой правит на меня путь свой?

Размышления эти мои, однако же, были скоро разрешены самою сею загодочною особой, вошедшею в мою зальцу с преизящною благопристойностью, которая всегда мне столь нравится. Прежде всего гость попросил моего благословения, а затем, шаркнув своею чрезвычайно маленькою ножкой по полу и отступив с поклоном два шага назад, проговорил:

— Госпожа моя, Марфа Андревна Плодомасова, приказали мне, отец иерей, вам кланяться и просить вас немедленно со мною к ним пожаловать.

— В свою очередь, — говорю, — позвольте мне, сударь, узнать, чрез кого я имею честь все это слышать?

— А я, — отвечает оный малютка, — есмь крепостной человек ее превосходительства Марфы Андревны, Николай Афанасьев, — и, таким образом мне отрекомендовавшись, сия крошечная особа при сем снова напомнила мне, что госпожа его меня ожидает.

— По какому делу, — говорю, — не знаете ли?

— Ее господской воли, батюшка, я, раб ее, знать не могу, — отвечал карла и сим скромным ответом на мой несообразный вопрос до того меня сконфузил, что я даже начал пред ним изворачиваться, будто я спрашивал его вовсе не в том смысле. Спасибо ему, что он не стал меня допрашивать: в каком бы то еще в ином смысле таковый вопрос мог быть сделан.

Пока я в смежной комнате одевался, сей интересный карлик вступил в собеседование с Наташей и совсем увлек и восхитил ее своими речами. Действительно, и в словах да и в самом говоре сего крошечного старичка есть нечто невыразимо милое и ко всему сему благородство и ласковость. Служанке, которая подала ему стакан воды, он положил на поднос двугривенный, и когда сия взять эти деньги сомневалась, он сам сконфузился и заговорил: «Нет, матушка, не обидьте, это у меня такая привычка»; а когда попадья моя вышла ко мне, чтобы волосы мне напомадить, он взял на руки случившуюся здесь за матерью замарашку-девочку кухаркину и говорит: «Слушай, как вон уточки на бережку разговаривают. Уточка-франтиха говорит селезню-козырю: купи коты, купи коты! а селезень отвечает: заказал, заказал!» И дитя рассмеялось, да и я тоже сему сочинению словесному птичьего разговора невольно улыбнулся. Это хотя бы даже господину

Лафонтену или Ивану Крылову впору. Дорогу не заметил, как и прошла в разговорах с этим пречудесным карлой: столь много ума, чистоты и здравости нашел во всех его рассуждениях.

Но теперь самое главное: наступал час свидания моего с одинокою боярыней.

Немалое для меня удивление составляет, что при приближении сего свидания я, от природы моей не робкий, ощущал в себе нечто вроде небольшой робости. Николай Афанасьич, проведя меня через ряд с поразительною для меня пышностью и крайней чистотой содержимых покоев, ввел меня в круглую комнату с двумя рядами окон, изукрашенных в полукругах цветными стеклами; здесь мы нашли старушку немногим чем побольше Николая. При входе нашем она стояла и вертела ручку большого органа, и я уже чуть было не принял ее за самую оригиналку-боярыню и чуть ей не раскланялся. Но она, увидев нас, неслышно вошедших по устилающим покои пушистым коврам, немедленно при явлении нашем оставила свою музыку и бросилась с несколько звериною, проворною ухваткой в смежный покой, двери коего завешены большою занавесью белого атласа, по которому вышиты цветными шелками разные китайские фигурки.

Эта женщина, скрывшаяся с такою поспешностью за занавесь, как я после узнал, родная сестра Николая и тоже карлица, но лишенная приятности, имеющейся в кроткой наружности ее брата.

Николай тоже скрылся вслед за сестрою под ту же самую занавесь, а мне указал дожидаться на кресле. Тут-то вот, в течение времени, длившегося за сим около получаса, я и почувствовал некую смягу во рту, столь знакомую мне по бывшим ощущениям в детстве во время экзаменов. Но, наконец, настал и сему конец. За тою же самою занавесью я услышал такие слова: «А ну, покажи-ка мне этого умного попа, который, я слышала, приобык правду говорить?» И с сим занавесь как бы мановением чародейским, на невидимых шнурах, распахнулась, и я увидал пред собою саму боярыню Плодомасову. Голос ее, который я пред сим только что слышал, уже достаточно противоречил моему мнению о ее дряхлости, а вид ее противоречил сему и еще того более. Боярыня стояла предо мной в силе, которой, казалось, как бы и конца быть не

может. Ростом она не велика и не дородна особенно, но как бы над всем будто царствует. Лицо ее хранит выражение большой строгости и правды и, судя по чертам, надо полагать, некогда было прекрасно. Костюм ее довольно странный и нынешнему времени несоответственный: вся голова ее тщательно увита в несколько раз большою коричневою шалью, как у туркини. Далее на ней, как бы сказать, какой-то суконный казакин светлого цвета; потом под этим казакином юбка аксамитная ярко-оранжевая и желтые сапожки на высоких серебряных каблучках, а в руке палочка с аметистовым набалдашником. С одного боку ее стоял Николай Афанасьевич, с другого — Марья Афанасьевна, а сзади ее — сельский священник, отец Алексей, по ее назначению посвященный из ее на волю пущенных крепостных.

— Здравствуй! — сказала она мне, головы нимало не наклоняя, и добавила: — я тебя рада видеть.

Я в ответ на это ей поклонился, и, кажется, даже и с изрядною неловкостью поклонился.

— Поди же, благослови меня, — сказала она.

Я подошел и благословил ее, а она взяла и поцеловала мою руку, чего я всячески намерен был уклониться.

— Не дергай руки, — сказала она, сие заметив, — это не твою руку я целую, а твоего сана. Садись теперь и давай немножко познакомимся.

Сели мы: она, я и отец Алексей, а карлики возле ее стали.

— Мне говорил отец Алексей, что ты даром проповеди и хорошим умом обладаешь. Он сам в этом ничего не смыслит, а верно от людей слышал, а я уж давно умных людей не видала и вот захотела со скуки на тебя посмотреть. Ты за это на старуху не сердись.

Я мешался в ответах и, вероятно, весьма мало отвечал тому, что ей об уме моем было насказано, но она, к счастию, приступила к расспросам, на которые мне пришлось отвечать.

— Тебя, говорят, раскольников учить прислали? — так она начала.

— Да, — говорю, — между прочим имелась в виду и такая цель в моей посылке.

— Полагаю, — говорит, — бесполезное это дело: дураков учить все равно что мертвых лечить.

Я не помню, какими точно словами отвечал, что не совсем всех раскольников глупыми понимаю.

— Что ж, ты, умными их почитая, сколько успел их на путь наставить?

— Нимало, — говорю, — еще не могу успехом похвастать, но тому есть причины.

*Она.* О каких ты говоришь причинах?

*Я.* Способ действия с ними несоответственный, а зло растет через ту шатость, которую они видят в церковном обществе и в самом духовенстве.

*Она.* Ну, зло-то, какое в них зло? Так себе, дурачки божии, тем грешны, что книг начитались.

*Я.* А православный алтарь все-таки страждет на этом распадении.

*Она.* А вы бы этому алтарю-то повернее служили, а не оборачивали бы его в лавочку, так от вас бы и отпадений не было. А то вы ныне все благодатью, как сукном, торгуете.

Я промолчал.

*Она.* Ты женат или вдов?

*Я.* Женат.

*Она.* Ну, если бог благословит детьми, то зови меня кумой: я к тебе пойду крестить. Сама не поеду: вон ее, карлицу свою, пошлю, а если сюда дитя привезешь, так и сама подержу.

Я опять поблагодарил и, чтобы разговориться, спрашиваю:

— Ваше превосходительство, верно, изволите любить детей?

— Кто же, — говорит, — путный человек детей не любит? Их есть царствие божие.

— А вы давно одни изволите жить?

*Она.* Одна, отец, одна, и давно я одна, — проговорила она, вздохнув.

*Я.* Одиночество это часто довольно тягостно.

*Она.* Что это?

*Я.* Одиночество.

*Она.* А ты разве не одинок?

*Я.* Каким же образом я одинок, когда у меня есть жена?

*Она.* Что ж, разве твоя жена все понимает, чем ты, как умный человек, можешь поскорбеть и поболеть?

*Я.* Я женой моею счастлив и люблю ее.

*Она.* Любишь? Но ты ее любишь сердцем, а помыслами души все-таки одинок стоишь. Не жалей меня, что я одинока: всяк брат, кто в семье дальше братнего носа смотрит, и между своими одиноким себя увидит. У меня тоже сын есть, но уж я его третий год не видала, знать ему скучно со мною.

*Я.* Где же теперь ваш сын?

*Она.* В Польше мой сын, полком командует.

*Я.* Это доблестное дело врагов отчизны смирять.

*Она.* Не знаю я, сколько в этом доблести, что мы с этими полячишками о сю пору возимся, а по-моему, вдвое больше в этом меледы.

*Я.* Справимся-с, придет время.

*Она.* Никогда оно не придет, потому что оно уж ушло, а мы всё как кулик в болоте стояли: и нос долог и хвост долог: нос вытащим — хвост завязнет, хвост вытащим — нос завязнет. Перекачиваемся да дураков тешим: то поляков нагайками потчуем, то у их хитрых полячек ручки целуем; это грешно и мерзко так людей портить.

— А все же, — говорю, — войска наши там по крайней мере удерживают поляков, чтоб они нам не вредили.

— Ни от чего они их, — отвечает, — не удерживают; да и нам те поляки не страшны бы, когда б мы сами друг друга есть обещанья не сделали.

— Это, — говорю, — осуждение вашего превосходительства, кажется, как бы несколько излишне сурово.

*Она.* Ничего нет в правде излишне сурового.

— Вы же, — говорю, — сами, вероятно, изволите помнить двенадцатый год: сколько тогда на Руси единодушия явлено.

*Она.* Как же, как мне не помнить: я сама вот из этого самого окна глядела, как наши казачищи моих мужиков колотили и мои амбары грабили.

— Что ж это, — говорю, — может быть, что такой случай и случился, я казачьей репутации нимало не защищаю, но все же мы себя героически отстояли от того, пред кем вся Европа ниц простертою лежала.

*Она.* Да, удалось, как бог да мороз нам помогли, так мы и отстояли.

Отзыв сей, сколь пренебрежительный, столь же и несправедливый, подействовал на меня так пренеприятно, что я, даже не скрывая сей неприятности, возразил:

— Неужто же, государыня моя, в вашем мнении все в России только случайностями едиными и происходит? Дайте, — говорю, — раз случаю и два случаю, а хоть в третье уже киньте нечто уму и народным доблестям предводителей.

— Все, отец, случай, и во всем, что сего государства касается, окроме божией воли, мне доселе видятся только одни случайности. Прихлопнули бы твои раскольники Петрушу-воителя, так и сидели бы мы на своей хваленой земле до сих пор не государством великим, а вроде каких-нибудь толстогубых турецких болгар, да у самих бы этих поляков руки целовали. За одно нам хвала — что много нас: не скоро поедим друг друга; вот этот случай нам хорошая заручка.

— Грустно, — говорю.

— А ты не грусти: чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет. Да нам с тобою и говорить довольно, а то я уж устала. Прощай; а если что худое случится, то прибеги, пожалуйся. Ты не смотри на меня, что я такой гриб лафертовский: грибы-то и в лесу живут, а и по городам про них знают. А что если на тебя нападают, то ты этому радуйся; если бы ты льстив или глуп был, так на тебя бы не нападали, а хвалили бы и другим в пример ставили.

Проговорив эти слова, она оборотилась к карлице, державшей во все время нашего разговора в руках сверточек, и, передавая оный мне, сказала:

— Отдай вот это от меня своей попадье, это здесь корольки с моей шеи; два отреза на платье, да холст для домашнего обихода, а это тебе от меня альмантиновый перстень.

Подарок этот, предложенный хотя во всей простоте, все-таки меня несколько смутил, и я, глядя на нити кораллов, и на шелковые материи, и на ярко горящий альмантин, сказал:

— Государыня моя! очень благодарю вас за столь лестное ваше к нам внимание; но вещи сии столь великолепны, а жена моя женщина столь простая...

— Что ж, — перебила меня она, — тем и лучше, что у тебя простая жена; а где и на муже и на жене на обоих штаны надеты, там не бывать проку. Наилучшее дело, если баба в своей женской исподничке ходит, и ты вот ей за то на исподницы от меня это и отвези. Бабы любят подарки, а я дарить люблю. Бери же и поезжай с богом.

Вот этим она и весь разговор свой со мною окончила и, признаюсь, несказанно меня удивила. По некоей привычке к логичности, едучи обратно домой и пользуясь молчаливостью того же Николая Афанасьевича, взявшегося быть моим провожатым, я старался себе уяснить, что за сенс[1] моральный все это, что ею говорено, в себе заключает? И не нашел я тут никакой логической связи, либо весьма мало ее отыскивал, а только все лишь какие-то обрывки мыслей встречал; но такие обрывки, что невольно их помнишь, да и забыть едва ли сумеешь. Уповаю, не лгут те, кои называли сию бабу в свое время весьма мозговитою. А главное, что меня в удивление приводит, так это моя пред нею нескладность, и чему сие приписать, что я, как бы оробев сначала, примкнул язык мой к гортани и если о чем заговаривал, то все это выходило весьма скудоумное, а она разговор, словно на смех мне, поворачивала с прихотливостью, и когда я заботился, как бы мне репрезентоваться умнее, дабы хотя слишком грубо ее в себе не разочаровать, она совершенно об этом небрегла и слов своих, очевидно, не подготовляла, а и моего ума не испытывала, и вышла меж тем таковою, что я ее позабыть не в состоянии. В чем эта сила ее заключается? Полагаю, в том образовании светском, которым небрегут наши воспитатели духовные, часто впоследствии отнимая чрез это лишение у нас самонеобходимейшую находчивость и ловкость в обращении со светскими особами.

Но дню сему было определено этим не окончиться, а суждено, видно, ему было заключиться еще новым курьезом. Первая радость простодушной Наташи моей по случаю подарков не успела меня достаточно потешить, как начал свои подарки представлять нам этот достопочтеннейший и сразу все мое уважение себе получивший карло Николай Афанасьевич. По началу он презентовал мне

[1] Смысл (франц. — sens).

белой бумаги с красными каемочками вязаные помочи, а потом жене косыночку из трусиковой нежной шерсти, и не успел я странности сих новых, неожиданных подарков надивиться, как он вынул из кармана шерстяные чулки и вручил их подававшей самовар работнице нашей Аксинье. «Что это за день подарков!» — невольно воскликнул я, не смея огорчить дарителя отказом. А он на это мне ответил, что это все его собственных рук изделие. «Нужды, — говорит, — в работе, благодаря благодетельнице моей, не имея и не будучи ничему иному обучен, я постоянно занимаюсь вязанием, чтобы в праздности время не проводить и иметь удовольствие кому-нибудь нечто презентовать от трудов своих». Так мне понравилась эта простота, что я схватил сего малого человечка на грудь мою и поцелуями осыпал его чуть не до удушения.

Да закончу ли я, однако, и сим мое сегодняшнее описание? Уехавшим служителем боярыни Плодомасовой еще все чудеса дня сего не окончились. Запирая на ночь дверь переднего покоя, Аксинья усмотрела на платейной вешалке нечто висящее, как бы не нам принадлежащее, и когда мы с Наташей на сие были сею служанкой позваны, то нашли: во-первых, темно-коричневый французского гроденаплю подрясник; во-вторых, богатый гарусный пояс с пунцовыми лентами для завязок, а в-третьих, драгоценнейшего зеленого неразрезного бархату рясу; в-четвертых же, в длинном куске коленкора полное иерейское облачение.

Просто были все мы поражены сею находкой и не знали, как объяснить себе ее происхождение; но Аксинья первая усмотрела на пуговице у воротника рясы вздетую карточку, на коей круглыми, так сказать египетского штиля, буквами было написано: «Помяни, друг отец Савелий, рабу Марфу в своих молитвах». Ахнули мы, но нечего было делать, и стали разлагать по столу новое облачение. Тут еще большее нас ожидало. Только начала Наташа раскатывать епитрахиль, смотрим: из него упал запечатанный конверт на мое имя, а в том конверте пятьсот рублей с самою малою запиской, тою же рукой писанною. Пишет: «Дабы ожидающее семью твою при несчастии излишне тебя не смущало у алтаря предстоящего, купи себе хибару и возрасти тыкву; тогда спокойнее можешь о строении дела божия думать».

Ну, за что мне сие? Ну, чем я сего достоин? Отчего же она не так, как консисторский секретарь и ключарь, рассуждает, что легче устроить дело божие, не имея, где головы подклонить? Что сие и взаправду все за случайности!

Вот и ты, поп Савелий, не бездомовник! И у тебя своя хатина будет; но увы! должен добавить, что будет она случаем.

*25-е ноября.* Ездил в Плодомасовку приносить мою благодарность; но Марфа Андревна не приняла, для того, сказал карлик Никола, что она не любит, чтоб ее благодарили, но к сему, однако, прибавил: «А вы, батюшка, все-таки отлично сделали, что изволили приехать, а то они неспокойны были бы насчет вашей неблагодарности». Можно заключить, что в особе сей целое море пространное всякой своеобычливости. Так, например, новый друг мой, карлик Никола, рассказал мне, как она его желала женить и о сем хлопотала. «Для чего же сие?» — спрашиваю. «А для пыжиков, — говорит, — батюшка». Это, то есть, она желала маленьких людей развесть!.. Скажите, о чем забота! Еще ли эти, коих видим окрест себя, очень велики!

*6-е декабря.* Внес вчера в ризницу присланное от помещицы облачение и сегодня служил в оном. Прекрасно все на меня построено; а то, облачаясь до сих пор в ризы покойного моего предместника, человека роста весьма мелкого, я, будучи такою дылдой, не велелепием церковным украшался, а был в них как бы воробей с общипанным хвостом.

*9-е декабря.* Пречудно! Отец протопоп на меня дуется, а я как вин за собою против него не знаю, то спокоен.

*12-е декабря.* Некоторое объяснение было между мною и отцом благочинным, а из-за чего? Из-за ризы плодомасовской, что не так она будто в церковь доставлена, как бы следовало, и при сем добавил он, что, мол, «и разные слухи ходят, что вы от нее и еще нечто получили». Что ж, это, значит, имеет такой вид, что я будто не все для церкви пожертвованное доставил, а украл нечто, что ли?

*23-е декабря.* Вот слухи-то какие! Ах, боже мой милосердный! Ах, создатель мой всеправедный! Не говорю чести моей, не говорю лет ее, но даже сана моего, столь для

меня бесценного, и того не пощадили! Гнусники! Но сие столь недостойно, что не хочу и обижаться.

*29-е декабря.* Начинаю замечать, что и здешнее городничество не благоволит ко мне, а за что — сего отгадать не в силах. Предположил устроить у себя в доме на святках вечерние собеседования с раскольниками, но сие вдруг стало известно в губернии и сочтено там за непозволительное, и за сие усердствование дано мне замечание. Не инако думаю, как городничему поручен за мною особый надзор. Наилучше к сему, однако, пока шуточно относиться; но окропил себя святою водой от врага и соглядатая.

*1-е января.* Благослови венец благости твоея, господи, а попу Савелию новый путь в губернию. Видно, на сих супостатов и окропление мое не действует.

*7-е января.* Госпожа Плодомасова вчера по водоосвящении прямо во всем, что на ней было, окунулась в прорубь. Удивился! Спросил, — всегда ли это бывает? Говорят: всегда, и это у нее называется «мовничать».

Экой закал предивный! я бы, кажется, и жив от одной такой бани не остался.

*20-е января.* Пишу сии строки, сидя в смраднице на архиерейском подворье, при семинарском корпусе. К вине моей о собеседованиях с раскольниками присоединена пущая вина: донесено губернатору, что моим дьячком Лукьяном променена раскольникам старопечатная псалтырь из книг Деевской молельной, кои находятся у меня на сохранении. Дело такое и вправду совершилось, но я оное утаил, считая то, во-первых, за довольно ничтожное, а во-вторых, зная тому настоящую причину — бедность, которая Лукьяна-дьячка довела до сего. Но сие пустое дело мне прямо вменено в злодейское преступление, и я взят под начал и послан в семинарскую квасную квасы квасить.

*4-е февраля.* Вчера, без всякой особой с моей стороны просьбы, получил от келейника отца Троадия редкостнейшую книгу, которую, однако, даже обязан бы всегда знать, но которая на Руси издана как бы для того, чтоб ее в тайности хранить от тех, кто ее знать должен. Сие «Духовный регламент»; читал его с азартною затяжкой. Познаю во всем величие сего законодателя и понимаю тонкую предусмотрительность книгу сию хоронящих. Как иначе? Писано в ней, например: «Ведал бы всяк епископ

меру чести своей, и не высоко бы о ней мыслил. Се же того ради предлагается, дабы укротити оную весьма жестокую епископам славу, чтобы оных под руки донележе здрави суть невожено и в землю бы им подручная братия не кланялась. И оные поклонницы самоохотно и нахально стелются на землю, чтобы степень исходатайствовать себе недостойный, чтобы так неистовство и воровство свое покрыть». Следовательно, понуждая меня *стлаться* пред собою, оный понуждающий наипервее всего закон нарушает и становится преступником того сокрываемого государева регламента. Тоже писано: «Кольми паче не дерзали б грабить, под виной жестокого наказания, ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые скотины, и где видят власть своего владыки, там с великою гордостью и бесстыжием, как татары, на похищение устремляются». Великолепно, государь, великолепно!

*9-е апреля.* Возвратился из-под начала на свое пепелище. Тронут был очень слезами жены своей, без меня здесь исстрадавшейся, а еще более растрогался слезами жены дьячка Лукьяна. О себе молчав, эта женщина благодарила меня, что я пострадал за ее мужа. А самого Лукьяна сослали в пустынь, но всего только, впрочем, на один год. Срок столь непродолжительный, что семья его не истощает и не евши. Ближе к богу будет по консисторскому соображению.

*20-е апреля.* Приезжал ко мне приятный карлик и сообщил, что Марфа Андревна указала, дабы каждогодно на летнего Николу, на зимнего и на крещение я был трижды приглашаем служить к ней в плодомасовскую церковь, за что мне через бурмистра будет платимо жалованье 150 руб., по 50 руб. за обедню. Ну, уж эти случайности! Чего доброго, я их даже бояться стану.

*15-е августа.* Вернулся из губернии пономарь Евтихеич и сказывал, что между владыкой и губернатором произошла некая распря из-за взаимного визита.

*2-е октября.* Слухи о визитной распре подтверждаются. Губернатор, бывая в царские дни в соборе, имеет обычай в сие время довольно громко разговаривать. Владыка положили прекратить сие обыкновение и послали своего костыльника просить его превосходительство вести себя благопристойнее. Губернатор принял замечание весьма

амбиционно и чрез малое время снова возобновил свои громкие с жандармским полковником собеседования; но на сей раз владыка уже сами остановились и громко сказали:

— Ну, я, ваше превосходительство, замолчу и начну, когда вы кончите.

Очень это со стороны владыки одобряю.

*8-го ноября.* Получил набедренник. Не знаю, чему приписать. Разве предыдущему визитному случаю и тому, что губернатор меня не жалует.

*6-го января 1837 года.* Новая новость! Владыка на Новый год остановил губернаторскую дочь, когда она подходила к благословению в рукавичке, и сказали: «Скинь прежде с руки собачью шкуру».

А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.

*1-го февраля.* По изволению владыки, я представлен ко скуфье.

*17 марта.* Богоявленский протопоп, идучи ночью со святыми дарами от больного, взят обходными солдатами в часть, якобы был в нетрезвом виде. Владыка на другой день в мантии его посетили. О, ляше правителю, будете вы теперь сию проделку свою помнить!

*18-го мая.* Владыка переведены в другую епархию.

*16-го августа.* Был у нового владыки. Мужчина, казалось, весьма рассудительный и характерный. Разговаривали о состоянии духовенства и приказали составить о сем записку. Сказали, что я рекомендован им прежним владыкой с отличной стороны. Спасибо тебе, бедный и злопобежденный дедуня, за доброе слово!

*25-го декабря.* Не знаю, что о себе думать, к чему я рожден и на что призван? Попадья укоряет меня, что я и в сей праздник Христова рождества работаю, а я себе лучшего и удовольствия не нахожу, как сию работу. Пишу мою записку о быте духовенства с радостию такою и с любовию такою, что и сказать не умею. Озаглавил ее так: «О положении православного духовенства и о средствах, как оное возвысить для пользы церкви и государства». Думаю, что так будет добро. Никогда еще не помню себя столь счастливым и торжествующим, столь добрым и столь силы и разумения преисполненным.

*1-го апреля.* Представил записку владыке. Попадья говорит, напрасно сего числа представлял: по ее легковерным приметам, сие первое число апреля обманчиво. Заметим.

*10-го августа.* Произведен в протоиереи.

*4-го января 1839 года.* Получил пакет из консистории, и сердце мое, стесненное предчувствием, забилось радостию; но сие было не о записке моей, а дарован мне наперсный крест. Благодарю, весьма благодарю; но об участи записки моей все-таки сетую.

*8-го апреля.* Назначен благочинным. О записке слухов не имеется. Не знаю, чем бы сии трубы вострубить заставить?

*10-го апреля 1840 года.* Год уже протек, как я благочинствую. О записке слухов нету. Видно, попадья не все пустякам верит. Сегодня она меня насмешила, что я, может быть, хорошо написал, но не так подписался.

*20-го июня 1841 года.* Воду прошед яко сушу и египетского зла избежав, пою богу моему дондеже есмь. Что это со мной было? Что такое я вынес и как я изо всего этого вышел на свет божий? Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей и романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения баснь твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которою живут люди, а нужны только претексты для празднословных рацей? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей «ненужный человек», которого, по-твоему, может быть напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призовут еще раз, также противу твоей воли, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бедствиями и приключениями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти и что оно не ощущает страданий? Или же ты с своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей... О слепец! скажу я тебе, если ты мыслишь первое; о глупец! скажу тебе, если мыслишь второе и в силу сего заключения стремишься не поднять

и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться над тем, что я смраден стал, задохнувшися.

Но снисхожу от философствования к тому событию, по коему напало на меня сие философствование.

Я отрешен от благочиния и чуть не отвержен сана. А за что? А вот за что. Занотую повесть сию с подробностью.

В марте месяце сего года, в проезд чрез наш город губернатора, предводителем дворянства было праздновано торжество, и я, пользуясь сим случаем моего свидания с губернатором, обратился к оному сановнику с жалобой на обременение помещиками крестьян работами в воскресные дни и даже в двунадесятые праздники и говорил, что таким образом великая бедность народная еще более увеличивается, ибо по целым селам нет ни у кого ни ржи, ни овса... Но едва лишь только я это слово «овса» выговорил, как сановник мой возгорелся на меня гневом; прянул от меня, как от гадины, и закричал: «Да что вы ко мне с овсом пристали! Я вот, — говорит, — и то-то, и то-то, да и, наконец, я-де не Николай Угодник, я-де овсом не торгую!» Этого я не должен был стерпеть и отвечал: «Я вашему превосходительству, как человеку в делах веры не сведущему, прежде всего должен объяснить, что Николай Угодник был епископ и ничем не торговал. А затем вы должны знать, что православному народу нужны священник и дьякон, ибо до сих пор их одних мы еще у немцев не заимствовали». Рассмеявшись злобным смехом на мои слова, оный правитель подсказал мне: «Не бойтесь, отец, было бы болото, а черти найдутся». Эта последняя вещь была для меня горше первой. «Кто сии черти, и что твои мерзкие уста болотом назвали?» — подумал я в гневе и, не удержав себя в совершенном молчании, отвечал сему пану, что «уважая сан свой, я даже и его на сей раз чертом назвать не хочу». Чем же сие для меня кончилось? Ныне я *бывый* благочинный, и слава тебе творцу моему, что еще не *бывый* поп и не расстрига. Нет, сего ты, современный сочинитель повестей, должно быть не спишешь. Не постараешься, чтобы люди знали, как тяжело мне!

*3-го сентября.* Осенняя погода нагоняет на меня жесточайшую скуку. Привык я весьма постоянно действовать,

но ныне без дела тоскую и до той глупости, что даже секретно от жены часто плачу.

*27-го января 1842 года.* Купил у жида за семь рублей органчик и игорные шашки.

*18-го мая.* Взял в клетку чижа и начал учить его петь под орган.

*9-го августа.* Зачал сочинять повесть из своего духовного быта. Добрые мне женщины наши представляются вроде матери моей, дочери заштатного дьякона, всех нас своею работой кормившей; но когда думаю — все это вижу живообразно, а стану описывать — не выходит. Нет, я к сему неспособен!

*2-го марта 1845 года.* Три года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел два заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано; а второе, что события повторяются и их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегом своим, отцом Николаем, и был удивлен, как он это внял и согласился. «Да, — сказал он, — сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся». Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается.

*Новый 1846 год.* К нам начинают ссылать поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политичною заворожкой, что начинается на Западе, и пренумеровал для сего себе политическую газету.

*6-го мая 1847 года.* Прибыли к нам еще два новые поляка, ксендз Алоизий Конаркевич да пан Игнатий Чемерницкий, сей в летах самых юных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сонм соотчичей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами; но мне мнится, что здесь есть еще нечто и иное.

*20-го ноября.* Замечаю что-то весьма удивительное и непонятное: поляки у нас словно господами нашими делаются, все через них в губернии можно достигнуть, ибо Чемерницкий оному моему правителю оказывается приятель.

*5-го февраля 1849 года.* Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал: написал на поляков порядочный донос, потому что они превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем неприятелей, но от слова уже и до дела доходят. На панихиде за воинов, на брани убиенных, подняли с городничихой столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе, после чего они, улыбаясь, из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки братьев Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом дьякону, возгласил: «Много ли это!» Я понял, что это посмеяние над многолетием, и так и описал, и сего не срамлюсь и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное.

*1-го апреля.* Вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник и пригласил меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все как было, а он объявил мне, что всем этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец. Опасаюсь однако, что все сие, как назло, сказано мне первого апреля. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво.

*7-го сентября.* Первое апреля на сей раз, мнится, не обмануло: Конаркевича и Чемерницкого обоих перевели на жительство в губернию.

*25-го ноября.* Наш городничий с супругой изволили выехать: он определен в губернию полицеймейстером. Однако этак не очень еще его наказали.

*5-го декабря.* Прибыл новый городничий. Называется он капитан Мрачковский. Фамилия происходит от слова мрак. Ты, господи, веси, когда к нам что-нибудь от света приходить станет!

*9-го декабря.* Был сегодня у нового городничего на фрыштыке. Любезностью большою обладают оба — и он и жена. Подвыпив изрядно, пел нам: «Ты помнишь ли, товарищ славы бранной?» А потом сынишка его, одетый

в русской рубашке, тоже пел: «Ах, мороз, морозец, молодец ты русский!» Это что-то новые новости! Замечательность беседы сего Мрачковского, впрочем, наиболее всего заключалася для меня в рассказе о некоем профессоре Московского университета, получившем будто бы отставку за то, что на торжественном акте сказал: «Nunquam de republica desperandum» в смысле «никогда не должно отчаяваться за государство», но каким-то канцелярским мудрецом понято, что он якобы велел не отчаяваться в республике, то за сие и отставлен. Даже невероятно!

*12-го декабря.* Прочитал в газетах, что будто одному мужику, стоявшему наклонясь над водой, вскочила в рот небольшая щука и, застряв жабрами, не могла быть вытащена, отчего сей ротозей и умер. Чему же после сего в России верить нельзя? Верю и про профессора.

*20-го декабря.* Нет, первое-то апреля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего, со мною бывшего в сей приезд в губернию, вписывать, а скажу одно, что я был руган и срамлен всячески и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей *сам-то* наш прямо накинулся на меня, что «ты, дескать, уже надоел своим сутяжничеством; не на добро тебя и грамоте выучили, чтобы ты не в свое дело мешался, ябедничал да сутяжничал». Сердцеведец мой! Когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но ничего я отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное «молчи!» Избыхся всех лишних, и се, возвратясь, сижу как крапивой выпоронная наседка, и твержу себе то слово: «молчи!», и вижу, что слово сие разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным чем, не неловкостию и не необразованностию моею изъяснен, а чем бы вам мнилось? злопомнением, что меня те самые поляки не зазвали, да и пьяным не напоили, к чему я, однако, благодаря моего бога и не привержен. От малого сего к великому заключая, припоминая себе слова французской девицы Шарлоты Кордай д'Армон, как она в предказненном письме своем писала, что «у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей пожертвовать. Везде эгоизм, и все им объясняется». Оно бы, глядя на одних своих, пожалуй бы и я был склонен заключить, как Кордай д'Армон,

но, имея пред очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отучают любить Русь, поневоле должен ей противоречить и думать, что есть еще у людей любовь к своему отечеству! Вот до чего, долго живучи, домыслишься, что и ляхов за нечто похваливать станешь. Однако звучно да будет мне по вся дни сие недавно слышанное мною: «молчи». Nunquam de republica desperandum.

*2-го января 1849 года.* Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники. Противиться мне не время, однако же минутами горестно сие чувствовал; но делал ради того, дабы не перерядить попадью в дьячихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был я у городничего: он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел, а что там на сердце, про то богу известно. Но что поистине достойно смеха, то это выходка нашей модной чиновницы Бизюкиной. «Правда ли, — спросила она меня, — что вы донесли на поляков? Как это низко. Вы после этого теперь не что иное, как ябедник и доносчик. Сколько вам за это заплатили?» А я ей на это отвечал: «А вы не что иное, как дура, и к тому еще неоплатная».

*1-го января 1850 года.* Год прошел тихо и смиренно. Схоронил мою благотворительницу Марфу Андревну Плодомасову. Скончалась, пережив пятерых венценосцев: Елизавету, Петра, Екатерину, Павла и Александра, и с двумя из них танцевала на собраниях. Ждал неприятностей от Бизюкинши, которая со связями и могла потщиться пострекать меня чрез губернию, да все обошлось прекрасно: мы, русские, сколь ни яровиты порой, но, видно, незлопамятны, может потому, что за нас и заступиться некому. В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость: полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от сего траты. Курил спервоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этою сбруей обзавелся. Надо бы и бросить.

*1850 год.* Надо бросить. Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость сию не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью, Наталью Николаевну, плоха надежда: даст намек, что будто есть

у нее что-то, но выйдет сие всякий раз подобно первому апреля.

*1-го января 1857 года.* Совсем не узнаю себя. Семь лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное, зане житие мое стало сытое и привольное. Перечитывал все со дня преподобия своего здесь написанное. Достойно замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии годы. Сам не воюю, никого не беспокою и себе никакого беспокойства не вижу. «Укатали сивку крутые горки», и против рожна прати более не охота.

*20-го февраля.* Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего, поляка, на коего я доносил во дни моей молодой строптивости, пана Чемерницкого. Он женился на русской нашей богатой вдове и учинился нашим помещиком, а ныне и исправником. В господине Чемерницком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего.

*7-го апреля.* Приехал новый исправник, пан Чемерницкий, сам мне и визит сделал. О старой ссоре моей за «много ли это» и помина не делает.

*20-го мая.* Впервые читал у исправника заграничную русскую газету «Колокол» господина Искандера. Речь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычке к смелости — дико.

*2-го июня.* Вчера, на день ангела своего, справлял пир. Думал сделать сие скромненько, по моему достоянию, но Чемерницкий утром прислал целую корзину вина, и сластей, и рому, а вечером ко мне понагрянули и Чемерницкий и новый городничий Порохонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подпивши зело-зело, стал вдруг меня с Чемерницким мирить за старое, и я помирился, и просил извинения, и много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии? Сегодня утром выражал о сем мирителю Порохонцеву большое сожаление, но он сказал, что по-ихнему, по-полковому, не надо о том жалеть, когда, подпивши, целуешься, ибо это всегда лучше, чем выпив да подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивши сегодня у головы молебен, сам себя поткал в нос кропилом и назидательно сказал себе: «Не пей, поп, вина».

*23-го августа.* Читал «Записки» госпожи Дашковой и о Павле Петровиче; всё заграничного издания. Очень все

любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен, кроме что о Петре, — о нем думаю иначе. Однако спасибо Чемерницкому, что рассевает этими редкими книгами мою сильную скуку.

*9-го сентября.* Размолвился с Чемерницким на свадьбе Порохонцева. Дерзкий этот поляк, глумяся, начал расспрашивать бесхитростного Захарию, что значит, что у нас при венчании поют: «живота просише у тебе?» И начал перекор: о каком здесь животе идет речь? Я же вмешался и сказал, что он сие поймет, если ему когда-нибудь под виселицей петлю наденут.

*20-го декабря.* Я в крайнем недоумении. Дьячиха, по малосмыслию, послала своему сыну по почте рублевую ассигнацию в простом конверте, но конверт сей на почте подпечатали и, открыв преступление вдовы, посылку ее конфисковали и подвергли ее штрафу. Что на почте письма подпечатывают и читают — сие никому не новость; но как же это рублевую ассигнацию вдовицы ловят, а «Колокол», который я беру у исправника, не ловят? Что это такое: простота или воровство?

*20-го октября.* Вместо скончавшегося дьякона нашего, смиренного Прохора, прибыл из губернии новый дьякон, Ахилла Десницын. Сей всех нас больше, всех нас толще, и с такою физиономией и с такою фигурой, что нельзя, глядя на него, не удивляться силе природной произрастительности. Голос он имеет весьма добрый, нрава весьма веселого и на первый раз показался мне будто очень почтителен. Но наипаче всего этот человек нравится мне своим добродушием. Предъявлял он мне копию со своего семинарского аттестата, в коей написано: «поведения хорошего, но удобоносителен». «А что сие обозначает?» — спросил я. «Это совершенные пустяки, — объяснил он, — это больше не что, как, будучи в горячечной болезни в семинарском госпитале, я проносил больным богословам водку». И сие, мол, изрядно.

*9-го декабря.* Получил камилавку и крест св. Анны. По чьему бы, мнилось, ходатайству? А все сие по засвидетельствованию милостивца моего, пана Чемерницкого, о моей рачительности по благочинию.

*7-го марта 1858 года.* Исход Израилев был: поехали в Питер Россию направлять на все доброе все друзья мои — и губернатор, и его оный правитель, да и нашего Чемер-

ницкого за собой на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренно жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более.

*7-го декабря.* По указанию дьячка Сергея заметил, что наш новый дьякон Ахилла несколько малодушник: он многих приходящих из деревень богомольцев из ложного честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением и при сем еще как-то поддерживает левою рукой правый рукав рясы. Сказал ему, дабы он сего отнюдь себе вперед не дозволял.

*18-го июля 1859 года.* Дьякон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие со священником, я отобрал у него палку, которую он даже и права носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил.

*15-го августа.* Пировали у городничего, и на сем пиру чуть не произошел скандал, опять по поводу спора об уме, и напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то я смеялся. Дьякон Ахилла и лекарь сразились в споре обо мне: лекарь отвергал мой ум, а дьякон — возносил. Тогда на их шум, и особливо на крик лекаря, вошли мы, и я с прочими, и застали, что лекарь сидит на верху шкафа и отчаянно болтает ногами, производя стук, а Ахилла в спокойнейшем виде сидит посреди комнаты в кресле и говорит: «Не снимайте его, пожалуйста, это я его яко на водах повесих за его сопротивление». Удерживая свой смех, я достаточно дьякона за его шалость пощунял и сказал, что сила не доказательство. А он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: «А, что такое? Небось сам теперь видишь, что он министр юстиции». Предивно, что этот казаковатый дьякон как бы провидит, что я его смертельно люблю — сам за что не ведая, и он тоже меня любит, отчета себе в сем не отдавая.

*25-го августа.* Какая огромная радость! Ксендзы по Литве учредили общества трезвости: они проповедуют против пьянства, и пьянство престает, и народ остепеняется, и откупщики-кровопийцы лопаются. Ах, как бы хотелось в сем роде проповедничать!

*5-го сентября.* В некоторых православных обществах заведено то же. Боюсь, не утерплю и скажу слово! Говорил бы по мысли Кирилла Белозерского, како: «крестьяне ся пропивают, а души гибнут». Но как проповедовать без

цензуры не смею, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что делать, за неволю и патеру Игнатию Лойоле следовать станешь, когда прямою дорогой ходу нет.

*7-го октября.* Составили проект нашему обществу, но утверждения оному еще нет, а зато пишут, что винный откупщик жаловался министру на проповедников, что они не допускают народ пить. Ах ты, дерзкая каналья! Еще жаловаться смеет, да еще и министру!..

*20-го октября.* Бешеная весть! Газеты сообщают, что в июле сего года откупщики жаловались министру внутренних дел на православных священников, удерживающих народ от пьянства, и господин министр передал эту жалобу обер-прокурору святейшего синода, который отвечал, что «св. синод благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в некоторых городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина». Но откупщики не унялись и снова просили отменить указ святейшего синода, ибо, при содействии его, общества трезвости разведутся повсеместно. Тогда министр финансов сообщил будто бы обер-прокурору святейшего синода, что совершенное запрещение горячего вина, посредством сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний, не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание. Затем, сказывают, сделано распоряжение, чтобы приговоры городских и сельских обществ о воздержании уничтожить и впредь городских собраний и сельских сходок для сей цели нигде не допускать. Пей, бедный народ, и распивайся!

*8-го ноября.* В день святых и небесных сил воеводы и архистратига Михаила прислан мне пребольшущий нос, дабы не токмо об учреждении общества трезвости не злоумышлял, но и проповедовать о сем не смел, имея в виду и сие, и оное, и всякое, и овакое, опричь единой пользы человеческой... Да не полно ли мне, наконец, все это писать? Довольно сплошной срам-то свой все записывать!

*1-го января 1860 года.* Даже новогодия пропускаю и ничем оставляю не отмеченные. Сколь горяч был некогда

ко всему трогающему, столь ныне ко всему отношусь равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, говорит, что я каков был, таков и сегодня; а где тому так быть! Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама она уже Сарриных лет достигла, но а мне-то виднее... Тело-то здорово и даже толсто, да что в том проку, а душа уже как бы какою корой обрастает. Вижу, что нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически; народу то потворствуют и мирволят в его дурных склонностях, то внезапно начинают сборы податей, и поступают тогда беспощадно, говоря при сем, что сие «по царскому указу». Дивно, что всего сего как бы никто не замечает, к чему это клонит.

*27-го марта.* Запахло весной, и с гор среди дня стремятся потоки. Дьякон Ахилла уже справляет свои седла и собирается опять скакать степным киргизом. Благо ему, что его это тешит: я ему в том не помеха, ибо действительно скука неодоленная, а он мужик сложения живого, так пусть хоть в чем-нибудь имеет рассеяние.

*23-го апреля.* Ахилла появился со шпорами, которые нарочно заказал себе для езды изготовить Пизонскому. Вот что худо, что он ни за что не может ограничиться на умеренности, а непременно во всем достарается до крайности. Чтоб остановить его, я моими собственными ногами шпоры эти от Ахиллиных сапог одним ударом отломил, а его просил за эту пошлость и самое наездничество на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под епитимьей. Да что же делать, когда нельзя его не воздерживать. А то он и мечами препояшется.

*2-го сентября.* Дьячок Сергей сегодня донес мне, что дьякон ходит по ночам с ружьем на охоту и застрелил двух зайцев. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякону изрядно намылил голову.

*9-го сентября.* Однако с этим дьяконом немало хлопот: он вчера отстегал дьячка Сергея ремнем, не поручусь, что, может быть, и из мщения, что тот на него донес мне об охоте; но говорит, что будто бы наказал его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его до суда тех архиерейских слуг, коих великий император изволил озаглавить «лакомыми скотинами» и «несытыми татарами», я призвал к себе и битого и небитого и настоятельно заставил их поклониться друг другу в ноги и примириться,

и при сем заметил, что дьякон Ахилла исполнил сие со всею весьма доброю искренностью. В сем мужике, помимо его горячности, порой усматривается немало самого голубиного незлобия.

*14-го сентября.* Дьячок Сергей, придя будто бы за наполом для капусты, словно невзначай донес мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях силача и великана, будет на представлении дьякон Ахилла. Прегнусный и мстительный характер у сего Сергея.

*15-го.* Я пошел подсмотреть это представление и, не будучи сам видим, все достаточно хорошо сам видел сквозь щелочку в задних воротищах. Ахилла, точно, был, но более не зрителем, а как бы сказать актером. Он появился в большом нагольном овчинном тулупе, с поднятым и обвязанным ковровым платком воротником, скрывавшим его волосы и большую часть лица до самых глаз, но я, однако, его, разумеется, немедленно узнал, а дальше и мудрено было бы кому-нибудь его не узнать, потому что, когда привозный комедиантом великан и силач вышел в голотелесном трике и, взяв в обе руки по пяти пудов, мало колеблясь, обнес сию тяжесть пред скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: «Но что же тут во всем этом дивного!» Затем, когда великан нахально вызывал бороться с ним и никого на сие состязание охотников не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо в оный, обвязанный вокруг его головы, ковровый платок, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся: то сей гнется, то оный одолевает, и так несколько минут; но наконец Ахилла сего гордого немца сломал и, закрутив ему ноги узлом, наподобие как подают в дворянских домах жареных пулярок, взял оные десять пудов да вдобавок самого сего силача и начал со всем этим коробом ходить пред публикой, громко кричавшею ему «браво». Дивнее же всего Ахилла сделал этому финал: «Господа! — обратился он к публике, — может, кто вздумает уверять, что я кто другой: так вы ему, сделайте милость, плюньте, потому что я просто мещанин Иван Морозов из Севска». Кто-то его, изволите видеть, будто просил об этом объяснении! Но, однако, я всем этим весьма со скуки позабавился. Ах, в чем проходит жизнь! Ах, в чем уже и прошла она! Идучи назад от сараев, где

было представление, я впал в нервность какую-то и прослезился — сам о чем не ведая, но чувствуя лишь одно, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумаю молодые свои широкие планы и посравню их с продолженною мною жизнию моею! Мечтал некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь мою, уже хотя не за деланием во внешности, а за самоусовершенствованием собственным; но не философ я, а гражданин; мало мне сего: нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности, и от сего не всегда осуждаю живые наклонности моего любезного Ахиллеса. Бог прости и благослови его за его пленительную сердца простоту, в которой все его утешает и радует. Сергею-дьячку сказал, что он врет про Ахиллу, и запретил ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всею отеческою слабостию полюбил сего доброго человека.

*14-го мая 1861 года.* В какие чудесные дела может попадать человек по легкомыслию своему! Комплект шутников у нас полон и без дьякона Ахиллы, но сей, однако, никак не в силах воздержаться, чтобы еще не пополнять его собою. Городничий у тестя своего, княжеского управителя Глича, к шестерику лошадь торговал, а тот продать не желает, и они поспорили, что городничий добудет ту лошадь, и ударили о заклад. Городничий договорил за два рубля праздношатающегося мещанина Данилку, по прозвищу «комиссара», дабы тот уворовал коня у господина Глича. Прилично, видите, сие городничему на воровство посылать, хотя бы и ради потехи! Но что всего приличнее, это было моему Ахилле выхватиться с своею готовностию пособлять Данилке в этом деле. Сергей-дьячок донес мне об этом, и я заблаговременно взял Ахиллу к себе и сдал его на день под надзор Натальи Николаевны, с которою мой дьякон и провел время, сбивая ей в карафине сливочное масло, а ночью я положил его у себя на полу и, дабы он не ушел, запер до утра всю его обувь и платье. Утром же сегодня были мы все пробуждены некоторым шумом и тревогой: проскакала прямо к крыльцу городничего тройкой телега и в ней комиссар Данилка между двумя мужиками, кричащий как оглашенный. Пошли мы полюбопытствовать, чего он так кричит, и нашли, что Данилку освобождали от порт, начиненных стрекучею крапивой.

Оказывается, что господин Глич его изловил, посадил в крапиву, и слуги его привезли сего молодца назад к пославшему его. Я указал дьякону, что если б и он разделял таковую же участь с Данилкой и приехал назад, как карась весь обложенный крапивой, приятно ли бы это ему было? Но он отвечал, что не дался бы — что хотя бы даже и десять человек на него напали, он бы не дался. «Ну, — говорю, — а если бы двадцать?» — «Ну, а с двадцатью, — говорит, — уж нечего делать — двадцать одолеют» — и при сем рассказал, что однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившею партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока, «и произошла, — говорит, — тут между нами великая свалка, и братца Финогешу убили». Как это наивно и просто! Что рассказ, то и событие! Ему «жизнь — копейка».

*29-го сентября 1861 года.* Приехал из губернии сын никитской просвирни Марфы Николаевой Препотенской, Варнава. Окончил он семинарию первым разрядом, но в попы идти отказался, а прибыл сюда в гражданское уездное училище учителем математики. На вопрос мой, отчего не пожелал в духовное звание, коротко отвечал, что не хочет быть обманщиком. Не стерпев сего глупого ответа, я сказал ему, что он глупец. Однако, сколь ни ничтожным сего человека и все его мнения почитаю, но уязвлен его ответом, как ядовитой осой. Где мой проект о положении духовенства и средствах возвысить оное на достойную его степень, дабы глупец всякий над ним не глумился и враг отчизны сему не радовался? Видно, правду попадья моя сказала, что, «может быть, написал хорошо, да нехорошо подписался». Встречаю с некоей поры частые упоминания о книге, озаглавленной «О сельском духовенстве» и, пожелав ее выписать, потребовал оную, но книгопродавец из Москвы отвечает, что книга «О сельском духовенстве» есть книга запрещенная и в продаже ее нет. Вот поистине гениальная чья-то мысль: для нас, духовных, книга о духовенстве запрещена, а сии, как их называют, разного сорта «нигилисты» ее читают и цитируют!.. Ну что это за наругательство над смыслом, взаправду!

*22-го ноября.* Ездил в губернию на чреду. При двух архиерейских служениях был сослужащим и в оба раза стоял ниже отца Троадия, а сей Троадий до поступления в монашество был почитаем у нас за нечто самое малое и назывался «скорбноглавым»; но зато у него, как у цензора и, стало быть, православия блюстителя и нравов оберегателя, нашлась и сия любопытная книжка «О сельском духовенстве». О, сколько правды! сколько горькой, но благопотребнейшей правды! Мню, что отец Троадий не все здесь написанное с апробацией и удовольствием читает.

*14-го декабря.* За ранней обедней вошел ко мне в алтарь просвирнин сын, учитель Варнавка Препотенский, и просил отслужить панихиду, причем подал мне и записку, коей я особого значения не придал и потому в оную не заглянул, а только мысленно подивился его богомольности; удивление мое возросло, когда я, выйдя на панихиду, увидел здесь и нашу модницу Бизюкину и всех наших ссыльных поляков. И загадка сия недолго оставалась загадкой, ибо я тотчас же все понял, когда Ахилла стал по записке читать: «Павла, Александра, Кондратья...» Прекрасная вещь со мною сыграна! Это я, выходит, отпел панихиду за декабристов, ибо сегодня и день был тот, когда было восстание. Вперед буду умнее, ибо хотя молиться за всех могу и должен, но в дураках как-то у дураков дважды быть уж несогласен. Причту своему не подал никакого виду, и они ничего этого не поняли.

*27-го декабря.* Ахилла в самом деле иногда изобличает в себе уж такую большую легкомысленность, что для его же собственной пользы прощать его невозможно. Младенца, которого призрел и воспитал неоднократно мною упомянутый Константин Пизонский, сей бедный старик просил дьякона научить какому-нибудь пышному стихотворному поздравлению для городского головы, а Ахилла, охотно взявшись за это поручение, натвердил мальчишке такое:

Днесь Христос родился,  
А Ирод-царь взбесился:  
Я вас поздравляю  
И вам того ж желаю.

Нет; против него необходима большая строгость!

*11-го января 1863 года.* Лекарь, по обязанности службы, вскрывал одного скоропостижно умершего, и учитель

Варнава Препотенский привел на вскрытие несколько учеников из уездного училища, дабы показать им анатомию, а потом в классе говорил им: «Видели ли вы тело?» Отвечают: «Видели». — «А видели ли кости?» — «И кости, — отвечают, — видели». — «И все ли видели?» — «Все видели», — отвечают. «А души не видали?» — «Нет, души не видали». — «Ну так где же она?..» И решил им, что души нет. Я конфиденциально обратил на сие внимание смотрителя и сказал, что не премину сказать об этом при директорской ревизии.

Вот ты, поп, уже и потребовался. Воевал ты с расколом — не сладил; воевал с поляками — не сладил, теперь ладь с этою дуростью, ибо это уже плод от чресл твоих возрастает. Сладишь ли?.. Погадай на пальцах.

*2-го февраля.* Болен жабой и не выхожу из дому, и уроки в училище вместо меня преподает отец Захария. Сегодня он пришел расстроенный и сконфуженный и со слезами от преподавания уроков вместо меня отказывается, а причина сему такая. Отец Захария в прошлый урок в третьем классе задал о Промысле и истолковал его, и стал сегодня отбирать заданное; но один ученик, бакалейщика Лялина сын, способнейший мальчик Алиоша, вдруг ответил, что «он допускает только бога творца, но не признает бога промыслителя». Удивленный таким ответом, отец Захария спросил, на чем сей юный богослов основывает свое заключение, а тот отвечал, что на том, что в природе много несправедливого и жестокого, и на первое указал на смерть, неправосудно будто бы посланную всем за грехопадение одного человека. Отец Захария, вынужден будучи так этого дерзкого ответа не бросить, начал разъяснять ученикам, что мы, по несовершенству ума нашего, всему сему весьма плохие судьи, и подкрепил свои слова указанием, что если бы мы во грехах наших вечны были, то и грех был бы вечен, все порочное и злое было бы вечно, а для большего вразумления прибавил пример, что и кровожадный тигр и свирепая акула были бы вечны, и достаточно сим всех убедил. Но на вторых часах, когда отец Захария был в низшем классе, сей самый мальчик вошел туда и там при малютках опроверг отца Захарию, сказав: «А что же бы сделали нам кровожадный тигр и свирепая акула, когда мы были бы бессмертны?» Отец Захария, по добрости своей и ненаход-

чивости, только и нашелся ответить, что «ну, уж о сем люди умнее нас с тобой рассуждали». Но это столь старика тронуло, что он у меня час добрый очень плакал; а я, как назло, все еще болен и не могу выйти, чтобы погрозить этому дебоширству, в коем подозреваю учителя Варнаву.

*13-го января.* Сколь я, однако, угадчив! Алиоша Лялин выпорон отцом за свое вольнодумное рассуждение и, плача под лозами, объявил, что сему вопросу и последующему ответу научил его учитель Препотенский. Негодую страшно; но лекарь наш говорит, что выйти мне невозможно, ибо у меня будто рецидивная angina, [1] и затем проторю дорожку ad patres, [2] а сего бы еще не хотелось. Писал смотрителю записку и получил ответ, что Препотенскому, в удовлетворение моего требования, сделано замечание. Да, замечание! за растление умов, за соблазн *малых сих,* за оскорбление честнейшего, кроткого и, можно сказать, примерного служителя алтаря — замечание, а за то, что голодный дьячок променял псалтырь старую на новую, сажают семью целую на год без хлеба... О, роде лукавый!

*18-го января.* Препотенский, конечно, поощрился только этим замечанием и моего отца Захарию совсем заклевал. Этот глупый, но язвительный негодяй научил ожесточенного лозами Алиошу Лялина спросить у Захарии: «Правда ли, что пьяный человек скот?» — «Да, скот», — отвечал ничто же сумняся отец Захария. «А где же его душа в это время, ибо вы говорили-де, что у скота души нет?» Отец Захария смутился и ответил только то, что: «а ну погоди, я вот еще и про это твоему отцу скажу: он тебя опять выпорет». Для господа бога скажите, ведь становится серьезным вопросом: что делать с этим новым супостатом просвирниным сыном и научителем пакостей Варнавою.

*19-го января.* Старый бакалейщик Лялин вновь выдрал сына лозами и за сим вслед взял его совсем из училища в лавку, сказав, что «здесь не училище, а разврат содомский». Ненавижу мою несносную горловую жабу, которая мне в эти минуты стиснула гортань. Вот этот успех Вар-

---

[1] Ангина *(лат.).*
[2] К предкам *(лат.).*

навин есть живой приклад, что такое может сделать одна паршивая овца, если ее в стадо пустят! Вот также и наука к тому, что музыканту мало трезвости, а нужно и искусство. Первый приклад дает Препотенский, второй — мой отец Захария. Ради просветителя Препотенского из школы детей берут, а отец Захария, при всей чистоте души своей, ни на что ответить не может. Вот когда уши мои выше лба хотят вспрыгнуть. Да, теперь чувствуешь ли, разумный гражданин, что я не совсем дармоед и не обманщик? Чувствуешь ли? И ежели чувствуешь сие, то чувствуешь ли и то, что я хил, стар и отупел от всех оных «молчи»... А что еще там на смену мне растет? Думай о них, брате мой, думай о них, искренний мой и ближний, ибо уже ехидный враг внюду нас встал, и сей враг плоть от плоти нашея. Ныне он еще пока глуп и юродив и в Варнавкиной кожуре ходит, но старый поп, опытом наученный, говорит тебе: на страже стой и зорко следи, во что он перерядится. Где теперь Чемерницкий и оный мой правитель? Какого они плана держатся? Сколь они умнее стали с тех пор, как разговаривали в храме и пели на крыльце «много ли это» вместо «многая лета»? Пойди ныне, лови! Сунься... Они тебя поймают.

*21-го января.* Скажешь себе слово под руку, да и сам не обрадуешься. Еще и чернило с достаточною прочностию не засохло, коим писал, что «лови их, они сами тебя поймают», как вдруг уже и изловлен. Сегодня пришел ко мне городничий Порохонцев и принес копию с служебной бумаги из Петербурга. Писано, что до сведения высшего начальства дошло о распространении в наших местах газеты «Колокол» и прочих секретных сочинений и что посему вменяется в обязанность распространение сих вещей строго преследовать; а подписано — наш «Чемерницкий»! Каков!

*27-го.* Я ужасно встревожен. С гадостным Варнавой Препотенским справы нет. Рассказывал на уроке, что Иона-пророк не мог быть во чреве китове, потому что у огромного зверя кита все-таки весьма узкая глотка. Решительно не могу этого снесть, но пожаловаться на него директору боюсь, дабы еще и оттуда не ограничилось все одним легоньким ему замечанием.

*2-го февраля.* Почтмейстер Тимофей Иванович, подпечатывая письма, нашел описание Тугановского дела, спи-

санного городничим для Чемерницкого, и все сему очень смеялись. На что же сие делают, на что же и подпечатывание с болтовством, уничтожающим сей операции всякое значение, и корреспондирование революционеру от полицейского чиновника? Городничий намекал, что литераторствует для «Колокола». Не достойнее ли бы было, если бы ничего этого, ни того, ни другого, совсем не было?

*14-го февраля.* Я все еще болен и не выхожу. Читал книгу журнала, где в одной повести выводится автором поп. Рассказано, как он приехал в село и как он старается быть добрым и честным; но встречает к тому ежечасные препятствия. Хотя все это описано вскользь и без фундаментального знания нашего положения, но весьма тому радуюсь, что пришла автору такая мысль. Настал час, чтобы светские люди посмотрели на нас, а мы в свою очередь в их соображения и стремления вникли. Какой смешной наш дьякон Ахилла! Видя, что я в болезни скучаю, и желая меня рассеять, привел ко мне собачку Пизонского, ублюдочку пуделя, коему как Ахилла скажет: «Собачка, засмейся!» — она как бы и вправду, скаля свои зубы, смеется. Опять сядет пред нею большущий дьякон на корточки и повторит: «Засмейся, собачка!» — она и снова смеется. Сколь детски близок этот Ахилла к природе, и сколь все его в ней занимает!..

*17-го февраля.* Препотенский окончательно вывел меня из терпения. Я его и человеком более вовсе считать не могу после того, что он сделал, и о деяниях его написал не директору его, а предводителю Туганову. Что отродится от сего старого вольтерьянина — не знаю, но все-таки он человек земли, а не наемщик, и пожалеет ее. Варнавка делает, до чего только безумие довести может. За болезнию учителя Гонорского, Препотенскому поручено временно читать историю, а он сейчас же начал толковать о безнравственности войны и относил сие все прямо к событиям в Польше. Но этого мало ему было, и он, глумясь над цивилизацией, порицал патриотизм и начала национальные, а далее осмеивал детям благопристойность, представляя ее во многих отношениях даже безнравственною, и привел такой пример сему, что народы образованные скрывают акт зарождения человека, а не скрывают акта убийства, и даже оружия войны на плечах носят. Чего сему глупцу хочется? По правде, сие столь глупо, что

и подумать стыдно, а я все сержусь. Мелочь сие; но я ведь мелочи одни и назираю, ибо я в мале и поставлен.

*28-го февраля.* Ого! Вольтерьянин-то мой не шутит. Приехал директор. Я не вытерпел, и хотя лекарь грозил мне опасностью, однако я вышел и говорил ему о бесчинствах Препотенского; но директор всему сему весьма рассмеялся. Что это у них за смешливость! Обратил все сие в шутку и сказал, что от этого Москва не загорится, «а впрочем, — добавил он с серьезною миной, — где вы мне прикажете брать других? они все ныне такие бывают». И вышел я же в смешных дураках, как бесполезный хлопотун. Видно, так этому и быть следует.

*1-го марта.* И вправду я старый шут, верно, стал, что все надо мною потешаются. Пришли сегодня ко мне лекарь с городничим, и я им сказал, что здоровье мое от вчерашнего выхода нимало не пострадало; но они на сие рассмеялись и отвечали, что лекарь это шутя продержал меня в карантине, ибо ударился об заклад с кем-то, что, стоит ему захотеть, я месяц просижу дома. С этою целию он и запугивал меня опасностью, которой не было. Тпфу!

*14-го мая.* Препотенский, однако же, столь осмелел, что и в моем присутствии мало изменяется. Добыв у кого-то из раскольников весьма распространенную книжечку с видами, где антихрист изображен архиереем в нынешнем облачении, изъяснял, что Христос был социалист, а мы, попы и архиереи, как сему противимся, то мы и есьмы антихристы.

*20-го июля.* Отлично поправился, проехавшись по благочинию. Так свежо и хорошо в природе, на людях и мир и довольство замечается. В Благодухове крестьяне на свой счет поправили и расписали храм, но опять и здесь, при таком спокойном деле, явилось нечто в игривом духе. Изобразили в притворе на стене почтенных лет старца, опочивающего на ложе, а внизу уместили подпись: «В седьмый день господь почил от всех дел своих». Дал отцу Якову за сие замечание и картину велел замалевать.

*11-го мая 1863 года.* Позавчера служил у нас в соборе проездом владыка. Спрашивал я отца Троадия: стерта ли в Благодухове известная картина? и узнал, что картина еще существует, чем было и встревожился, но отец Троадий успокоил меня, что это ничего, и шутливо сказал, что «это в народном духе», и еще присовокупил к сему неко-

торый анекдот о душе в башмаках, и опять всё покончили в самом игривом. Эко! сколь им все весело.

*20-го июня.* Ездил в Благодухово и картину велел состругать при себе: в глупом народному духу потворствовать не нахожу нужным. Узнавал о художнике; оказалось, что это пономарь Павел упражнялся. Гармонируя с духом времени в шутливости, велел сему художнику сесть с моим кучером на облучок и, прокатив его сорок верст, отпустил пешечком обратно, чтобы имел время в сей проходке поразмыслить о своей живописной фантазии.

*12-го августа.* Дьякон Ахилла все давно что-то мурлычит. Недавно узнал, что это он вступил в польский хор и поет у Кальярского, басом, польские песни. Дал ему честное слово, что донесу о сем владыке; но простил, потому что вижу, что это учинено им по его всегдашнему легкомыслию.

*12-го октября.* Был у нас на ревизии новый губернатор. Заходил в собор и в училище, и в оба раза, и в училище и в церкви, непременно требовал у меня благословения. Человек русский и по обхождению и по фамилии. Очень еще молод, учился в сем особенном училище правоведения и из Петербурга в первый раз всего выехал, что сейчас на нем и заметно, ибо все его интересует. С особым любопытством расспрашивал о характере столкновений духовенства с властию предводительскою; но, к сожалению, я его любопытства удовлетворить не мог, ибо у нас что уездный Плодомасов, что губернский Туганов — мужи достойные, столкновений нет. Говорил, что копошенью поляков он не намерен придавать никакого значения, и выразился так: что «их просто надо игнорировать», как бы их нет, ибо «все это, — добавил, — должно стушеваться; масса их поглотит, и их следа не останется». При сем не без красноречия указал, что не должно ставить всякое лыко в строку, «ибо (его слова) все это только раздувает несогласие и отвлекает правительственных людей от их главных целей». При сем, развивая свою мысль в духе высшей же, вероятно, политики, заговорил о национальном фанатизме и нетерпимости.

*14-го ноября.* Рассказывают, что один помещик ездил к губернатору жаловаться на неисполнение крестьянами обязательств; губернатор, остановив поток его жалоб,

сказал: «Прошу вас, говоря о народе, помнить, что я демократ».

*20-го января 1863 года.* Пишу замечательную и назидательную *историю о суррогате.* Сообщают такую курьезную повесть о первом свидании сего нового губернатора с нашим предводителем Тугановым. Сей высшей политики исполненный петербургский шпис и Вольтеру нашему отрекомендовал себя демократом, за что Туганов на бале в дворянском собрании в глаза при всех его и похвалил, добавив, что это направление самое прекрасное и особенно в настоящее время идущее кстати, так как у нас уездах в трех изрядный голод и для любви к народу открыта широкая деятельность. Губернатор сему весьма возрадовался, что есть голод, но осерчал, что ему это до сих пор было неизвестно, и, подозвав своего правителя, сильно ему выговаривал, что тот его не известил о сем прежде, причем, как настоящий торопыга, тотчас же велел донести о сем в Петербург. Но правитель, оправляя перед ним свою вину, молвил, что замечаемый в тех уездах голод еще не есть настоящий голод; ибо хотя там хлеб и пропал, но зато изрядно «родилось *просо».* Отсюда и началась история. «Что такое *просо?»* — воскликнул губернатор. «Просо — суррогат хлеба», — отвечал ученый правитель, вместо того чтобы просто сказать, что из проса кашу варят, что́, может статься, удовлетворило бы и нашего правоведа, ибо он должен быть мастер варить кашу. Но, однако, случилось так, что сказано ему «суррогат». «Стыдитесь, — возразил, услыхав это слово, вышнеполитик, — стыдитесь обманывать меня, когда стоит войти в любую фруктовую лавку, чтобы знать, на что употребляется просо: в просе виноград возят!» Туганов серьезно промолчал, а через день послал из комиссии продовольствия губернатору список хлебных семян в России. Губернатор сконфузился, увидав там просо, и, призвав своего правителя, сказал: «Извините, что я вам тогда не поверил, вы правы, *просо — хлеб».* Всеискреннейше тебя, любезный демократ, сожалею! Немец хотя и полагал, что Николай Угодник овсом промышляет, но так не виноградничал.

*6-го декабря.* Постоянно приходят вести о контрах между предводителем Тугановым и губернатором, который, говорят, отыскивает, чем бы ткнуть предводителя за свое «просо», и, наконец, кажется, они столкнулись. Губер-

натор все за крестьян, а тот, Вольтер, за свои права и вольности. У одного правоведство смысл покривило, так что ему надо бы пожелать позабыть то, что он узнал, а у другого — гонору с Араратскую гору и уже никакого ни к каким правам почтения. У них будет баталия.

*20-го декабря.* Приехали на святки семинаристы, и сын отца Захарии, дающий приватные уроки в добрых домах, привез совершенно невероятную и дикую новость: какой-то отставной солдат, притаясь в уголке Покровской церкви, снял венец с чудотворной иконы Иоанна Воина и, будучи взят с тем венцом в доме своем, объяснил, что он этого венца не крал, а что, жалуясь на необеспеченность отставного русского воина, молил сего святого воинственника пособить ему в его бедности, а святой, якобы вняв сему, проговорил: «Я их за это накажу в будущем веке, а тебе на вот покуда это», и с сими участливыми словами снял будто бы своею рукой с головы оный драгоценный венец и промолвил: «Возьми». Стоит ли, кажется, такое объяснение какого-либо внимания? Но просу воздействовавшу рассуждено иначе, и от губернатора в консисторию последовал запрос: могло ли происходить таковое чудо? Разумеется, что консистория очутилась в затруднении, ибо нельзя же ей отвечать, что чудо невозможно; но к чему же, однако, это направляется? Предводитель Туганов по сему случаю секретно запротестовал и написал, что видит это действие неразумным и предпринимаемым единственно для колебания веры и для насмешки над духовенством. Таким образом, сей старый невер становится за духовенство, а обязанный защищать оное правоведец над ним издевается. Нет, кажется, и вправду уже грядет час, и ныне есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершающемся хотя малейшую странность. Самое заступление Туганова, так как оно не по ревности к вере, а по вражде к губернатору, то хотя бы это, по-видимому, и на пользу в сем настоящем случае, но, однако, радоваться тут нечему, ибо чего же можно ожидать хорошего, если в государстве все один над другим станут издеваться, забывая, что они одной короне присягали и одной стране служат? Плохо-с!

*9-го января 1864.* Сам Туганов приезжал зачем-то в Плодомасово. Я не утерпел и поехал вчера повидаться и узнать насчет его борьбы и его протеста за Иоанна Воина.

Чудно! Сей Туганов, некогда чтитель Вольтера, заговорил со мною с грустью и в наидруженнейшем тоне. Протест свой он еще не считает достаточно сильным, ибо сказал, «что я сам для себя думаю обо всем чудодейственном, то про мой обиход при мне и остается, а не могу же я разделять бездельничьих желаний — отнимать у народа то, что одно только пока и вселяет в него навык думать, что он принадлежит немножечко к высшей сфере бытия, чем его полосатая свинья и корова». Какая сухменность в этих словах, но я уже не возражал... Что уж делать! Боже! помози ты хотя *сему неверию,* а то взаправду не доспеть бы нам до табунного скитания, пожирания корней и конского ржания.

*20 мая.* По части шутовства новое преуспеяние: по случаю распространившегося по губернии вредоносного поветрия на скот и людей в губернских ведомостях напечатано внушение духовенству — наставлять прихожан, «чтобы крестьяне остерегались шарлатанского лечения знахарей и бабок, нередко расстраивающих здоровье навеки, а обращались бы тотчас за пособием к местным врачам и ветеринарам». А где же у нас сии «местные врачи и ветеринары»? Припоминаю невольно давно читанную мною старую книжечку английского писателя, остроумнейшего пастора Стерна, под заглавием «Жизнь и мнения Тристрама Шанди», и заключаю, что по окончании у нас сего патентованного нигилизма ныне начинается *шандиизм,* ибо и то и другое не есть учение, а есть особое умственное состояние, которое, по Стернову определению, «растворяет сердце и легкие и вертит очень быстро многосложное колесо жизни». И что меня еще более убеждает в том, что Русь вступила в фазу шандиизма, так это то, что сей Шанди говорил: «Если бы мне, как Санхе-Пансе, дали выбирать для себя государство, то я выбрал бы себе не коммерческое и не богатое, а такое, в котором бы непрестанно как в шутку, так и всерьез смеялись». Ей-право опасаюсь; не нас ли, убогеньких, разумел сей штуковатый Панса, ибо все это как раз к нам подходящее, и не богаты и не тороваты, а уж куда как гораздо смешливы!

*21-го мая.* Помещик Плодомасов вернулся из столицы и привез и мне, и отцу Захарии, и дьякону Ахилле весьма дорогие трости натурального камыша и показывал не-

большую стеклянную лампочку с горящею жидкостью «керосин», или горное масло, что добывается из нефти.

*9-го июня 1865 года.* Я допустил в себе постыдную мелочность с тростями, о которых выше писал, и целая прошедшая жизнь моя опрокинулась как решето и покрыла меня. Я сижу под этим решетом как ощипанный грач, которого злые ребята припасли, чтобы над ним потешаться. Вот поистине печальнейшая сторона житейского измельчания: я обмелел, обмелел всемерно и даже до того обмелел, что безгласной бумаге суетности своей доверить не в состоянии, а скажу вкратце: меня смущало, что у меня и у Захарии одинаковые трости и почти таковая же подарена Ахилле. Боже! на то ли я был некогда годен, чтобы за тросточку обижаться или, что еще хуже, ухищряться об ее отличии? Нет, не такой я был, не пустяки подобные меня влекли, а занят я был мыслью высокою, чтоб, усовершив себя в земной юдоли, увидеть невечерний свет и возвратить с процентами врученный мне от господа талант».

Этим оканчивались старые туберозовские записи, дочитав которые старик взял перо и, написав новую дату, начал спокойно и строго выводить на чистой странице: «Было внесено мной своевременно, как однажды просвирнин сын, учитель Варнава Препотенский, над трупом смущал неповинных детей о душе человеческой, говоря, что никакой души нет, потому что нет ей в теле видимого гнездилища. Гнев мой против сего пустого, но вредного человека был в оные времена умными людьми признан суетным, и самый повод к сему гневу найден не заслуживающим внимания. Ныне новое происшествие: когда недавно был паводок, к городскому берегу принесло откуда-то сверху неизвестное мертвое тело. Мать Варнавки, бедненькая просвирня, сегодня сказала мне в слезах, что лекарь с городничим, вероятно по злобе к ее сыну или в насмешку над ним, подарили ему оного утопленника, а он, Варнавка, по глупости своей этот подарок принял, сварил мертвеца в корчагах, в которых она доселе мирно золила свое белье, и отвар вылил под апортовую яблоньку, а кости, собрав, повез в губернский город, и что чрез сие она опасается, что ее драгоценного сына возьмут как

убийцу с костями сего человека. Ее я, как умел, успокоил, а городничего просил объяснить, «для каких надобностей труп утонувшего человека, подлежащий после вскрытия церковному погребению, был отдан ими учителю Варнавке?» И получил в ответ, что это сделано ими «в интересах просвещения», то есть для образования себя, Варнавки, над скелетом в естественных науках. Пресмешно, какое рачение о науке со стороны людей, столь от нее далеких, как городничий Порохонцев, проведший полжизни в кавалерийской конюшне, где учатся коням хвост подвязывать, или лекарь-лгун, принадлежащий к той науке, члены которой учеными почитаются только от круглых невежд, чему и служит доказательством его грубейшая нелепица, якобы он, выпив по ошибке у Плодомасова вместо водки рюмку осветительного керосина, имел де целую неделю живот свой светящимся. Но как бы там ни было, а сваренный Варнавкой утопленник превратился в скелет. Кости Варнавка отвез в губернию к фельдшеру в богоугодное заведение. Сей искусник в анатомии позацеплял все эти косточки одну за другую и составил скелет, который привезен сюда в город и ныне находится у Препотенского, укрепившего его на окне своем, что выходит как раз против алтаря Никитской церкви. Там он и стоит, служа постоянным предметом сбора уличной толпы и ссоры и настроений домашних у Варнавки с его простоватою матерью. Мертвец сей начал мстить за себя. Еженощно начал он сниться несчастливой матери сего ученого и смущает покой старухи, неотступно требуя у нее себе погребения. Бедная и вполне несчастливая женщина эта молилась, плакала и, на коленях стоя, просила сына о даровании ей сего скелета для погребения и, натурально, встретила в сем наирешительнейший отпор. Тогда она решилась на меру некоего отчаяния и в отсутствие сына собрала кости в небольшой деревянный ковчежец, и снесла оные в сад, и своими старческими руками закопала эти кости под тою же апортовою яблонью, под которую вылито Варнавкой разваренное тело несчастливца. Но все это вышло неудачно, ибо ученый сынок обратно их оттуда ископал, и началась с сими костями новая история, еще по сие время не оконченная. Просто смеху и сраму достойно, что из сего последовало! Похищали они эти кости друг у дружки до тех пор, пока мой дьякон Ахилла,

которому до всего дело, взялся сие прекратить и так немешкотно приступил к исполнению этой своей решимости, что я не имел никакой возможности его удержать и обрезонить, и вот точно какое-то предощущение меня смущает, как бы из этого пустяка не вышло какой-нибудь вредной глупости для людей путных. А кроме того, я ужасно расстроился разговорами с городничим и с лекарем, укорявшими меня за мою *ревнивую* (по их словам) *нетерпимость к неверию,* тогда как, думается им, веры уже никто не содержит, не исключая-де и тех, кои официально за нее заступаются. Верю! По вере моей и сему верю и даже не сомневаюсь, но удивляюсь, откуда это взялась у нас такая ожесточенная вражда и ненависть к вере? Происходит ли сие от стремлений к свободе; но кому же вера помехой в делах всяческих преуспеяний к исканию свободы? Отчего настоящие мыслители так не думали?»

Отец Савелий глубоко вздохнул, положил перо, еще взглянул на свой дневник и словно еще раз общим генеральным взглядом окинул всех, кого в жизнь свою вписал он в это не бесстрастное поминанье, закрыл и замкнул свою демикотоновую книгу в ее старое место. Затем он подошел к окну, приподнял спущенную коленкоровую штору и, поглядев за реку, выпрямился во весь свой рост и благодарственно перекрестился. Небо было закрыто черными тучами, и редкие капли дождя уже шлепали в густую пыль; это был дождь, прошенный и моленный Туберозовым прошедшим днем на мирском молебне, и в теперешнем его появлении старик видел как бы знамение, что его молитва не бездейственна. Старый Туберозов шептал слова восторженных хвалений и не заметил, как по лицу его тихо бежали слезы и дождь все частил капля за каплей и, наконец, засеял как сквозь частое сито, освежая влажною прохладой слегка воспаленную голову протопопа, который так и уснул, как сидел у окна, склонясь головой на свои белые руки.

Между тем безгромный, тихий дождь пролил, воздух стал чист и свеж, небо очистилось, и на востоке седой сумрак начинает серебриться, приготовляя место заре дня иже во святых отца нашего Мефодия Песношского, дня,

которому, как мы можем вспомнить, дьякон Ахилла придавал такое особенное и, можно сказать, великое значение, что даже велел кроткой протопопице записать у себя этот день на всегдашнюю память.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рассвет быстро яснел, и пока солнце умывалось в тумане за дымящимся бором, золотые стрелы его лучей уже остро вытягивались на горизонте. Легкий туман всполохнулся над рекой и пополз вверх по скалистому берегу; под мостом он клубится и липнет около черных и мокрых свай. Из-под этого тумана синеет бакша и виднеется белая полоса шоссе. На всем еще лежат тени полусвета, и нигде, ни внутри домов, ни на площадях и улицах, не заметно никаких признаков пробуждения.

Но вот на самом верху крутой, нагорной стороны Старого Города, над узкою крестовою тропой, что ведет по уступам кременистого обрыва к реке, тонко и прозрачно очерчиваются контуры весьма странной группы. При слабом освещении, при котором появляется эта группа, в ней есть что-то фантастическое. Посредине ее стоит человек, покрытый с плеч до земли ниспадающим длинным хитоном, слегка схваченным в опоясье. Фигура эта появилась совершенно незаметно, точно выплыла из редеющего тумана, и стоит неподвижно, как привидение.

Суеверный человек может подумать, что это старогородский домовой, пришедший повздыхать над городом за час до его пробуждения.

Однако все более и более яснеющий рассвет с каждым мгновением позволяет точнее видеть, что это не домовой, и не иной дух, хотя в то же время все-таки и не совсем что-либо обыкновенное. Теперь мы видим, что у этой фигуры руки опущены в карманы. Из одного кармана торчит очень длинный прут с надвязанною на его конце пращой, или по крайней мере рыболовною лесой, из другого — на четырех бечевах висит что-то похожее на тяжелую палицу. Но вот шелохнул ветерок, по сонной реке тихо сверкнуло мелкой рябью, за узорною решеткой соборного храма встрепенулись листочки берез, и пустые

складки широких покровов нагорной статуи задвигались тихо и открыли тонкие ноги в белых ночных панталонах. В эту же секунду, как обнажились эти тонкие ноги, взади из-за них неожиданно выставилось четыре руки, принадлежащие двум другим фигурам, скрывавшимся на втором плане картины. Услужливые руки эти захватили раздутые полы, собрали их и снова обернули ими тоненькие белые ноги кумира. Теперь стоило только взглянуть поприлежнее, и можно было рассмотреть две остальные фигуры. Справа виднелась женщина. Она бросалась в глаза прежде всего непомерною выпуклостью своего чрева, на котором высоко поднималась узкая туника. В руках у этой женщины медный блестящий щит, посредине которого был прикреплен большой пук волос, как будто только что снятых с черепа вместе с кожей. С другой стороны, именно слева высокой фигуры, выдавался широкобородый, приземистый, черный дикарь. Под левою рукой у него было что-то похожее на орудия пытки, а в правой — он держал кровавый мешок, из которого свесились книзу две человеческие головы, бледные, лишенные волос и, вероятно, испустившие последний вздох в пытке. Окрест этих трех лиц совсем веяло воздухом северной саги. Но вот свет, ясное солнце всплыло еще немножко повыше, и таинственной саги как не бывало. Это просто три живые, хотя и весьма оригинальные человека. Они и еще постояли с минуту и потом двинулись книзу. Спустясь шагов десять, они снова остановились, и тот, который был из них выше других и стоял впереди, тихонько промолвил:

— Смотри, брат Комарь, а ведь их что-то нынче не видно!

— Да, не видать, — отвечал чернобородый Комарь.

— Да ты получше смотри! .

Комарь воззрился за реку и через секунду опять произнес:

— Нечего смотреть: никого не видать.

— А в городе, господи, тишь-то какая!

— Сонное царство, — заметила тихо фигура, державшая медный щит под рукой.

— Что ты говоришь, Фелиси? — спросила, не расслышав, худая фигура.

— Я докладываю вам, Воин Васильевич, что в городе сонное царство, — проговорила в ответ женщина.

— Да, сонное царство; но скоро начнут просыпаться. Вот погляди-ка, Комарь, оттуда уж, кажется, кто-то бултыхнул?

Фигура кивнула налево к острову, с которого легкий парок подымался и тихо клубился под мостом.

— Бултыхнул и есть, — ответил Комарь и начал следить за двумя тонкими кружками, расширявшимися по тихой воде. В центре переднего из этих кружков, тихо качаясь, вертелось что-то вроде зрелой, желтой тыквы.

— Ах он, каналья! опять прежде нас бултыхнул, не дождавшись начальства.

— А вон и оттуда готов,— молвил бесстрастно Комарь.

— Может ли быть! Ты врешь, Комарище.

— А вон! поглядите, вон, идут уж над самою рекой!

Все три путника приложили ладони к бровям и, поглядев за реку, увидали, что там выступало что-то рослое и дебелое, с ног до головы повитое белым саваном: это «что-то» напоминало как нельзя более статую Командора и, как та же статуя, двигалось плавно и медленно, но неуклонно приближаясь к реке.

В эти минуты светозарный Феб быстро выкатил на своей огненной колеснице еще выше на небо; совсем разредевший туман словно весь пропитало янтарным тоном. Картина обагрилась багрецом и лазурью, и в этом ярком, могучем освещении, весь облитый лучами солнца, в волнах реки показался нагой богатырь с буйною гривой черных волос на большой голове. Он плыл против течения воды, сидя на достойном его могучем красном коне, который мощно рассекал широкою грудью волну и сердито храпел темно-огненными ноздрями.

Все эти пешие лица и плывущий всадник стремятся с разных точек к одному пункту, который, если бы провести от них перекрестные линии, обозначился непременно на выдающемся посредине реки большом камне. В первой фигуре, которая спускается с горы, мы узнаем старогородского исправника Воина Васильевича Порохонцева, отставного ротмистра, длинного худого добряка, разрешившего в интересах науки учителю Варнаве Препотенскому воспользоваться телом утопленника. На этом сухом и длинном меценате надет масакового цвета шелковый халат, а на голове остренькая гарусная ермолка; из одного

его кармана, где покоится его правая рука, торчит тоненькое кнутовище с навязанным на нем длинным выводным кнутом, а около другого, в который засунута левая рука городничего, тихо показываются огромная, дочерна закуренная пенковая трубка и сафьяновый восточный кисет с охотницким ремешком.

У него за плечом слева тихо шагает его главный кучер Комарь, баринов друг и наперсник, давно уже утративший свое крестное имя и от всех называемый Комарем. У Комаря вовсе не было с собой ни пытальных орудий, ни двух мертвых голов, ни мешка из испачканной кровью холстины, а он просто нес под мышкой скамейку, старенький пунцовый коверчик да пару бычьих туго надутых пузырей, связанных один с другим суконною покромкой.

Третий лик, за четверть часа столь грозный, с медным щитом под рукой, теперь предстает нам в скромнейшей фигуре жены Комаря. «Мать Фелисата», — так звали эту особу на дворне, — была обременена довольно тяжелою ношей, но вся эта ноша тоже отнюдь не была пригодна для битвы. Прежде всего она несла свое чрево, служившее приютом будущему юному Комаренку, потом под рукой у нее был ярко заблиставший на солнце медный таз, а в том тазе мочалка, в мочалке — суконная рукавичка, в суконной рукавичке — кусочек камфарного мыла; а на голове у нее лежала вчетверо сложенная белая простыня.

Картина самого тихого свойства.

Под белым покровом шедшая тихо с Заречья фигура тоже вдруг потеряла свою грандиозность, а с нею и всякое подобие с Командором. Это шел человек в сапогах из такой точно кожи, в какую обута нога каждого смертного, носящего обувь. Шел он спокойно, покрытый до пят простыней, и когда, подойдя к реке, сбросил ее на траву, то в нем просто-напросто представился дебелый и нескладный белобрысый уездный лекарь Пуговкин.

В кучерявом нагом всаднике, плывущем на гнедом долгогривом коне, узнается дьякон Ахилла, и даже еле мелькающая в мелкой ряби струй тыква принимает знакомый человеческий облик: на ней обозначаются два кроткие голубые глаза и сломанный нос. Ясно, что это не тыква, а лысая голова Константина Пизонского, старческое тело которого скрывается в свежей влаге.

Пред нами стягивается на свое урочное место компания старогородских купальщиков, которые издавна обыкновенно встречаются здесь таким образом каждое утро погожего летнего дня и вместе наслаждаются свежею, утреннею ванной. Посмотрим на эту сцену.

Первый сбросил с себя свою простыню белый лекарь, через минуту он снял и второй свой покров, свою розовую серпянковую сорочку, и вслед за тем, шибко разбежавшись, бросился кувырком в реку и поплыл к большому широкому камню, который возвышался на один фут над водой на самой средине реки. Этот камень действительно был центром их сборища.

Лекарь в несколько взмахов переплыл пространство, отделявшее его от камня, вскочил на гладкую верхнюю площадь камня и, захохотав, крикнул:

— Я опять прежде всех в воде! — И с этим лекарь гаркнул Ахилле: — Плыви скорей, фараон! Видишь ли ты его, чертушку? — опять, весело смеясь, закричал он исправнику и снова, не ожидая ответа от ротмистра, звал уже Пизонского, поманивая его тихонько, как уточку: — Гряди, плешиве! гряди, плешиве!

Меж тем к исправнику, или уездному начальнику, который не был так проворен и еще оставался на суше, в это время подошла Фелисата: она его распоясала и, сняв с него халат, оставила в одном белье и в пестрой фланелевой фуфайке.

Так этот воин еще приготовлялся к купанью, тогда как лекарь, сидя на камне и болтая в воде ногами, вертелся во все стороны и весело свистал и вдруг неожиданно так громко треснул подплывшего к нему Ахиллу ладонью по голой спине, что тот даже вскрикнул, не от удара, а от громогласного звука.

— За что это так громко дерешься? — воскликнул дьякон.

— Не хватай меня за тело, — отвечал лекарь.

— А если у меня такая привычка?

— Отвыкай, — отозвался снова, громко свистя, лекарь.

— Я и отвыкаю, да забываюсь.

Лекарь ничего не ответил и продолжал свистать, а дьякон, покачав головой, плюнул и, развязав шнурочек, которым был подпоясан по своему богатырскому телу,

снял с этого шнурочка конскую скребницу и щетку и начал усердно и с знанием дела мыть гриву своего коня, который, гуляя на чембуре, выгибал наружу ладьистую спину и бурливо пенил коленами воду.

Этот пейзаж и жанр представляли собою простоту старогородской жизни, как увертюра представляет музыку оперы; но увертюра еще не окончена.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На левом берегу, где оставался медлительный градоначальник, кучер Комарь разостлал ковер, утвердил на нем принесенную скамейку, покачал ее вправо и влево и, убедясь, что она стоит крепко, возгласил:

— Садитесь, Воин Васильевич; крепко!

Порохонцев подошел поспешно к скамье, еще собственноручно пошатал ее и сел не прежде, как убедясь, что скамья действительно стоит крепко. Едва только барин присел, Комарь взял его сзади под плечи, а Комарева жена, поставив на ковер таз с мочалкой и простыней, принялась разоблачать воинственного градоначальника. Сначала она сняла с него ермолку, потом вязаную фуфайку, потом туфли, носки, затем осторожно наложила свои ладони на сухие ребра ротмистра и остановилась, скосив в знак внимания набок свою голову.

— Что, Фелиси, кажется, уже ничего: кажется, можно ехать? — спросил Порохонцев.

— Нет, Воин Васильич, еще пульсы бьются, — отвечала Фелисата.

— Ну, надо подождать, если бьются: а ты, Комарь, бултыхай.

— Да я бултыхну.

— Ты бултыхай, братец, бултыхай! Ты оплыви разок, да и выйди, и поедем.

— Не был бы я тогда только, Воин Васильевич, очень скользкий, чтобы вы опять по-анамеднешнему не упали?

— Нет, ничего; не упаду.

Комарь сбросил с себя, за спиной своего господина, рубашку и, прыгнув с разбегу в воду, шибко заработал руками.

— Ишь как лихо плавает твой Комарище! — проговорил Порохонцев.

— Отлично, — отвечала Комариха, по-видимому нимало не стесняясь сама и не стесняя никого из купальщиков своим присутствием.

Фелисата, бывшая крепостная девушка Порохонцева, давно привыкла быть нянькой своего больного помещика и в ухаживаниях за ним различие пола для нее не существовало. Меж тем Комарь оплыл камень, на котором сидели купальщики, и, выскочив снова на берег, стал спиной к скамье, на которой сидел градоначальник, и изогнулся глаголем.

Воин Васильевич взлез на него верхом, обхватился руками за шею и поехал на нем в воду. Ротмистр обыкновенно таким образом выезжал на Комаре в воду, потому что не мог идти босою ногой по мелкой щебенке, но чуть вода начинала доставать Комарю под мышки, Комарь останавливался и докладывал, что камней уж нет и что он чувствует под ногами песок. Тогда Воин Васильевич слезал с его плеч и ложился на пузыри. Так было и нынче: сухой градоначальник лег, Комарь толкнул его в пятки, и они оба поплыли к камню и оба на него взобрались. Небольшой камень этот, возвышающийся над водой ровною и круглою площадью фута в два в диаметре, служил теперь помещением для пяти человек, из коих четверо: Порохонцев, Пизонский, лекарь и Ахилла, размещались по краям, усевшись друг к другу спинами, а Комарь стоял между ними в узеньком четыреугольнике, образуемом их спинами, и мыл голову своего господина, остальные беседовали. Пизонский, дергая своим кривым носом, рассказывал, что, как вчера смерклось, где-то ниже моста в лозах села пара лебедей и ночью под дождичек все гоготали.

— Лебеди кричали — это к чьему-то прилету, — заметил Комарь, продолжая усердно намыливать баринову голову.

— Нет, это просто к хорошему дню, — ответил Пизонский.

— Да и кому к нам прилететь? — вмешался лекарь, — живем как кикиморы, целый век ничего нового.

— А на что нам новое? — ответил Пизонский. — Все у нас есть; погода прекрасная, сидим мы здесь на камушке,

никто нас не осуждает; наги мы, и никто нас не испугает. А приедет новый человек, все это ему покажется не так, и пойдет он разбирать...

— Пойдет разбирать, зачем они голые сидят? — фамильярно перебил Комарь.

— Спросит: зачем это держат такого начальника, которого баба моет? — подсказал лекарь.

— А ведь и правда! — воскликнул, тревожно поворотясь на месте, ротмистр.

Комарь подул себе в усы, улыбнулся и тихо проговорил:

— Скажет: зачем это исправник на Комаре верхом ездит?

— Молчи, Комарище!

— Полюбопытствуют, полюбопытствуют и об этом, — снова отозвался кроткий Пизонский, и вслед за тем вздохнул и добавил: — А теперь без новостей мы вот сидим как в раю; сами мы наги, а видим красу: видим лес, видим горы, видим храмы, воды, зелень; вон там выводки утиные под бережком попискивают; вон рыбья мелкота целою стаей играет. Сила господня!

Звук двух последних слов, которые громче других произнес Пизонский, сначала раскатился по реке, потом еще раз перекинулся на взгорье и, наконец, несколько гулче отозвался на Заречье. Услыхав эти переливы, Пизонский поднял над своею лысою головой устремленный вверх указательный палец и сказал:

— Трижды сила господня тебе отвечает: чего еще лучше, как жить в такой тишине и в ней все и окончить.

— Правда, истинная правда, — отвечал, вздохнув, ротмистр. — Вот мы с лекарем маленькую новость сделали: дали Варнаве мертвого человека сварить, а и то сколько пошло из этого вздора! Кстати, дьякон: ты, брат, не забудь, что ты обещал отобрать у Варнавки эти кости!

— Что мне забывать; я не аристократ, чтобы на меня орать сто крат; я что обещал, то и сделал.

— Как, сделал? Неужто и сделал?

— А разумеется, сделал.

— Дьякон, ты это врешь, голубчик.

Ахилла промолчал.

— Что ж ты молчишь? Расскажи же, как ты это отобрал у него эти кости? А? Да что ты, какого черта нынче солидничаешь?

— А отчего же мне и не солидничать, когда мне талия моя на то позволяет? — отозвался не без важности Ахилла. — Вы с лекарем нагадили, а я ваши глупости исправил; влез к Варнавке в окошко, сгреб в кулечек все эти кости...

— И что же дальше, Ахиллушка? Что, милый, дальше, что?

— Да вот тут бестолковщина вышла.

— Говори же скорей, говори!

— А что говорить, когда я сам не знаю, кто у меня их, эти кости, назад украл.

Порохонцев подпрыгнул и вскричал:

— Как, опять украдены?

— То есть как тебе сказать украдены? Я не знаю, украдены они или нет, а только я их принес домой и все как надо высыпал на дворе в тележку, чтобы схоронить, а теперь утром глянул: их опять нет, и всего вот этот один хвостик остался.

Лекарь захохотал.

— Чего ты смеешься? — проговорил слегка сердившийся на него дьякон.

— Хвостик у тебя остался?

Ахилла рассердился.

— Разумеется, хвостик, — отвечал он, — а то это что же такое?

Дьякон отвязал от скребницы привязанную веревочкой щиколоточную человеческую косточку и, сунув ее лекарю, сухо добавил: «На, разглядывай, если тебе не верится».

— Да разве у людей бывают хвостики?

— А то разве не бывают?

— Значит, и ты с хвостом?

— Я? — переспросил Ахилла.

— Да, ты.

Лекарь опять расхохотался, а дьякон побледнел и сказал:

— Послушай, отец лекарь, ты шути, шути, только пропорцию знай: ты помни, что я духовная особа!

— Ну да ладно! Ты скажи хоть, где у тебя астра́гелюс?

Незнакомое слово «астра́гелюс» произвело на дьякона необычайное впечатление: ему почудилось что-то чрезвычайно обидное в этом латинском названии щиколотки, и он, покачав на лекаря укоризненно головой, глубоко вздохнул и медленно произнес:

— Ну, никогда я не ожидал, чтобы ты был такой подлец!

— Я подлец?

— А разумеется, после того как ты смел меня, духовное лицо, такую глупость спросить, — ты больше ничего как подлец. А ты послушай: я тебе давеча спустил, когда ты пошутил про хвостик, но уж этого ты бойся.

— Ужасно!

— Нет, не ужасно, а ты в самом деле бойся, потому что мне уж это ваше нынешнее вольномыслие надоело и я еще вчера отцу Савелью сказал, что он не умеет, а что если я возьмусь, так и всю эту вольнодумную гадость, которая у нас завелась, сразу выдушу.

— Да разве astragelus сказать — это вольнодумство?

— Цыть! — крикнул дьякон.

— Вот дурак, — произнес, пожав плечами, лекарь.

— Цыть! — загремел Ахилла, подняв свой кулак и засверкав грозно глазами.

— Тьфу, осел; с ним нельзя говорить!

— А, а, я осел; со мной нельзя говорить! Ну, брат, так я же вам не Савелий; пойдем в омут?

И с этими словами дьякон, перемахнув в левую руку чембур своего коня, правою обхватил лекаря поперек его тела и бросился с ним в воду. Они погрузились, выплыли и опять погрузились. Хотя по действиям дьякона можно было заключить, что он отнюдь не хотел утопить врача, а только подвергал пытке окунаньем и, барахтаясь с ним, держал полегоньку к берегу; но три человека, оставшиеся на камне, и стоявшая на противоположном берегу Фелисата, слыша отчаянные крики лекаря, пришли в такой неописанный ужас, что подняли крик, который не мог не произвесть повсеместной тревоги.

Так дьякон Ахилла начал искоренение водворившегося в Старгороде пагубного вольномыслия, и мы будем видеть, какие великие последствия повлечет за собою это энергическое начало.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Крик и шум, поднятый по этому случаю купальщиками, пробудил еле вздремнувшего у окна протопопа; старик испугался, вскочил и, взглянув за реку, решительно не мог себе ничего объяснить, как под окном у него остановилось щегольское тюльбюри, запряженное кровною серою лошадью. В тюльбюри сидела молодая дама в черном платье: она правила лошадью сама, а возле нее помещался рядом маленький казачок. Это была молодая вдова, помещица Александра Ивановна Серболова, некогда ученица Туберозова, которую он очень любил и о которой всегда отзывался с самым теплым сочувствием. Увидав протопопа, молодая дама приветливо ему поклонилась и дружественно приветствовала.

— Александра Ивановна, приймите дань моего наиглубочайшего почтения! — отвечал протопоп. — Всегдашняя радость моя, когда я вас вижу. Жена сейчас встанет, позвольте мне просить вас ко мне на чашку чая.

Но дама отказалась и сказала, что она приехала с тем, чтобы помолиться об усопшем муже, и просит Туберозова поспешить для нее в церковь.

— Готов к вашим услугам.

— Пожалуйста; вы начинайте обедню, а я заеду на минутку к старушке Препотенской, она иначе обидится.

С этими словами дама кивнула головой, и легкий экипажец ее скрылся. Протопоп Савелий начал спешно делать свой всегда тщательно содержимый туалет, послал девочку велеть ударить к заутрене и велел ей забежать за дьяконом Ахиллой, а сам стал пред кивотом на правило. Через полчаса раздался удар соборного колокола, а через несколько минут позже и девочка возвратилась, но возвратилась с известием, что дьякона Ахиллу она не только не нашла, но что никому не известно и где он. Ждать было некогда, и отец Туберозов, взяв свою трость с надписью «жезл Ааронов расцвел», вышел из дому и направился к собору. Не прошло затем и десяти минут, как глазам протопопицы, Натальи Николаевны, предстал дьякон Ахилла. Он был, что называется, весь вне себя.

— Маменька, — воскликнул он, — все, что я вчера вам обещал о мертвых костях, вышло вздор.

— Ну, я так тебе и говорила, что это вздор, — отвечала Наталья Николаевна.

— Нет, позвольте же, надо знать, почему этот вздор выходит? Я вчера, как вам и обещал, — я этого сваренного Варнавкой человека останки, как следует, выкрал у него в окне, и снес в кульке к себе на двор, и высыпал в телегу, но днесь поглядел, а в телеге ничего нет! Я же тому не виноват?

— Да кто ж тебя винит?

— То-то и есть: я даже впал в сомнение, не схоронил ли я их ночью да не заспал ли, но на купанье меня лекарь рассердил, и потом я прямо с купанья бросился к Варнаве, окошки закрыты болтами, а я заглянул в щелочку и вижу, что этот обваренный опять весь целиком на крючочке висит! Где отец протопоп? Я все хочу ему рассказать.

Наталья Николаевна послала дьякона вслед за мужем, и шагистый Ахилла догнал Туберозова на полудороге.

— Чего это ты так... и бежишь, и пыхтишь, и сопишь, и топочешь? — спросил его, услышав его шаги, Савелий.

— Это у меня... отец Савелий, всегда, когда бежу... Вы разве не заметили?

— Нет, я этого не замечал, а ты отчего же об этом лекарю не скажешь, он может помочь.

— Ну вот, лекарю! Не напоминайте мне, пожалуйста, про него, отец Савелий, да и он ничего не поможет. Мне венгерец такого лекарства давал, что говорит: «только выпей, так не будешь ни сопеть, ни дыхать!», однако же я все выпил, а меня не взяло. А наш лекарь... да я, отец протопоп, им сегодня и расстроен. Я сегодня, отец протопоп, вскипел на нашего лекаря. Ведь этакая, отец протопоп, наглость... — Дьякон пригнулся к уху отца Савелия и добавил вслух: — Представьте вы себе, какая наглость!

— Ничего особенного не вижу, — отвечал протопоп, тихо всходя на ступени собора, — astragelus есть кость во щиколотке, и я не вижу, для чего ты мог тут рассердиться.

Дьякон сделал шаг назад и в изумлении воскликнул:

— Так это щиколотка!

— Да.

Ахилла ударил себя ладонью по лбу и еще громче крикнул:

— Ах я дурак!

— А что ты сделал?

— Нет, вы, сделайте милость, назовите меня, пожалуйста, дураком!

— Да скажи, за что назвать?

— Нет, уж вы смело называйте, потому что я ведь этого лекаря чуть не утопил.

— Ну, изволь, братец, исполняю твою просьбу: воистину ты дурак, и я тебе предсказываю, что если ты еще от подобных своих глупых обычаев не отстанешь, то ты без того не заключишь жизнь, чтобы кого-нибудь не угодить насмерть.

— Полноте, отец Савелий, я не совсем без понятий.

— Нет, не «полноте», а это правда. Что это в самом деле, ты духовное лицо, у тебя полголовы седая, а между тем куда ты ни оборотишься, всюду у тебя скандал: там ты нашумел, тут ты накричал, там то повалил, здесь это опрокинул; так везде за собой и ведешь беспорядок.

— Да что же такое, отец Савелий, я валяю и опрокидываю? Ведь этак круглым числом можно на человека невесть что наговорить.

— Постоянно, постоянно за тобой по пятам идет беспорядок!

— Не знаю я, отчего это так, и все же таки, значит, это не по моей вине, а по нескладности, потому что у меня такая природа, а в другую сторону вы это напрасно располагаете. Я скорее за порядок теперь стою, а не за беспорядок, и в этом расчислении все это и сделал.

И вслед за сим Ахилла скороговоркой, но со всеми деталями рассказал, как он вчера украл костяк у Варнавы Препотенского и как этот костяк опять пропал у него и очутился на старом месте. Туберозов слушал Ахиллу, все более и более раскрывая глаза, и, невольно сделав несколько шагов назад, воскликнул:

— Великий господи, что это за злополучный человек!

— Кто это, отец Савелий? — с неменьшим удивлением воскликнул и Ахилла.

— Ты, искренний мой, ты!

— А по какой причине я злополучен?

— Кто, какой злой дух научает тебя все это делать?

— Да что такое делать?

— Лазить, похищать, ссориться!

— Это вы меня научили, — отвечал спокойно и искренно дьякон, — вы сказали: путем или непутем этому надо положить конец, я и положил. Я вашу волю исполнил.

Туберозов только покачал головой и, повернувшись лицом к дверям, вошел в притвор, где стояла на коленях и молилась Серболова, а в углу, на погребальных носилках, сидел, сбивая щелчками пыль с своих панталон, учитель Препотенский, лицо которого сияло на этот раз радостным восторгом: он глядел в глаза протопопу и дьякону и улыбался. Он, очевидно, слышал если не весь разговор, который они вели на сходах храма, то по крайней мере некоторые слова их. Но зачем, как, с какого повода появляется здесь бежавший храма учитель? Это удивляет и Ахиллу и Туберозова, с тою лишь разницей, что Ахилла не может отрешиться от той мысли: зачем здесь Препотенский, а чинный Савелий выбросил эту мысль вон из головы тотчас, как пред ним распахнулись двери, открывающие алтарь, которому он привык предстоять со страхом и трепетом. Прошел час; скорбная служба отпета. Серболова и ее дальний кузен, некто Дарьянов, напились у отца Савелия чаю и ушли: Серболова уезжает домой под вечер, когда схлынет солнечный жар. Она теперь хочет отдохнуть. Дарьянов придет к ней обедать в домик старушки Препотенской; а отец Туберозов условился туда же прийти несколько попозже, чтобы напиться чаю и проводить свою любимейшую духовную дочь.

Но где же Ахилла и где Препотенский?

Учитель исчез из церкви, как только началась служба, а дьякон бежал тотчас, как ее окончил. Отцу Савелию, который прилег отдохнуть, так и кажется, что они где-нибудь носятся и друг друга гонят. Это был «сон в руку»: дьякон и Варнава приготовлялись к большому сражению.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тяжел, скучен и утомителен вид пустынных улиц наших уездных городов во всякое время; но особенно убийствен он своею мертвенностью в жаркий летний полдень. Густая серая пыль, местами изборожденная следами

прокатившихся по ней колес, сонная и увядшая муравка, окаймляющая немощеные улицы к стороне воображаемых тротуаров; седые, подгнившие и покосившиеся заборы; замкнутые тяжелыми замками церковные двери; деревянные лавочки, брошенные хозяевами и заставленные двумя крест-накрест положенными досками; все это среди полдневного жара дремлет до такой степени заразительно, что человек, осужденный жить среди такой обстановки, и сам теряет всякую бодрость и тоже томится и дремлет.

В такую именно пору Валериан Николаевич Дарьянов прошел несколько пустых улиц и, наконец, повернул в очень узенький переулочек, который наглухо запирался старым решетчатым забором. За забором видна была церковь. Пригнув низко голову, Дарьянов вошел в низенькую калиточку на церковный погост. Здесь, в углу этого погоста, местилась едва заметная хибара церковного сторожа, а в глубине, за целым лесом ветхих надмогильных крестов, ютился низенький трехоконный домик просвирни Препотенской.

На погосте не было той густой пыли, которая сплошным слоем лежала по всему пространству городской площади и улиц. Тут, напротив, стлалась зеленая мурава, и две курицы, желавшие понежиться в пыли на солнечном припеке, должны были выйти для этого за калитку и лечь под ее порогом на улице. Здесь они закапывались в пыль, так что их почти нельзя было и заметить, и лежали обыкновенно каждый день в полной уверенности, что их никто не побеспокоит; при появлении перешагнувшего через них Дарьянова они даже не шевельнулись и не тронулись, а только открыли по одному из своих янтарных глаз и, проводив сонным взглядом гостя, снова завели их выпуклыми серыми веками. Дарьянов прямо направился к калитке домика Препотенских и постучал в тяжелое железное кольцо. Ответа не было. Везде тишь: ни собака не тявкнет, ни голос человеческий не окликнет. Дарьянов постучал снова, но опять безуспешно. Тогда он, отложив всякую надежду кого-нибудь дозваться, прошел под жердочку в малину, которою густо оброс просвирнин домик, и заглянул в одно из его окон. Окна были закрыты от солнца ставнями, но сквозь неплотные створы этих ста-

вен свободно можно было видеть все помещение. Это была комната большая, высокая, почти без мебели и с двумя дверями, из которых за одною виднелась другая, крошечная синяя каморочка, с высокою постелью, закрытою лоскутковым ситцевым одеялом.

Большая пустая комната принадлежала учителю Варнаве, а маленькая каморочка — его матери: в этом и состоял весь их дом, если не считать кухоньки, в которой негде было поворотиться около загнетки.

Теперь ни в одной из этих комнат не было видно ни души, но Дарьянов слышал, что в сенях, за дверью, кто-то сильно работает сечкой, а в саду, под окном, кто-то другой не то трет кирпич, не то пилит терпугом какое-то железо. Еще более убежденный теперь, что стуком здесь никого не докличешься, Дарьянов перешел к забору, огораживавшему садик, и, отыскав между досками щелочку, начал чрез нее новое обозрение, но это было не так легко: у самого забора росли густые кусты, не дозволявшие разглядеть человека, производившего шум кирпичом или напилком. Дарьянов нашелся вынужденным взять другой обсервационный пункт. Ступив носком сапога на одну слегка выдавшуюся доску, а рукой ухватясь за верхний край забора, он поднялся и увидел маленький, но очень густой и опрятный садик, посредине которого руками просвирни была пробита чистенькая, усыпанная желтым песком дорожка. На этой дорожке прямо на земле сидел учитель Варнава. Он сидел, расставив вытянутые ноги, как делают это играющие в мяч дети. В ногах у учителя, между коленами, лежала на песке целая груда человеческих костей и лист синей сахарной бумаги. Учитель держал в каждой своей руке по целому кирпичу и ожесточенно тер ими один о другой над бумагой. Пот лил ручьями по лицу Препотенского, несмотря на то, что учитель сидел в тени и не обременял себя излишним туалетом. Он был босой, в одной рубашке и панталонах, подстегнутых только одною подтяжкой.

— Варнава Васильевич! Отоприте мне, Варнава Васильевич! — закричал ему Дарьянов, но зов этот пропадал бесследно. Препотенский по-прежнему тер ожесточенно свои кирпичи, локти его ходили один против другого, как два кривошипа; мокрые волосы трепались в такт из стороны в сторону; сам он также качался,

как подвижной цилиндр, и ничего не слыхал и ни на что не откликался.

Гость мог бы скорее добиться ответа у мертвых, почиющих на покинутом кладбище, чем у погруженного в свои занятия учителя. Угадывая это, Дарьянов более и не звал его, а прыгнул на забор и перелетел в сад Препотенского. Как ни легок был этот прыжок, но старые, разошедшиеся доски все-таки застучали, и пораженный этим стуком учитель быстро выпустил из рук свои кирпичи и, бросившись на четвереньки, схватил в охапку рассыпанные пред ним человеческие кости. Препотенский, очевидно, был в большом перепуге, но не мог бежать. Не оставляя своего распростертого положения, он только тревожно смотрел в шевелившийся густой малинник и все тщательнее и тщательнее забирал в руки лежавшие под ним кости. В тот момент, когда пред учителем раздвинулись самые близкие ряды малины, он быстро вскочил на свои длинные ноги и предстал удивленным глазам Дарьянова в самом странном виде. Растрепанная и всклоченная голова Препотенского, его потное, захватанное красным кирпичом лицо, испуганные глаза и длинная полураздетая фигура, нагруженная человеческими костями, а с пояса засыпанная мелким тертым кирпичом, издали совсем как будто залитая кровью, делала его скорее похожим на людоеда-дикаря, чем на человека, который занимается делом просвещения.

— Ну, батюшка Варнава Васильевич, прилежно же вы работаете! Вас даже не дозовешься, — начал, выходя, гость, рассмотрев которого Варнава вдруг просиял, захлопал глазами и воскликнул:

— Так это вы! А я ведь думал, что это Ахилка.

И с этими словами учитель отрадно разжал свои руки, и целая груда человеческих костей рухнула на дорожку, точно будто он вдруг весь сам выпотрошился.

— Ах, Валерьян Николаич, — заговорил он, — если бы вы знали, какие здесь с нами делаются дела. Нет, черт возьми, чтоб еще после всего этого в этой проклятой России оставаться!

— Батюшки! Что же это такое? Нельзя ли рассказать?

— Конечно, можно, если только... если вы не шпион.

— Надеюсь.

— Так садитесь на лавочку, а я буду работать. Сядьте ж пожалуйста, мне при вас даже приятно, потому что все-таки есть свидетель, а я буду работать и рассказывать.

Гость принял приглашение и попросил хозяина рассказать, что у него за горе и с коих пор оно началось.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Горе мое, Валерьян Николаевич, началось с минуты моего рождения, — заговорил Препотенский, — и заключается это горе главным образом в том, что я рожден моею матерью!

— Утешьтесь, друг любезный, все люди рождены своими матерями, — проговорил, отирая со лба пот, Дарьянов. — Один Макдуф был вырезан из чрева, да и то для того, чтобы Макбета не победил — женой рожденный.

— Ну да, Макбета!.. Какой там Макбет? Нам не Макбеты нужны, а науки; но что же делать, когда здесь учиться невозможно. Я бог знает чем отвечаю, что и в Петербурге, и в Неаполе, и во всякой стране, если где человек захочет учиться, он нигде не встретит таких препятствий, как у нас. Говорят, Испания... Да что же такое Испания? В Испании библий лютеранских нельзя иметь, но там и заговоры, и восстания, и все делается. Я уверен, что пусть бы там кто-нибудь завел себе кости, чтобы учиться, так ему этого не запретят. А тут с первого дня, как я завел кости, моя собственная родная мать пошла ко мне приставать: «Дай, дитя мое, Варнаша, я *его* лучше схороню». Кого это *его,* спрашивается? Что это еще за *он?* Почему эти кости *он,* а не *она?* Прав я или нет?

— Совершенно правы.

— Прекрасно-с! Теперь говорят, будто я мою мать честью не урезониваю. Неправда-с! напротив, я ей говорил: «Маменька, не трогайте костей, это глупо; вы, говорю, не понимаете, они мне нужны, я по ним человека изучаю». Ну а что вы с нею прикажете, когда она отвечает: «Друг мой, Варнаша, нет, все-таки лучше я его схороню...» Ведь это же из рук вон!

— Уж именно.

— Да то ли еще одно: она их в поминанье записала-с!

— Будто?

— Честью вас уверяю! так и записано: «помяни господи раба твоего *имрека»*.

— Что вы за чудо рассказываете?

— Да вот вам и чудо, а из этого чуда скандал!

— Ну?

— Да, конечно-с! А вы как изволите рассуждать? Ведь это все имеет связь с церковью. Ведь отсюда целый ряд недоразумений и даже уголовщиной пахнет?

— Господи мой!

— Именно-с, именно вам говорю, потому что моя мать записывает людей, которых не знает как и назвать, а от этого понятно, что у ее приходского попа, когда он станет читать ее поминанье, сейчас полицейские инстинкты разыгрываются: что это за люди *имреки,* без имен?

— Вы бы ее уговорили не писать?

— Уговаривал-с. Я говорил ей: «Не молитеся вы, пожалуйста, маменька, за него, он из жидов». Не верит! «Лжешь, говорит, это тебя бес научает меня обманывать, я знаю, что жиды с хвостиками!» — «Никогда, говорю, ни у каких ни у жидов, ни у нежидов никаких хвостиков нет». Ну и спор: я как следует стою за евреев, а она против; я спорю — нет хвостов, а она твердит: есть! Я «нет», она «есть». «Нет», «есть!» А уж потом как разволнуется, так только кричит: «Кш-ш-шь, кш-ш-шь», да, как на курицу, на меня ладошами пред самым носом хлопает. Ну, представьте же вы себе, еще говорят, нужна свобода женщинам. Отлично-с, я и сам за женскую свободу; но это надо с толком: молодой, развитой женщине, которая хочет не стесняться своими действиями, давайте свободу, но старухам... Нет-с, я первый против этого, и даже удивляюсь, как этого никто не разовьет в литературе. Ведь этим пользуются самые вредные люди. Не угодно ли вам попа Захария, и он вдруг за женскую эманципацию! Да, да-с, он за мою мать. «Ежели ты, говорит, имеешь право не верить в бога, так она такой же человек, и имеет право верить!» Слышите, *такой же*. Не будь этих взглядов, моя мать давно бы мне сдалась и уступила: она бы у меня и в церковь не ходила и бросила бы свое просвирничанье, а по-

шла бы к Бизюкиной в няньки, а это ее всё против меня вооружают или Ахилка, или сам Туберозов.

— Ну полноте, пожалуйста!

— Да как же полноте, когда я на это имею доказательства. Туберозов никогда не любил меня, но теперь он меня за естественные науки просто ненавидит, потому что я его срезал.

— Как же это вы его срезали?

— Я сто раз его срезывал, даже на той неделе еще раз обрезал. Он в смотрительской комнате, в училище, пустился ораторствовать, что праздничные дни будто заключают в себе что-то особенное этакое, а я его при всех и осадил. Я ему очень просто при всех указал на математически доказанную неверность исчисления праздничных дней. Где же, говорю, наши праздники? У вас рождество, а за границей оно уже тринадцать дней назад было. Ведь прав я?

— То есть двенадцать, а не тринадцать.

— Да, кажется что двенадцать, но не в том дело, а он сейчас застучал по столу ладонью и закричал: «Эй, гляди, математик, не добрались бы когда-нибудь за это до твоей физики!» Во-первых, что такое он здесь разумеет под словом *физики?*.. Вы понимаете — это и невежество, да и цинизм, а потом я вас спрашиваю, разве это ответ?

Гость рассмеялся и сказал, что это хотя и ответ, но действительно очень странный ответ.

— Да как же-с! разумеется, глупо; но ведь этаких вещей идет целый ряд-с. И вот, например, даже вчера еще вечером иду я от Бизюкиной, а передо мною немножко впереди идет комиссар Данилка, знаете, тот шляющийся, который за два целковых ездил у Глича лошадь воровать, когда Ахилла масло бил. Я с Данилой и разговорился. «Что, говорю, Данило, где ты был?» Отвечает, что был у исправника, от почтмейстерши ягоды приносил, и слышал, как там читали, что в чухонском городе Ревеле мертвый человек без тления сто лет лежал, а теперь его велели похоронить. «Не знаю, насколько правды, что было такое происшествие, но только после там тоже и про вас говорка была», — сообщил мне Данило. Я, разумеется, встревожился, а он меня успокоивает: «Не про самих про вас, говорит, а про ваших мертвых людей, которых вы у себя содержите». Понимаете ли вы эту интригу! Я дал

Данилке двугривенный: что ж делать? это не хорошо, но шпионы нужны, и я всегда говорю, что шпионы нужны, и мы с Бизюкиной в этом совершенно согласны. Без шпионов нельзя обойтись, вводя новые учения, потому что надо штудировать общество. Да-с, ну так вот... про что это я говорил? Да! Я дал Данилке двугривенный и говорю: рассказывай все. Он мне и рассказал, что как прочитали эту газету, так дьякон и повел речь о моих костях. «Я, говорит, нарочно и газету эту принес, потому что на это внимание обращаю». А совсем врет, потому что он ничего никогда не читает, а в этой газете ему Данилка от Лялиных орехов принес. «Это, говорит, Воин Васильич, ваша с лекарем большая ошибка была дать Варнаве утопленника; но это можно поправить». Городничий, конечно, знает мой характер и говорит, что я не отдам, и я бы, конечно, и не отдал. Но Ахилла говорит: «У него, говорит, их очень просто можно отобрать и преспокойно предать погребению». Городничий говорит: «Не дать ли квартальному предписание, чтоб отобрать кости?» Но этот бандит: «Мне ничего, говорит, не нужно: я их сейчас без предписания отберу и уложу в гробик в детский, да и кончено».

Препотенский вдруг рванулся к костям, накрыл их руками, как наседка покрывает крылом испуганных приближением коршуна цыплят, и произнес нервным голосом:

— Нет-с, извините! пока я жив, это не кончено. И того с вас довольно, что вы всё это несколько замедляете!

— Что же это такое «они» замедляют?

— Ну, будто вы не понимаете?

— Революцию, что ли?

Учитель прекратил работу и с усмешкою кивнул головой.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

— Отобрав эти сведения от Данилки, — продолжал Варнава, — я сейчас же повернул к Бизюкиной, чтоб она об этом знала, а через час прихожу домой и уже не застаю у себя ни одной кости. «Где они? кричу, где?» А эта госпожа, моя родительница, отвечает: «Не сердись, говорит, друг мой Варнашенька (очень хорошее имя, изволите

видеть, дали, чтоб его еще переделывать в Варнашенек да в Черташенек), не сердись, говорит, их начальство к себе потребовало». — «Что за вздор, кричу, что за вздор: какое начальство?» — «А без тебя, говорит, отец дьякон Ахилла приходил в окно и все их забрал и понес». Нравится вам: «Начальство, говорит, потребовало, и Ахилла понес». — «Да вы, говорю, хоть бы мозгами-то, если они у вас есть, шевельнули: какое же дьякон начальство?» — «Друг мой, говорит, что ты, что ты это? да ведь он помазан!» Скажите вы, сделайте ваше одолжение! Вы вот смеетесь, вам это смешно; но мне это, стало быть, не смешно было, когда я сам к этому бандиту пошел. Да-с; Ахилка говорит, что я трус, и это и все так думают; но я вчера доказал, что я не трус; а я прямо пошел к Ахилке. Я прихожу, он дрыхнет. Я постучал в окно и говорю: «Отдайте мне, Ахилла Андреич, мои кости!» Он, во-первых, насилу проснулся и знаете, начинает со мною кобениться: «На что они, говорит, тебе кости? (Что это за фамильярное «ты»? что это за короткость?) Ты без костей складнее». — «Это, говорю, не ваше дело, как я складней». — «Нет; совсем напротив. Мое, говорит, это дело: я священнослужитель». — «Но вы же, говорю, ведь не имеете права отнимать чужую собственность?» — «А разве кости, говорит, это разве собственность? А ты бы, говорит, еще то понял, что этакую собственность тебе даже не позволено содержать?» А я отвечаю, что «и красть же, говорю, священнослужителям тоже, верно, не позволено: вы, говорю, верно хорошенько английских законов не знаете. В Англии вас за это повесили бы». — «Да ты, говорит, если уж про разные законы стал рассуждать, то ты еще знаешь ли, что если тебя за это в жандармскую канцелярию отправить, так тебя там сейчас спустят по пояс в подпол да начнут в два пука пороть. Вот тебе и будет Англия. Что? Хорошо тебе от этого станет?» А я ему и отвечаю: «Вы, говорю, всё знаете, вам даже известно уже, во сколько пуков там порют». А он: «Конечно, говорит, известно: это по самому по простому правилу, кто сам претерпевал, тот и понять может, что с обеих сторон станут с пучьями и начнут донимать как найлучше». — «Прекрасная, говорю, картина»; а он: «Да, говорит, ты это заметь; а теперь лучше, брат, слушай меня, забудь про все свои глупости и уходи», и с этим, слышу, он опять завалился на свое логово. Ну, тут уже, разумеется,

я все понял, как он проврался, но чтоб еще более от него выведать, я говорю ему: «Но ведь вы же, говорю, дьякон, и в жандармах не служите, чтобы законы наблюдать». А он, представьте себе, ничего этого не понял, к чему это я подвел, и отляпал: «А ты почему, говорит, знаешь, что я не служу в жандармах? Ан у меня, может, и белая рукавица есть, и я ее тебе, пожалуй, сейчас и покажу, если ты еще будешь мне мешать спать». Но я, разумеется, уже до этого не стал дожидаться, потому что, во-первых, меня это не интересовало, а во-вторых, я уже все, что мне нужно было знать, то выведал, а потом, зная его скотские привычки драться... «Нет-с, говорю, не хочу и вовсе не интересуюсь вашими доказательствами», и сейчас же пошел к Бизюкиным, чтобы поскорей рассказать все это Дарье Николаевне. Дарья Николаевна точно так же, как и я сейчас, и говорит, что она и сама подозревала, что они все здесь служат в тайной полиции.

— Кто служит в тайной полиции? — спросил Варнаву его изумленный собеседник.

— Да вот все эти наши различные людцы, а особенно попы: Савелий, Ахилла.

— Ну, батюшка, вы с своею Дарьей Николаевной, просто сказать, рехнулись.

— Нет-с; Дарью Николаевну на этот счет не обманешь: она ведь уж много вынесла от таких молодцов.

— Врет она, ваша Дарья Николаевна, — ничего она ни от кого не вынесла!

— Кто не вынес? Дарья Николаевна?!

— Да.

— Покорно вас благодарю! — отвечал с комическим поклоном учитель.

— А что такое?

— Помилуйте, да ведь ее секли, — с гордостью произнес Препотенский.

— В детстве; да и то, видно, очень мало.

— Нет-с, не в детстве, а всего за два дня до ее свадьбы.

— Вы меня всё больше и больше удивляете.

— Нечего удивляться: это факт-с.

— Ну, простите мое невежество, — я не знал этого факта.

— Да как же-с, я ведь и говорю, что это всякому надо знать, чтобы судить. Дело началось с того, что Дарья Николаевна тогда решилась от отца уйти.

— Зачем?

— Зачем? Как вы странно это спрашиваете!

— Я потому так спрашиваю, что отец, кажется, ее не гнал, не теснил, не неволил.

— Ну да мало ли что! Ни к чему не неволил, а так просто, захотела уйти — и ушла. Чего же ей было с отцом жить? Бизюкин ее младшего братишку учил, и он это одобрил и сам согласился с ней перевенчаться, чтоб отец на нее права не имел, а отец ее не позволял ей идти за Бизюкина и считал его за дурака, а она, решившись сделать скандал, уж разумеется уступить не могла и сделала по-своему... Она так распорядилась, что уж за другого ее выдавать нечего было думать, и обо всем этом, понимаете, совершенно честно сказала отцу. Да вы слушаете ли меня, Валерьян Николаевич?

— Не только слушаю, но с каждым вашим словом усугубляю мое любопытство.

— Оно так и следует, потому что интерес сейчас будет возрастать. Итак, она честно и прямо раскрыла отцу имеющий значение факт, а он ни более ни менее как сделал следующую подлость; он сказал ей: «Съезди, мой друг, завтра к тетке и расскажи еще это ей». Дарья Николаевна, ничего не подозревая, взяла да и поехала, а они ее там вдвоем с этою барыней и высекли. Она прямо от них кинулась к жандармскому офицеру. «Освидетельствуйте, говорит, и донесите в Петербург, — я не хочу этого скрывать, — пусть все знают, что за учреждение такое родители». А тот: «Ни свидетельствовать, говорит, вас не хочу, ни доносить не стану. Я заодно с вашим стариком и даже охотно помог бы ему, если б он собрался повторить». Ну что же еще после этого ожидать? Вот вам-с наша и тайная полиция. Родной отец, родная тетка, и вдруг оказывается, что все они не что иное, как та же тайная полиция! Дарья Николаевна одно говорит: «по крайней мере, говорит, я одно выиграла, что я их изучила и знаю», и потому, когда я ей вчера сообщил мои открытия над Ахилкой, она говорит: «Это так и есть, он шпион! И теперь, говорит, в нашем опасном положении самый главный вопрос, чтобы ваши кости достать и по ним как

можно злее учить и учить. Ахилка, говорит, ночью еще никуда не мог их сбыть, и вы если тотчас к нему прокрадетесь, то вы можете унести их назад. Одно только, говорит, не попадайтесь, а то он может вас набить...»

— Как «набить»?

— Это так она сказала, потому что она знает Ахилкины привычки; но, впрочем, она говорит: «Нет, ничего, вы намотайте себе на шею мой толстый ковровый платок и наденьте на голову мой ватный капор, так этак, если он вас и поймает и выбьет, вам будет мягко и не больно». Я всем этим, как она учила, хорошенько обмотался и пошел. Прихожу к этому скоту на двор во второй раз... Собака было залаяла, но Дарья Николаевна это предвидела и дала мне для собаки кусок пирожка. Я кормлю собаку и иду, и вижу, прямо предо мною стоит телега; я к телеге и все в ней нашел — все мои кости!

— Ну тут, конечно, скорей за работу?

— Уж разумеется! Я духом снял с головы Дарьи Николаевнин капор, завязал в него кости и во всю рысь назад.

— Тем эта история и кончилась?

— Как кончилась? Напротив, она теперь в самом разгаре. Хотите, я доскажу?

— Ах, сделайте милость!

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Начну с объяснения того: как и почему я попал нынче в церковь? Сегодня утром рано приезжает к нам Александра Ивановна Серболова. Вы, конечно, ее знаете не хуже меня: она верующая, и ее убеждения касательно многого очень отсталые, но она моей матери кой-чем помогает, и потому я жертвую и заставляю себя с нею не спорить. Но к чему это я говорю? Ах да! как она приехала, маменька мне и говорит: «Встань, такой-сякой, друг мой Варнаша, проводи Александру Ивановну в церковь, чтобы на нее акцизниковы собаки не бросились». Я пошел. Я, вы знаете, в церковь никогда не хожу; но ведь я же понимаю, что там меня ни Ахилла, ни Савелий тронуть не смеют; я и пошел. Но, стоя там, я вдруг вспомнил, что оставил

отпертою свою комнату, где кости, и побежал домой. Прихожу — маменьки нет; смотрю на стену: нет ни одной косточки!

— Схоронила?

— Да-с.

— Без шуток, схоронила?

— Да полноте, пожалуйста: какие с ней шутки! Я стал ее просить: «Маменька, милая, я почитать вас буду, только скажите честно, где мои кости?» — «Не спрашивай, говорит, Варнаша, им, друг мой, теперь покойно». Все делал: плакал, убить себя грозился, наконец даже обещал ей богу молиться, — нет, таки не сказала! Злой-презлой я шел в училище, с самою твердою решимостью взять нынче ночью заступ, разрыть им одну из этих могил на погосте и достать себе новые кости, чтобы меня не переспорили, и я бы это непременно и сделал. А между тем ведь это тоже небось называется преступлением?

— Да еще и большим.

— Ну вот видите! А кто бы меня под это подвел?.. мать. И это бы непременно случилось; но вдруг, на мое счастие, приходит в класс мальчишка и говорит, что на берегу свинья какие-то кости вырыла. Я бросился, в полной надежде, что это мои кости, — так и вышло! Народ твердит: «Зарыть...» Я говорю: «Прочь!» Как вдруг слышу — Ахилла... Я схватил кости, и бежать. Ахилла меня за сюртук. Я повернулся... трах! пола к черту, Ахилла меня за воротник — я трах... воротник к черту; Ахилла меня за жилет — я трах... жилет пополам; он меня за шею — я трах, и убежал, и вот здесь сижу и отчищаю их, а вы меня опять испугали. Я думал, что это опять Ахилла.

— Да помилуйте, пойдет к вам Ахилла, да еще через забор! Ведь он дьякон.

— Он дьякон! Говорите-ка вы «дьякон». Много он на это смотрит. Мне комиссар Данилка вчера говорил, что он, прощаясь, сказал Туберозову: «Ну, говорит, отец Савелий, пока я этого Варнаву не сокрушу, не зовите меня Ахилла-дьякон, а зовите меня все *Ахилла-воин»*. Что же, пусть воюет, я его не боюсь, но я с этих пор знаю, что делать. Я решил, что мне здесь больше не жить; я кое с кем в Петербурге в переписке; там один барин устраи-

вает одно предприятие, и я уйду в Петербург. Я вам скажу, я уже пробовал, мы с Дарьей Николаевной посылали туда несколько статеек, оттуда всё отвечают: «Резче». Прекрасно, что «резче»; я там и буду резок, я там церемониться не стану, но здесь, помилуйте, духу не взведешь, когда за мертвую кость чуть жизнию не поплатишься. А с другой стороны, посудите, и там, в Петербурге, какая пошла подлость; даже самые благонамереннейшие газеты начинают подтрунивать над распространяющеюся у нас страстью к естественным наукам! Читали вы это?

— Кажется, что-то похожее читал.

— Ага! так и вы это поняли? Так скажите же мне, зачем же они в таком случае манили нас работать над лягушкой и все прочее?

— Не знаю.

— Не знаете? Ну так я же вам скажу, что им это так не пройдет! Да-с; я вот заберу мои кости, поеду в Петербург да там прямо в рожи им этими костями, в рожи! И пусть меня ведут к своему мировому.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ха-ха-ха! Вы прекрасно сделаете! — внезапно проговорила Серболова, стоявшая до этой минуты за густым вишневым кустом и ни одним из собеседников не замеченная.

Препотенский захватил на груди расстегнутую рубашку, приподнялся и, подтянув другою рукой свои испачканные в кирпиче панталоны, проговорил:

— Вы, Александра Ивановна, простите, что я так не одет.

— Ничего; с рабочего человека туалета не взыскивают; но идите, вас мать зовет обедать.

— Нет, Александра Ивановна, я обедать не пойду. Мы с матерью не можем более жить; между нами все кончено.

— А вы бы постыдились так говорить, она вас любит!

— Напрасно вы меня стыдите. Она с моими врагами дружит; она мои кости хоронит; а я как-нибудь

папироску у лампады закурю, так она и за то сердится...

— Зачем же свои папиросы у ее лампады закуриваете? Разве вам другого огня нет?

— Да ведь это же глупо!

Серболова улыбнулась и сказала:

— Покорно вас благодарю.

— Нет; я не вам, а я говорю о лампаде: ведь все равно огонь.

— Ну, потому-то и закурите у другого.

— Все равно, на нее чем-нибудь другим не угодишь. Вон я вчера нашей собаке немножко супу дал из миски, а маменька и об этом расплакалась и миску с досады разбила: «Не годится, говорит, она теперь; ее собака *нанюхала*». Ну, я вас спрашиваю: вы, Валерьян Николаич, знаете физику: можно ли что-нибудь *нанюхать?* Можно *понюхать,* можно *вынюхать,* но *нанюхать!* Ведь это дурак один сказать может!

— Но ведь вы могли и не давать собаке из этой чашки?

— Мог, да на что же это?

— Чтобы вашу мать не огорчать.

— Да, вот вы как на это смотрите! По-моему, никакая хитрость не достойна честного человека.

— А есть лошадиную ветчину при старой матери достойно?

— Ага! Уж она вам и на это нажаловалась? Что ж, я из любознательности купил у знакомого татарина копченых жеребячьих ребер. Это, поверьте, очень вкусная вещь. Мы с Дарьей Николаевной Бизюкиной два ребра за завтраком съели и детей ее накормили, а третье — понес маменьке, и маменька, ничего не зная, отлично ела и хвалила, а потом вдруг, как я ей сказал, и беда пошла.

— Угостил, — отнеслась к Дарьянову, улыбнувшись, Серболова. — Впрочем, пусть это не к обеду вспоминается... Пойдемте лучше обедать.

— Нет-с, я ведь вам сказал, что я не пойду, и не пойду.

— Да вы на хлеб и на соль-то за что же сердитесь?

— Не сержусь, а мне отсюда отойти нельзя. Я в таком положении, что отовсюду жду всяких гадостей.

Серболова тихо засмеялась, подала руку Дарьянову, и они пошли обедать, оставив учителя над его костями.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Просвирня Препотенская, маленькая старушка с крошечным личиком и вечно изумленными добрыми глазками, покрытыми бровями, имеющими фигуру французских апострофов, извинилась пред Дарьяновым, что она не слыхала, как он долго стучал, и непосредственно за сим пригнулась к нему над столом и спросила шепотом:

— Варнашу моего видели?

Тот отвечал, что видел.

— Убивает он меня, Валерьян Николаич, до бесконечности, — жаловалась старушка.

— Да бог с ним, что вы огорчаетесь? Он молод; постареет, женится и переменится.

— Переменится... Нет, как его, дружок, возможно женить? невозможно. Он уж весь до сих пор, до бесконечности извертелся; в господа бога не верит до бесконечности; молоко и мясо по всем постам, даже и в Страшную неделю ест до бесконечности; костей мертвых наносил домой до бесконечности, а я, дружок мой, правду вам сказать, в вечернее время их до бесконечности боюсь; все их до бесконечности тревожусь...

Черненькие апострофы над глазками крошечной робкой старушки задвигались, и она, вздрогнув, залепетала:

— И кроме того, всё мне, друг мой, видятся такие до бесконечности страшные сны, что я как проснусь, сейчас шепчу: «Святой Симеон, разгадай мой сон», но все если б я могла себя с кем-нибудь в доме разговорить, я бы терпела; а то возьмите же, что я постоянно одна и постоянно с мертвецами. Я, мои дружочки, отпетого покойника не боюсь, а Варнаша не позволяет их отпеть.

— Ну, вы на него не сердитесь — ведь он добрый.

— Добрый, конечно, он добрый, я не хочу на него лгать, что он зол. Я была его счастливая мать, и он прежде ко мне был добр даже до бесконечности, пока в ше-

стой класс по философии перешел. Он, бывало, когда домой приезжал, и в церковь ходил, и к отцу Савелию я его водила, и отец Савелий даже его до бесконечности ласкали и по безделице ему кое-чем помогали, но тут вдруг — и сама не знаю, что с ним поделалось: все начал умствовать. И с тех пор, как приедет из семинарии, все раз от разу хуже да хуже, и, наконец, даже так против всего хорошего ожесточился, что на крестинах у отца Захарии зачал на самого отца протопопа метаться. Ах, тяжело это мне, душечки! — продолжала старушка, горько сморщившись. — Теперь опять я третьего дня узнала, что они с акцизничихой, с Бизюкиной, вдруг в соусе лягушек ели! Господи! Господи! каково это матери вынести? А что с голоду, что ль, это делается? Испорчен он. Я, как вы хотите, я иначе и не полагаю, что он испорчен. Мне отец Захария в «Домашней беседе» нарочно читал там: один благородный сын бесновался, десять человек удержать не могли. Так и Варнава! его никто не удержит. Робость имеет страшную, даже и недавно, всего еще года нет, как я его вечерами сама куда нужно провожала; но если расходится, кричит: «Не выдам своих! не выдам, — да этак рукой машет да приговаривает: — нет; резать всех, резать!» Так живу и постоянно гляжу, что его в полицию и в острог.

Просвирня опять юркнула, обтерла в кухне платочком слезы и, снова появясь, заговорила:

— Я его, признаюсь вам, я его наговорной водой всякий день пою. Он, конечно, этого не знает и не замечает, но я пою, только не помогает, — да и грех. А отец Савелий говорит одно: что стоило бы мне его куда-то в Ташкент сослать. «Отчего же, говорю, еще не попробовать лаской?» — «А потому, говорит, что из него лаской ничего не будет, у него, — он находит, — будто совсем природы чувств нет». А мне если и так, мне, детки мои, его все-таки жалко... — И просвирня снова исчезла.

— Экое несчастное творение! — прошептала вслед вышедшей старушке молодая дама.

— Уж именно, — подтвердил ее собеседник и прибавил: — а тот болван еще ломается и даже теперь обедать не идет.

— Подите приведите его в самом деле.

— Да ведь упрям, как лошадь, не пойдет.

— Ну как не пойдет? Скажите ему, что я ему приказываю, что я агент тайной полиции и приказываю ему, чтоб он сейчас шел, а то я донесу, что он в Петербург собирается.

Дарьянов засмеялся, встал и пошел за Варнавой. Между тем учитель, употребивший это время на то, чтобы спрятать свое сокровище, чувствовал здоровый аппетит и при новом приглашении к столу не без труда выдерживал характер и отказывался.

Чтобы вывести этого добровольного мученика из его затруднительного положения, посланный за ним молодой человек нагнулся таинственно к его уху и шепнул ему то, что было сказано Серболовой.

— Она шпион! — воскликнул, весь покрывшись румянцем, Варнава.

— Да.

— И может быть...

— Что?

— Может быть, и вы?..

— Да, и я.

Варнава дружески сжал его руку и проговорил:

— Вот это благодарю, что вы не делаете из этого тайны. Извольте, я вам повинуюсь. — И затем он с чистою совестью пошел обедать.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Шутка удалась. Варнава имел предлог явиться, и притом явиться с достоинством. Он вошел в комнату, как жертва враждебных сил, и поместился в узком конце стола против Дарьянова. Между ними двумя, с третьей стороны, сидела Серболова, а четвертая сторона стола оставалась пустою. Сама просвирня обыкновенно никогда не садилась за стол с сыном, не садилась она и нынче с гостями, а только служила им. Старушка была теперь в восторге, что видит перед собою своего многоученого сына; радость и печаль одолевали друг друга на ее лице; веки ее глаз были красны; нижняя губа тихо вздрагивала, и ветхие ее ножки не ходили, а все бегали, причем она

постоянно старалась и на бегу и при остановках брать такие обороты, чтобы лица ее никому не было видно.

— Остановить вас теперь невозможно? — шутя говорил ей Дарьянов.

— Нет, невозможно, Валерьян Николаич, — отвечала она весело и, снова убегая, спешно проглатывала в кухоньке непрошенную слезу.

Гости поднимались на хитрость, чтоб удерживать старушку, и хвалили ее стряпню; но она скромно отклоняла все эти похвалы, говоря, что она только умеет готовить самое простое.

— Но простое-то ваше очень вкусно.

— Нет; где ему быть вкусным, а только разве для здоровья оно, говорят, самое лучшее, да и то не знаю; вот Варнаша всегда это кушанье кушает, а посмотрите какой он: точно пустой.

— Гм! — произнес Варнава, укоризненно взглянув на мать, и покачал головой.

— Да что же ты! Ей-богу, ты, Варнаша, пустой!

— Вы еще раз это повторите! — отозвался учитель.

— Да что же тут, Варнаша, тебе такого обидного? Молока ты утром пьешь до бесконечности; чаю с булкой кушаешь до бесконечности; жаркого и каши тоже, а встанешь из-за стола опять весь до бесконечности пустой, — это болезнь. Я говорю, послушай меня, сынок...

— Маменька! — перебил ее, сердито крикнув, учитель.

— Что ж тут такого, Варнаша? Я говорю, скажи, Варнаша, как встанешь утром: «Наполни, господи, мою пустоту» и вкуси...

— Маменька! — еще громче воскликнул Препотенский.

— Да что ты, дурачок, чего сердишься? Я говорю, скажи: «Наполни, господи, пустоту мою» и вкуси петой просвирки, потому я, знаете, — обратилась она к гостям, — я и за себя и за него всегда одну часточку вынимаю, чтобы нам с ним на том свете в одной скинии быть, а он не хочет вкусить. Почему так?

— Почему? вы хотите знать: почему? — извольте-с: потому что я не хочу с вами нигде в одном месте быть! Понимаете: нигде, ни на этом свете, ни на каком другом.

Но прежде чем учитель досказал эту речь, старушка побледнела, затряслась, и две заветные фаянсовые тарелки, выскользнув из ее рук, ударились об пол, зазвенели и разбились вдребезги.

— Варнаша! — воскликнула она. — Это ты от меня отрекся!

— Да-с, да-с, да-с, отрекся и отрекаюсь! Вы мне и здесь надоели, не только чтоб еще на том свете я пожелал с вами видеться.

— Тс! тс! тс! — останавливала сына, плача, просвирня и начала громко хлопать у него под носом в ладони, чтобы не слыхать его отречений. Но Варнава кричал гораздо громче, чем хлопала его мать. Тогда она бросилась к образу и, махая пред иконой растопыренными пальцами своих слабых рук, в исступлении закричала:

— Не слушай его, господи! не слушай! не слушай! — и с этим пала в угол и зарыдала.

Эта тяжелая и совершенно неожиданная сцена взволновала всех при ней присутствовавших, кроме одного Препотенского. Учитель оставался совершенно спокойным и ел с не покидавшим его никогда аппетитом. Серболова встала из-за стола и вышла вслед за убежавшей старушкой. Дарьянов видел, как просвирня обняла Александру Ивановну. Он поднялся и затворил дверь в комнату, где были женщины, а сам стал у окна.

Препотенский по-прежнему ел.

— Александра Ивановна когда едет домой? — спросил он, ворочая во рту пищу.

— Как схлынет жар, — вымолвил ему сухо в ответ Дарьянов.

— Вон когда! — протянул Препотенский.

— Да, и у нее здесь еще будет Туберозов.

— Туберозов? У нас? в нашем доме?

— Да, в вашем доме, но не у вас, а у Александрины.

Дарьянов вел последний разговор с Препотенским, отвернувшись и глядя на двор; но при этом слове он оборотился к учителю лицом и сказал сквозь едва заметную улыбку:

— А вы, кажется, все-таки Туберозова-то побаиваетесь?

— Я? Я его боюсь?

— Ну да; я вижу, что у вас как будто даже нос позеленел, когда я сказал, что он сюда придет.

— Нос позеленел? Уверяю вас, что вам это так только показалось, а что я его не боюсь, так я вам это нынче же докажу.

И с этим Препотенский поднялся с своего места и торопливо вышел. Гостю и в голову не приходило, какие смелые мысли родились и зрели в эту минуту в отчаянной голове Варнавы; а благосклонный читатель узнает об этом из следующей главы.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Выйдя из комнаты, Препотенский юркнул в небольшой сарай и, сбросив здесь с себя верхнее платье, полез на сеновал, а оттуда, с трудом раздвинув две потолочины, спустился чрез довольно узкую щель в небольшой, запертый снаружи, амбарчик. В этом амбарчике был всякий домашний скарб. Тут стояли кадочки, наполы, висел окорочок ветчины, торчали на колках пучки чебору, мяты и укропу. Учитель ничего этого не тронул, но он взлез на высокий сосновый ларь, покрытый покатой крышей, достал с него большие и разлатые липовые ночвы, чистые, как стекло зеркального магазина, и тотчас же начал спускаться с ними назад в сарай, где им очень искусно были спрятаны злополучные кости.

За учителем никто решительно не присматривал, но он, как человек, уже привыкший мечтать об «опасном положении», ничему не верил; он от всего жался и хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончить свое предприятие и совершить оное в свое время с полною торжественностью. Прошло уже около часа с тех пор, как Варнава заключился в сарае, на дворе начало вечереть, и вот у утлой калиточки просвирнина домика звякнуло кольцо.

Это пришел Туберозов. Варнаве в его сарае слышно, как под крепко ступающими ногами большого протопопа гнутся и скрипят ступени ветхого крыльца; слышны приветствия и благожелания, которые он выражает Серболовой и старушке Препотенской. Варнава, однако, все еще

не выходит и не обнаруживает, что такое он намерен устроить?

— Ну что, моя вдовица Наинская, что твой ученый сын? — заговорил отец Савелий ко вдове, выставлявшей на свое открытое крылечко белый столик, за которым компания должна была пить чай.

— Варнаша мой? А бог его знает, отец протопоп: он, верно, оробел и где-нибудь от вас спрятался.

— Чего ж ему в своем доме прятаться?

— Он вас, отец протопоп, очень боится.

— Господи помилуй, чего меня бояться? Пусть лучше себя боится и бережет, — и Туберозов начал рассказывать Дарьянову и Серболовой, как его удивил своими похождениями вчерашней ночи Ахилла.

— Кто его об этом просил? кто ему поручил? кто приказывал? — рассуждал старик и отвечал: — никто, сам выдумал с Варнавой Васильичем переведаться, и наделали на весь город разговоров.

— А вы, отец протопоп, разве ему этого не приказывали? — спросила старушка.

— Ну, скажите пожалуйста: стану я такие глупости приказывать! — отозвался Туберозов и заговорил о чем-то постороннем, а меж тем уплыло еще полчаса, и гости стали собираться по домам. Варнава все не показывался, но зато, чуть только кучер Серболовой подал к крыльцу лошадь, ворота сарая, скрывавшего учителя, с шумом распахнулись, и он торжественно предстал глазам изумленных его появлением зрителей.

Препотенский был облачен во все свои обычные одежды и обеими руками поддерживал на голове своей похищенные им у матери новые ночвы, на которых теперь симметрически были разложены известные человеческие кости.

Прежде чем кто-нибудь мог решить, что может значить появление Препотенского с такою ношей, учитель прошел с нею величественным шагом мимо крыльца, на котором стоял Туберозов, показал ему язык и вышел через кладбище на улицу.

Гости просвирни только ахнули и не утерпели, чтобы не посмотреть, чем окончится эта демонстрация. Выйдя вслед за Варнавой на тихую улицу, они увидали, что

учитель подвигался тихо, вразвал, и нес свою ношу осторожно, как будто это была не доска, укладенная иссохшими костями, а драгоценный и хрупкий сосуд взрезь с краями полный еще более многоценною жидкостью; но сзади их вдруг послышался тихий, прерываемый одышкой плач, и за спинами у них появилась облитая слезами просвирня.

Бедная старуха дрожала и, судорожно кусая кончики сложенных вместе всех пяти пальцев руки, шептала:

— Что это он? что это он такое носит по городу?

И с этим, уразумев дело, она болезненно визгнула и, с несвойственною ее летам резвостью, бросилась в погоню за сыном. Ветхая просвирня бежала, подпрыгивая и подскакивая, как бегают дурно летающие птицы, прежде чем им подняться на воздух, а Варнава шел тихо; но тем не менее все-таки трудно было решить, могла ли бы просвирня и при таком быстром аллюре догнать своего сына, потому что он был уж в конце улицы, которую та только что начинала. Быть или не быть этому — решил случай, давший всей этой процессии и погоне совершенно неожиданный оборот.

В то самое время, как вдова понеслась с неизвестными целями за своим ученым сыном, откуда-то сверху раздалось громкое и веселое:

— Эй! ур-р-ре-ре: не бей его! не бей! не бей!

Присутствовавшие при этой сцене оглянулись по направлению, откуда происходил этот крик, и увидели на голубце одной из соседних крыш оборванца, который держал в руке тонкий шест, каким обыкновенно охотники до голубиного лёта пугают турманов. Этот крикун был старогородский бирюч, фактотум и пролетарий, праздношатающийся мещанин, по прозванию комиссар Данилка. Он пугал в это время своих турманов и не упустил случая, смеха ради, испугать и учителя. Цель комиссара Данилки была достигнута как нельзя более, потому что Препотенский едва лишь услыхал его предостерегающий клик, как тотчас же переменил шаг и бросился вперед с быстротой лани.

Шибко скакал Варнава по пустой улице, а с ним вместе скакали, прыгали и разлетались в разные стороны

кости, уложенные на его плоских ночвах; но все-таки они не столько уходили от одной беды, сколько спешили навстречу другой, несравненно более опасной: на ближайшем перекрестке улицы испуганным и полным страха глазам учителя Варнавы предстал в гораздо большей против обыкновенного величине своей грозный дьякон Ахилла.

По пословице: впереди стояла затрещина, а сзади — тычок.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Чуть только бедный учитель завидел Ахиллу, ноги его подкосились и стали; но через мгновение отдрогнули, как сильно нагнетенные пружины, и в три сильных прыжка перенесли Варнаву через такое расстояние, которого человеку в спокойном состоянии не перескочить бы и в десять прыжков. Этим Варнава был почти спасен: он теперь находился как раз под окном акцизничихи Бизюкиной, и, на его великое счастье, сама ученая дама стояла у открытого окна.

— Берите! — крикнул ей, задыхаясь, Препотенский, — за мной гонятся шпионы и духовенство! — с этим он сунул ей в окно свои ночвы с костями, но сам был так обессилен, что не мог больше двинуться и прислонился к стене, где тут же с ним рядом сейчас очутился Ахилла и, тоже задыхаясь, держал его за руку.

Дьякон и учитель похожи были на двух друзей, которые только что пробежались в горелки и отдыхают. В лице дьякона не было ни малейшей злобы: ему скорей было весело. Тяжко дыша и поводя вокруг глазами, он заметил посреди дороги два торчащие из пыли человеческие ребра и, обратясь к Препотенскому, сказал ему:

— Что же ты не поднимаешь вон этих твоих астрагелюсов?

— Отойдите прочь, я тогда подниму.

— Ну, хорошо: я отойду, — и дьякон со всею свойственною ему простотой и откровенностию подошел к окну, поднялся на цыпочки и, заглянув в комнаты, проговорил:

— Послушайте, советница, а вы, право, напрасно за этого учителя заступаетесь.

Но вместо ожидаемого ответа от «советницы» Ахилле предстал сам либеральный акцизный чиновник Бизюкин и показал ему голый череп скелета.

— Послушай, спрячь, сделай милость, это, а то я рассержусь, — попросил вежливо Ахилла; но вместо ответа из дома послышался самый оскорбительный хохот, и сам акцизный, стоя у окна, начал, смеясь, громко щелкать на дьякона челюстями скелета.

— Перебью вас, еретики! — взревел Ахилла и сгреб в обе руки лежавший у фундамента большой булыжный камень с непременным намерением бросить эту шестипудовую бомбу в своих оскорбителей, но в это самое время, как он, сверкая глазами, готов был вергнуть поднятую глыбу, его сзади кто-то сжал за руку, и знакомый голос повелительно произнес:

— Брось!

Это был голос Туберозова. Протопоп Савелий стоял строгий и дрожащий от гнева и одышки. Ахилла его послушал; он сверкнул покрасневшими от ярости глазами на акцизника и бросил в сторону камень с такою силой, что он ушел на целый вершок в землю.

— Иди домой, — шепнул ему, и сам отходя, Савелий.

Ахилла не возразил и в этом и пошел домой тихо и сконфуженно, как обличенный в шалости добронравный школьник.

— Боже! какой глупый и досадный случай! — произнес, едва переводя дух, Туберозов, когда с ним поравнялся его давешний собеседник Дарьянов.

— Да не беспокойтесь: ничего из этого не будет.

— Как не будет-с? будет то, что Ахиллу отдадут под суд! Вы разве не слыхали, чтó он кричал, грозя камнем? Он хотел их всех перебить!

— А увидите, что все это кончится одним смехом.

— Нет-с; это не кончится смехом, и здесь нет никакого смеха, а есть глупость, которою дрянные люди могут воспользоваться.

И протопоп, ускорив шаг, шибко пошел домой, выписывая сердитые эсы концом своей трости.

В следующей части нашей хроники мы увидим, какие все это будет иметь последствия и кто из двух прорицателей правее.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утро, наступившее после ночи, заключившей день Мефодия Песношского, обещало день погожий и тихий. Можно было ожидать даже, что он тих будет во всем: и в стихиях природы и в сердцах старогородских людей, с которыми мы познакомились в первой части нашей хроники. Этих убеждений был и сам протопоп. Вчерашняя усталость оказала ему хорошую услугу: он крепко спал, видел мирные сны и, проснувшись утром, рассуждал, что авось-либо вся его вчерашняя тревога напрасна, авось-либо господь пронесет эту тучку, как он до сих пор проносил многие другие, от которых никому вреда не бывало.

«Да; мы народ не лиходейный, но добрый», — размышлял старик, идучи в полном спокойствии служить раннюю обедню за сей народ не лиходейный, но добрый. Однако же этот покой был обманчив: под тихою поверхностью воды, на дне, дремал крокодил.

Туберозов, отслужив обедню и возвратившись домой, пил чай, сидя на том самом диване, на котором спал ночью, и за тем же самым столом, за которым писал свои «нотатки». Мать протопопица только прислуживала мужу: она подала ему стакан чаю и небольшую серебряную тарелочку, на которую протопоп Савелий осторожно поставил принесенную им в кармане просфору.

Сердобольная Наталья Николаевна, сберегая покой мужа, ухаживала за ним, боясь каким бы то ни было вопросом нарушить его строгие думы. Она шепотом велела девочке набить жуковским вакштафом и поставить в угол на подносике обе трубки мужа и, подпершись ручкой под подбородок, ждала, когда протоиерей выкушает свой стакан и попросит второй.

Но прежде чем она дождалась этой просьбы, внимание ее было отвлечено необычайным шумом, который раздался где-то невдалеке от их дома. Слышны были торопливые шаги и беспорядочный говор, переходивший минутами в азартный крик. Протопопица выглянула из окна своей спальни и увидала, что шум этот и крик производила толпа людей, которые шли очень быстрыми

шагами, и притом прямо направлялись к их дому. Они на ходу толкались, размахивали руками, спорили и то как бы упирались, то вдруг снова почти бегом подвигались вперед.

«Что бы это такое?» — подумала протопопица и, выйдя в залу к мужу, сказала:

— Посмотри, отец Савелий, что-то как много народу идет.

— Народу, мой друг, много, а людей нет, — отвечал спокойно Савелий.

— Нет, в самом деле взгляни: очень уж много народу.

— Господь с ними, пусть их расхаживают; а ты дай-ка мне еще стаканчик чаю.

Протопопица взяла стакан, налила его новым чаем и, подав мужу, снова подошла к окну, но шумливой кучки людей уже не было. Вместо всего сборища только три или четыре человека стояли кое-где вразбивку и глядели на дом Туберозова с видимым замешательством и смущением.

— Господи, да уж не горим ли мы где-нибудь, отец Савелий! — воскликнула, в перепуге бросаясь в комнату мужа, протопопица, но тотчас же на пороге остановилась и поняла, в чем заключалась история.

Протопопица увидала на своем дворе дьякона Ахиллу, который летел, размахивая рукавами своей широкой рясы, и тащил за ухо мещанина комиссара Данилку.

Протопопица показала на это мужу, но прежде чем протопоп успел встать с своего места, дверь передней с шумом распахнулась, и в залу протоиерейского дома предстал Ахилла, непосредственно ведя за собой за ухо раскрасневшегося и переконфуженного Данилку.

— Отец протопоп, — начал Ахилла, бросив Данилку и подставляя пригоршни Туберозову.

Савелий благословил его.

За Ахиллой подошел и точно так же принял благословение Данилка. Затем дьякон отдернул мещанина на два шага назад и, снова взяв его крепко за ухо, заговорил:

— Отец Савелий, вообразите-с: прохожу улицей и вдруг слышу говор. Мещане говорят о дожде, что дождь ныне ночью был послан после молебствия, а сей (Ахилла уставил указательный палец левой руки в самый нос моргавшего Данилки), а сей это опровергал.

Туберозов поднял голову.

— Он, вообразите, говорил, — опять начал дьякон, потянув Данилку, — он говорил, что дождь, сею ночью шедший после вчерашнего мирского молебствия, совсем не по молебствию ниспоследовал.

— Откуда же ты это знаешь? — сухо спросил Туберозов.

Сконфуженный Данилка молчал.

— Вообразите же, отец протопоп! А он говорил, — продолжал дьякон, — что дождь излился только силой природы.

— К чему же это ты так рассуждал? — процедил, собирая придыханием с ладони крошечки просфоры, отец Туберозов.

— По сомнению, отец протопоп, — скромно отвечал Данилка.

— Сомнения, как и самомнения, тебе, невежде круглому, вовсе не принадлежат, и посему достоин делатель мзды своея, и ты вполне достойное по заслугам своим и принял. А потому ступай вон, празднословец, из моего дома.

Выпроводив за свой порог еретичествующего Данилку, протоиерей опять чинно присел, молча докушал свой чай и, только когда все это было обстоятельно покончено, сказал дьякону Ахилле:

— А ты, отец дьякон, долго еще намерен этак свирепствовать? Не я ли тебе внушал оставить твое заступничество и не давать рукам воли?

— Нельзя, отец протопоп; утерпеть было невозможно; потому что я уж это давно хотел доложить вам, как он, вообразите, все против божества и против бытописания; но прежде я все это ему, по его глупости, снисходил доселе.

— Да; когда не нужно было снисходить, то ты тогда снисходил.

— Ей-богу, снисходил; но уж тогда он, слышу, начал против обрядности...

— Да; ну, ты тогда что же сделал?

Протопоп улыбнулся.

— Ну уж этого я не вытерпел.

— Да; так и надо было тебе с ним всенародно подраться?

— И что же от того, что всенародно, отец протопоп? Я предстою алтарю и обязан стоять за веру повсеместно. Святой Николай Угодник Ария тоже ведь всенародно же смазал...

— То святой Николай, а то ты, — перебил его Туберозов. — Понимаешь, *ты* ворона, и что довлеет тебе яко вороне знать свое *кра,* а не в свои дела не мешаться. Что ты костылем-то своим размахался? Забыл ты, верно, что в костыле два конца? На силищу свою, дромадер, все надеешься!

— Полагаюсь-с.

— Полагаешься? Ну так не полагайся. Не сила твоя тебя спасла, а вот это, вот это спасло тебя, — произнес протопоп, дергая дьякона за рукав его рясы.

— Что ж, отец протопоп, вы меня этим укоряете? Я ведь свой сан и почитаю.

— Что! Ты свой сан почитаешь?

С этим словом протопоп сделал к дьякону шаг и, хлопнув себя ладонью по колену, прошептал:

— А не знаете ли вы, отец дьякон, кто это у бакалейной лавки, сидючи с приказчиками, папиросы курит?

Дьякон сконфузился и забубнил:

— Что ж, я, точно, отец протопоп... этим я виноват, но это больше ничего, отец протопоп, как по неосторожности, ей право, по неосторожности.

— Смотрите, мол, какой у нас есть дьякон франт, как он хорошо папиросы муслит.

— Нет, ей право, отец протопоп, вообразите, совсем не для того. Что ж мне этим хвалиться? Ведь этою табачною невоздержностью из духовных не я же один занимаюсь.

Туберозов оглянул дьякона с головы до ног самым многозначащим взглядом и, вскинув вверх голову, спросил его:

— Что же ты мне этим сказать хочешь? То ли, что, мол, и ты сам, протопоп, куришь?

Дьякон смутился и ничего не ответил.

Туберозов указал рукой на угол комнаты, где стояли его три черешневые чубука, и проговорил:

— Что такое я, отец дьякон, курю?

Дьякон молчал.

— Говорите же, потрудитесь, что я курю? Я трубку курю?

— Трубку курите, — ответил дьякон.

— Трубку? отлично. Где я ее курю? я ее дома курю?

— Дома курите.

— Иногда в гостях, у хороших друзей курю.

— В гостях курите.

— А не с приказчиками же-с я ее у лавок курю! — вскрикнул, откидываясь назад Туберозов и, постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил: — Ступай к своему месту, да смотри за собою. Я тебя много, много раз удерживал, но теперь гляди: наступают новые порядки, вводится новый суд, и пойдут иные обычаи, и ничто не будет в тени, а все въяве, и тогда мне тебя не защитить.

С этим протопоп стал своею большущею ногой на соломенный стул и начал бережно снимать рукой желтенькую канареечную клетку.

«Тьфу! Господи милосердый, за веру заступился и опять не в такту!» — проговорил в себе Ахилла и, выйдя из дома протопопа, пошел скорыми шагами к небольшому желтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуреньких детских головок.

Дьякон торопливо взошел на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу.

По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой, миниатюрный Захария, в подряснике и с длинною серебряною цепочкой на запавшей груди.

Ахилла входил в дом к отцу Захарию совсем не с тою физиономией и не с тою поступью, как к отцу протопопу. Смущение, с которым дьякон вышел от Туберозова, по мере приближения его к дому отца Захарии исчезало и на самом пороге заменилось уже крайним благодушием. Дьякон от нетерпения еще у порога начинал:

— Ну, отец Захария! Ну... брат ты мой милесенький... Ну!..

— Что такое? — спросил с кроткою улыбкой отец Захария, — чего это ты, чего егозишься, чего? — и с этим словом, не дождавшись ответа, сухенький попик заходил снова.

Дьякон прежде всего весело расхохотался, а потом воскликнул:

— Вот, друже мой, какой мне сейчас был пудромантель; ох, отче, от мыла даже голова болит. Вели скорее дать маленький опрокидонтик?

— Опрокидонт? Хорошо. Но кто же это, кто, мол, тебя пробирал?

— Да разумеется, министр юстиции.

— Ага! Отец Савелий.

— Никто же другой. Дело, отец Захария, необыкновенное по началу своему и по окончанию необыкновенное. Я старался как заслужить, а он все смял, повернул бог знает куда лицом и вывел что-то такое, чего я, хоть убей, теперь не пойму и рассказать не умею.

Однако же дьякон, присев и выпив поданную ему на тарелке рюмку водки, с мельчайшими подробностями передал отцу Захарии всю свою историю с Данилкой и с отцом Туберозовым. Захария во все время этого рассказа ходил тою же подпрыгивающею походкой и лишь только на секунду приостанавливался, по временам устранял со своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда дьякон совсем кончил, то он при самом последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: «Да-с, да, да, да, однако ничего».

— Я больше никак не рассуждаю, что он в гневе, и еще...

— Да, и еще что такое? Подите вы прочь, пострелята! Так, и что такое еще? — любопытствовал Захария, расшихивая с дороги детей.

— И что я еще в это время так неполитично трубки коснулся, — объяснил дьякон.

— Да, ну конечно... разумеется... отчасти оно могло и это... Подите вы прочь, пострелята!.. Впрочем, полагать можно, что он не на тебя недоволен. Да, оно даже и верно, что не на тебя.

— Да и я говорю то же, что не на меня: за что ему на меня быть недовольным? Я ему, вы знаете, без лести предан.

— Да, это не на тебя: это он... я так полагаю... Да уйдете ли вы с дороги прочь, пострелята!.. Это он душою... понимаешь?

— Скорбен, — сказал дьякон.

Отец Захария помотал ручкой около своей груди и, сделав кислую гримаску на лице, проговорил:

— Возмущен.

— Уязвлен, — решил дьякон Ахилла, — знаю: его все учитель Варнавка гневит, ну да я с Варнавкой скоро сделаю и прочее и прочее!

И с этим дьякон, ничего в подробности не объясняя, простился с Захарией и ушел.

Идучи по дороге домой, Ахилла повстречался с Данилкой, остановил его и сказал:

— А ты, брат Данилка, сделай милость, на меня не сердись. Я если тебя и наказал, то совершенно по христианской моей обязанности наказал.

— Всенародно оскорбили, отец дьякон! — отвечал Данилка тоном обиженным, но звучащим склонностью к примирению.

— Ну и что ж ты теперь со мною будешь делать, что обидел? Я знаю, что я обидел, но когда я строг... Я же ведь это не нагло; я тебе ведь еще в прошлом году, когда застал тебя, что ты в сенях у исправника отца Савельеву ризу надевал и кропилом кропил, я тебе еще тогда говорил: «Рассуждай, Данила, по бытописанию как хочешь, я по науке много не смыслю, но обряда не касайся». Говорил я ведь тебе этак или нет? Я говорил: «Не касайся, Данила, обряда».

Данилка нехотя кивнул головой и пробурчал:

— Может быть, и говорили.

— Нет, ты, брат, не финти, а сознавайся! Я наверно говорил, я говорил: «не касайся обряда», вот все! А почему я так говорил? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понял ты это теперь?

Данила только отвернулся в сторону и улыбался: ему самому было смерть смешно, как дьякон вел его по улице за ухо, но другие находившиеся при этом разговоре мещане, шутя и тоже едва сдерживая свой смех, упрекали дьякона в излишней строгости.

— Нет, строги вы, сударь, отец дьякон! Уж очень не в меру строги, — говорили они ему.

Ахилла, выслушав это замечание, подумал и, добродетельно вздохнув, положил свои руки на плечи двух ближе стоящих мещан и сказал:

— Строг, вы говорите: да, я, точно, строг, это ваша правда, но зато я и справедлив. А если б это дело к мировому судье? — Гораздо хуже. Сейчас три рубля в пользу детских приютов взыщет!

— Ничего-с: иной мировой судья за это еще рубль серебра на чай даст.

— Ну вот видишь! нет, я, братец, знаю, что я справедлив.

— Что же за справедливость? Не бог знает как вы, отец дьякон, и справедливы.

— Это почему?

— А потому, что Данила много ли тут виноват, что он только повторил, как ему ученый человек сказывал? Это ведь по-настоящему, если так судить, вы Варнаву Васильича должны остепенять, потому что это он нам сказывал, а Данила только сомневался, что не то это, как учитель говорил, дождь от естества вещей, не то от молебна! Вот если бы вы оттрясли учителя, это точно было бы закон.

— Учителя?.. — Дьякон развел широко руки, вытянул к носу хоботком обе свои губы и, постояв так секунду пред мещанами, прошептал: — Закон!.. Закон-то это, я знаю, велит... да вот отец Савелий не велит... и невозможно!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Прошло несколько дней: Туберозов убедился, что он совершенно напрасно опасался, как бы несдержанные поступки дьякона Ахиллы не навлекли какие-нибудь судебные неприятности; все благополучно шло по-старому; люди разнообразили свою монотонную уездную жизнь тем, что ссорились для того, чтобы мириться, и мирились для того, чтобы снова ссориться. Покою ничто не угрожало; напротив, даже Туберозову был ниспослан прекрасный день, который он провел в чистейшем восторге. Это был день именин исправницы, наступивший вскоре за тем днем, когда Ахилла, в своей, по вере, ревности, устроил публичный скандал с комиссаром Данилкой. Когда все гости, собравшиеся на исправницкий пирог, были

заняты утолением своего аппетита, хозяин, подойдя случайно к окну, вдруг громко крикнул жене:

— Боже мой! Посмотри-ка, жена, какие к тебе гости!

— Кто же там, кто? — отозвалась исправница.

— А ты посмотри.

Именинница, а с ней вместе и все бывшие в комнате гости бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осторожно, словно трехглавый змей на чреве, спускалась могучая тройка рослых буланых коней. Коренник мнется и тычет ногами, как старый генерал, подходящий, чтобы кого-то распечь: он то скусит губу налево, то скусит ее направо, то встряхнет головой и опять тычет и тычет ногами; пристяжные то вьются, как отыскивающие vis-à-vis[1] уланские корнеты, то сжимаются в клубочки, как спутанные овцы; малиновый колокольчик шлепнет колечком в край и снова прилип и молчит; одни бубенчики глухо рокочут, но рокочут без всякого звона. Но вот этот трехглавый змей сполз и распустился: показались хребты коней, махнул в воздухе хвост пристяжной; из-под ветра взвеяла грива; тройка выровнялась и понеслась по мосту. Показались золоченая дуга с травленою росписью и большие старинные, бронзой кованные, троечные дрожки гитарой. На дрожках рядком, как сидят на козетках, сидели два маленькие существа: одно мужское и одно женское; мужчина был в темно-зеленой камлотовой шинели и в большом картузе из шляпного волокнистого плюша, а женщина в масаковом гроденаплевом салопе, с лиловым бархатным воротником, и в чепчике с коричневыми лентами.

— Боже, да это плодомасовские карлики! — Не может быть! — Смотрите сами! — Точно, точно! — Да как же: вон Николай-то Афанасьич, видите, увидел нас и кланяется, а вон и Марья Афанасьевна кивает.

Такие возгласы раздались со всех сторон при виде карликов, и все словно невесть чему обрадовались: хозяева захлопотали возобновлением для новых гостей завтрака, а прежние гости внимательно смотрели на двери, в которые должны были показаться маленькие люди, и они, наконец, показались.

Впереди шел старичок ростом с небольшого восьмилетнего мальчика; за ним старушка немного побольше.

---

[1] Партнер в танцах *(франц.)*.

Старичок был весь чистота и благообразие: на лице его и следа нет ни желтых пятен, ни морщин, обыкновенно портящих лица карликов: у него была очень пропорциональная фигура, круглая как шар головка, покрытая совершенно белыми, коротко остриженными волосами, и небольшие коричневые медвежьи глазки. Карлица лишена была приятности брата: она была одутловата, у нее был глуповатый чувственный рот и тупые глаза.

На карлике Николае Афанасьевиче, несмотря на жаркое время года, были надеты теплые плисовые сапожки, черные панталоны из лохматой байки, желтый фланелевый жилет и коричневый фрак с металлическими пуговицами. Белье его было безукоризненной чистоты, и щечки его туго поддерживал высокий атласный галстук. Карлица была в шелковом зеленом капоте и большом кружевном воротнике.

Николай Афанасьевич, войдя в комнату, вытянул ручки по швам, потом приподнял правую руку с картузом к сердцу, шаркнул ножкой об ножку и, направясь вразвалец прямо к имениннице, проговорил тихим и ровным старческим голосом:

— Господин наш Никита Алексеич Плодомасов и господин Пармен Семенович Туганов от себя и от супруги своей изволили приказать нам, их слугам, принести вам, сударыня Ольга Арсентьевна, их поздравление. Сестрица, повторите, — отнесся он к стоявшей возле него сестре, и когда та кончила свое поздравление, Николай Афанасьевич шаркнул исправнику и продолжал:

— А вас, сударь Воин Васильевич, и всю честную компанию с дорогою именинницей. И затем, сударь, имею честь доложить, что, прислав нас с сестрицей для принесения вам их поздравления, и господин мой и Пармен Семенович Туганов просят извинения за наше холопье посольство; но сами теперь в своих минутах не вольны и принесут вам в том извинение сегодня вечером.

— Пармен Семеныч будет здесь? — воскликнул исправник.

— Вместе с господином моим Никитою Алексеичем Плодомасовым, проездом в Петербург, просят простить вас, что заедут в дорожном положении.

В обществе по поводу этого известия возникла маленькая суета, пользуясь которою карлик подошел под благословение к Туберозову и тихо проговорил:

— Пармен Семенович просили вас быть вечером здесь.

— Скажи, голубчик, буду, — отвечал Туберозов.

Карлик взял благословение у Захарии. Дьякон Ахилла взял ручку у почтительно поклонившегося ему маленького человечка, который при этом, улыбнувшись, проговорил:

— Только сделайте милость, сударь, надо мною силы богатырской не пробуйте!

— А что, Николай Афанасьич, разве он того... здоров? — пошутил хозяин.

— Силу пробовать любят-с, — отвечал старичок. — Есть над кем? Над калечкой.

— А что ваше здоровье, Николай Афанасьич? — пытали карлика дамы, окружая его со всех сторон и пожимая его ручонки.

— Какое, государыни, мое здоровье! Смех отвечать: точно поросенок стал. Петровки на дворе, — а я все зябну!

— Зябнете?

— Да как же-с: вот можете посудить, потому что весь в мешок заячий зашит. Да и чему дивиться-то-с, государи мои, станем? Восьмой десяток лет ведь уж совершил ненужный человек.

Николая Афанасьича наперебой засыпали вопросами о различных предметах, усаживали, потчевали всем: он отвечал на все вопросы умно и находчиво, но отказывался от всех угощений, говоря, что давно уж ест мало, и то какой-нибудь овощик.

— Вот сестрица покушают, — говорил он, обращаясь к сестре. — Садитесь, сестрица, кушайте, кушайте! Чего церемониться? А не хотите без меня, так позвольте мне, сударыня Ольга Арсентьевна, морковной начиночки из пирожка на блюдце... Вот так, довольно-с, довольно! Теперь, сестрица, кушайте, а с меня довольно. Меня и кормить-то уж не за что; нитяного чулка вязать, и того уже теперь путем не умею. Лучше гораздо сестрицы вязал когда-то, и даже бродери англез выплетал, а нынче что ни стану вязать, всё петли спускаю.

— Да; бывало, Никола, ты славно вязал! — отозвался Туберозов, весь оживившийся и повеселевший с прибытием карлика.

— Ах, отец Савелий! Время, государь, время! — карлик улыбнулся и договорил, шутя: — А к тому же и строгости надо мной, ваше высокопреподобие, нынче не стало; избаловался после смерти моей благодетельницы. Что? хлеб-соль готовые, кров теплый, всегда ленюсь.

Протоиерей посмотрел со счастливою улыбкой в глаза карлику и сказал:

— Вижу я тебя, Никола, словно милую сказку старую пред собою вижу, с которою умереть бы хотелось.

— А она, батушка (карлик говорил *у* вместо *ю*), она, сказка-то добрая, прежде нас померла.

— А забываешь, Николушка, про госпожу-то свою? Про боярыню-то свою, Марфу Андревну, забываешь? — вопрошал, юля около карлика, дьякон Ахилла, которого Николай Афанасьевич все как бы опасался и остерегался.

— Забывать, сударь отец дьякон, я уже стар, я уже и сам к ней, к утешительнице моей, служить на том свете давно собираюсь, — отвечал карлик очень тихо и с легким только полуоборотом в сторону Ахиллы.

— Утешительная, говорят, была эта старуха, — отнесся безразлично ко всему собранию дьякон.

— Ты это в каком же смысле берешь ее утешительность? — спросил Туберозов.

— Забавная!

Протопоп улыбнулся и махнул рукой, а Николай Афанасьевич поправил Ахиллу, твердо сказав ему:

— Утешительница, сударь, *утешительница,* а не забавница.

— Что ты ему внушаешь, Никола. Ты лучше расскажи, как она тебя ожесточила-то? Как откуп-то сделала? — посоветовал протопоп.

— Что, отец протопоп, старое это, сударь.

— Наитеплейше это у него выходит, когда он рассказывает, как он ожесточился, — обратился Туберозов к присутствующим.

— А уж так, батушка, она, госпожа моя, умела человека и ожесточить и утешить, и ожесточала и утешала, как разве только один ангел господень может утешить, —

сейчас же отозвался карлик. — В сокровенную души, бывало, человека проникнет и утешит, и мановением своим всю благую для него на земли совершит.

— А ты, в самом деле, расскажи, как это ты ожесточен был?

— Да, расскажи, Николаша, расскажи!

— Что ж, милостивые государи, смеетесь ли вы или не смеетесь, а вправду интересуетесь об этом слышать, но если вся компания желает, то уже я ослушаться не смею, расскажу.

— Пожалуйста, Николай Афанасьич, рассказывай.

— Расскажу,— отвечал, улыбнувшись, карлик,— расскажу, потому что повесть эта даже и приятна. — С этими словами карлик начал.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Это всего было чрез год как они меня у прежних господ купили. Я прожил этот годок в ужасной грусти, потому что был оторван, знаете, от крови родной и от фамилии. Разумеется, виду этого, что грущу, я не подавал, чтобы как помещице о том не донесли или бы сами они не заметили; но только все это было втуне, потому что покойница все это провидели. Стали приближаться мои именины, они и изволят говорить:

«Какой же, — говорят, — я тебе, Николай, подарок подарю?»

«Матушка, — говорю, — какой мне еще, глупцу, подарок? Я и так всем свыше главы моей доволен».

«Нет, — изволят говорить, — я думаю тебя хоть рублем одарить».

Что ж, я отказываться не посмел, поцеловал ее ручку и говорю:

«Много, — говорю, — вашею милостью взыскан», — и сам опять сел чулок вязать. Я еще тогда хорошо глазами видел и даже в гвардию нитяные чулки на господина моего Алексея Никитича вязал. Вяжу, сударь, чулок-то, да и заплакал. Бог знает чего заплакал, так, знаете, вспомнилось что-то про родных, пред днем ангела, и заплакал. А Марфа Андревна видят это, потому что

я напротив их кресла на подножной скамеечке всегда вязал, и спрашивают:

«Что ж ты это, — изволят говорить, — Николаша, плачешь?»

«Так, — отвечаю, — матушка, что-то слезы так...» — да и знаете, что́ им доложить-то, отчего плачу, и не знаю. Встал, ручку их поцеловал, да и опять сел на свою скамеечку.

«Не извольте, — говорю, — сударыня, обращать взоров ваших на эту слабость, это я так, сдуру, эти мои слезы пролил».

И опять сидим да работаем; и я чулок вяжу, и они чулочек вязать изволят. Только вдруг они этак повязали, повязали и изволят спрашивать:

«А куда же ты, Николай, рубль-то денешь, что я тебе завтра подарить хочу?»

«Тятеньке, — говорю, — сударыня, своему при верной оказии отправлю».

«А если, — говорят, — я тебе два подарю?»

«Другой, — докладываю, — маменьке пошлю».

«А если три?»

«Братцу, — говорю, — Ивану Афанасьевичу».

Они покачали головкой да изволят говорить:

«Много же как тебе, братец, денег-то надо, чтобы всех оделить! Этого ты, такой маленький, и век не заслужишь».

«Господу, — говорю, — было угодно меня таким создать», — да с сими словами и опять заплакал; опять сердце, знаете, сжалось: и сержусь на свои слезы и плачу. Они же, покойница, глядели, глядели на меня и этак молчком меня к себе одним пальчиком и поманули: я упал им в ноги, а они положили мою голову в колени, да и я плачу, и они изволят плакать. Потом встали, да и говорят:

«Ты никогда не ропщешь, Николаша, на бога?»

«Как же, — говорю, — матушка, можно на бога роптать? Никогда не ропщу!»

«Ну, он, — изволят говорить, — тебя за это и утешит».

Встали они, знаете, с этим словом, велели мне приказать, чтобы к ним послали бурмистра Дементия в их нижний разрядный кабинет, и сами туда отправились.

«Не плачь, — говорят, — Николаша! тебя господь утешит».

И точно, утешил.

При этом Николай Афанасьевич вдруг заморгал частенько своими тонкими веками и, проворно соскочив со стула, отбежал в уголок, где утер белым платочком глаза и возвратился со стыдливою улыбкой на свое место. Снова усевшись, он начал совсем другим, торжественным голосом, очень мало напоминавшим прежний:

— Встаю я, судари мои, рано: сходил потихоньку умылся, потому что я у них, у Марфы Андревны, в ножках за ширмой, на ковре спал, да и пошел в церковь, чтоб у отца Алексея после утрени молебен отслужить. Вошел я, сударь, в церковь и прошел прямо в алтарь, чтоб у отца Алексея благословение принять, и вижу, что покойник отец Алексей как-то необыкновенно радостны в выражении и меня шепотливо поздравляют с радостью. Я это отнес, разумеется, к праздничному дню и к именинам моим. Но что ж тут, милостивые государи, последовало! Выхожу я с просфорой на левый клирос, так как я с покойным дьячком Ефимычем на левом клиросе тонким голосом пел, и вдруг мне в народе представились и матушка, и отец, и братец Иван Афанасьевич. Батушку-то с матушкой я в народе еще и не очень вижу, но братец Иван Афанасьевич, он такой был... этакой гвардион, я его сейчас увидал. Думаю, это видение! Потому что очень уж я желал их в этот день видеть. Нет, не видение! Вижу, маменька, — крестьянка они были, — так и убиваются плачут. Думаю, верно у своих господ отпросились и издалека да пришли с своим дитем повидаться. Разумеется, я, чтобы благочиния церковного не нарушать, только подошел к родителям, к братцу, поклонился им в пояс, и ушел скорей совсем в алтарь, и сам уже не пел... Потому решительно скажу: не мог-с! Ну-с; так и заутреня и обедня по чину, как должно, кончились, и тогда... Вот только опять боюсь, чтоб эти слезы дурацкие опять рассказать не мешали, — проговорил, быстро обмахнув платочком глаза, Николай Афанасьевич. — Выхожу я, сударь, после обедни из алтаря, чтобы святителю по моему заказу молебен отслужить, а смотрю — пред аналоем с иконой стоит сама Марфа Андревна, к обедне пожало-

вали, а за нею вот они самые, сестрица Марья Афанасьевна, которую пред собой изволите видеть, родители мои и братец. Стали петь «святителю отче Николае», и вдруг отец Алексей на молитве всю родню мою поминает. Очень я был всем этим, сударь, тронут: отцу Алексею я по состоянию своему что имел заплатил, хотя они и брать не хотели, но это нельзя же даром молиться, да и подхожу к Марфе Андревне, чтобы поздравить. А они меня тихонько ручкой от себя отстранили и говорят:

«Иди прежде родителям поклонись!»

Я повидался с отцом, с матушкой, с братцем, и всё со слезами. Сестрица Марья Афанасьевна (Николай Афанасьевич с ласковой улыбкой указал на сестру), сестрица ничего, не плачут, потому что у них характер лучше, а я слаб и плачу. Тут, батушка, выходим мы на паперть, госпожа моя Марфа Андревна достают из карманчика кошелечек кувшинчиком, и сам я видел даже, как они этот кошелечек вязяли, да не знал, разумеется, кому он. «Одари, — говорят мне, — Николаша, свою родню». Я начинаю одарять: тятеньке серебряный рубль, маменьке рубль, братцу Ивану Афанасьевичу рубль, и всё новые рубли, а в кошельке и еще четыре рубля. «Это, говорю, матушка, для чего прикажете?» А ко мне, гляжу, бурмистр Дементий и подводит и невестушку и трех ребятишек — все в свитках. Всех я, по ее великой милости, одарил, и пошли мы домой из церкви все вместе: и покойница госпожа, и отец Алексей, и я, сестрица Марья Афанасьевна, и родители, и все дети братцевы. Сестрица Марья Афанасьевна опять и здесь идут, ничего, разумно, ну, а я, глупец, все и тут, сам не знаю чего, рекой разливаюсь плачу. Но все же, однако, я, милостивые государи, до сих пор хоть и плакал, но шел; но тут, батушка, у крыльца господского, вдруг смотрю, вижу, стоят три подводы, лошади запряжены разгонные господские Марфы Андревны, а братцевы две лошаденки сзади прицеплены, и на телегах вижу весь багаж моих родителей и братца. Я, батушка, этим смутился и не знаю, что думать. Марфа Андревна до сего времени, идучи с отцом Алексеем, всё о покосах изволили разговаривать и внимания на меня будто не обращали, а тут вдруг ступили ножками на крыльцо, оборачиваются ко мне и изволят говорить такое слово: «Вот тебе, слуга мой, отпускная: пусти своих

стариков и брата с детьми на волю!» и положили мне за жилет эту отпускную... Ну, уж этого я не перенес...

Николай Афанасьевич приподнял руки вровень с своим лицом и заговорил:

— «Ты! — закричал я в безумии, — так это все ты, — говорю, — жестокая, стало быть, совсем хочешь так раздавить меня благостию своей!» И тут грудь мне перехватило, виски заныли, в глазах по всему свету замелькали лампады, и я без чувств упал у отцовских возов с тою отпускной.

— Ах, старичок, какой чувствительный! — воскликнул растроганный Ахилла, хлопнув по плечу Николая Афанасьевича.

— Да-с, — продолжал, вытерев себе ротик, карло. — А пришел-то я в себя уж через девять дней, потому что горячка у меня сделалась, и то-с осматриваюсь и вижу, госпожа сидит у моего изголовья и говорит: «Ох, прости ты меня, Христа ради, Николаша: чуть я тебя, сумасшедшая, не убила!» Так вот она какой великан-то была, госпожа Плодомасова!

— Ах ты, старичок прелестный! — опять воскликнул дьякон Ахилла, схватив Николая Афанасьевича в шутку за пуговочку фрака и как бы оторвав ее.

Карла молча попробовал эту пуговицу и, удостоверясь, что она цела и на своем месте, сказал:

— Да-с, да, я ничтожный человек, а они заботились обо мне, доверяли; даже скорби свои иногда мне открывали, особенно когда в разлуке по Алексею Никитичу скорбели. Получат, бывало, письмо, сейчас сначала скоро, скоро сами про себя пробежат, а потом и всё вслух читают. Они сидят читают, а я пред ними стою, чулок вяжу да слушаю. Прочитаем и в разговор сейчас вступим: «Теперь его в офицеры, — бывало, скажут, — должно быть скоро произведут». А я говорю: «Уж по ранжиру, матушка, непременно произведут». Тогда рассуждают: «Как ты, Николаша, думаешь, ему ведь больше надо будет денег посылать». — «А как же, — отвечаю, — матушка, непременно тогда надо больше». — «То-то, скажут, нам ведь здесь деньги все равно и не нужны». — «Да нам, мол, они на что же, матушка, нужны!» А сестрица Марья Афанасьевна вдруг в это время не потрафят и смолчат, покойница на них за это сейчас и разгневаются: «Деревяшка ты, ска-

жут, деревяшка! Недаром мне тебя за братом в придачу даром отдали».

Николай Афанасьевич вдруг спохватился, страшно покраснел и, повернувшись к своей тупоумной сестре, проговорил:

— Вы простите меня, сестрица, что я это рассказываю?

— Сказывайте, ничего, сказывайте, — отвечала, водя языком за щекой, Марья Афанасьевна.

— Сестрица, бывало, расплачутся, — продолжал успокоенный Николай Афанасьевич, — а я ее куда-нибудь в уголок или на лестницу тихонечко с глаз Марфы Андревны выманю и уговорю. «Сестрица, говорю, успокойтесь; пожалейте себя, эта немилость к милости». И точно, горячее да сплывчивое сердце их сейчас скоро и пройдет: «Марья! — бывало, зовут через минутку. — Полно, мать, злиться-то. Чего ты кошкой-то ощетинилась, иди сядь здесь, работай». Вы ведь, сестрица, не сердитесь?

— Сказывайте, что ж мне? сказывайте, — отвечала Марья Афанасьевна.

— Да-с; тем, бывало, и кончено. Сестрица возьмут скамеечку, подставят у их ножек и опять начинают вязать. Ну, тут я уж, как это спокойствие водворится, сейчас подхожу к Марфе Андревне, попрошу у них ручку поцеловать и скажу: «Покорно вас, матушка, благодарим». Сейчас все даже слезой взволнуются. «Ты у меня, говорят, Николай, нежный. Отчего это только, я понять не могу, отчего она у нас такая деревянная?» — скажут опять на сестрицу. А я, — продолжал Николай Афанасьевич, улыбнувшись, — я эту речь их сейчас по-секретарски под сукно, под сукно. «Сестрица! шепчу, сестрица, попросите ручку поцеловать!» Марфа Андревна услышат, и сейчас все и конец: «Сиди уж, мать моя, — скажут сестрице, — не надо мне твоих поцелуев». И пойдем колтыхать спицами в трое рук. Только и слышно, что спицы эти три-ти-ти-ти-три-ти-ти, да мушка ж-ж-жу, ж-жу, ж-жу пролетит. Вот в какой тишине мы всю жизнь и жили!

— Ну, а вас же самих с сестрицей на волю она не отпустила? — спросил кто-то, когда карлик хотел встать, окончив свою повесть.

— На волю? Нет, сударь, не отпускали. Сестрица, Марья Афанасьевна, были приписаны к родительской

отпускной, а меня не отпускали. Они, бывало, изволят говорить: «После смерти моей живи где хочешь (потому что они на меня капитал для пенсии положили), а пока жива, я тебя на волю не отпущу». — «Да и на что, говорю, мне, матушка, она, воля? Меня на ней воробьи заклюют».

— Ах ты, маленький этакой! — воскликнул в умилении Ахилла.

— Да, а что вы такое думаете? И конечно-с заклюют, — подтвердил Николай Афанасьевич. — Вон у нас дворецкий Глеб Степанович, какой был мужчина, просто красота, а на волю их отпустили, они гостиницу открыли и занялись винцом и теперь по гостиному двору ходят да купцам за грош «скупого рыцаря» из себя представляют. Разве это хорошо.

— Он ведь у нее во всем правая рука был, Николай-то Афанасьевич, — отозвался Туберозов, желая возвысить этим отзывом заслуги карлика и снова наладить разговор на желанную тему.

— Служил, батушка, отец протоиерей, по разумению своему служил. В Москву и в Питер покойница езжали, никогда горничных с собою не брали. Терпеть женской прислуги в дороге не могли. Изволят, бывало, говорить: «Все эти Милитрисы Кирбитьевны квохчут, да в гостиницах по коридорам расхаживают, да знакомятся, а Николаша, говорят, у меня как заяц в угле сидит». Они ведь меня за мужчину вовсе не почитали, а все: заяц.

Николай Афанасьевич рассмеялся и добавил:

— Да и взаправду, какой же я уж мужчина, когда на меня, извините, ни сапожков и никакого мужского платья готового нельзя купить — не придется. Это и точно их слово справедливое было, что я заяц.

— Трусь! трусь! трусь! — заговорил, смеясь и оглаживая карлика по плечам, Ахилла.

— Но не совсем же она тебя считала зайцем, когда хотела женить? — отозвался к карлику исправник Порохонцев.

— Это, батушка Воин Васильич, было. Было, сударь, — добавил он, все понижая голос, — было.

— Неужто, Николай Афанасьич, было? — откликнулось разом несколько голосов.

Николай Афанасьевич покраснел и шепотом уронил:

— Грех лгать — было.

Все, кто здесь на это время находились, разом пристали к карлику:

— Голубчик, Николай Афанасьич, расскажите про это?

— Ах, господа, про что тут рассказывать! — отговаривался, смеясь, краснея и отмахиваясь от просьб руками, Николай Афанасьевич.

Его просили неотступно; дамы брали его за руку, целовали его в лоб; он ловил на лету прикасавшиеся к нему дамские руки и целовал их, но все-таки отказывался от рассказа, находя его долгим и незанимательным. Но вот что-то вдруг неожиданно стукнуло о пол, именинница, стоявшая в эту минуту пред креслом карлика, в испуге посторонилась, и глазам Николая Афанасьевича представился коленопреклоненный, с воздетыми кверху руками, дьякон Ахилла.

— Душка! — мотая головой, выбивал Ахилла. — Расскажи, как тебя женить хотели!

— Скажу, все расскажу, только поднимитесь, отец дьякон.

Ахилла встал и, обмахнув с рясы пыль, самодовольно возгласил:

— Ага! А что-с? А то, говорят, не расскажет! С чего так не расскажет? Я сказал — выпрошу, вот и выпросил. Теперь, господа, опять по местам, и чтоб тихо; а вы, хозяйка, велите Николаше за это, что он будет рассказывать, стакан воды с червонным вином, как в домах подают.

Все уселись, Николаю Афанасьевичу подали стакан воды, в который он сам впустил несколько капель красного вина, и начал новую о себе повесть.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— То, господа, было вскоре после французского замирения, как я со в бозе почившим государем императором разговаривал.

— Вы с государем разговаривали? — сию же минуту перебили рассказчика несколько голосов.

— А как бы вы изволили полагать? — отвечал с тихою улыбкой карлик. — Да-с; с самим императором Александром Павловичем говорил и имел рассудок, как ему отвечать.

— Ха-ха-ха! Вот, бог меня убей, шельма какая у нас этот Николавра! — взвыл вдруг от удовольствия дьякон Ахилла и, хлопнув себя ладонями по бедрам, добавил: — Глядите на него — маленький, а между тем он, клопштос, с царем разговаривал.

— Сиди, дьякон, смирно, сиди спокойно, — внушительно произнес Туберозов.

Ахилла показал руками, что он более ничего не скажет, и сел.

Рассказ начался снова.

— Это как будто от разговора моего с государем императором даже и начало имело, — спокойно заговорил Николай Афанасьевич. — Госпожа моя, Марфа Андревна, имела желание быть в Москве, когда туда ждали императора после всесветной его победы над Наполеоном Бонапарте. Разумеется, и я в этой поездке, по их воле, при них находился. Они, покойница, тогда уже были в больших летах и, по нездоровью своему, порядочно стали гневливы и обидчивы. Молодым господам по этой причине в дому у нас было скучно, и покойница это видели и много за это досадовали, а больше всех на Алексея Никитича сердились, что не так, полагали, верно у них в доме порядок устроен, чтобы всем весело было, и что чрез то их все забывают. Вот Алексей Никитич и достали маменьке приглашение на бал, на который государя ожидали. Марфа Андревна не скрыли от меня, что это им очень большое удовольствие доставило. Сделали они себе к этому балу наряд бесценный и для меня французу портному заказали синий фрак аглицкого сукна с золотыми пуговицами, панталоны, — сударыни, простите, — жилет, галстук — все белое; манишку с гофреями и пряжки на башмаки, сорок два рубля заплатили. Алексей Никитич для маменькина удовольствия так упросили, чтоб и меня можно было туда взять. Приказано было метрдотелю, чтобы ввесть меня в оранжерею при доме и напротив самого зала, куда государь войдет, в углу где-нибудь между цветами поставить. Так это, милостивые государи, все и исполнилось, но не совсем. Поставил меня, знаете, метрдотель в угол

у большого такого дерева, китайская пальма называется, и сказал, чтоб я держался и смотрел, что отсюда увижу. А что оттуда увидать можно? ничего. Вот я, знаете, как Закхей Мытарь, цап-царап, да и взлез на этакую маленькую искусственную скалу, взлез и стою под пальмой. В зале шум, блеск, музыка; а я хоть и на скале под пальмой стою, а все ничего не вижу, кроме как одни макушки да тупеи. Только вдруг все эти головы засуетились, раздвинулись, и государь с князем Голицыным прямо и входит от жара в оранжерею. И еще то, представьте, идет не только что в оранжерею, а даже в самый тот дальний угол прохладный, куда меня спрятали. Я так, сударыни, и засох. На скале-то засох и не слезу.

— Страшно? — спросил Туберозов.

— Как вам доложить? не страшно, но как будто волненье.

— А я бы убёг, — сказал, не вытерпев, дьякон.

— Чего же, сударь, бежать? Не могу сказать, чтобы совсем ни капли не испугался, но не бегал. А его величество тем часом все подходят, подходят; уже я слышу даже, как сапожки на них рип-рип-рип; вижу уж и лик у них этакий тихий, взрак ласковый, да уж, знаете, на отчаянность уж и думаю и не думаю, зачем я пред ними на самом на виду явлюсь? Только государь вдруг этак головку повернули и, вижу, изволили вскинуть на меня свои очи и на мне их и остановили.

— Ну! — крикнул, бледнея, дьякон.

— Я взял да им поклонился.

Дьякон вздохнул и, сжав руку карлика, прошептал:

— Сказывай же, сделай милость, скорее, не останавливайся!

— Они посмотрели на меня и изволят князю Голицыну говорить по-французски: «Ах, какой миниатюрный экземпляр! чей, любопытствуют, это такой?» Князь Голицын, вижу, в затруднительности ответить; а я, как французскую речь могу понимать, сам и отвечаю: «Госпожи Плодомасовой, ваше императорское величество». Государь обратился ко мне и изволят меня спрашивать: «Какой вы нации?» — «Верноподданный, говорю, вашего императорского величества». — «И русский уроженец?» — изволят спрашивать, а я опять отвечаю: «Из крестьян, говорю, верноподданный вашего императорского величе-

ства». Император и рассмеялись. «Bravo, — изволили пошутить,— bravo, mon petit sujet fidèle», [1] — и ручкой этак меня за голову к себе и пожали.

Николай Афанасьевич понизил голос и сквозь тихую улыбку, как будто величайшую политическую тайну, шепотом добавил:

— Ручкой-то своею, знаете, взяли обняли, а здесь... неприметно для них пуговочкой обшлага нос-то мне совсем чувствительно больно придавили.

— А ты же ведь ничего... не закричал? — спросил дьякон.

— Нет-с, что вы, батушка, что вы? Как же можно от ласк государя кричать? Я-с, — заключил Николай Афанасьевич, — только как они выпустили меня, я поцеловал их ручку... что счастлив и удостоен чести, и только и всего моего разговора с их величеством было. А после, разумеется, как сняли меня из-под пальмы и повезли в карете домой, так вот тут уж я все плакал.

— Отчего же после-то плакать? — спросил Ахилла.

— Да как же отчего? Мало ли отчего-с? От умиления чувств плачешь.

— Маленький, а как чувствует! — воскликнул в восторге Ахилла.

— Ну-с, позвольте! — начал снова рассказчик. — Теперь только что это случайное внимание императора по Москве в некоторых домах разгласилось, покойница Марфа Андревна начали всюду возить меня и показывать, и я, истину вам докладываю, не лгу, я был тогда самый маленький карлик во всей Москве. Но недолго это было-с, всего одну зиму...

Но в это время дьякон ни с того ни с сего вдруг оглушительно фыркнул и, свесив голову за спинку стула, тихо захохотал.

Заметя, что его смех остановил рассказ, он приподнялся и сказал:

— Нет, это ничего!.. Рассказывай, сделай милость, Николавра, это я по своему делу смеюсь. Как со мною однажды граф Кленыхин говорил.

— Нет-с, уж вы, сударь, лучше выскажитесь, а то опять перебьете, — ответил карлик.

— Да ничего, ничего, это самое простое дело, — возражал Ахилла. — Граф Кленыхин у нас семинарский кор-

[1] Браво, браво, мой маленький верноподданный *(франц.)*.

пус смотрел, я ему поклонился, а он говорит: «Пошел прочь, дурак!» Вот и весь наш разговор, чему я рассмеялся.

— И точно-с, смешно, — сказал Николай Афанасьевич и, улыбнувшись, стал продолжать.

— На другую зиму, — заговорил он, — Вихиорова генеральша привезла из-за Петербурга чухоночку Метту, карлицу еще меньше меня на палец. Покойница Марфа Андревна слышать об этом не могла. Сначала всё изволили говорить, что эта карлица не натуральная, а свинцом будто опоенная, но как приехали и изволили сами Метту Ивановну увидать, и рассердились, что она этакая беленькая и совершенная. Во сне стали видеть, как бы нам Метту Ивановну себе купить. А Вихиорша та слышать не хочет, чтобы продать. Вот тут Марфа Андревна и объясняют, что «мой Николай, говорят, умный и государю отвечать умел, а твоя, говорят, девчушка — что ж, только на вид хороша». Так меж собой обе госпожи за нас и спорят. Марфа Андревна говорят той: продай, а эта им говорит, чтобы меня продать. Марфа Андревна вскипят вдруг: «Я ведь, — изволят говорить, — не для игрушки у тебя ее торгую: я ее в невесты на вывод покупаю, чтобы Николая на ней женить». А госпожа Вихиорова говорят: «Что ж, я его и у себя женю». Марфа Андревна говорят: «Я тебе от них детей дам, если будут», и та тоже говорит, что и они пожалуют детей, если дети будут. Марфа Андревна рассердятся и велят мне прощаться с Меттой Ивановной. А потом опять, как Марфа Андревна не выдержат, заедем и, как только они войдут, сейчас и объявляют: «Ну слушай же, матушка генеральша, я тебе, чтобы попусту не говорить, тысячу рублей за твою уродицу дам», а та, как назло, не порочит меня, а две за меня Марфе Андревне предлагает. Пойдут друг другу набавлять и набавляют, и опять рассердится Марфа Андревна, вскрикнет: «Я, матушка, своими людьми не торгую», а госпожа Вихиорова тоже отвечают, что и они не торгуют, так и опять велят нам с Меттой Ивановной прощаться. До десяти тысяч рублей, милостивые государи, доторговались за нас, а все дело не подвигалось, потому что моя госпожа за ту дает десять тысяч, а та за меня одиннадцать. До самой весны, государи мои, так тянулось, и доложу вам, хотя госпожа Марфа Андревна была духа великого и несокрушимого,

и с Пугачевым спорила, и с тремя государями танцевала, но госпожа Вихиорова ужасно Марфы Андревны весь характер переломили. Скучают! страшно скучают! И на меня всё начинают гневаться! «Это вот все ты, — изволят говорить, — сякой-такой пентюх, что девку даже ни в какое воображение ввести не можешь, чтоб она сама за тебя просилась». — «Матушка, говорю, Марфа Андревна, чем же, говорю, питательница, я могу ее в воображение вводить? Ручку, говорю, матушка, мне, дураку, пожалуйте». А они еще больше гневаются. «Глупый, говорят, глупый! только и знает про ручки». А я уж все молчу.

— Маленький! маленький! Он, бедный, этого ничего не может! — участливо объяснял кому-то по соседству дьякон.

Карлик оглянулся на него и продолжал:

— Ну-с, так дальше — больше, дошло до весны, пора нам стало и домой в Плодомасово из Москвы собираться. Марфа Андревна опять приказали мне одеваться, и чтоб оделся в гишпанское платье. Поехали к Вихиорше и опять не сторговались. Марфа Андревна говорят ей: «Ну, хоть позволь же ты своей каракатице, пусть они хоть походят с Николашей вместе пред домом!» Генеральша на это согласилась, и мы с Меттой Ивановной по тротуару против окон и гуляли. Марфа Андревна, покойница, и этому радовались и всяких костюмов нам обоим нашили. Приедем, бывало, они и приказывают: «Наденьте нынче, Николаша с Меттой, пейзанские костюмы!» Вот мы оба и являемся в деревянных башмаках, я в камзоле и в шляпе, а Метта Ивановна в высоком чепчике, и ходим так пред домом, и народ на нас стоит смотрит. Другой раз велят одеться туркой с турчанкой, мы тоже опять ходим; или матросом с матроской, мы и этак ходим. А то были у нас тоже медвежьи платьица, те из коричневой фланели, вроде чехлов сшиты. Всунут нас, бывало, в них, будто руку в перчатку или ногу в чулок, ничего, кроме глаз, и не видно, а на макушечках такие суконные завязочки ушками поделаны, трепятся. Но в этих платьицах нас на улицу не посылали, а велят, бывало, одеться, когда обе госпожи за столом кофе кушают, и чтобы во время их кофею на ковре против их стола бороться. Метта Ивановна пресильная была, даром что женщина, но я, бывало, если им дам хорошенько подножку, так оне все-таки сейчас и слетят, но

только я, впрочем, всегда Метте Ивановне больше поддавался, потому что мне их жаль было по их женскому полу, да и генеральша сейчас, бывало, в их защиту собачку болонку кличут, а та меня за голеняшки, а Марфа Андревна сердятся... Ну их совсем и с одолением! А то тоже покойница заказали нам самый лучший костюм, он у меня и теперь цел: меня одели французским гренадером, а Метту Ивановну маркизой. У меня этакий кивер медвежий, меховой, высокий, мундир длинный, ружье со штыком и тесак, а Метте Ивановне роб и опахало большое. Я, бывало, стану в дверях с ружьем, а Метта Ивановна с опахалом проходят, и я им честь отдаю, и потом Марфа Андревна с генеральшей опять за нас торгуются, чтобы нас женить. Но только надо вам доложить, что все эти наряды и костюмы для нас с Меттой Ивановной все моя госпожа на свой счет делали, потому что они уж наверное надеялись, что мы Метту Ивановну купим, и даже так, что чем больше они на нас двоих этих костюмов надевали, тем больше уверялись, что мы оба ихние; а дело-то совсем было не туда. Госпожа генеральша Вихиорова, Каролина Карловна, как были из немок, то они ничему этому, что в их пользу, не препятствовали и принимали, а уступить ничего не хотели. Пред самою весной Марфа Андревна ей вдруг решительно говорят: «Однако что же это такое мы с тобою, матушка, делаем, ни Мишу, ни Гришу? Надо же, говорят, это на чем-нибудь кончить», да на том было и кончили, что чуть-чуть их самих на Ваганьково кладбище не отнесли. Зачахли покойница, желчью покрылись, на всех стали сердиться и вот минуты одной, какова есть минута, не хотят ждать: вынь да положь им Метту Ивановну, чтобы сейчас меня на ней женить! У кого в доме Светлое Христово воскресенье, а у нас тревога, а к Красной Горке ждем последний ответ и не знаем, как ей и передать его. Тут-то Алексей Никитич, дай им бог здоровья, уж и им это дело насолило, видят, что беда ожидает неминучая, вдруг надумались или с кем там в полку из умных офицеров посоветовались, и доложили маменьке, что будто бы Вихиоршина карлица пропала. Марфе Андревне все, знаете, от этого легче стало, что уж ни у кого ее нет, и начали они беспрестанно об этом говорить. «Как же так, расспрашивают, она пропала?» Алексей Никитич отвечают, что жид украл. «Как? какой жид?» — все расспрашивают.

Сочиняем им что попало: так, мол, жид этакой каштановатый, с бородой, все видели, взял да понес. «А что же, — изволят спрашивать,— зачем же его не остановили?» Так, мол; он из улицы в улицу, из переулка в переулок, так и унес. «Да и она-то, рассуждают, дура какая, что ее несут, а она даже не кричит. Мой Николай ни за что бы, говорят, не дался». — «Как можно, говорю, сударыня, жиду сдаться!» Всему уж они как ребенок стали верить. Но тут Алексей Никитич вдруг ненароком маленькую ошибку дал или, пожалуй сказать, перехитрил: намерение их такое было, разумеется, чтобы скорее Марфу Андревну со мною в деревню отправить, чтоб это тут забылось, они и сказали маменьке: «Вы, — изволят говорить, — маменька, не беспокойтесь: ее, эту карлушку, найдут, потому что ее ищут, и как найдут, я вам сейчас и отпишу в деревню», — а покойница-то за это слово и ухватились: «Нет уж, говорят, если ищут, так я лучше подожду, я, главное, теперь этого жида-то хочу посмотреть, который ее унес!» Тут, судари мои, мы уж и одного квартального вместе с собою лгать подрядили: тот всякий день приходит и врет, что «ищут, мол, ее, да не находят». Она ему всякий день синенькую, а меня всякий день к ранней обедне посылает в церковь, Иоанну Воинственнику молебен о сбежавшей рабе служить...

— Иоанну Воинственнику? Иоанну Воинственнику, говоришь ты, молебен-то ходил служить? — перебил дьякон.

— Да-с, Иоанну Воинственнику.

— Ну так, брат, поздравляю тебя, совсем не тому святому служил.

— Дьякон! да сделай ты милость, сядь, — решил отец Савелий, — а ты, Николай, продолжай.

— Да что, батюшка, больше продолжать, когда вся уж почти моя сказка и рассказана. Едем мы один раз с Марфой Андревной от Иверской божией матери, а генеральша Вихиорова и хлоп на самой Петровке нам навстречу в коляске, и Метта Ивановна с ними. Тут Марфа Андревна все поняли и... поверите ли, государи мои, или нет, тихо, но горько в карете заплакали.

Карлик замолчал.

— Ну, Никола, — подогнал его протопоп Савелий.

— Ну-с, а тут уж что же: как приехали мы домой, они

и говорят Алексею Никитичу: «А ты, сынок, говорят, выходишь дурак, что смел свою мать обманывать, да еще квартального приводил»,— и с этим велели укладываться и уехали.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Николай Афанасьевич обернулся на стульце ко всем слушателям и добавил:

— Я ведь вам докладывал, что история самая простая и нисколько не занимательная. А мы, сестрица, — добавил он, вставая, — засим и поедемте!

Марья Афанасьевна стала собираться; но дьякон опять выступил со спором, что Николай Афанасьевич не тому святому молебен служил.

— Это, сударь мой, отец дьякон, не мое дело знать, — оправдывался, отыскивая свой пуховый картуз, Николай Афанасьевич.

— Нет, как же не твое! Непременно твое: ты должен знать, кому молишься.

— Позвольте-с, позвольте, я в первый раз как пришел по этому делу в церковь, подал записочку *о бежавшей рабе* и полтинник, священник и стали служить Иоанну Воинственнику, так оно после и шло.

— Ой! если так, значит плох священник...

— Чем? чем? чем? Чем так священник плох? — вмешался неожиданно отец Бенефактов.

— Тем, отец Захария, плох, что дела своего не знает,— отвечал Бенефактову с отменною развязностию Ахилла. — *О бежавшем рабе* нешто Иоанну Воинственнику петь подобает?

— Да, да; а кому же, по-твоему? кому же? кому же?

— Кому? Забыли, что ли, вы? У ктиторова места лист в прежнее время был наклеен. Теперь его сняли, а я все помню, кому в нем за что молебен петь положено.

— Да.

— Ну и только! Федору Тирону, если вам угодно слышать, вот кому.

— Ложно осуждаешь: Иоанну Воинственнику они правильно служили.

— Не конфузьте себя, отец Захария.

— Я тебе говорю, служили правильно.

— А я вам говорю, понапрасну себя не конфузьте.

— Да что ты тут со мной споришь!

— Нет, это что вы со мной спорите! Я вас ведь, если захочу, сейчас могу оконфузить.

— Ну, оконфузь.

— Ей-богу, душечка, оконфужу!

— Ну, оконфузь, оконфузь!

— Ей-богу ведь оконфужу, не просите лучше, потому что я эту таблицу наизусть знаю.

— Да ты не разговаривай, а оконфузь, оконфузь, — смеясь и радуясь, частил Захария Бенефактов, глядя то на дьякона, то на чинно хранящего молчание отца Туберозова.

— Оконфузить? извольте, — решил Ахилла и, сейчас же закинув далеко на локоть широкий рукав рясы, загнул правою рукой большой палец левой руки, как будто собирался его отломить, и начал: — Вот первое: об исцелении от отрясовичной болезни — преподобному Марою.

— Преподобному Марою, — повторил за ним, соглашаясь, отец Бенефактов.

— От огрызной болезни — великомученику Артемию, — вычитывал Ахилла, заломив тем же способом второй палец.

— Артемию, — повторил Бенефактов.

— О разрешении неплодства — Роману Чудотворцу; если возненавидит муж жену свою — мученикам Гурию, Самону и Авиву; об отогнании бесов — преподобному Нифонту; об избавлении от блудныя страсти — преподобной Фомаиде...

— И преподобному Моисею Угрину, — тихо подставил до сих пор только в такт покачивавший своею головкой Бенефактов.

Дьякон, уже загнувший все пять пальцев левой руки, секунду подумал, глядя в глаза отцу Захарии, и затем, разжав левую руку, с тем чтобы загибать ею правую, произнес:

— Да, тоже можно и Моисею Угрину.

— Ну, теперь продолжай.

— От винного запойства — мученику Вонифатию...

— И Моисею Мурину.

— Что-с?

— Вонифатию и Моисею Мурину, — повторил отец Захария.

— Точно, — повторил дьякон.

— Продолжай.

— О сохранении от злого очарования — священномученику Киприяну...

— И святой Устинии.

— Да позвольте же, наконец, отец Захария, с этими подсказами!

— Да нечего позволять! Русским словом ясно напечатано: и святой Устинии.

— Ну, хорошо! ну, и святой Устинии, а об обретении украденных вещей и бежавших рабов (дьякон начал с этого места подчеркивать свои слова) — Феодору Тирону, его же память празднуем семнадцатого февраля.

Но только что Ахилла протрубил свое последнее слово, как Захария тою же тихою и бесстрастною речью продолжал чтение таблички словами:

— И Иоанну Воинственнику, его же память празднуем десятого июля.

Ахилла похлопал глазами и проговорил:

— Точно; теперь вспомнил, есть и Иоанну Воинственнику.

— Так о чем же это вы, сударь отец дьякон, изволили целый час спорить? — спросил, протягивая на прощанье свою ручку Ахилле, Николай Афанасьевич.

— Ну вот поди же ты со мною! Дубликаты позабыл, вот из-за чего и спорил, — отвечал дьякон.

— Это, сударь, называется: шапка на голове, а я шапку ищу. Мое глубочайшее почтение, отец дьякон.

— «Шапку ищу»... Ах ты, маленький! — произнес, осклабляясь, Ахилла и, подхватив Николая Афанасьевича с полу, посадил его себе на ладонь и воскликнул: — как пушиночка легенький!

— Перестань, — велел отец Туберозов.

Дьякон опустил карлика и, поставив его на землю, шутливо заметил, что, по легкости Николая Афанасьевича, его никак бы нельзя на вес продавать; но протопопу уже немножко досадила суетливость Ахиллы, и он ему отвечал:

— А ты знаешь ли, кого ценят по весу?

— А кого-с?

— Повесу.

— Покорно вас благодарю-с.

— Не взыщи, пожалуйста.

Дьякон смутился и, обведя носовым бумажным платком по ворсу своей шляпы, проговорил:

— А вы уж нигде не можете обойтись без политики, — и с этим, слегка надувшись, вышел за двери.

Вскоре раскланялись и разошлись в разные стороны и все другие гости.

Николая Афанасьевича с сестрой быстро унесли окованные бронзой троечные дрожки, а Туберозов тихо шел за реку вдвоем с тем самым Дарьяновым, с которым мы его видели в домике просвирни Препотенской.

Перейдя вместе мост, они на минуту остановились, и протопоп, как бы что-то вспомнив, сказал:

— Не удивительно ли, что эта старая сказка, которую рассказал сейчас карлик и которую я так много раз уже слышал, ничтожная сказочка про эти вязальные старухины спицы, не только меня освежила, но и успокоила от того раздражения, в которое меня ввергла намеднишняя новая действительность? Не явный ли знак в этом тот, что я уже остарел и назад меня клонит? Но нет, и не то; таков был я сыздетства, и вот в эту самую минуту мне вспомнился вот какой случай: приехал я раз уже студентом в село, где жил мои детские годы, и застал там, что деревянную церковку сносят и выводят стройный каменный храм... и я разрыдался!

— О чем же?

— Представьте: стало мне жаль деревянной церковки. Чуден и светел новый храм возведут на Руси, и будет в нем и светло и тепло молящимся внукам, но больно глядеть, как старые бревна без жалости рубят!

— Да что и хранить-то из тех времен, когда только в спички стучали да карликов для своей потехи женили.

— Да; вот заметьте себе, много, много в этом скудости, а мне от этого пахну́ло русским духом. Я вспомнил эту старуху, и стало таково и бодро и приятно, и это бережи моей отрадная награда. Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость! Для вас вот эти прутики старушек ударяют монотонно; но для меня с них каплет сладких сказаний источник!.. О, как бы я желал умереть в мире с моею старою сказкой.

— Да это, конечно, так и будет.

— Представьте, а я опасаюсь, что нет.

— Напрасно. Кто же вам может помешать?

— Как можно знать, как можно знать, кто это будет? Но, однако, позвольте, что же это я вижу? — заключил протоиерей, вглядываясь в показавшееся на горе облако пыли.

Это облако сопровождало дорожный троечный тарантас, а в этом тарантасе сидели два человека: один — высокий, мясистый, черный, с огненными глазами и несоразмерной величины верхнею губой; другой — сюбтильный, выбритый, с лицом совершенно бесстрастным и светлыми водянистыми глазками.

Экипаж с этими пассажирами быстро проскакал по мосту и, переехав реку, повернул берегом влево.

— Какие неприятные лица! — сказал, отвернувшись, протопоп.

— А вы знаете ли, кто это такие?

— Нет, слава богу, не знаю.

— Ну так я вас огорчу. Это и есть ожидаемый у нас чиновник князь Борноволоков; я узнаю его, хоть и давно не видал. Так и есть; вон они и остановились у ворот Бизюкина.

— Скажите ж на милость, который же из них сам Борноволоков?

— Борноволоков тот, что слева, маленький.

— А тот другой что за персона?

— А эта персона, должно быть, просто его письмоводитель. Он тоже знаменит кой-чем.

— Юрист большой?

— Гм! Ну, этого я не слыхал о нем, а он по какой-то студенческой истории в крепости сидел.

— Батюшки мои! А как имя мужу сему?

— Измаил Термосесов.

— Термосесов?

— Да, Термосесов; Измаил Петров Термосесов.

— Господи, каких у нашего царя людей нет!

— А что такое?

— Да как же, помилуйте: и губастый, и страшный, и в крепости сидел, и на свободу вышел, и фамилия ему Термосесов.

— Не правда ли, ужасно! — воскликнул, расхохотавшись, Дарьянов.

— А что вы думаете, оно, пожалуй, и вправду ужасно! — отвечал Туберозов. — Имя человеческое не пустой совсем звук: певец «Одиссеи» недаром сказал, что «в минуту рождения каждый имя свое себе в сладостный дар получает». Но до свидания пока. Вечером встретимся?

— Непременно.

— Так вот и прекрасно: там нам будет время добеседовать и об именах и об именосцах.

С этим протопоп пожал руку своего компаньона, и они расстались.

Туберозов пришел вечером первый в дом исправника, и так рано, что хозяин еще наслаждался послеобеденным сном, а именинница обтирала губкой свои камелии и олеандры, окружавшие угольный диван в маленькой гостиной.

Хозяйка и протопоп встретились очень радушно и с простотой, свидетельствовавшей о их дружестве.

— Рано придрал я? — спросил протопоп.

— И очень даже рано, — отвечала, смеясь, хозяйка.

— Подите ж! Жена была права, что останавливала, да что-то не сидится дома; охота гостевать пришла. Давайте-ка я стану помогать вам мыть цветы.

И старик вслед за словом снял рясу, засучил рукава подрясника и, вооружась мокрою тряпочкой, принялся за работу.

В этих занятиях и незначащих перемолвках с хозяйкой о состоянии ее цветов прошло не более полчаса, как под окнами дома послышался топот подкатившей четверни. Туберозов вздрогнул и, взглянув в окно, произнес в себе: «Ага! нет, хорошо, что я поторопился!» Затем он громко воскликнул: «Пармен Семеныч? Ты ли это, друг?» И бросился навстречу выходившему из экипажа предводителю Туганову.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь волей-неволей, повинуясь неодолимым обстоятельствам, встречаемым на пути нашей хроники, мы должны оставить на время и старогородского протопопа и предводителя и познакомиться совершенно с другим кружком того же города. Мы должны вступить в дом акцизного чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли давно жданные в город петербургские гости: старый уни-

верситетский товарищ акцизника князь Борноволоков, ныне довольно видный петербургский чиновник, разъезжающий с целию что-то ревизовать и что-то вводить, и его секретарь Термосесов, также некогда знакомец и одномысленник Бизюкина. Мы входим сюда именно в тот предобеденный час, когда пред этим домом остановилась почтовая тройка, доставившая в Старогород столичных гостей.

Самого акцизника в это время не было дома, и хозяйственный элемент представляла одна акцизница, молодая дама, о которой мы кое-что знаем из слов дьякона Ахиллы, старой просвирни да учителя Препотенского. Интересная дама эта одна ожидала дорогих гостей, из коих Термосесов ее необыкновенно занимал, так как он был ей известен за весьма влиятельного политического деятеля. О великом характере и о значении этой особы она много слыхала от своего мужа и потому, будучи сама политическою женщиной, ждала этого гостя не без душевного трепета. Желая показаться ему с самой лучшей и выгоднейшей для своей репутации стороны, Бизюкина еще с утра была озабочена тем, как бы ей привести дом в такое состояние, чтобы даже внешний вид ее жилища с первого же взгляда производил на приезжих целесообразное впечатление. Акцизница еще спозаранка обошла несколько раз все свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она в отчаянии воскликнула: «Нет, это черт знает что такое! Это совершенно так, как и у Порохонцевых, и у Дарьяновых, и у почтмейстера, словом, как у всех, даже, пожалуй, гораздо лучше! Вот, например, у Порохонцевых нет часов на камине, да и камина вовсе нет; но камин, положим, еще ничего, этого гигиена требует; а зачем эти бра, зачем эти куклы, наконец зачем эти часы, когда в зале часы есть?.. А в зале? Господи! Там фортепьяно, там ноты... Нет, это решительно невозможно так, и я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мне Термосесов мог написать что-нибудь вроде того, что в умном романе «Живая душа» умная Маша написала своему жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара. Эта умная девушка прямо написала ему, что, мол, «после того, что я у вас видела, между нами все кончено». Нет, я этого не хочу. Я знаю, как надо при-

пять деятелей! Одно досадно: не знаю, как именно у них все в Петербурге?.. Верно, у них там все это как-нибудь скверно, то есть я хотела сказать прекрасно... тфу, то есть скверно... Черт знает что такое. Да! Но куда же, однако, мне все это деть? Неужели же все выбросить? Но это жаль, испортится; а это все денег стоит, да и что пользы выбросить вещи, когда кругом, на что ни взглянешь... вон в спальне кружевные занавески... положим, что это в спальне, куда гости не заглянут... ну, а если заглянут!.. Ужасная гадость. Притом же дети так хорошо одеты!.. Ну да их не покажут; пусть там и сидят, где сидят; но все-таки... все выбрасывать жаль! Нет, лучше уж одну мужнину комнату отделать.

И с этим молодая чиновница позвала людей и велела им тотчас же перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужнина кабинета в кладовую.

Кабинет акцизника, и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома, теперь совсем был ободран и представлял зрелище весьма печальное. В нем оставались стол, стул, два дивана и больше ничего.

«Вот и отлично, — подумала Бизюкина. — По крайней мере есть хоть одна комната, где все совершенно как следует». Затем она сделала на письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу плевальницу и рассыпала по полу песок... Но, боже мой! возвратясь в зал, акцизница заметила, что она было чуть-чуть не просмотрела самую ужасную вещь: на стене висел образ!

— Ермошка! Ермошка! скорей тащи долой этот образ и неси его... я его спрячу в комод.

Образ был спрятан.

— Как это глупо, — рассуждала она, — что жених, ожидая *живую душу,* побил свои статуи и порвал занавески? Эй, Ермошка, подавай мне сюда занавески! Скорей свертывай их. Вот так! Теперь сам смотри же, чертенок, одевайся получше!

— Получше-с?

— Ну да, конечно, получше. Что там у тебя есть?

— Бешмет-с.

— Бешмет, дурак, «бешмет-с»! Жилетку, манишку и новый кафтан, все надень, чтобы все было как должно, — да этак не изволь мне отвечать по-лакейски: «чего-с изво-

лите-с» да «я вам докладывал-с», а просто говори: «что, мол, вам нужно?» или: «я, мол, вам говорил». Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Не «понимаю-с», глупый мальчишка, а просто «понимаю», *ю, ю, ю;* просто понимаю!

— Понимаю.

— Ну вот и прекрасно. Ступай одевайся, у нас будут гости. Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Понимаю, дурак, *понимаю,* а не «понимаю-с».

— Понимаю.

— Ну и пошел вон, если понимаешь.

Озабоченная хозяйка вступила в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала, что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать.

— Марфа! ты очень не любишь господ?

— Отчего же-с?

— Ну, «отчего же-с?» Так, просто ни отчего. За что тебе любить их?

Девушка была в затруднении.

— Что они тебе хорошего сделали?

— Хорошего ничего-с.

— Ну и ничего-с, и дура, и значит, что ты их не любишь, а вперед, я тебя покорно прошу, ты не смей мне этак говорить: «отчего же-с», «ничего-с», а говори просто «отчего» и «ничего». Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Вот и эта: «понимаю-с». Говори просто «понимаю».

— Да зачем так, сударыня?

— Затем, что я так хочу.

— Слушаю-с.

— «Слушаю-с». Я сейчас только сказала: говори просто «слушаю и понимаю».

— Слушаю и понимаю; но только мне этак, сударыня, трудно.

— Трудно? Зато после будет легко. Все так будут говорить. Слышишь?

— Слышу-с.

— «Слышу-с»... Дура. Иди вон! Я тебя прогоню, если ты мне еще раз так ответишь. Просто «слышу», и ничего больше. Господ скоро вовсе никаких не будет; понимаешь

ты это? не будет их вовсе! Их всех скоро... топорами порежут. Поняла?

— Поняла, — ответила девушка, не зная, как отвязаться.

— Иди вон и пошли Ермошку.

«Теперь необходимо еще одно, чтоб у меня здесь была школа». И Бизюкина, вручив Ермошке десять медных пятаков, велела заманить к ней с улицы, сколько он может, мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получат еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минут через десять в сопровождении целой гурьбы оборванцев — уличных ребятишек.

Бизюкина оделила их пятаками и, посадив их в мужнином кабинете, сказала:

— Я вас буду учить и дам вам за это по пятачку. Хорошо?

Ребятишки подернули носами и прошипели:

— Ну дак что ж.

— А мы в книжку не умеем читать, — отозвался мальчик посмышленее прочих.

— Песню учить будете, а не книжку.

— Ну, песню, так ладно.

— Ермошка, иди и ты садись рядом.

Ермошка сел и застенчиво закрыл рот рукой.

— Ну, теперь валяйте за мною!

Как идет млад кузнец да из кузницы.

Дети кое-как через пятое в десятое повторили.

— «Слава!» — воскликнула Бизюкина.

— «Слава!» — повторили дети.

Под полой три ножа да три острых несет. Слава!

Тут Ермошка приподнял вверх голову и, взглянув в окно, вскрикнул:

— Сударыня, гости!

Бизюкина бросила из рук линейку, которою размахивала, уча детей песне, и быстро рванулась в залу.

Ермошка опередил ее и выскочил сначала в переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Борноволокова и Термосесова. Молодая политическая дама была чрезмерно довольна собою, гости застали ее, как говорится, во *всем туалете.*

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Князь Борноволоков и Термосесов, при внимательном рассмотрении их, были гораздо занимательнее, чем показались они мельком Туберозову.

Сам ревизор был живое подобие уснувшего ерша: маленький, вихрястенький, широкоперый, с глазами, совсем затянутыми какою-то сонною влагой. Он казался ни к чему не годным и ни на что не способным; это был не человек, а именно сонный ерш, который ходил по всем морям и озерам и теперь, уснув, осклиз так, что в нем ничего не горит и не светится.

Термосесов же был нечто напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чисто женское: в плечах он узок, в тазу непомерно широк; ляжки как лошадиные окорока, колени мясистые и круглые; руки сухие и жилистые; шея длинная, но не с кадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная — с зарезом; голова с гривой вразмет на все стороны; лицом смугл, с длинным, будто армянским носом и с непомерною верхнею губой, которая тяжело садилась на нижнюю; глаза у Термосесова коричневого цвета, с резкими черными пятнами в зрачке; взгляд его пристален и смышлен.

Костюмы новоприбывших гостей тоже были довольно замечательны. На Борноволокове надето маленькое серенькое пальто вроде рейт-фрака и шотландская шапочка с цветным околышем, а на Термосесове широкий темно-коричневый суконный сак, подпоясанный широким черным ремнем, и форменная фуражка с зеленым околышем и кокардой; Борноволоков в лайковых полусапожках, а Термосесов в так называемых суворовских сапогах.

Вообще Термосесов и шире скроен, и крепче сшит, и по всему есть существо гораздо более фундаментальное, чем его начальник! Фундаментальность эта еще более подкрепляется его отменною манерой держаться.

Ревизор Борноволоков, ступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти до крыльца, сделал несколько шагов быстрых, но неровных, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им, а Термосесов не верхоглядничал, не озирался и не корчил из себя первое лицо, а шел тихо и спокойно

у левого плеча Борноволокова. Лошадиная голова Термосесова была им слегка опущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник. Бизюкина видела все это. Она наблюдала новоприезжих из-за оконной притолки и млела в недоумении: который же из этих двоих ревизор Борноволоков и который Термосесов? По ее соображениям выходило, что князь Борноволоков непременно этот большой, потому что он в форменной фуражке и с кокардой, а тот вон, без формы, в рейт-фрачке и пестренькой шапочке,— Термосесо́в, человек свободный, служащий по вольному найму. Хозяйку, кроме того, томил другой вопрос: как ей их встретить?.. Выйти навстречу?.. это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут?.. натянуто. Книгу читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И она взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и, взглянув поверх ее в окно, заметила, что у Борноволокова, которого она считала Термосесовым, руки довольно грязны, между тем как ее праздные руки белы как пена.

Бизюкина немедленно схватила горсть земли из стоявшего на окне цветного вазона, растерла ее в ладонях и, закинув колено на колено, села, полуоборотясь к окну, с книгой.

В эту самую минуту в сенях послышался веселый, довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя: Термосесов впереди, а за ним князь Борноволоков.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Хозяйка сидела и не трогалась. Она в это время только вспомнила, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок и, при всем своем замешательстве, соображала, как бы ловчее сбросить его за открытое окошко? Мысль эта так ее занимала, что она даже не вслушалась в первый вопрос, с которым отнесся к ней один из ее новоприезжих гостей, что ей и придало вид особы, непритворно занятой чтением до самозабвения.

Термосесов посмотрел на нее через порог и должен был повторить свой вопрос.

— Вы кто здесь, может быть сама Бизюкина? — спросил он, спокойно всовываясь в залу.

— Я — Бизюкина, — отвечала, не поднимаясь с места, хозяйка.

Термосесов вошел в зал и заговорил:

— Я Термосесов, Измаил Петров сын Термосесов, вашего мужа когда-то товарищ по воспитанию, но после из глупости размолвили; а это князь Афанасий Федосеич Борноволоков, чиновник из Петербурга и ревизор, пробирать здесь всех будем. Здравствуйте!

Термосесов протянул руку.

Бизюкина подала свою руку Термосесову, а другою, кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазон.

— Что это; вы, кажется, цветок за окно уронили?

— Нет, нет; пустое... Это совсем не цветок, это трава от пореза, но уж она не годится.

— Да, разумеется, не годится: какой же шут теперь лечится от пореза травой. А впрочем, может быть еще есть и такие ослы. А где же это ваш муж?

Бизюкина оглянулась на ревизора, который, ни слова не говоря, тихо сел на диванчик, и отвечала Термосесову, что мужа ее нет дома.

— Нет! Ну, это ничего: свои люди — сочтемся. Мы ведь с ним большие были приятели, да после из глупости немножко повздорили; но все-таки я вам откровенно скажу, ваш муж не по вас. Нет, не по вас, — тут и толковать нечего, что не по вас. Он фофан — и больше ничего, и это счастье его, что вы ему могли такое место доставить по акцизу; а вы молодчина и все уладили; и место мужу выхлопотали, и чудесно у вас тут! — добавил он, заглянув насколько мог по всем видным из залы комнатам и, заметив в освобожденном от всяких убранств кабинете кучу столпившихся у порога детей, добавил:

— А-а! да у вас тут есть и школка. Ну, эта комнатка зато и плохандрос: ну, да для школы ничего. Чему вы их, паршь-то эту, учите? — заключил он круто.

Ненаходчивая Бизюкина совсем не знала, что ей отвечать. Но Термосесов сам выручил. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок, заговорил:

— А что? Умеешь горох красть? Воруй, братец, и когда в Сибирь погонят, то да будет над тобой мое благословение. Отпустите их, Бизюкина! Идите, ребятишки, по дворам! Марш горох бузовать.

Дети один за другим тихо выступили и, перетянувшись гуськом через залу, шибко побежали по сеням, а потом по двору.

— Что все эти школы? канитель!

— Я и сама это нахожу, — осмелилась вставить хозяйка.

— Да, разумеется; субсидии ведь не получаете?

— Нет; какая ж субсидия?

— Отчего ж? другие из наших берут. А это, вероятно, ваш фруктик? — вопросил он, указав на вошедшего нарядного Ермошку, и, не ожидая ответа, заговорил к нему:

— Послушайте, милый фруктик: вели-ко, дружочек, прислуге подать нам умыться!

— Это вовсе не сын мой, — отозвалась сконфуженная хозяйка.

Но Термосесов ее не слышал. Ухватясь за мысль, что видит пред собой хозяйского сына, он развивал ей, к чему его готовить и как его вести.

— К службе его приспособляйте. Чтобы к литературе не приохочивался. Я вот и права не имею поступить на службу, но кое-как, хоть как-нибудь, бочком, ничком, а все-таки примкнул. Да-с; а я ведь прежде тоже сам нигилист был и даже на вашего мужа сердился, что он себе службу достал. Глупо! отчего нам не служить? на службе нашего брата любят, на службе деньги имеешь; на службе влияние у тебя есть — не то что там, в этой литературе. Там еще дарования спрашивают, а тут дарования даже вредят, и их не любят. Эх, да-с, матушка, да-с! служить сынка учите, служить.

— Да... Но, однако, мастерские идут, — заметила Данка.

— Идут?.. Да, идут, — ответил с иронией Термосесов. — А им бы лучше потверже стоять, чем все идти. Нет, я замечаю, вы рутинистка. В России сила *на службе,* а не в мастерских — у Веры Павловны. Это баловство, а на службе я настоящему делу служу; и сортирую людей: ты такой? — так тебя, а ты этакой? — тебя этак. Не наш ты? Я тебя приневолю, придушу, сокрушу, а казна мне за это

плати. Хоть немного, а все тысячки три-четыре давай. Это уж теперь такой прификс. Что вы на меня так глазенками-то уставились? или дико без привычки эту практику слышать?

Удивленная хозяйка молчала, а гость продолжал:

— Вы вон школы заводите, что же? по-настоящему, как принято у глупых красных петухов, вас за это, пожалуй, надо хвалить, а как Термосесов практик, то он не станет этого делать. Термосесов говорит: бросьте школы, они вредны; народ, обучась грамоте, станет святые книги читать. Вы думаете, грамотность к разрушающим элементам относится? Нет-с. Она идет к созидающим, а нам надо прежде все разрушить.

— Но ведь говорят же, что революция с нашим народом теперь невозможна, — осмелилась возразить хозяйка.

— Да, и на кой черт она нам теперь, революция, когда и так без революции дело идет как нельзя лучше на нашу сторону... А вон ваш сынишка, видите, стоит и слушает. Зачем вы ему позволяете слушать, что большие говорят.

— Это совсем не мой сын, — ответила акцизница.

— Как не сын ваш: а кто же он такой?

— Мальчишка, слуга.

— Мальчишка, слуга! А выфранчен лихо. Пошел нам умыться готовь, чертенок.

— Готово, — резко ответил намуштрованный Ермошка.

— А что же ты давно не сказал? Пошел вон!

Термосесов обернулся к неподвижному во все время разговора Борноволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил:

— Позвольте ключ, я достану вам из сака ваше полотенце.

Но молчаливый князь свернулся и не дал ключа.

— Да полотенце вам, верно, подано, — отозвалась хозяйка.

— Есть, — крикнул из кабинета Ермошка.

— «Есть!» Ишь как орет, каналья.

Термосесов довольно комично передразнил Ермошку и, добавив: «Вот самый чистокровный нигилист!», пошел вслед за Борноволоковым в кабинет, где было приготовлено умыванье.

Первое представление кончилось, и хозяйка осталась одна, — одна, но с бездною новых чувств и глубочайших размышлений.

Бизюкина совсем не того ожидала от Термосесова и была поражена им. Ей было и сладко и страшно слушать его неожиданные и совершенно новые для нее речи. Она не могла еще пока отдать себе отчета в том, лучше это того, что ею ожидалось, или хуже, но ей во всяком случае было приятно, что во всем, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось.

— Вот что называется в самом деле быть умным! — рассуждала она, не сводя изумленного взгляда с двери, за которою скрылся Термосесов. — У всех строгости, заказы, а тут ничего: все позволяется, все можно, и между тем этот человек все-таки никого не боится. Вот с каким человеком легко жить; вот кому даже сладко покоряться.

Коварный незнакомец смертельно покорил сердце Данки. Вся прыть, которою она сызмлада отличалась пред своим отцом, мужем, Варнавкой и всем человеческим обществом, вдруг ее предательски оставила. После беседы с Термосесовым Бизюкина почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она его уже любила — любила, разумеется, рационально, любила за его несомненные превосходства. Бизюкиной все начало нравиться в ее госте: что у него за голос? что в нем за сила? И вообще какой он мужчина!.. Какой он прелестный! Не селадон, как ее муж; не мямля, как Препотенский; нет, он решительный, неуступчивый... настоящий мужчина... Он ни в чем не уступит... Он как... настоящий ураган... идет... палит, жжет...

Да; бедная Дарья Николаевна Бизюкина не только была влюблена, но она была неисцелимо уязвлена жесточайшею страстью: она на мгновение даже потеряла сознание и, закрыв веки, почувствовала, что по всему ее телу разливается доселе неведомый, крепящий холод; во рту у корня языка потерпло, уста похолодели, в ушах отдаются учащенные удары пульса, и слышно, как в шее тяжело колышется сонная артерия.

Да! дело кончено! Где-то ты, где ты теперь, бедный акцизник, и не чешется ли у тебя лоб, как у молодого козленка, у которого пробиваются рога?

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Влюбленная Бизюкина уже давно слышала сквозь затворенную дверь кабинета то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловые фиоритуры; но все это уже кончилось, а Термосесов не является. Неужто он еще не наговорился с этим своим бессловесным вихрястым князем, или он спит?.. Чего мудреного: ведь он устал с дороги. Или он, может быть, читает?.. Что он читает? И на что ему читать, когда он сам умнее всех, кто пишет?.. Но во время этих впечатлений дверь отворилась, и на пороге предстал мальчик Ермошка с тазом, полным мыльной водой, и не затворил за собою двери, а через это Дарье Николаевне стало все видно. Вон далеко, в глубине комнаты, маленькая фигурка вихрястого князька, который смотрел в окно, а вон тут же возле него, но несколько ближе, мясистый торс Термосесова. Ревизор и его письмоводитель оба были в дезабилье. Борноволоков был в панталонах и белой как кипень голландской рубашке, по которой через плечи лежали крест-накрест две алые ленты шелковых подтяжек; его маленькая белокурая головка была приглажена, и он еще тщательнее натирал ее металлическою щеткой. Термосесов же стоял весь выпуклый, представляясь и всею своею физиономией и всею фигурой: ворот его рубахи был расстегнут, и далеко за локоть засученные рукава открывали мускулистые и обросшие волосами руки.

На этих руках Термосесов держал длинное русское полотенце с вышитыми на концах красными петухами и крепко тер и трепал в нем свои взъерошенные мокрые волосы.

По энергичности, с которою приятнейший Измаил Петрович производил эту операцию, можно было без ошибки отгадать, что те веселые, могучие и искренние фиоритуры, которые минуту тому назад неслись из комнаты сквозь затворенные двери, пускал непременно Термосесов, а Борноволоков только свиристел и плескался по-утиному. Но вот Ермошка вернулся, дверь захлопнулась, и сладостное видение скрылось.

Однако Термосесов в это короткое время уже успел окинуть поле своим орлиным оком и не упустил случая утешить Бизюкину своим появлением без вихрястого

князя. Он появился в накинутом наопашь саке своем и, держа за ухо Ермошку, выпихнул его в переднюю, крикнув вслед ему:

— И глаз не смей показывать, пока не позову!

Затем он запер вплотную дверь в кабинет, где оставался князь, и в том же наряде прямо подсел к акцизнице.

— Послушайте, Бизюкина, ведь этак, маточка, нельзя! — начал он, взяв ее бесцеремонно за руку. — Посудите сами, как вы это вашего подлого мальчишку избаловали: я его назвал поросенком за то, что он князю все рукава облил, а он отвечает: «Моя мать-с не свинья, а Аксинья». Это ведь, конечно, всё вы виноваты, вы его так наэмансипировали? Да?

И Термосесов вдруг совершенно иным голосом и самою мягкою интонацией произнес: «Ну, так *да,* что ли? *да?»* Это *да* было произнесено таким тоном, что у Бизюкиной захолонуло в сердце. Она поняла, что ответ требуется совсем не к тому вопросу, который высказан, а к тому, подразумеваемый смысл которого даже ее испугал своим реализмом, и потому Бизюкина молчала. Но Термосесов наступал.

— Да? или нет? да или нет? — напирал он с оттенком резкого нетерпения.

Места долгому раздумью не было, и Бизюкина, тревожно вскинув на Термосесова глаза, начала было робко:

— Да я не зн...

Но Термосесов резко прервал ее на полуслове.

— Да! — воскликнул он, — да! и довольно! И больше мне от тебя никаких слов не нужно. Давай свои ручонки: я с первого же взгляда на тебя узнал, что мы свои, и другого ответа от тебя не ожидал. Теперь не трать время, но докажи любовь поцелуем.

— Не хотите ли вы чаю? — пролепетала, как будто бы не слыхав этих слов, акцизница.

— Нет, этим меня не забавляй: я голова не чайная, а я голова отчаянная.

— Так, может быть, вина? — шептала, вырываясь, Дарья Николаевна.

— Вина? — повторил Термосесов, — ты — «слаще мирра и вина»,— и он с этим привлек к себе мадам Бизюкину и, прошептав: — Давай «сольемся в поцелуй», — накрыл ее алый ротик своими подошвенными губами.

— А скажи-ка мне теперь, зачем же это ты такая завзятая монархистка? — начал он непосредственно после поцелуя, держа пред своими глазами руку дамы.

— Я вовсе не монархистка! — торопливо отреклась Бизюкина.

— А по ком же ты этот траур носишь: по мексиканскому Максимилиану? — И Термосесов, улыбаясь, указал ей на черные полосы за ее ногтями и, отодвинув ее от себя, сказал: — Ступай вымой руки!

Акцизница вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно загрязнила их, чтобы только заслужить похвалу, но какие тут оправдания?.. Она бросилась в свою спальню, вымыла там свои руки и, выходя с улыбкой назад, объявила:

— Ну вот я и опять республиканка, у меня белые руки.

Но гость погрозил ей пальцем и отвечал, что республиканство — это очень глупая штука.

— Что еще за республика! — сказал он, — за это только горячо достаться может. А вот у меня есть с собою всего правительства фотографические карточки, не хочешь ли, я их тебе подарю, и мы их развесим на стенку?

— Да у меня они и у самой есть.

— А где же они у тебя? Верно, спрятаны? А? Клянусь самим сатаной, что я угадал: петербургских гостей ждала и, чтобы либерализмом пофорсить, взяла и спрятала? Глупо это, дочь моя, глупо! Ступай-ка тащи их скорее сюда, я их опять тебе развешу.

Пойманная и изобличенная акцизница снова спламенела до ушей, но вынула из стола оправленные в рамки карточки и принесла по требованию Термосесова молоток и гвозди, которыми тот и принялся работать.

— Я думаю, их лучше всего здесь, на этой стене, разместить? — рассуждал он, водя пальцем.

— Как вы хотите.

— Да чего ты все до сих пор говоришь мне *вы*, когда я тебе говорю *ты*? Говори мне *ты*. А теперь подавай мне сюда портреты.

— Это все муж накупил.

— И прекрасно, что он начальство уважает, и прекрасно! Ну, мы господ министров всех рядом под низок.

Давай? Это кто такой? Горчаков. Канцлер, чудесно! Он нам Россию отстоял! Ну, молодец, что отстоял, — давай мы его за то первого и повесим. А это кто? ба! ба! ба!

Термосесов поднял вровень с своим лицом карточку покойного графа Муравьева и пропел:

— Михайло Николаич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

— Вы с ним разве были знакомы?

— Я?.. то есть ты спрашиваешь, лично был ли я с ним знаком? Нет; меня бог миловал, — а наши кое-кто наслаждались его беседой. Ничего; хвалят и превозносят. Он одну нашу барыню даже в Христову веру привел и Некрасова музу вдохновил. Давай-ка я его поскорее повешу! Ну, вот теперь и всё как следует на месте.

Термосесов соскочил на пол, взял хозяйку за локти и сказал:

— Ну, а теперь какое же мне от тебя поощрение будет?

Бизюкиной это показалось так смешно, что она тихонько рассмеялась и спросила:

— За что поощрение?

— А за все: за труды, за заботы, за расположение. Ты, верно, неблагодарная? — И Термосесов, взяв правую руку Бизюкиной, положил ее себе на грудь.

— Правда, что у меня горячее сердце? — спросил он, пользуясь ее смущением.

Но Дарья Николаевна была обижена и, дернув руку, сердито заметила:

— Вы, однако, уже слишком дерзки!

— Те-те-те-те! — «ви слиськом дельски», а совсем «не слиськом», а только как раз впору, — передразнил ее Термосесов и обвел другую свою свободную руку вокруг ее стана.

— Вы просто наглец! Вы забываете, что мы едва знакомы, — заговорила, вырываясь от него, разгневанная Дарья Николаевна.

— Ни капли я не наглец, и ничего я не забываю, а Термосесов умен, прост, естественен и практик от природы, вот и все. Термосесов просто рассуждает: если ты умная женщина, то ты понимаешь, к чему разговариваешь с мужчиной на такой короткой ноге, как ты со мною гово-

рила; а если ты сама не знаешь, зачем ты себя так держишь, так ты, выходит, глупа, и тобою дорожить не стоит.

Бизюкина, конечно, непременно желала быть умною.

— Вы очень хитры, — сказала она, слегка отклоняя свое лицо от лица Термосесова.

— Хитер! На что же мне тут хитрость? Разумеется, если ты меня любишь или я тебе нравлюсь...

— Кто же вам сказал, что я вас люблю?

— Ну, полно врать!

— Нет, я вам правду говорю. Я вовсе вас не люблю, и вы мне нимало не нравитесь.

— Ну, полно врать вздор! как не любишь? Нет, а ты вот что: я тебя чувствую, и понимаю, и открою тебе, кто я такой, но только это надо наедине.

Бизюкина молчала.

— Понимаешь, что я говорю? чтоб узнать друг друга вполне — нужна рандевушка... с политическою, разумеется, целию.

Бизюкина опять молчала.

Термосесов вздохнул и, тихо освободив руку своей дамы, проговорил:

— Эх вы, жены, всероссийские жены! А туда же с польками равняются! Нет, далеко еще вам, подруженьки, до полек! Дай-ка Измаила Термосесова польке, она бы с ним не рассталась и горы бы Араратские с ним перевернула.

— Польки — другое дело, — заговорила акцизница.

— Почему другое?

— Они любят свое отечество, а мы свое ненавидим.

— Ну так что же? У полек, стало быть, враги — все враги самостоятельности Польши, а ваши враги — все русские патриоты.

— Это правда.

— Ну так кто же здесь твой злейший враг? Говори, и ты увидишь, как он испытает на себе всю тяжесть руки Термосесова!

— У меня много врагов.

— Злейших называй! Называй самый злейших!

— Злейших двое.

— Имена сих несчастных, имена подавай!

— Один... Это здешний дьякон Ахилла.

— Смерть дьякону Ахилле!

— А другой: протопоп Туберозов.

— Гибель протопопу Туберозову!

— За ним у нас весь город, весь народ.

— Ну так что же такое, что весь город и весь народ? Термосесов знает начальство и потому никаких городов и никаких народов не боится.

— Ну, а начальство не совсем его жалует.

— А не совсем жалует, так тем ему вернее и капут; теперь только закрепи все это как следует: «полюби и стань моей, Иродиада!»

Бизюкина бестрепетно его поцеловала.

— Вот это честно! — воскликнул Термосесов и, расспросив у своей дамы, чем и как досаждали ей ее враги Туберозов и Ахилла, пожал с улыбкой ее руку и удалился в комнату, где оставался во все это время его компаньон.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ревизор еще не спал, когда к нему возвратился его счастливый секретарь.

Одетый в белую коломянковую жакетку, сиятельный сопутник Термосесова лежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги легким пледом, дремал или мечтал с опущенными веками.

Термосесов пожелал удостовериться, спит его начальник или только притворяется спящим, и для того он тихо подошел к кровати, нагнулся к его лицу и назвал его по имени.

— Вы спите? — спросил его Термосесов.

— Да, — отвечал Борноволоков.

— Ну где ж там да? Значит не спите, если откликаетесь.

— Да.

— Ну, это и выходит нелепость.

Термосесов отошел к другому дивану, сбросил с себя свой сак и начал тоже умащиваться на покой.

— А я этим временем, пока вы здесь дремали, много кое-что обработал, — начал он, укладываясь.

Борноволоков в ответ на это опять уронил только одно *да,* но «да» совершенно особое, так сказать любопытное *да* с оттенком вопроса.

— Да, вот-с как *да,* что я, например, могу сказать, что я кое-какие преполезнейшие для нас сделал открытия.

— С этою дамой?

— С дамой? Дама — это само по себе, — это дело междудельное! Нет-с, а вы помните, что я вам сказал, когда поймал вас в Москве на Садовой?

— Ох, да!

— Я вам сказал: «Ваше сиятельство, премилостивейший мой князь! Так со старыми товарищами нельзя обходиться, чтоб их бросать: та́к делают только одни подлецы». Сказал я вам это или не сказал?

— Да, вы это сказали.

— Ага! вы помните! Ну так вы тоже должны помнить, как я вам потом развил мою мысль и доказал вам, что вы, наши принцы égalité,[1] обратясь теперь к преимуществам своего рода и состояния по службе, должны не задирать носов пред нами, старыми монтаньярами и бывшими вашими друзьями. Я вам это все путем растолковал.

— Да, да.

— Прекрасно! Вы поняли, что со мной шутить плохо, и были очень покладисты, и я вас за это хва́лю. Вы поняли, что вам меня нельзя так подкидывать, потому что голод-то ведь не свой брат, и голодая-то мало ли кто что может припомнить? А у Термосесова память первый сорт и сметка тоже водится: он еще, когда вы самым красным революционером были, знал, что вы непременно свернете.

— Да.

— Вы решились взять меня с собою вроде письмоводителя... То есть, если по правде говорить, чтобы не оскорблять вас лестию, вы не решились этого сделать, а я вас заставил взять меня. Я вас припугнул, что могу выдать ваши переписочки кое с кем из наших привислянских братий.

— Ох!

— Ничего, князь: не вздыхайте. Я вам что тогда сказал в Москве на Садовой, когда держал вас за пуговицу и когда вы от меня удирали, то и сейчас скажу: не́ тужите

---

[1] Равенство *(франц.).*

и не охайте, что на вас напал Термосесов. Измаил Термосесов вам большую службу сослужит. Вы вон там с вашею нынешнею партией, где нет таких плутов, как Термосесов, а есть другие почище его, газеты заводите и стремитесь к тому, чтобы не тем, так другим способом над народишком инспекцию получить.

— Да-с.

— Ну так никогда вы этого не получите.

— Почему?

— Потому что очень неискусны: сейчас вас патриоты по лапам узнают и за вихор да на улицу.

— Гм!

— Да-с; а вы бросьте эти газеты да возьмитесь за Термосесова, так он вам дело уладит. Будьте-ка вы Иван Царевич, а я буду ваш Серый Волк.

— Да, вы Серый Волк.

— Вот оно что и есть: я Серый Волк, и я вам, если захочу, помогу достать и златогривых коней, и жар-птиц, и царь-девиц, и я учиню вас вновь на господарстве.

И с этим Серый Волк, быстро сорвавшись с своего логова, перескочил на кровать своего Ивана Царевича и тихо сказал:

— Подвиньтесь-ка немножко к стене, я вам кое-что пошепчу.

Борноволоков подвинулся, а Термосесов присел к нему на край кровати и, обняв его рукой, начал потихоньку речь:

— Хлестните-ка по церкви: вот где язва! Ею набольших-то хорошенько пугните!

— Ничего не понимаю.

— Да ведь христианство равняет людей или нет? Ведь известные, так сказать, государственные люди усматривали же вред в переводе библии на народные языки. Нет-с, христианство... оно легко может быть толкуемо, знаете, этак, в опасном смысле. А таким толкователем может быть каждый поп.

— Попы у нас плохи, их не боятся.

— Да, это хорошо, пока они плохи, но вы забываете-с, что и у них есть хлопотуны; что, может быть, и их послобонят, и тогда и попы станут иные. Не вольготить им нужно, а нужно их подтянуть.

— Да, пожалуй.

— Так-с; стойте на том, что все надо подобрать и подтянуть, и благословите судьбу, что она послала вам Термосесова, да держитесь за него, как Иван Царевич за Серого Волка. Я вам удеру такой отчет, такое донесение вам сочиню, что враги ваши, и те должны будут отдать вам честь и признают в вас административный гений.

Термосесов еще понизил голос и заговорил:

— Помните, когда вы здесь уже, в здешнем губернском городе, в последний раз с правителем губернаторской канцелярии, из клуба идучи, разговаривали, он сказал, что его превосходительство жалеет о своих прежних бестактностях и особенно о том, что допустил себя до фамильярности с разными патриотами.

— Да.

— Помните, как он упоминал, что его превосходительству один вольномысленный поп даже резкостей наговорил.

— Да.

— А ведь вот вы небось не спохватились, что этот поп называется Туберозов и что он здесь, в этом самом городе, в котором вы растягиваетесь, и решительно не будете в состоянии ничего о нем написать.

Борноволоков вдруг вскочил и, сев на кровати, спросил:

— Но как вы можете знать, что мне говорил правитель канцелярии?

— А очень просто. Я тогда потихоньку сзади вас шел. За вами ведь не худо присматривать. Но теперь не в этом дело, а вы понимаете, мы с этого попа Туберкулова начнем свою тактику, которая в развитии своем докажет его вредность, и вредность вообще подобных независимых людей в духовенстве; а в окончательном выводе явится логическое заключение о том, что религия может быть допускаема только как одна из форм администрации. А коль скоро вера становится серьезною верой, то она вредна, и ее надо подобрать и подтянуть. Это будет вами первыми высказанная мысль, и она будет повторяться вместе с вашим именем, как повторяются мысли Макиавелли и Меттерниха. Довольны ли вы мною, мой повелитель?

— Да.

— И уполномочиваете меня действовать?

— Да.

— То есть как разуметь это «да»? Значит ли оно, что вы этого хотите?

— Да, хочу.

— То-то! А то ведь у вас «да» значит и да и нет.

Термосесов отошел от кровати своего начальника и добавил:

— А то ведь... нашему брату, холопу, долго бездействовать нельзя: нам бабушки не ворожат, как вам, чтобы прямо из нигилистов в сатрапы попадать. Я и о вас, да и о себе хлопочу; мне голодать уже надоело, а куда ни сунешься, все формуляр один: «красный» да «красный», и никто брать не хочет.

— Побелитесь.

— Белил не на что купить-с.

— Зачем вы в Петербурге в шпионы себя не предложили?

— Ходил-с и предлагал, — отвечал беззастенчиво Термосесов, — но с нашим нынешним реализмом-то уже все эти выгодные вакансии стали заняты. Надо, говорят, прежде чем-нибудь зарекомендоваться.

— Так и зарекомендуйтесь.

— Дайте случай способности свои показать; а то, ей-богу, с вас начну.

— Скот, — прошипел Борноволоков.

— Мм-м-м-м-у-у-у! — замычал громко Термосесов.

Борноволоков вскочил и, схватясь в ужасе за голову, спросил:

— Это еще что?

— Это? это черный скот мычит, жратвы просит и приглашает белых быть с ним вежливее, — проговорил спокойно Термосесов.

Борноволоков скрипнул в досаде зубами и завернулся молча к стене.

— Ага! вот этак-то лучше! Смирись, благородный князь, и не кичись своею белизной, а то так тебя разрисую, что выйдешь ты серо-буро-соловый, в полтени голубой с крапинами! Не забывай, что я тебе, брат, послан в наказанье; я терн в листах твоего венца. Носи меня с почтеньем!

Умаянный Борноволоков задушил вздох и притворился спящим, а торжествующий Термосесов без притворства заснул на самом деле.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тою порой, пока между приезжими гостями Бизюкиной происходила описанная сцена, сама Дарья Николаевна, собрав всю свою прислугу, открыла усиленную деятельность по реставрации своих апартаментов. Обрадованная дозволением жить не по-спартански, она решила даже сделать маленький раут, на котором бы показать своим гостям все свое превосходство пред обществом маленького города, где она, чуткая и живая женщина, погибает непонятая и неоцененная.

Работа кипела и подвигалась быстро: комнаты прифрантились. Дарья Николаевна работала, и сама она стояла на столе и подбирала у окон спальни буфы белых пышных штор на розовом дублюре.

Едва кончилось вешанье штор, как из темных кладовых полезла на свет божий всякая другая галантерейщина, на стенах появились картины за картинами, встал у камина роскошнейший экран, на самой доске камина поместились черные мраморные часы со звездным маятником, столы покрылись новыми, дорогими салфетками; лампы, фарфор, бронза, куколки и всякие безделушки усеяли все места спальни и гостиной, где только было их ткнуть и приставить. Все это придало всей квартире вид ложемента богатой дамы demi-monde'а,[1] получающей вещи зря и без толку.

На самый разгар этой работы явился учитель Препотенский и ахнул. Разумеется, он никак не мог одобрять «этих шиков». Он даже благоразумно не понимал, как можно «новой женщине», не сойдя окончательно с ума, обличить такую наглость пред петербургскими предпринимателями, и потому Препотенский стоял и глядел на всю эту роскошь с язвительной улыбкой, но когда не обращавшая на него никакого внимания Дарья Николаевна дерзко велела прислуге, в присутствии учителя, снимать чехлы с мебели, то Препотенский уже не выдержал и спросил:

— И вам это не стыдно?

— Нимало.

---

[1] Полусвет *(франц.)*.

И затем, снова не обращая никакого внимания на удивленного учителя, Бизюкина распорядилась, чтобы за диваном был поставлен вынесенный вчера трельяж с зеленым плющом, и начала устраивать перед камином самый восхитительный уголок из лучшей своей мягкой мебели.

— Это уж просто наглость! — воскликнул Препотенский и, отойдя в сторону, сел и начал просматривать новую книгу.

— А вот погодите, вам за это достанется! — сказала ему вместо ответа Дарья Николаевна.

— Мне достанется? За что-с?

— Чтобы вы так не смели рассуждать.

— От кого же-с мне может достаться? Кто мне это может запретить иметь честные мысли?..

Но в это время послышался кашель Термосесова, и Бизюкина коротко и решительно сказала Препотенскому:

— Послушайте, идите вон!

Это было так неожиданно, что тот даже не понял всего сурового смысла этих слов, и она должна была повторить ему свое приказание.

— Как вон? — переспросил изумленный Препотенский.

— Так, очень просто. Я не хочу, чтобы вы у меня больше бывали.

— Нет, послушайте... да разве вы это серьезно?

— Как нельзя серьезнее.

В комнате гостей послышалось новое движение.

— Прошу вас вон, Препотенский! — воскликнула нетерпеливо Бизюкина. — Вы слышите — идите вон!

— Но позвольте же... ведь я ничему не мешаю.

— Нет, неправда, мешаете!

— Так я же могу ведь исправиться.

— Да не можете вы исправиться, — настаивала хозяйка с нетерпеливою досадой, порывая гостя с его места.

Но Препотенский тоже обнаруживал характер и спокойно, но стойко добивался объяснения, почему она отрицает в нем способность исправиться.

— Потому что вы набитый дурак! — наконец вскричала в бешенстве madame Бизюкина.

— А, это другое дело, — ответил, вставая с места, Препотенский, — но в таком случае позвольте мне мои кости...

— Там, спросите их у Ермошки; я ему их отдала, чтоб он выкинул.

— Выкинул! — воскликнул учитель и бросился на кухню; а когда он через полчаса вернулся назад, то Дарья Николаевна была уже в таком ослепительном наряде, что учитель, увидав ее, даже пошатнулся и схватился за печку.

— А! вы еще не ушли? — спросила она его строго.

— Нет... я не ушел и не могу... потому что ваш Ермошка....

— Ну-с!

— Он бросил мои кости в такое место, что теперь нет больше никакой надежды...

— О, да вы, я вижу, будете долго разговаривать! — воскликнула в яростном гневе Бизюкина и, схватив Препотенского за плечи, вытолкала его в переднюю. Но в это же самое мгновение на пороге других дверей очам сражающихся предстал Термосесов.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ба, ба, ба! что это за изгнание? — вопросил он у Бизюкиной, протирая свои слегка заспанные глаза.

— Ничего, это один... глупый человек, который к нам прежде хаживал, — отвечала та, покидая Препотенского.

— Так за что же теперь его вон, — что он такое сневежничал?

— Решительно ничего, совершенно ничего,— отозвался учитель.

Термосесов посмотрел на него и проговорил:

— Да вы кто же такой?

— Учитель Препотенский.

— Чем же вы ее раздражили?

— Да ровно ничем-с, ровно ничем.

— Ну так идите назад, я вас помирю.

Препотенский сейчас же вернулся

— Почему же вы говорите, что он будто глуп? — спросил у Бизюкиной Термосесов, крепко держа за обе руки учителя. — Я в нем этого не вижу.

— Да, разумеется-с, поверьте, я решительно не глуп,— отвечал, улыбаясь, Варнава.

— Совершенно верю, и госпожу хозяйку за такое обращение с вами не похвалю. Но пусть она нам за это на мировую чаю даст. Я со сна чай иногда употребляю.

Хозяйка ушла распорядиться чаем.

— А вы, батюшка учитель, сядьте-ка, да потолкуемте! Вы, я вижу, человек очень хороший и покладливый, — начал, оставшись с ним наедине, Термосесов и в пять минут заставил Варнаву рассказать себе все его горестное положение и дома и на полях, причем не были позабыты ни мать, ни кости, ни Ахилла, ни Туберозов, при имени которого Термосесов усугубил все свое внимание; потом рассказана была и недавнишняя утренняя военная история дьякона с комиссаром Данилкой.

При этом последнем рассказе Термосесов крякнул и, хлопнув Препотенского по колену, сказал потихоньку:

— Так слушайте же, профессор, я поручаю вам непременно доставить мне завтра утром этого самого мещанина.

— Данилку-то?

— Да; того, что дьякон обидел.

— Помилуйте, да это ничего нет легче!

— Так доставьте же.

— Утром будет у вас до зари.

— Именно до зари. Нет; вы, я вижу, даже молодчина, Препотенский! — похвалил Термосесов и, обратясь к возвратившейся в это время Бизюкиной, добавил: — Нет, мне он очень нравится, а если он меня с попом Туберозовым познакомит, то я его даже совсем умником назову.

— Я его терпеть не могу и вам не советую с ним знакомиться, — лепетал Варнава, — но если вам это нужно...

— Нужно, друг, нужно.

— В таком случае пойдемте на вечер к исправнику, там вы со всеми нашими познакомитесь.

— Пожалуй; я куда хочешь пойду, только ведь надо, чтобы позвали.

— О, ничего нет этого легче, — перебил учитель и изложил самый простой план, что он сейчас пойдет к исправ-

нице и скажет ей от имени Дарьи Николаевны, что она просит позволения прийти вечером с приезжим гостем.

— Препотенский, приди, я тебя обниму! — воскликнул Термосесов.

— Да-с, — продолжал радостный учитель. — И они сами еще все будут довольны, что у них будет новый гость, а вы там сразу познакомитесь не только с Туберозовым, но и с противным Ахилкой и с предводителем.

— Препотенский! подойди сюда, я тебя поцелую! — воскликнул Термосесов, и когда учитель встал и подошел к нему, он действительно его поцеловал и, завернув налево кругом, сказал: — Ступай и действуй!

Гордый и совершенно обольщенный насчет своей репутации, Варнава схватил шапку и убежал.

Через час времени, проведенный Термосесовым в разговоре с Бизюкиной о том, что ни одному дураку на свете не надо давать чувствовать, что он глуп, учитель явился с приглашением для всех пожаловать на вечер к Порохонцеву и при этом добавил:

— А что касается интересовавшего вас мещанина Данилки, то я его уже разыскал, и он в эту минуту стоит у ворот.

Термосесов, еще раз поощрив Варнаву всякими похвалами, встал и, захватив с собою учителя, велел ему провести себя куда-нибудь в укромное место и доставить туда же и Данилку.

Препотенский свел Измаила Петровича в пустую канцелярию акцизника и поставил перед ним требуемого мещанина.

— Здравствуйте, гражданин,— встретил Данилку Термосесов. — Как вас на сих днях утром обидел здешний дьякон?

— Никакой обиды не было.

— Как не было? Вы говорите мне прямо все, смело и откровенно, как попу на духу, потому что я друг народа, а не враг. Ахилла-дьякон вас обидел?

— Нет, обиды не было. Это мы так промеж себя всё уже кончили.

— Как же можно все это кончить? Ведь он вас за ухо вел по улице?

— Так что же такое? Глупость все это!

— Как глупость? Это обида. Вы размыслите, гражданин, — ведь он вас за ухо драл.

— Все же это больше баловство, и мы в этом обиды себе не числим.

— Как же, гражданин, не числите? Как же не числите такой обиды? Ведь это, говорят, было почти всенародно?

— Да, всенародно же-с, всенародно.

— Так вы должны на это жалобу подать!

— Кому-с?

— А вот этому князю, что со мною приехал.

— Так-с.

— Значит, подаете вы жалобу или нет?

— Да на какой предмет ее подавать-с?

— Сто рублей штрафу присудят, вот на какой предмет.

— Это точно.

— Так вы, значит, согласны. Ну, и давно бы так. Препотенский! садись и строчи, что я проговорю.

И Термосесов начал диктовать Препотенскому просьбу на имя Борноволокова, просьбу довольно краткую, но кляузную, в которой не было позабыто и имя протопопа, как поощрителя самоуправства, сказавшего даже ему, Даниле, что он восприял от дьякона достойное по своим делам.

— Подписывай, гражданин! — крикнул Термосесов на Данилку, когда Препотенский дописал последнюю строчку.

Данилка встрепенулся.

— Подписывайте, подписывайте! — внушал Термосесов, насильно всовывая ему в руку перо, но «гражданин» вдруг ответил, что он не хочет подписывать жалобу.

— Что, как не хотите?

— Потому я на это не согласен-с.

— Как не согласен! Что ты это, черт тебя побери! То молчал, а когда просьбу тебе даром написали, так ты не согласен.

— Не согласен-с.

— Что, не целковый ли еще тебе за это давать, чтобы ты подписал? Жирен, брат, будешь. Подписывай сейчас!

И Термосесов, схватив его сердито за́ ворот, потащил к столу.

— Я... как вашей милости будет угодно, а я не подпишу, — залепетал мещанин и уронил нарочно перо на пол.

— Я тебе дам «как моей милости угодно»! А не угодно ли твоей милости за это от меня получить раз десять по рылу?

Испуганный «гражданин» рванулся всем телом назад и залепетал:

— Ваше высокородие, смилуйтесь, не понуждайте! Ведь из моей просьбы все равно ничего не будет!

— Это почему?

— Потому что я уже хотел один раз подавать просьбу, как меня княжеский управитель Глич крапивой выпорол, что я ходил об заклад для исправника лошадь красть, но весь народ мне отсоветовал: «Не подавай, говорят, Данилка, станут о тебе повальный обыск писать, мы все скажем, что тебя давно бы надо в Сибирь сослать». Да-с, и я сам себя даже достаточно чувствую, что мне за честь свою вступаться не пристало.

— Ну, это ты сам себе можешь рассуждать о своей чести как тебе угодно...

— И господа чиновники здешние тоже все знают...

— И пусть их знают, все твои господа здешние чиновники, а мы не здешние, мы петербургские. Понимаешь? — из самой столицы, из Петербурга, и я приказываю тебе, сейчас подписывай, подлец ты треанафемский, без всяких рассуждений, а то... в Сибирь без обыска улетишь!

И при этом могучий Термосесов так сдавил Данилку одною рукой за руку, а другою за горло, что тот в одно мгновенье покраснел, как вареный рак, и едва прохрипел:

— Ради господа освободите! Все что угодно подпишу!

И вслед за сим, перхая и ежась, он нацарапал под жалобой свое имя.

Термосесов тотчас же взял этот лист в карман и, поставив пред носом Данилки кулак, грозно сказал:

— Гражданин, ежели ты только кому-нибудь до времени пробрешешься, что ты подал просьбу, то...

Данилка, продолжая кашлять, только отмахнулся перемлевшею рукой.

— Я тебе, бездельнику, тогда всю рожу растворожу, щеку на щеку помножу, нос вычту и зубы в дроби превращу!

Мещанин замахал уже обеими руками.

— Ну а теперь полно здесь перхать. Алё маршир в двери! — скомандовал Термосесов и, сняв наложенный крючок с дверей, так наподдал Данилке на пороге, что тот вылетел выше пригороженного к крыльцу курятника и, сев с разлету в теплую муравку, только оглянулся, потом плюнул и, потеряв даже свою перхоту, выкатился на четвереньках за ворота.

Препотенский, увидя эту расправу, взрадовался и заплескал руками.

— Чего ты? — спросил Термосесов.

— Вы сильнее Ахилки! С вами я его теперь не боюсь.

— Да и не бойся.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Спустившиеся над городом сумерки осветили на улице, ведущей от дома акцизницы к дому исправника, удалую тройку, которая была совсем в другом роде, чем та, что подвозила сюда утром плодомасовских карликов. В корню, точно дикий степной иноходец, пригорбясь и подносясь, шла, закинув назад головенку, Бизюкина; справа от ней, заломя назад шлык, пер Термосесов, а слева — вил ногами и мотал головой Препотенский. Точно сборная обывательская тройка, одна — с двора, другая — с задворка, а третья — с попова загона; один пляшет, другой скачет, третий песенки поет. Но разлада нет, и все они, хотя неровным аллюром, везут одни и те же дроги и к одной и той же цели. Цель эту знает один Термосесов; один он работает не из пустяков и заставляет служить себе и учителя и акцизницу, но весело им всем поровну. Если Термосесов знает, чего ликует смелая и предприимчивая душа его, то не всуе же играет сердце и Дарьи Николаевны и Препотенского. Оба эти лица предвкушают захватывающее их блаженство, — они готовятся насладиться стычкой Гога с Магогом — Туберозова с Термосесовым!..

Как возьмется за это дело ловкий, всесокрушающий приезжий, и кто устоит в неравном споре?

Как вам угодно, а это действительно довольно интересно!

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ГЛАВА ПЕРВАЯ

Раньше чем Термосесов и его компания пришли на раут к исправнику, Туберозов провел уже более часа в уединенной беседе с предводителем Тугановым. Старый протопоп жаловался важному гостю на то самое, на что он жаловался в известном нам своем дневнике, и получал в ответ те же старые шутки.

— Что будет из всей такой шаткости? — морща брови, пытал протопоп, а предводитель, смеясь, отвечал ему:

— Не уявися, что будет, мой любезный.

— Без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих... Это... это сгубит Россию.

— А что ж, если ей нужно сгибнуть, так и сгубит, — ответил равнодушно Туганов и, вставши, добавил: — а пока знаешь что, пойдем к гостям: мы с тобою все равн ни до чего не договоримся — ты маньяк.

Протопоп остановился и с обидой в голосе спросил:

— За что же я маньяк?

— Да что же ты ко всем лезешь, ко всем пристаешь: «идеал, вера»? Нечего, брат, делать, когда этому всему, видно, время прошло.

Туберозов улыбнулся и, вздохнув кротко, ответил, что прошло не время веры и идеалов, а прошло *время слов*.

— Совершай, брат, *дела*.

— Дел теперь тоже мало.

— Что же нужно?

— Подвиги.

— Совершай подвиги. В каком только духе?

— В духе крепком, в дыхании бурном... Чтобы сами гасильники загорались!

— Да, да, да! Тебе ссориться хочется! Нет, отче: лучше мирись.

— Пармен Семенович, много слышу, сударь, нынче об этом примирении. Что за мир с тем, кто пардона не просит. Не гож этот мир, и деды недаром нам завещали «не побивши кума, не пить мировой».

— Ему непременно «побить»!

— А то как же? Непременно побить!

— Ты, брат, совсем бурсак!

— Да ведь я себя и не выдаю за благородного.

— Да тебе что, неотразимо что ли уж хочется пострадать? Так ведь этого из-за пустяков не делают. Лучше побереги себя до хорошего случая.

— Бережных и без меня много; а я должен свой долг исполнять.

— Ну, уж не я же, разумеется, стану тебя отговаривать исполнять по совести свой долг. Исполняй: пристыди бесстыжих — выкусишь кукиш, прапорщик будешь, а теперь все-таки пойдем к хозяевам; я ведь здесь долго не останусь.

Протопоп пошел за Тугановым, бодрясь, но чрезвычайно обескураженный. Он совсем не того ожидал от этого свидания, но вряд ли он и сам знал, чего ожидал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Термосесов с Варнавой и либеральною акцизницей прибыли на раут в то время, когда Туганов с Туберозовым уже прошли через зал и сидели в маленькой гостиной. Другие гости расположились в зале, разговаривали, играли на фортепиано и пробовали что-то петь. Сюда-то прямо и вошли в это самое время Термосесов, Бизюкина и Варнава.

Хозяйка встретила их и поблагодарила Бизюкину за гостя, а Термосесова за его бесцеремонную простоту.

— Мы люди простые и простых людей любим, — сказала она ему.

— А я самый и есть простой человек, — отвечал Термосесов и при этом поклонился очень низко, улыбнулся очень приветливо и даже щелкнул каблуком.

Видя это, Бизюкина, по совести, гораздо более одобряла достойное поведение Препотенского, который стоял — будто проглотил аршин. Случайно ли или в силу соображений, что вновь пришедшие гости люди более серьезные, которым неприлично хохотать с барышнями и слушать вздорные рассказы и плохое пение, хозяйка провела Термосесова и Препотенского прямо в ту маленькую гостиную, где помещались Туганов, Плодомасов, Дарьянов, Савелий, Захария и Ахилла.

Бизюкина могла ориентироваться где ей угодно, но у нее недостало смелости проникнуть в гостиную вслед за своими кавалерами, а якшаться с дамами она не желала и потому села у двери.

Гостиная, куда вошли Препотенский и Термосесов, была узенькая комнатка; в конце ее стоял диван с преддиванным столом, за которым помещались Туганов и Туберозов, а вокруг на стульях сидели: смиренный Бенефактов, Дарьянов и уездный предводитель Плодомасов. Ахилла не сидел, а стоял сзади за пустым креслом и держался рукою за резьбу. Бизюкина видела, как Термосесов, войдя в гостиную, наипочтительнейше раскланялся и... чего, вероятно, никто не мог себе представить, вдруг подошел к Туберозову и попросил себе у него благословения. Больше всех этим был удивлен, конечно, сам отец Савелий; он даже не сразу нашелся как поступить и дал требуемое Термосесовым благословение с видимым замешательством. А когда же Термосесов вдобавок хотел поцеловать его руку, то протопоп столь этим смутился, что торопливо опустил сильным движением свою и термосесовскую руку книзу и крепко сжал и потряс эту предательскую руку, как руку наилучшего друга.

Термосесов пожелал получить благословение и от Захарии, но смиренный Бенефактов оказался на сей раз находчивей Туберозова — он не только благословил, но и ничтоже сумняся сам поднес к губам проходимца свою желтенькую ручку.

Разошедшийся Термосесов направился было за благословением и к Ахилле, но этот, бойко шаркнув ногою, сказал гостю:

— Я дьякон-с.

Засим оба они пожали друг другу руки, и Ахилла предложил Термосесову сесть на то кресло, за которым стоял, но Термосесов вежливо отклонил эту честь и поместился на ближайшем стуле, возле отца Захарии, меж тем как верный законам своей рутинной школы Препотенский отошел как можно дальше и сел напротив отворенной двери в зал.

Таким выбором места он, во-первых, показывал, что не желает иметь общения с миром, а во-вторых, он видел отсюда Бизюкину; она в свою очередь должна была

слышать все, что он скажет. Учитель чувствовал и сознавал необходимость поднять свои фонды, заколебавшиеся с приездом Термосесова, и теперь, усевшись, ждал только первого предлога завязать спор и показать Бизюкиной если уже не превосходство своего ума, то по крайней мере чистоту направления. Для искателей спора предлог к этому занятию представляет всякое слово, и Варнава недолго томился молчанием.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

При входе новых гостей предводитель Плодомасов рассказывал Туберозову о современных реформах в духовенстве и возобновил этот разговор, когда Термосесов и Варнава уселись.

Уездный предводитель был поборник реформы, Туганов тоже, но последний вставил, что когда он вчера виделся с архиереем, то его преосвященство высказывался очень осторожно и, между прочим, шутил, что прекращением наследственности в духовенстве переведется у нас самая чистокровная русская порода.

— Это что же значит-с? — любопытствовал Захария.

Туганов ему объяснил, что намек этот на чистоту несмешанной русской породы в духовенстве касается неупотребительности в этом сословии смешанных браков. Захария не понял, и Туганов должен был ему помочь.

— Просто дело в том, — сказал он, — что духовные все женились на духовных же...

— На духовных-с, на духовных.

— А духовные все русские.

— Русские.

— Ну, и течет, значит, в духовенстве кровь чистая русская, меж тем как все другие перемешались с инородцами: с поляками, с татарами, с немцами, со шведами и... даже с жидами.

— Ай-ай-ай, даже с жидами! — тпфу, погань,— произнес Захария и плюнул.

— Да и шведы-то тоже «нерубленые головы», — легко ли дело с кем мешаться! — поддержал Ахилла.

Протопоп, кажется, побоялся, как бы дьякон не сказал чего-нибудь неподлежащего, и, чтобы замять этот разговор о национальностях, вставил:

— Да; владыка наш не бедного ума человек.

— Он даже что-то о каком-то «млеке» написал, — отозвался из своего далека Препотенский, но на его слова никто не ответил.

— И он юморист большой, — продолжал Туганов. — Там у нас завелся новый жандармчик, развязности бесконечной и все для себя считает возможным.

— Да, это так и есть; жандармы всё могут, — опять подал голос Препотенский, и его опять не заметили.

— Узнал этот господчик, — продолжал Туганов, — что у вашего архиерея никто никогда не обедал, и пошел пари в клубе с полицеймейстером, что он пообедает, а старик-то на грех об этом и узнай!..

— Ай-ай-ай! — протянул Захария.

— Ну-с; вот приехал к нему этот кавалерист и сидит, и сидит, как зашел от обедни, так и сидит. Наконец, уж не выдержал и в седьмом часу вечера стал прощаться. А молчаливый архиерей, до этих пор все его слушавший, а не говоривший, говорит: «А что же, откушать бы со мною остались!» Ну, у того уж и ушки на макушке: выиграл пари. Ну, тут еще часок архиерей его продержал и ведет к столу.

— Ах, вот это уж он напрасно, — сказал Захария, — напрасно!

— Но позвольте же; пришли они в столовую, архиерей стал пред иконой и зачитал, и читает, да и читает молитву за молитвой. Опять час прошел; тощий гость как с ног не валится.

«Ну, теперь подавайте», — говорит владыка. Подали две мелкие тарелочки горохового супа с сухарями, и только что офицер раздразнил аппетит, как владыка уже и опять встает. «Ну, возблагодаримте, — говорит, — теперь господа бога по трапезе». Да уж в этот раз как стал читать, так тот молодец не дождался да потихоньку драла и убежал. Рассказывает мне это вчера старик и смеется: «Сей дух, — говорит, — ничем же изымается, токмо молитвою и постом».

— Он и остроумен и человек обращения приятного и тонкого, — уронил Туберозов, словно его тяготили эти анекдотические разговоры.

— Да; но тоже кряхтит и жалуется, *что людей нет.* «Плывем, говорит, по глубокой пучине на расшатанном корабле и с пьяными матросами. Хорони бог на сей случай бури».

— Слово горькое, — отозвался Туберозов.

— Впрочем, — начал снова Туганов, — про ваш город сказал, что тут крепко. «Там, говорит, у меня есть два попа: один умный, другой — благочестивый».

— Умный, это отец Савелий, — отозвался Захария.

— Почему же вы уверены, что умный — это непременно отец Савелий!

— Потому что... они мудры, — отвечал, конфузясь, Бенефактов.

— А отец Захария вышли по второму разряду, — подсказал дьякон.

Туберозов покачал на него укоризненно головою. Ахилла поспешил поправиться и сказал:

— Отец Захария благочестивый, это владыка, должно быть, к тому и сказали, что на отца Захарию жалоб никаких не было.

— Да, жалоб на меня не было, — вздохнул Захария.

— А отец Савелий беспокойный человек, — пошутил Туганов.

Минута эта представилась Препотенскому крайне благоприятною, и он, не упуская ее, тотчас же заявил, что беспокойные в духовенстве это значит доносчики, потому что религиозная совесть должна быть свободна. Туганов не постерегся и ответил Препотенскому, что свобода совести необходима и что очень жаль, что ее у нас нет.

— Да, бедная наша церковь несет за это отовсюду напрасные порицания, — заметил от себя Туберозов.

— Так на что же вы жалуетесь? — живо обратился к нему Препотенский.

— Жалуемся на неверотерпимость, — сухо ответил ему Туберозов.

— Вы от нее не страдаете.

— Нет, горестно страдаем! вы громко и свободно про-

поведуете, что надо, чтобы веры не было, и вам это сходит, а мы если только пошепчем, что надо, чтобы лучше ваших учений не было, то...

— Да, так вы вот чего хотите? — перебил учитель. — Вы хотите на нас науськивать, чтобы нас порешили!

— Нет, это вы хотите, чтобы нас порешили.

Препотенский не нашелся ответить: отрицать этого он не хотел, а прямо подтвердить боялся. Туганов устранил затруднение, сказав, что отец протопоп только негодует, что есть люди, поставляющие себе задачею подрывать в простых сердцах веру.

— Наипаче негодую на то, что сие за потворством и удается.

Препотенский улыбнулся.

— Удается это потому, — сказал он, — что вера роскошь, которая дорого народу обходится.

— Ну, однако, не дороже его пьянства, — бесстрастно заметил Туганов.

— Да ведь пить-то — это веселие Руси есть, это национальное, и водка все-таки полезнее веры: она по крайней мере греет.

Туберозов вспыхнул и крепко сжал рукав своей рясы; но в это время Туганов возразил учителю, что он ошибается, и указал на то, что вера согревает лучше, чем водка, что все добрые дела наш мужик начинает помолившись, а все худые, за которые в Сибирь ссылают, делает водки напившись.

— Впрочем, откупа уничтожены экономистами, — перебросился вдруг Препотенский. — Экономисты утверждали, что чем водка будет дешевле, тем меньше ее будут пить, и соврали. Впрочем, экономисты не соврали; они знают, что для того, чтобы народ меньше пьянствовал, требуется не одно то, чтобы водка подешевела. Надо, чтобы многое не шло так, как идет. А между тем к новому стремятся не экономисты, а одни... «новые люди».

— Да; только люди-то эти дрянные, и пошло черт знает что.

— Да, их уловили шпионы.

— Нет, просто мошенники.

— Мошенники-и!

— Да. Мошенники ведь всегда заключают своею

узурпациею все сумятицы, в которые им небезвыгодно вмешаться. У нас долго возились с этими... нигилистами, что ли? Возилось с ними одно время и правительство, возится до сих пор и общество и печать, а пошабашат их не эти, а просто-напросто мошенники, которые откликнутся в их кличку, мошенники и превзойдут их, а затем наступит поворот.

Препотенский бросил тревожный взгляд на Бизюкину. Его смущало, что Туганов просто съедает его задор, как вешний туман съедает с поля бугры снега. Варнава искал поддержки и в этом чаянии перевел взоры свои на Термосесова, но Термосесов даже и не смотрел на него, но зато дьякон Ахилла, давно дававший ему рукою знаки перестать, сказал:

— Замолчи, Варнава Васильич, — совсем не занятно!

Это взорвало учителя — тем более что и Туганов от него отвернулся. Препотенский пошел напролом.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Учитель соскочил с места и подбежал к Туганову, говорившему с Туберозовым:

— Извините, что вас перебью... но я все-таки... Я стою за свободу.

— И я тоже, — ответил Туганов, снова обращаясь к протопопу.

— Позвольте же-с мне вам кончить! — воскликнул учитель.

Туганов обернулся в его сторону.

— А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется? — задал ему Варнава.

— Ну-с!

— Кто же ее возьмет, если новые люди скверны?

— Ее возьмет порядок вещей.

— И все-таки это, значит, не будет дано, а будет взято. Я прав. Это я сказал: будет взята!

— Да ведь тебе про то же и говорят, — отозвался из-за стула дьякон Ахилла.

— Но ведь это я сказал: будет взята!

— А вам про что же говорят, — поддержал дьякона в качестве одномышленника Термосесов, — Пармен Семенович вам про то и говорит, — внушал Термосесов, нарочно как можно отчетливее и задушевнее произнося имя Туганова.

— Однако мне пора, — шепнул, выходя из-за стола, Туганов и хотел выйти в залу, но был снова атакован Варнавой.

— Позвольте еще одно слово, — приставал учитель. — Мне кажется, вам, вероятно, неприятно, что теперь все равны?

— Нет-с, мне не нравится, что не все равны.

Препотенский остановился и, переждав секунду, залепетал:

— Ведь это факт — все должны быть равны.

— Да ведь Пармен Семенович вам это и говорит, что все должны быть равны! — отогнал его от предводителя Термосесов с одной стороны.

— Позвольте-с, — забегал он с другой, но здесь его не допускал Ахилла.

— Оставь, — говорил он, — что ни скажешь — все глупость!

— Ах, позвольте, сделайте милость, я не с вами и говорю, — отбивался Препотенский, забегая с фронта. — Я говорю — вам, верно, Англия нравится, потому что там лорды... Вам досадно и жаль, что исчезли сословные привилегии?

— А они разве исчезли?

— Отойди прочь, ты ничего не знаешь, — сплавлял, отталкивая Варнаву, Ахилла, но тот обежал вокруг и, снова зайдя во фронт предводителю, сказал:

— О всяком предмете можно иметь несколько мнений.

— Да чего же вам от меня угодно? — воскликнул, рассмеявшись, Туганов.

— Я говорю... можно иметь разные суждения.

— Только одно будет умное, а другое — глупое, — отвечал Термосесов.

— Одно будет справедливое, другое — несправедливое, — проговорил в виде примирения предводитель.

— У бога — и у того одна правда! — внушал дьякон.

— Между двумя точками только одна прямая линия проводится, вторую не проведете, — натверживал Термосесов.

Препотенский вышел из себя.

— Да это что ж? ведь этак нельзя ни о чем говорить! — вскричал он. — Я один, а вы все вместе льстите. Этак хоть кого переспоришь. А я знаю одно, что я ничего старинного не уважаю.

— Это и есть самое старинное... Когда же у нас уважали историю?

— Ну послушай! замолчи, дурачок, — дружественно посоветовал Варнаве Ахилла, а Бизюкина от него презрительно отвернулась. Термосесов же, устраняя его с дороги, наступил ему на ногу, отчего учитель, имевший слабость в затруднительные минуты заговариваться и ставить одно слово вместо другого, вскрикнул:

— Ой, вы мне наступили на самую мою любимую мозоль!

По поводу «любимой мозоли» последовал смех, а Туганов в это время уже прощался с хозяйкой.

Зазвенели бубенцы, и шестерик свежих почтовых лошадей подкатил к крыльцу тугановскую коляску, а на пороге вытянулся рослый гайдук с английскою дорожною кисой через плечо. Наступили последние минуты, которыми мог еще воспользоваться Препотенский, чтобы себя выручить, и он вырвался из рук удерживавших его Термосесова и Ахиллы и, прыгая на своей «любимой мозоли», наскочил на предводителя и спросил:

— Вы читали Тургенева? «Дым»... Это дворянский писатель, и у него доказано, что в России все дым: «кнута, и того сами не выдумали».

— Да, — отвечал Туганов, — кнут, точно, позаимствовали, но зато отпуск крестьян на волю с землею сами изобрели. Укажите на это господину Тургеневу.

— Но ведь крестьян с землей отняли у помещиков, — сказал Препотенский.

— Отняли? неправда. Государю принадлежит честь почина, а дворянству доблесть жертвы, — не вытерпел Туберозов.

— Велено, и благородное дворянство не смело ослушаться.

— Да оно и не желало ослушаться, — отозвался Туганов.

— Все-таки власть отняла крестьян.

— И власть, и время. Александр Благословенный целую жизнь мечтал освободить крестьян, но дело не шло, а у остзейских баронов и теперь не идет.

— Потому что немцы умнее.

Туганов рассмеялся и, протянув руку Туберозову, сказал Варнаве с легким пренебрежением:

— Честь имею вам откланяться.

— Ничего-с, а я все-таки буду против дворян и за естественное право.

Беспокойство Препотенского заставило всех улыбнуться, и Туганов, будучи совсем на пути, еще приостановился и сказал ему:

— А самая естественная форма жизни это... это жизнь вот этих лошадей, что мне подали, но их, видите, запрягают возить дворянина.

— И еще дорогой будут кнутом наяривать, чтобы шибче, — заметил дьякон.

— И скотов всегда бьют, — поддержал Термосесов.

— Ну, опять все на одного! — воскликнул учитель и заключил, что он все-таки всегда будет против дворян.

— Ну так ты, значит, смутьян, — сказал Ахилла.

— Бездну на бездну призываешь, — отозвался Захария.

— А вы знаете ли, что такое значит бездна бездну призывает? — огрызнулся Варнава. — Ведь это против вас: бездна бездну призывает, это — поп попа в гости зовет.

Это всем показалось забавным, и дружный хохот залил залу.

Один Туберозов гневно сверкнул глазами и, порывисто дернув ленту, на которой висел наперсный крест, вышел в гостиную.

— Старик-то у вас совсем маньяк сделался, — сказал, кивнув вслед ему, Туганов.

— И не говорите. Получит газеты и носится с ними, и вздыхает, и ни о чем хладнокровно не может рассуждать, — ответил Дарьянов.

— Они это слышат, — тихо прошептал Ахилла.

Савелий действительно все это слышал.

Туганов сошел с лестницы и усаживался в коляску. Его провожали хозяева, некоторые из гостей, Варнава и протопоп. Варнава был сильно ободрен: ему казалось, что после «бездны» фонды его быстро возвысились, и он, неожиданно смело схватив за рукав Туберозова, проговорил:

— Позвольте вас спросить: я третьего дня был в церкви и слышал, как один протопоп произнес слово «дурак». Что клир должен петь в то время, когда протопоп возглашает «дурак»?

— Клир трижды воспевает: «учитель Препотенский», — ответил Савелий.

При этом неожиданном ответе присутствующие с секунду были в остолбенении и вдруг разразились всеобщим бешеным хохотом. Туганов махнул рукой и уехал в самом веселом настроении духа.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Около Препотенского, как говорится, было кругом нехорошо. Даже снисходительные дамы того сорта, которым дорог только процесс разговора и для которых что мужчины ни говори, лишь бы это был говор, и те им возгнушались. Зато Термосесов забирал силу и овладевал всеобщим вниманием. Варнава не успел оглянуться, как Термосесов уже беседовал со всеми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживал, и ухаживал, по мнению Препотенского, до последней степени дурно; ухаживал за нею не как за женщиной, но как за предержащею властью.

За ужином Термосесов, оставив дам, подступил поближе к мужчинам и выпил со всеми. И выпил как должно, изрядно, но не охмелел, и тут же внезапно сблизился с Ахиллой, с Дарьяновым и с отцом Захарией. Он заговаривал не раз и с Туберозовым, но старик не очень поддавался на сближение. Зато Ахилла после часовой или получасовой беседы, ко всеобщему для присутствующих удивлению, неожиданно перешел с Термосесовым на «ты», жал ему руку, целовал его толстую губу и даже сделал из его фамилии кличку.

— Вот, ей-богу, молодчина этот Термосёска, — барабанил всем дьякон, — посудите, как мы нынче с ним

вдвоем Варнавку обработали. Правда? Ты, брат Термосёсушка, от нас лучше совсем не уезжай. Что там у вас в Петербурге, какие кондиции? А мы с тобой здесь зимою станем вместе лисиц ловить. Чудесно, брат! Правда?

— Правда, правда, — отвечал Термосесов — и сам стал хвалить Ахиллу и называл его молодчиной. И оба эти молодчины снова целовались.

Когда пир был при конце и Захария с Туберозовым уходили уже домой, Термосесов придержал Ахиллу за рукав и сказал:

— А тебе ведь спешить некуда?

— Да, пожалуй что и некуда, — ответил Ахилла.

— Так подожди, пойдем вместе!

Ахилла согласился, а Термосесов предложил еще потанцевать под фортепиано, и танцевал прежде с почтмейстершей, потом с ее дочерями, потом еще с двумя или тремя другими дамами и, наконец, после всех с Бизюкиной, а в заключение всего обхватил дьякона, и провальсировал с ним, и, сажая его на место, как даму, поднес к губам его руку, а поцеловал свою собственную.

Никак не ожидавший этого Ахилла сконфузился и быстро вырвал у Термосесова руку, но тот над ним расхохотался и сказал:

— Неужто же ты думал, что я твою кучерскую лапу стану целовать?

Дьякон обиделся и подумал: «Ох, не надо бы мне, кажется, с ним якшаться!» Но как они сейчас вслед за этим отправились по домам, то и он не отбился от компании. Семейство почтмейстера, дьякон, Варнава, Термосесов и Бизюкина шли вместе. Они завели домой почтмейстершу с дочерьми, и здесь, у самого порога комнаты, Ахилла слышал, как почтмейстерша сказала Термосесову:

— Я надеюсь, что мы с вами будем видеться.

— В этом не сомневаюсь, — отвечал Термосесов и добавил: — вы говорили, что вам нравится, как у исправника на стене вся царская фамилия в портретах?

— Да, мне этого давно очень, очень хочется.

— Ну так это я вам завтра же устрою.

И они расстались.

На дворе было уже около двух часов ночи, что для уездного города, конечно, было весьма поздно, и Препотенский, плетяся, размышлял, каким способом ему благо-

получнее доставиться домой, то есть улизнуть ли потихоньку, чтоб его не заметил Ахилла, или, напротив, ввериться его великодушию, так как Варнава когда-то читал, что у черкесов на Кавказе иногда спасаются единственно тем, что вверяют себя великодушию врага, и теперь он почему-то склонялся к мысли судить об Ахилле по-черкесски.

Но прежде чем Препотенский пришел к какому-нибудь положительному решению, Термосесов все это переиначил.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Тотчас как только они расстались с почтмейстершей, Термосесов объявил, что все непременно должны на минуту зайти с ним к Бизюкиной.

— Позволяешь? — отнесся он полуоборотом к хозяйке.

Той это было неприятно, но она позволила.

— У тебя питра́ какая-нибудь дома есть?

Бизюкина сконфузилась. Она как нарочно нынче забыла послать за вином и теперь вспомнила, что со стола от обеда приняли последнюю, чуть не совсем пустую, бутылку хересу. Термосесов заметил это смущение и сказал:

— Ну, хоть пиво небось есть?

— Пиво, конечно, есть.

— Я знаю, что у акцизных пиво всегда есть. И мед есть?

— Да, есть и мед.

— Ну вот и прекрасно: есть, господа, у нас пиво и мед, и я вам состряпаю из этого такое лампопо́, что... — Термосесов поцеловал свои пальцы и договорил: — язык свой, и тот, допивая, проглотите.

— Что это за ланпопо́? — спросил Ахилла.

— Не ланпопо́, а лампопо́ — напиток такой из пива и меду делается. Идем! — и он потянул Ахиллу за рукав.

— Постой, — оборонялся дьякон. — Какое же это ланпопо́? Это у нас на похоронах пьют... «пивомедие» называется.

— А я тебе говорю, это не пивомедие будет, а лампопо́. Идем!

— Нет, постой! — опять оборонялся Ахилла. — Я знаю это пивомедие... Оно, брат, опрокидонтом с ног валит... я его ни за что не стану пить.

— Я тебе говорю — будет лампопо́, а не пивомедие!

— А лучше бы его нынче не надо,— отвечал дьякон,— а то назавтра чердак трещать будет.

Препотенский был тоже того мнения, но как ни Ахилла, ни Препотенский не обладали достаточною твердостью характера, чтобы настоять на своем, то настоял на своем Термосесов и забрал их в дом Бизюкиной. По мысли вожака, «питра» должна была состояться в садовой беседке, куда немедленно же и явилась наскоро закуска и множество бутылок пива и меду, из которых Термосесов в ту же минуту стал готовить лампопо́.

Варнава Препотенский поместился возле Термосесова. Учитель хотел нимало не медля объясниться с Термосесовым, зачем он юлил около Туганова и помогал угнетать его, Варнаву?

Но, к удивлению Препотенского, Термосесов потерял всякую охоту болтать с ним и, вместо того чтоб ответить ему что-нибудь ласково, оторвал весьма нетерпеливо:

— Мне все равны: и мещане, и дворяне, и люди черных сотен. Отстаньте вы теперь от меня с политикой, я пить хочу!

— Однако же вы должны согласиться, что люди семинария воспитанского лучше, — пролепетал, путая слова, Варнава.

— Ну вот, — перебил Термосесов, — то была «любимая мозоль», а теперь «семинария воспитанского»! Вот Цицерон!

— Он это часто, когда разгорячится, хочет сказать одно слово, а скажет совсем другое, — вступился за Препотенского Ахилла и при этом пояснил, что учитель за эту свою способность даже чуть не потерял хорошее знакомство, потому что хотел один раз сказать даме: «Матрена Ивановна, дайте мне лимончика», да вдруг выговорил: «Лимона Ивановна, дайте мне матренчика!» А та это в обиду приняла.

Термосесов так и закатился веселым смехом, но вдруг схватил Варнаву за руку и, нагнув к себе его голову, прошептал:

— Поди сейчас запиши мне для памяти тот разговор, который мы слышали от попов и дворян. Понимаешь,

насчет того, что и время пришло, и что Александр Первый не мог, и что в остзейском крае и сейчас не удается... Одним словом все, все...

— Зачем же распространяться? — удивился учитель.

— Ну, уж это не твое дело. Ты иди скорей напиши, и там увидишь на что?.. Мы это подпишем и пошлем в надлежащее место...

— Что вы! что вы это? — громко заговорил, отчаянно замотав руками, Препотенский. — Доносить! Да ни за что на свете.

— Да ведь ты же их ненавидишь!

— Ну так что ж такое?

— Ну и режь их, если ненавидишь!

— Да; извольте, я резать извольте, но... я не подлец, чтобы доносы...

— Ну так пошел вон, — перебил его, толкнув в двери, Термосесов.

— Ага, «вон»! значит я вас разгадал; вы заодно с Ахилкой.

— Пошел вон!

— Да-с, да-с. Вы меня позвали на лампопó, а вместо того...

— Да... ну так вот тебе и лампопó! — ответил Термосесов и, щелкнув Препотенского по затылку, выпихнул его за двери и задвинул щеколду.

Смотревший на всю эту сцену Ахилла смутился и, привстав с места, взял свою шляпу.

— Чего это ты? куда? — спросил его, снова садясь за стол, Термосесов.

— Нет; извините... Я домой.

— Допивай же свое лампопó.

— Нет; исчезни оно совсем, не хочу. Прощайте; мое почтение. — И он протянул Термосесову руку, но тот, не подавая своей руки, вырвал у него шляпу и, бросив ее под свой стул, закричал: — Сядь!

— Нет, не хочу, — отвечал дьякон.

— Сядь! тебе говорят! — громче крикнул Термосесов и так подернул Ахиллу, что тот плюхнул на табуретку.

— Хочешь ты быть попом?

— Нет, не хочу, — отвечал дьякон.

— Отчего же не хочешь?

— А потому, что я к этому не сроден и недостоин.

— Но ведь тебя протопоп обижает?
— Нет, не обижает.
— Да ведь он у тебя, говорят, раз палку отнял?
— Ну так что ж что отнял?
— И глупцом тебя называл?
— Не знаю, может быть и называл.
— Донесем на него, что он нынче говорил.
— Что-о-о?
— А вот что!

И Термосесов нагнулся и, взяв из-под стула шляпу Ахиллы, бросил ее к порогу.

— Ну так ты, я вижу, петербургский мерзавец, — молвил дьякон, нагибаясь за своею шляпою, но в это же самое время неожиданно получил оглушительный удар по затылку и очутился носом на садовой дорожке, на которой в ту же минуту явилась и его шляпа, а немного подальше сидел на коленях Препотенский. Дьякон даже не сразу понял, как все это случилось, но, увидав в дверях Термосесова, погрозившего ему садовою лопатой, понял, отчего удар был широк и тяжек, и протянул:

— Вот так лампопо́! Спасибо, что поучил.

И с этим он обратился к Варнаве и сказал:

— Что же? пойдем, брат, теперь по домам!
— Я не могу, — отвечал Варнава.
— Отчего?
— Да у меня, я думаю, на всем теле синевы, и болова голит.
— Ну, «болова голит», пройдет голова. Пойдем домой: я тебя провожу, — и дьякон сострадательно поднял Варнаву на ноги и повел его к выходу из сада. На дворе уже рассветало.

Отворяя садовую калитку, Ахилла и Препотенский неожиданно встретились лицом к лицу с Бизюкиным.

Либеральный акцизный чиновник Бизюкин, высокий, очень недурной собой человек, с незначащею, но не злою физиономиею, только что возвратился из уезда. Он посмотрел на Ахиллу и Варнаву Препотенского и весело проговорил:

— Ну, ну, однако, вы, ребята, нарезались?
— Нарезались, брат, —отвечал Ахилла, — могу сказать, что нарезались.
— Чем же это вы так угостились? — запытал Бизюкин.

— Ланпопом, друг, нас там угощали. Иди туда в беседку: там еще и на твою долю осталось.

— Да кто же там? Жена? и кто с нею?

— Дионис, тиран сиракузский.

— Ну, однако ж, вы нализались!.. Какой там тиран!.. А вы, Варнава Васильич, уже даже как будто и людей не узнаете? — отнесся акцизник к Варнаве.

— Извините, — отвечал, робко кланяясь, Препотенский. — Не узнаю. Знакó лицомое, а где вас помнил, не увижу.

— Вон он даже, как он, бедный, уж совсем плохо заговорил! — произнес дьякон и потащил Варнаву с гостеприимного двора.

Спустя несколько минут Ахилла благополучно доставил Варнаву до дома и сдал его на руки просвирне, удивленной неожиданною приязнью дьякона с ее сыном и излившейся в безмерных ему благодарностях.

Ахилла ничего ей не отвечал и, придя домой, поскорее потребовал у своей Эсперансы медную гривну.

— Вы, верно, обо что-нибудь ударились, отец дьякон? — полюбопытствовала старуха, видя, как Ахилла жмет к затылку поданную гривну.

— Да, Эсперанса, я ударился, — отвечал он со вздохом, — но только если ты до теперешнего раза думала, что я на мою силу надеюсь, так больше этого не думай. Отец протопоп министр юстиции; он правду мне, Эсперанса, говорил: не хвались, Эсперанса, сильный силою своею, ни крепкий крепостью своею!

И Ахилла, отпустив *услужающую,* присел на корточки к окну и, все вздыхая, держал у себя на затылке гривну и шептал:

— Такое ланпопó вздулось, что по-настоящему дня два показаться на улицу нельзя будет.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Протопоп возвратился домой очень взволнованный и расстроенный. Так как он, по причине празднества, пробыл у исправника довольно долго, то домоседка протопопица Наталья Николаевна, против своего всегдашнего

обыкновения, не дождалась его и легла в постель, оставив, однако, дверь из своей спальни в зал, где спал муж, отпертою. Наталья Николаевна непременно хотела проснуться при возвращении мужа.

Туберозов это понял и, увидав отворенную дверь в спальню жены, вошел к ней и назвал ее по имени.

Наталья Николаевна проснулась и отозвалась.

— Не спишь?

— Нет, дружечка Савелий Ефимыч, не сплю.

— Ну и благо; мне хочется с тобой говорить.

И старик присел на краешек ее кровати и начал пересказывать жене свою беседу с предводителем, а затем стал жаловаться на общее равнодушие к распространяющемуся повсеместно в России убеждению, что развитому человеку «стыдно веровать». Он представил жене разные свои опасения за упадок нравов и потерю доброго идеала. И как человек веры, и как гражданин, любящий отечество, и как философствующий мыслитель, отец Савелий в его семьдесят лет был свеж, ясен и тепел: в каждом слове его блестел здравый ум, в каждой ноте слышалась задушевная искренность.

Наталья Николаевна не прерывала возвышенных и страстных речей мужа ни одним звуком, и он говорил на полной свободе, какой не давало ему положение его ни в каком другом месте.

— И представь же ты себе, Наташа! — заключил он, заметив, что уже начинает рассветать и его канарейка, проснувшись, стала чистить о жердочку свой носик, — и представь себе, моя добрая старушка, что ведь ни в чем он меня, Туганов, не опровергал и во всем со мною согласился, находя и сам, что у нас, как покойница Марфа Андревна говорила, и хвост долог, и нос долог, и мы стоим как кулики на болоте да перекачиваемся: нос вытащим — хвост завязнет, а хвост вытащим — нос завязнет; но горячности, какой требует такое положение, не обличил... Ужасное равнодушие!

Наталья Николаевна молчала.

— И в дополнение ко всему меня же еще назвал «маньяк»!.. Ну скажи, сделай милость, к чему это такое название ко мне может относиться и после чего? (Савелий продолжал, понизив голос.) Меня назвал «маньяком», а сам мне говорит... Я ему псставил вопрос, что все же,

мол... мелко ли это или не мелко, то что я указываю, но все это знамения царящего в обществе духа. «И что же, мол, если теперь с этою мелочью не справимся, то как набольшие-то наши тогда думают справляться, когда это вырастет?» А он по этой, ненавистной мне, нашей русской шутливости изволил оповедать анекдот, который действительно очень подходящ к делу, но которого я, по званию своему, никому, кроме тебя, не могу и рассказать! Говорит, что был-де будто один какой-то офицер, который, вступив на походе в одну квартиру, заметил по соседству с собою замечательную красавицу и, пленясь ее видом, тотчас же, по своему полковому обычаю, позвал денщика и говорит: «Как бы, братец, мне с сею красавицей познакомиться?» А денщик помялся на месте и, как ставил в эту пору самовар, вдруг восклицает: «Дымом пахнет!» Офицер вскочил и бросился в комнату к сей прелестнице, говоря: «Ай, сударыня, у вас дымом пахнет, и я пришел вас с вашею красотой спасти от пламени пожара», и таким образом с нею познакомился, а денщика одарил и напоил водкой. Но спустя немалое время тот же охотник до красоты, перейдя на другое место, также увидал красивую даму, но уже не рядом с собою, а напротив своего окна через улицу, и говорит денщику: «Ах, познакомь меня с сею дамой!», но тот, однако, сумел только ответить снова то же самое, что «дымом пахнет!» И офицер увидал, что напрасно он полагался на ум сего своего помощника, и желанного знакомства через него вторично уже не составил. Заключай же, какая из сего является аналогия: у нас в необходимость просвещенного человека вменяется безверие, издевка над родиной, в оценке людей, небрежение о святыне семейных уз, неразборчивость, а иносказательная красавица наша, наружная цивилизация, досталась нам просто; но теперь, когда нужно знакомиться с красавицей иною, когда нужна духовная самостоятельность... и сия красавица сидит насупротив у своего окна, как мы ее достанем? Хватимся и ахнем: «Ах, мол, как бы нам с нею познакомиться!» А нескладные денщики что могут на сие ответить кроме того, что, мол, «дымом пахнет». Что тогда в этом проку, что «дымом пахнет»?

— Да, — уронила, вздохнув, Наталья Николаевна.

— Ну то-то и есть! Стало быть, и тебе это ясно: кто же

теперь «маньяк»? Я ли, что, яснее видя сие, беспокоюсь, или те, кому все это ясно и понятно, но которые смотрят на все спустя рукава: лишь бы-де по наш век стало, а там хоть все пропади! Ведь это-то и значит: «дымом пахнет». Не так ли, мой друг?

— Да, голубчик, это верно девчонка встала самовар ставить! — проговорила скороговоркой сонным голосом Наталья Николаевна.

Туберозов понял, что он все время говорил воздуху, не имеющему ушей для того, чтоб его слышать, и он поник своею белою головой и улыбнулся.

Ему припомнились слова, некогда давно сказанные ему покойною боярыней Марфой Плодомасовой: «А ты разве не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит, а все же чем ты болеешь, ей того не понять. И так всяк, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих».

— Да, одинок! всемерно одинок! — прошептал старик. — И вот когда я это особенно почувствовал? когда наиболее не хотел бы быть одиноким, потому что... маньяк ли я или не маньяк, но... я решился долее ничего этого не терпеть и на что решился, то совершу, хотя бы то было до дерзости...

И старик тихо поднялся с кровати, чтобы не нарушить покоя спящей жены, перекрестил ее и, набив свою трубку, вышел с нею на двор и присел на крылечке.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

У Туберозова была большая решимость на дело, о котором долго думал, на которое давно порывался и о котором никому не говорил. Да и с кем он мог советоваться? Кому мог он говорить о том, что задумал? Не смиренному ли Захарии, который «есть так, как бы его нет»; удалому ли Ахилле, который живет как стихийная сила, не зная сам, для чего и к чему он поставлен; не чиновникам ли, или не дамам ли, или, наконец, даже не Туганову ли, от которого он ждал поддержки как от корённого русского барина? Нет, никому и даже ни своей елейной Наталье

Николаевне, которой запах дыма и во сне только напоминает один самовар...

— Она, голубка, и во сне озабочена, печется одним, как бы согреть и напоить меня, старого, теплым, а не знает того, что согреть меня может иной уголь, горящий во мне самом, и лишь живая струя властна напоить душевную жажду мою, которой нет утоления при одной мысли, что я старый... седой... полумертвец... умру лежачим камнем и... потеряю утешение сказать себе пред смертью, что... силился по крайней мере присягу выполнить и... и возбудить упавший дух собратий!

Старик задумался. Тонкие струйки вакштафного дыма, вылетая из-под его седых усов и разносясь по воздуху, окрашивались янтарною пронизью взошедшего солнца; куры слетели с насестей и, выйдя из закутки, отряхивались и чистили перья. Вот на мосту заиграл в липовую дудку пастух; на берегу зазвенели о водонос пустые ведра на плечах босой бабы; замычали коровы, и собственная работница протопопа, крестя зевающий рот, погнала за ворота хворостиной коровку; канарейка трещит на окне, и день во всем сиянии.

Вот ударили в колокол.

Туберозов позвал работника и послал его за дьячком Павлюканом.

«Да, — размышлял в себе протопоп, — надо уйти от себя, непременно уйти и... покинуть многозаботливость. Поищу сего».

На пороге калитки показалась молодая цыганка с ребенком у груди, с другим за спиной и с тремя цеплявшимися за ее лохмотья.

— Дай что-нибудь, пан отец, счастливый, талантливый! — приступила она к Савелию.

— Что ж я тебе дам, несчастливая и бесталанная? Жена спит, у меня денег нет.

— Дай что-нибудь, что тебе не надо; за то тебе честь и счастие будет.

— Что же бы не надобно мне? А, а! Ты дело сказала, — у меня есть что мне не надо!

И Туберозов сходил в комнаты и, вынеся оттуда свои чубуки с трубками, бисерный кисет с табаком и жестянку, в которую выковыривал пепел, подал все это цыганке и сказал:

— На тебе, цыганка, отдай это все своему цыгану — ему это пристойнее.

Наталья Николаевна спала, и протопоп винил в этом себя, потому что все-таки он долго мешал ей уснуть то своим отсутствием, то своими разговорами, которых она хотя и не слушала, но которые тем не менее все-таки ее будили.

Он пошел в конюшню и сам задал двойную порцию овса паре своих маленьких бурых лошадок и тихо шел через двор в комнаты, как вдруг неожиданно увидал входившего в калитку рассыльного солдата акцизного Бизюкина. Солдат был с книгой.

Протопоп взял из его рук разносную книгу и, развернув ее, весь побагровел; в книге лежал конверт, на котором написан был следующий адрес: «Благочинному Старогородского уезда, протопопу Савелию Туберкулову». Слово «Туберкулову» было слегка перечеркнуто и сверху написано: «Туберозову».

— Велели сейчас расписку представить, — сказал солдат.

— А кто это велел?

— Этого приезжего чиновника секретарь.

— Ну, подождет.

Протопоп понял, что это было сделано неспроста, что с ним идут на задор и, вероятно, имеют за что зацепиться.

«Что б это такое могло быть? И так рано... ночь, верно, не спали, сочиняя какую-нибудь мерзость... Люди досужие!»

Думая таким образом, Туберозов вступил в свою залитую солнцем зальцу и, надев круглые серебряные очки, распечатал любопытный конверт.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Щекотливая бумага была нечто бесформенное, которым в неприятных, каверзливых выражениях, какими преизобилует канцелярский язык, благочинный Туберозов не то приглашался, не то вызывался «конфиденциально» к чиновнику Борноволокову «для дачи объяснений относи-

тельно важных предметов, а также соблазнительных и непристойных поступков дьякона Ахиллы Десницына».

— Фу ты, прах вас возьми, да уж это не шутка ли глупейшая?.. Неужто уж они вздумали шутить надо мною таким образом?!. Но нет, это не шутка: «Туберкулову»... Фамилия моя перековеркана с явным умыслом оскорбить меня и... и потом «соблазнительное и непристойное поведение» Ахиллы!.. Что все это такое значит и на что сплетается?.. Дабы их не потешить и не впасть в погрешность, испробуем метод выжидательный, в неясных случаях единственно уместный.

Протопоп взял перо и под текстом бесформенной бумаги написал: «Благочинный Туберозов, не имея чести знать полномочий требующего его лица, не может почитать в числе своих обязанностей явку к нему по сему зову или приглашению», и потом, положив эту бумагу в тот же конверт, в котором она была прислана, он надписал поперек адреса: «Обратно тому, чьего титула и величания не знаю».

Кинув все это в ту же рассыльную книгу, в которой бумага была доставлена, он вышел на крыльцо и отдал книгу солдату; явившемуся длинному дьячку Павлюкану велел мазать кибитку и готовиться через час ехать с ним в уезд по благочинию, а работницу послал за Ахиллой.

Меж тем встала Наталья Николаевна и, много извиняясь пред мужем, что она вчера уснула во время его рассказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой чемоданчик, но при этом была удивлена тем, что на вопрос ее: куда сунуть табак? протопоп коротко отвечал, что он больше не курит табаку, и вслед за тем обратился к вошедшему в эту минуту дьякону.

— Я сейчас еду по благочинию, а тебя попросил к себе, чтобы предупредить, — заговорил он к Ахилле, но тот его сейчас же перебил.

— Уж покорно вас благодарю, отец протоиерей, я уже предупрежден.

— Да; но это пока еще ничего: не очень-то я сего пугаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты хотя в мое отсутствие посолиднее.

— Да уж теперь, отец протоиерей... хоть бы и вы не изволили говорить, так все кончено.

Туберозов остановился и посмотрел на него пристальным, проницающим взором. Фигура и лицо дьякона были не в авантаже; его густые природные локоны лежали на голове как сдвинувшаяся фальшивая накладка; правый висок был слишком далеко обнажен, левый закрыт до самого глаза.

Протопоп смекал, что б это такое еще могло случиться с неосторожным дьяконом, а тот, потупив глаза в свою шляпу, заговорил:

— Я еще вчера же, отец протопоп... как только пришел домой от Бизюкинши... потому что мы все от исправника к ней еще заходили, как вернулся, сейчас и сказал своей услужающей: «Нет, говорю, Эсперанса, отец Савелий справедлив: не надейся сильный на свою силу и не хвались своею крепостью».

Протопоп вместо ответа подошел к дьякону и приподнял рукой волосы, не в меру закрывшие всю левую часть его лица.

— Нет, отец Савелий, здесь ничего, а вот тут, — тихо проговорил Ахилла, переводя руку протопопа себе на затылок.

— Стыдно, дьякон, — сказал Туберозов.

— И больно даже, отец протопоп! — отвечал, ударив себя в грудь, Ахилла, и горько заплакал, лепеча: — За это я себя теперь ежечасно буду угрызать.

Туберозов не подлил ни одной капли в эту чашу страдания Ахиллы, а, напротив, отполнил от нее то, что лилось через край; он прошелся по комнате и, тронув дьякона за руку, сказал:

— Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорял трубкой?

— Простите.

— Нет; я тебе за это благодарен и хотя особенно худого в этом курении не усматриваю и привычку к сему имел, но дабы не простирать речей, сегодня эту привычку бросил и все свои трубки цыганам отдал.

— Цыганам! — воскликнул, весь просияв, дьякон.

— Да; это тебе все равно, кому я их отдал, но отдай же и ты кому-нибудь свою удаль: ты не юноша, тебе пятьдесят лет, и ты не казак, потому что ты в рясе. А теперь еще раз будь здоров, а мне пора ехать.

И Туберозов уехал, а дьякон отправился к отцу Захарии, чтоб упросить его немедленно же под каким-нибудь предлогом сходить к акцизному и узнать: из какого звания происходит Термосесов?

— А на что это тебе? — отвечал Бенефактов.

— Да надобно же мне знать, чьего он роду, племени и какого отца с матерью.

Захария взялся забрать эту необходимую для Ахиллы справку.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В доме Бизюкина утро этого дня было очень неблагополучно: акцизница хватилась бывшего на ней вчера вечером дорогого бриллиантового колье и не нашла его. Прислуга была вся на ногах; хозяева тоже. Пропажу искали и в беседке и по всему дому, и нигде не находили.

Борноволоков приступил к ревизии, а Термосесов был ожесточенно занят; он все возился около тарантасного ящика, служившего вместилищем его движимости. Достав отсюда из своей фотографической коллекции несколько карточек членов императорской фамилии, Термосесов почистил резинкой и ножичком те из них, которые ему показались запыленными, и потом, положив их в конвертик, начал писать письмо в Петербург к какому-то несуществующему своему приятелю. Не зная планов Термосесова, объяснить себе этого невозможно. Он тут описывал красу природы, цвет розо-желтый облаков, и потом свою дружбу с Борноволоковым, и свои блестящие надежды на служебную карьеру, и наследство в Самарской губернии, а в конце прибавлял легкий эскиз виденного им вчера старогородского общества, которое раскритиковал страшно и сделал изъятие для одной лишь почтмейстерши. «Эта женщина, — писал он, — вполне достойна того, чтобы на ней остановиться. Представь, что тут даже как будто что-то роковое; я увидал ее и сразу почувствовал к ней что-то сыновнее. Просто скажу тебе, что, кажется, если б она меня захотела высечь, то я поцеловал бы у нее с благодарностью руку. А впрочем, я и сам еще не знаю, чем это кончится; у нее есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто, брат, знает, для

чего неисповедимые судьбы сблизили меня с этим семейством высокоуважаемой женщины? Может быть, придется пропеть: «Ты прости, прощай, волюшка». Не осуждай, брат, а лучше, когда будешь ехать домой, закати и сам сюда на недельку! Кто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь? Одному ведь тоже жить не радостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насущном обеспечены да еще людям помогать можем! Затем прощай покуда. Я тебе, впрочем, верно опять скоро буду писать, потому что я из лица этой почтенной почтмейстерши задумал сделать литературный очерк и через тебя пошлю его, чтобы напечатать в самом лучшем журнале. Твой Термосесов».

Адресовав письмо на имя Николая Ивановича Иванова, Термосесов погнул запечатанный конверт между двумя пальцами и, убедясь, что таким образом можно прочесть всю его приписку насчет почтмейстерши, крякнул и сказал: «Ну-ка, посмотрим теперь, правду ли говорил вчера Препотенский, что она подлепливает письма? Если правда, так я благоустроюсь».

С этим он взял письмо и карточки и пошел в почтовую контору. Кроме этого письма, в кармане Термосесова лежало другое сочинение, которое он написал в те же ранние часы, когда послал повестку Туберозову. В этом писании значилось:

«Комплот демократических социалистов, маскирующихся патриотизмом, встречается повсюду, и здесь он группируется из чрезвычайно разнообразных элементов, и что всего вредоноснее, так это то, что в этом комплоте уже в значительной степени участвует духовенство — элемент чрезвычайно близкий к народу и потому самый опасный. Результаты печальных промахов либеральной терпимости здесь безмерны и неисчислимы. Скажу одно: с тех пор как некоторым газетам дозволено было истолковать значение, какое имело русское духовенство в Галиции, и наши многие священники видимо стремятся подражать галицким духовным. Они уже не довольствуются одним исполнением церковных треб, а агитируют за свободу церкви и за русскую народность.

Старогородский протопоп Савелий Туберозов, уже не однажды обращавший на себя внимание начальства своим свирепым и дерзким характером и вредным образом

мыслей, был многократно и воздерживаем от своих непозволительных поступков, но, однако, воздерживается весьма мало и в сущности полон всяких революционных начал.

Не хочу предрешать, сколько он может быть вреден целям правительства, но я полагаю, что вред, который он может принести, а частию уже и приносит, велик бесконечно. Протопоп Туберозов пользуется здесь большим уважением у всего города, и должно сознаться, что он владеет несомненным умом и притом смелостью, которая, будучи развита долгим потворством начальства, доходит у него до бесстрашия. Такой человек должен бы быть во всех своих действиях ограничен как можно строже, а он между тем говорит обо всем, нимало не стесняясь, и вдобавок еще пользуется правом говорить всенародно в церкви.

Этот духовный элемент, столь близкий к народу, с другой стороны, видимо начинает сближаться и со всею земщиной, то есть с поместным дворянством. Так, например, этот подозрительный протопоп Туберозов пользуется, по-видимому, расположением и покровительством предводителя Туганова, личность и взгляды которого столь вам известны. Г-н Туганов, быв здесь на вечере у здешнего исправника, говорил, что «от земли застят солнце», очевидно разумея под словом *земля* — народ, а под *солнцем* — монарха, но а кто же застит, то уже не трудно определить, да, впрочем, он и сам это объяснил, сказав в разговоре, что он человек земский, а *«губернатор калиф на час»*. И наконец, кроме всего этого, когда ему один здешний учитель, Препотенский, человек совершенно глупый, но вполне благонадежный, сказал, что все мы не можем отвечать: чем и как Россия управляется? то он с наглою циничностью отвечал: «Я, говорит, в этом случае питаю большое доверие к словам екатерининского Панина, который говорил, что *Россия управляется милостью божиею и глупостью народною»*. На все это имею честь обратить внимание вашего превосходительства и при сем считаю своею обязанностью свидетельствовать пред вашим превосходительством о незаменимых заслугах находящегося при мне вольнонаемного канцелярского служителя Измаила Петрова Термосесова, тонкой наблюдательности которого и уменью про-

никать во все слои общества я обязан многими драгоценными сведениями, и смею выразить ту мысль, что если бы начальству угодно было употребить этого даровитого человека к самостоятельной работе в наблюдательном роде, то он несомненно мог бы принесть пользу безмерную».

Идучи с этою бумагой, Термосесов кусал себе губы и вопрошал себя:

— Подпишет ли каналья Борноволоков эту штуку? Да ничего — хорошенько нажму, так все подпишет!

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Термосесов зашел сначала в контору, подал здесь письмо и потом непосредственно отправился к почтмейстерше. Они встретились друзьями; он поцеловал ее руку, она чмокнула его в темя и благодарила за честь его посещения.

— Помилуйте, мне вас надо благодарить, — отвечал Термосесов, — такая скука. Даже всю ночь не спал от страху, где я и с кем я?

— Да, она такая невнимательная, Дарья Николаевна, то есть не невнимательная, а не хозяйка.

— Да, кажется.

— Как же! она ведь все за книгами.

— Скажите, какие глупости! Тут надо смотреть, а не читать. Я, знаете, как вчера всех ваших посмотрел и послушал... просто ужас.

— Уж я говорила вчера дочерям: «Весело, — я говорю, — должно быть, было нашему заезжему гостю?»

— Нет; относительно этого ничего. Я ведь служу не из-за денег, а больше для знакомства с краем.

— Ах, так вы у нас найдете бездну материалов для наблюдения!

— Вот именно *для наблюдения!* А вот, кстати, и те портреты, которые вы мне позволили принесть. Позвольте, я их развешу.

Почтмейстерша не знала, как ей благодарить.

— Это будет работа, которою я с удовольствием займусь, пока увижу ваших прекрасных дочерей... Надеюсь, я их увижу?

Почтмейстерша отвечала, что они еще не одеты, потому что хозяйничают, но что тем не менее они выйдут.

— Ах, прошу вас, прошу вас об этом, — умолял Термосесов, и когда обольщенная им хозяйка вышла, он стал размещать по стене портреты на гвоздях, которые принес с собою в кармане.

Туалет девиц продолжался около часа, и во все это время не являлась и почтмейстерша.

«Добрый знак, добрый знак! — думал Термосесов. — Верно, зачиталась моей литературы».

Но вот появились и предводимые матерью девицы. Измаил Петрович кинул быстрый и проницательный взгляд на мать. Она сияла и брызгала лучами восторга.

«Клюнула моего червячка, клюнула!» — мигнул себе Термосесов и удесятерил свою очаровательную любезность. Но чтобы еще верней дознаться, «клюнула» ли почтмейстерша, он завел опять речь о литературе и о своем дорожном альбоме впечатлений и заметок.

— Портретов! Бога ради, более портретов! более картинок с натуры! — просила почтмейстерша.

— Да, я уж написал, как мне представилось все здешнее общество, и, простите, упомянул о вас и о вашей дочери... Так, знаете, немножко, вскользь... Вот если бы можно было взять назад мое письмо, которое я только что подал...

— Ах нет, на что же! — отвечала, вспыхнув, почтмейстерша.

«Клюнула, разбойница, клюнула!» — утешался Термосесов и настаивал на желании прочесть дамам то, что он о них написал. В зале долгое время только и слышалось: «Нет, на что же читать? мы вам и так верим!» и «Нет-с, почему же не прочесть?.. Вы мне, бога ради, не доверяйтесь!»

Доводы Термосесова слишком соблазнительно действовали на любопытство девиц, из них то одна, то другая начали порываться сбегать к отцу в контору и принесть интересное письмо заезжего гостя.

Как почтмейстерша ни останавливала их и словами и знаками, они все-таки не понимали и рвались, но зато Термосесов понял все в совершенстве; письмо было в руках хозяйки, теперь его надо было взять только из ее рук и тем ее самоё взять в руки.

Термосесов, не задумываясь ни на одну минуту, сорвался с места и, несмотря на все удерживанья и зовы, бросился с предупредительностью в контору, крича, что он, наконец, и сам уже не властен отказать себе в удовольствии представить дамам легкие штрихи своих глубоких от них восторгов.

Удержать его стремительности не могли никакие просьбы, а письма в конторе действительно не было.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Измаил Петрович возвратился к дамам в крайнем смущении и застал их в еще большем. Девицы при его приходе обе вскочили и убежали, чтобы скрыть слезы, которые прошибли их от материнской гонки, но почтмейстерша сама осталась на жертву.

Термосесов стал перед нею молча и улыбался.

— Я вижу вас, — заговорила, жеманясь, дама, — и мне стыдно.

— Письмо у вас?

— Что делать? я не утерпела: вот оно.

— Это хорошо, что вы этим не пренебрегаете, — похвалил ее Термосесов, принимая из ее рук свое запечатанное письмо.

— Нет, мне стыдно, мне ужасно стыдно, но что делать... я женщина...

— Полноте, пожалуйста! Женщина! тем лучше, что вы женщина. Женщина-друг всегда лучше друга-мужчины, а я доверчив, как дурак, и нуждаюсь именно в такой... в женской дружбе! Я сошелся с господином Борноволоковым... Мы давно друзья, и он и теперь именно более мой друг, чем начальник, по крайней мере я так думаю.

— Да, я вижу, вижу; вы очень доверчивы и простодушны.

— Я дурак-с в этом отношении! совершенный дурак! Меня маленькие дети, и те надувают!

— Это нехорошо, это ужасно нехорошо!

— Ну а что же вы сделаете, когда уж такая натура? Мне одна особа, которая знает нашу дружбу с Борноволоковым, говорит: «Эй, Измаил Петрович, ты слишком

глупо доверчив! Не полагайся, брат, на эту дружбу коварную. Борноволоков в глаза одно, а за глаза совсем другое о тебе говорит», но я все-таки не могу и верю.

— Зачем же?

— Да вот подите ж! как в песенке поется: «И тебя возненавидеть и хочу, да не могу». Не могу-с, я не могу по одним подозрениям переменять свое мнение о человеке, но... если бы мне представили доказательства!.. если б я мог слышать, что он говорит обо мне за глаза, или видеть его письмо!.. О, тогда я весь век мой не забыл бы услуг этой дружбы.

Почтмейстерша пожалела, что она даже и в глаза не видала этого коварного Борноволокова, и спросила: нет ли у Термосесова карточки этого предателя?

— Нет, карточки нет; но письмо есть. Вот его почерк.

И он показал и оставил на столе у почтмейстерши обрывок листка, исписанного рукой Борноволокова.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Эта вторая удочка была брошена еще метче первой, и пред вечером, когда Термосесов сидел с Борноволоковым и Бизюкиным за кофе, явился почтальон с просьбой, чтоб Измаил Петрович сейчас пришел к почтмейстерше.

— А, да! я ей дал слово ехать нынче с ними за город в какую-то рощу и было совсем позабыл! — отвечал Термосесов и ушел вслед за почтальоном.

Почтмейстерша встретила его одна в зале и, сжав его руку, прошептала:

— Ждите меня! я сейчас приду, — и с тем она вышла.

Когда почтмейстерша чрез минуту обратно вернулась, Термосесов стоял у окна и бил себя по спине фуражкой. Почтмейстерша осмотрелась; заперла на ключ дверь и, молча вынув из кармана письмо, подала его Термосесову.

Термосесов взял конверт, но не раскрывал его: он играл роль простяка и как будто ожидал пояснения, что ему с этим письмом делать?

— Смело, смело читайте, сюда никто не взойдет, — проговорила ему хозяйка.

Термосесов прочел письмо, в котором Борноволоков жаловался своей петербургской кузине Нине на свое несчастие, что он в Москве случайно попался Термосесову, которого при этом назвал «страшным негодяем и мерзавцем», и просил кузину Нину «работать всеми силами и связями, чтобы дать этому подлецу хорошее место в Польше или в Петербурге, потому что иначе он, зная все *старые глупости,* может наделать черт знает какого кавардаку, так как он способен удивить свет своею подлостью, да и к тому же едва ли не вор, так как всюду, где мы побываем, начинаются пропажи».

Термосесов дочитал это письмо своего друга и начальника очень спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, и, кончив чтение, молча же возвратил его почтмейстерше.

— Узнаете вы своего друга?

— Не ожидал этого! Убей меня бог, не ожидал! — отвечал Термосесов, вздохнув и закачав головой.

— Я признаюсь, — заговорила почтмейстерша, вертя с угла на угол возвращенное ей письмо, — я даже изумилась... Мне моя девушка говорит: «Барыня, барыня! какой-то незнакомый господин бросил письмо в ящик!» Я говорю: «Ну что ж такое?», а сама, впрочем, думаю, зачем же письмо в ящик? у нас это еще не принято: у нас письмо в руки отдают. Честный человек не станет таиться, что он посылает письмо, а это непременно какая-нибудь подлость! И вы не поверите, как и почему?.. просто по какому-то предчувствию говорю: «Нет, я чувствую, что это непременно угрожает чем-то этому молодому человеку, которого я... полюбила, как сына».

Термосесов подал почтмейстерше руку и поцеловал ее руку.

— Право, — заговорила почтмейстерша с непритворными нервными слезами на глазах. — Право... я говорю, что ж, он здесь один... я его люблю, как сына; я в этом не ошибаюсь, и слава богу, что я это прочитала.

— Возьмите его, — продолжала она, протягивая письмо Термосесову, — возьмите и уничтожьте.

— Уничтожить — зачем? нет, я его не уничтожу. Нет; пусть его идет, куда послано, но копийку позвольте, я только сниму с него для себя копийку.

Термосесов сразу сообразил, что хотя это письмо и не лестно для его чести, но зато весьма для него выгодно

в том отношении, что уж его, как человека опасного, непременно пристроят на хорошее место.

Списав себе копию, Термосесов, однако, спрятал в карман и оригинал и ушел погулять.

Он проходил до позднего вечера по загородным полям и вернулся поздно, когда уже супруги Бизюкины отошли в опочивальню, а Борноволоков сидел один и что-то писал.

— Строчите вы, ваше сиятельство! Уже опять что-то строчите? — заговорил весело Термосесов.

В ответ последовало одно короткое бесстрастное *«да»*.

— Верно, опять какую-нибудь гадость сочиняете?

Борноволоков вздрогнул.

— Ну, так и есть! — лениво произнес Термосесов, и вдруг неожиданно запер дверь и взял ключ в карман.

Борноволоков вскочил и быстро начал рвать написанную им бумажку.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Жестоковыйный проходимец расхохотался.

— Ах, как вы всполошились! — заговорил он. — Я запер дверь единственно для того, чтобы посвободнее с вами поблагодушествовать, а вы все сочинение порвали.

Борноволоков сел.

— Подпишите вот эту бумажку. Только чур ее не рвать.

Термосесов положил пред ним ту бесформенную бумагу, в которой описал правду и неправду о Туберозове с Тугановым и положил себе аттестацию.

Борноволоков бесстрастно прочел ее всю от начала до конца.

— Что же? — спросил Термосесов, видя, что чтение окончено, — подписываете вы или нет?

— Я мог бы вам сказать, что я удивляюсь, но...

— Но я вас уже отучил мне удивляться! Я это прекрасно знаю, и я и сам вам тоже не удивляюсь, — и Термосесов положил пред Борноволоковым копию с его письма кузине Нине, и добавил:

— Подлинник у меня-с.

— У вас!.. но как же вы смели?

— Ну, вот еще мы с вами станем про смелость говорить! Этот документ у меня по праву сильного и разумного.

— Вы его украли?

— Украл.

— Да это просто черт знает что!

— Да как же не черт знает что: быть другом и приятелем, вместе Россию собираться уничтожить, и вдруг потом аттестовать меня чуть не последним подлецом и негодяем! Нет, батенька: это нехорошо, и вы за то мне совсем другую аттестацию пропишите.

Борноволоков вскочил и заходил.

— Сядьте; это вам ничего не поможет! — приглашал Термосесов. — Надо кончить дело миролюбно, а то я теперь с этим вашим письмецом, заключающим указания, что у вас в прошедшем хвост не чист, знаете куда могу вас спрятать? Оттуда уже ни полячишки, ни кузина Нина не выручат.

Борноволоков нетерпеливо хлопнул себя по ляжкам и воскликнул:

— Как вы могли украсть мое письмо, когда я его сам своими руками опустил в почтовый ящик?

— Ну вот, разгадывайте себе по субботам: как я украл? Это уже мое дело, а я в последний раз вам говорю: подписывайте! На первом листе напишите вашу должность, чин, имя и фамилию, а на копии с вашего письма сделайте скрепу и еще два словечка, которые я вам продиктую.

— Вы... вы мне продиктуете?

— Да, да; я вам продиктую, а вы их напишите и дадите мне тысячу рублей отсталого.

— Отсталого!.. за что?

— За свой покой без меня.

— У меня нет тысячи рублей.

— Я вам под расписку поверю. Рублей сто, полтораста наличностью, а то я подожду... Только уж вот что: разговаривать я долго не буду: вуле-ву, так вуле-ву, а не вуле-ву, как хотите: я вам имею честь откланяться и удаляюсь.

Борноволоков шагал мимо по комнате.

— Думайте, думайте! такого дела не обдумавши

не следует делать, но только все равно ничего не выдумаете: я свои дела аккуратно веду, — молвил Термосесов.

— Давайте я подпишу, — резко сказал Борноволоков.

— Извольте-с!

Термосесов обтер полой перо, обмакнул его в чернило и почтительно подал Борноволокову вместе с копией его письма к петербургской кузине Нине.

— Что писать?

— Сейчас-с.

Термосесов крякнул и начал:

— Извольте писать: «Подлец Термосесов».

Борноволоков остановился и вытаращил на него глаза.

— Вы в самом деле хотите, чтоб я написал эти слова?

— Непременно-с; пишите: «Подлец Термосесов...»

— И вам это даже не обидно?

— Ведь все на свете обидно или не обидно, смотря по тому, от кого идет.

— Да; но говорите скорее, чего вы хотите далее; я написал: «Подлец Термосесов».

— Покорно вас благодарю-с. Продолжайте.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Секретарь, стоя за стулом Борноволокова, глядел через его плечо в бумагу и продолжал диктовать: «Подлец Термосесов непостижимым и гениальным образом достал мое собственноручное письмо к вам, в котором я, по неосторожности своей, написал то самое, что вы на этом листке читаете выше, хотя это теперь написано рукой того же негодяя Термосесова».

— Довольно?

— Нет-с, еще надо набавить. Извольте писать. «Как он взял письмо, собственноручно мною отданное на почту, я этого не могу разгадать, но зато это же самое может вам свидетельствовать об отважности и предприимчивости этого мерзавца, поставившего себе задачей не отступать от меня и мучить меня, пока вы его не устроите на хорошее жалованье. Заклинаю вас общим нашим благополучием сделать для него даже то, чего невозможно, ибо

иначе он клянется открыть все, что мы делали в глупую пору нашего революционерства».

— Нельзя ли последние слова изменить в редакции?

— Нет-с; я как Пилат: еже писах — писах.

Борноволоков дописал свое унижение и отбросил лист.

— Теперь вот эту бумагу о духовенстве и о вредных движениях в обществе просто подпишите.

Борноволоков взял в руки перо и начал еще раз просматривать эту бумагу, раздумался и спросил:

— Что они вам сделали, эти люди, Туберозов и Туганов?

— Ровно ничего.

— Может быть, они прекрасные люди...

— Очень может быть.

— Ну так за что же вы на них клевещете? Ведь это, конечно, клевета?

— Не все, а есть немножко и клеветы!

— За что же это?

— Что же делать: мне надо способности свои показать. За вас, чистокровных, ведь дядья да тетушки хлопочут, а мы, парвенюшки, сами о себе печемся.

Борноволоков вздохнул и с омерзением подписал бумагу, на которой Термосесов строил его позор, Савелиеву гибель и собственное благополучие.

Термосесов принял подписанную ябеду и, складывая бумагу, заговорил:

— Ну, а теперь третье дело сделаем, и тогда шляпу наденем и простимся. Я заготовил векселек на восемьсот рублей и двести прошу наличностью.

Борноволоков молчал и глядел на Термосесова, опершись на стол локтями.

— Что же, в молчанку, что ли, будем играть?

— Нет; я только смотрю на вас и любуюсь.

— Любуйтесь, таков, какого жизнь устроила, и подпишите векселек и пожалуйте деньги.

— За что же, господин Термосесов? За что?

— Как за что? за прежние тайные удовольствия в тиши ночей во святой Москве, в греховном Петербурге; за беседы, за планы, за списки, за все, за все забавы, которых след я сохранил и в кармане и в памяти, и могу вам всю вашу карьеру испортить.

Борноволоков подписал вексель и выкинул деньги.

— Благодарю-с, — ответил Термосесов, пряча вексель и деньги, — очень рад, что вы не торговались.

— А то бы что еще было?

— А то бы я вдвое с вас спросил.

Термосесов, забрав все свои вымогательства, стал искать фуражку.

— Я буду спать в тарантасе, — сказал он, — а то тут вдвоем нам душно.

— Да, это прекрасно, но вы же, надеюсь, теперь отдадите мне мое собственное письмо?

— Гм! ну, нет, не надейтесь: этого в уговоре не было.

— Но на что же оно вам?

— Да этого в договоре не было.

И Термосесов рассмеялся.

— Хотите, я вам еще денег дам.

— Нет-с, я не жаден-с, с меня довольно.

— Фу, какая вы...

— Скотина, что ли? ничего, ничего, без церемоний, я не слушаю и бай-бай иду.

— Так выслушайте же по крайней мере вот что: где бриллианты, которые пропали у Бизюкиной?

— А я почему это должен знать?

— Вы... вы были с ней где-то... в беседке, что ли?

— Что же такое, что был? Там и другие тоже были: учителишка и дьякон.

— Да; ну так скажите по крайней мере, не в моих ли вещах где-нибудь эти бриллианты спрятаны?

— А я почему могу это знать?

— Господи! этот человек меня с ума сведет! — воскликнул Борноволоков, заметавшись.

— А вы вот что... — прошептал, сжав его руку, Термосесов, — вы не вздумайте-ка расписывать об этом своим кузинам, а то... здесь письма ведь не один я читаю.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пропавшие бриллианты Бизюкиной, лампопó, поражение Ахиллы и Препотенского, проделки с Дарьей Николаевной и почтмейстершей, наконец шах и мат, данные Борноволокову, — все это, будучи делом почти одних

суток, немножко ошеломило самого Термосесова. Он чувствовал неодолимую потребность выспаться и, растянувшись на сене в тарантасе, спал могучим крепким сном до позднего утра. Прохладный сарай, в котором стоял экипаж, обращенный Термосесовым в спальню, оставался запертым, и Измаил Петрович, даже и проснувшись, долго еще лежал, потягивался, чесал пятки и размышлял.

В размышлениях своих этот фрукт нашего рассадника был особенно интересен с той стороны, что он ни на минуту не возвращался к прошлому и совершившемуся и не останавливался ни на одном из новых лиц, которых он так круто и смело обошел самыми бесцеремонными приемами. Хотя это и может показаться странным, но́ позволительно сказать, что в Термосесове была даже своего рода незлобивость, смешанная с бесконечною нравственною неряшливостию нахала и пренебрежительностию ко всем людям и ко всяким мнениям. Он словно раз навсегда порешил себе, что совесть, честь, любовь, почтение и вообще все так называемые возвышенные чувства — все это вздор, гиль, чепуха, выдуманная философами, литераторами и другими сумасшедшими фантазерами. Он не отрицал, — нет, это было бы слишком спорно, — он просто знал, что ничего подобного нет и что потому не стоит над этим и останавливаться. Не менее странно относился он и к людям: он не думал, что предстоящая ему в данную минуту личность жила прежде до встречи с ним и хочет жить и после, и что потому у нее есть свои исторические оглядки и свои засматриванья вперед. Нет, по его, каждый человек выскакивал пред ним, как дождевой пузырь или гриб, именно только на ту минуту, когда Термосесов его видел, и он с ним тотчас же распоряжался и эксплуатировал его самым дерзким и бесцеремонным образом, и потом, как только тот отслуживал ему свою службу, он немедленно же просто позабывал его. На своем циническом языке он простодушно говорил: «я кого обижу, после на него никогда не сержусь», и это было верно. Если бы теперь к нему под сарай зашел Ахилла или Препотенский, он мог бы заговорить с ними, нимало не смущаясь ничем происшедшим вчерашнею ночью.

Поймав Борноволокова, о котором давно было позабыл, он схватился за него и сказал: я на нем повисну! И повис. Встретив Бизюкину, он пожелал за ней приударить, и приударил; занимаясь ее развитием черт знает для чего, он метнул мыслью на возможность присвоить себе бывшие на ней бриллианты и немедленно же привел все это в исполнение, и притом спрятал их так хитро, что если бы, чего боже сохрани, Бизюкины довели до обыска, то бриллианты оказались бы, конечно, не у Термосесова, а у князя Борноволокова, который носил эти драгоценности чуть ли не на самом себе; они были зашиты в его шинели. О протопопе Туберозове Термосесов, разумеется, даже и совсем никогда не размышлял и при первых жалобах Бизюкиной на протопопа бросал на ветер обещания стереть этого старика, но потом вдохновился мыслью положить его ступенью для зарекомендования своих «наблюдательных способностей», и теперь никакие силы не отвлекли бы его от упорного стремления к исполнению этого плана.

Если бы старый протопоп это знал, то такая роль для него была бы самым большим оскорблением, но он, разумеется, и на мысль не набредал о том, что́ для него готовится, и разъезжал себе на своих бурках из села в село, от храма к храму; проходил многие версты по лесам; отдыхал в лугах и на рубежах нив и укреплялся духом в лоне матери-природы.

А в городе в это время неустанными усилиями Термосесова была уже затравлена длинная петля. Жалоба мещанина Данилки возымела ход, ничтожное происшествие стало делом, требующим решения по законам.

Ахилла был в ужасе: он метался то туда, то сюда, всех спрашивая:

— Ах, браточки мои, куда меня теперь за Данилку засудят?

Суд был для него страшнее всего на свете.

Слухи о предстоящем судьбище поползли из города в уезд и в самых нелепейших преувеличениях дошли до Туберозова, который сначала им не верил, но потом, получая отовсюду подтверждения, встревожился и, не объехав всего благочиния, велел Павлюкану возвращаться в город.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Шумные известия о напастях на дьякона Ахиллу и о приплетении самого протопопа к этому ничтожному делу захватили отца Савелия в далеком приходе, от которого до города было по меньшей мере двое суток езды.

Дни стояли невыносимо жаркие. От последнего села, где Туберозов ночевал, до города оставалось ехать около пятидесяти верст. Протопоп, не рано выехав, успел сделать едва половину этого пути, как наступил жар неодолимый: бедные бурые коньки его мылились, потели и были жалки. Туберозов решил остановиться на покорм и последний отдых: он не хотел заезжать никуда на постоялый двор, а, вспомнив очень хорошее место у опушки леса, в так называемом «Корольковом верху», решился там и остановиться в холодке.

Отсюда открывается обширная плоская покатость, в конце которой почти за двадцать с лишком верст мелькают золотые главы городских церквей, а сзади вековой лес, которому нет перерыва до сплошного полесья. Здесь глубокая тишина и прохлада.

Утомленный зноем, Туберозов лишь только вышел из кибитки, так сию же минуту почувствовал себя как нельзя лучше. Несмотря на повсеместный жар и истому, в густом темно-синем молодом дубовом подседе стояла живительная свежесть. На упругих и как будто обмокнутых в зеленый воск листьях молодых дубков ни соринки. Повсюду живой, мягкий, успокаивающий мат; из-под пестрой, трафаретной листвы папоротников глядит ярко-красная волчья ягода; выше, вся озолоченная светом, блещет сухая орешина, а вдали, на темно-коричневой торфянистой почве, раскинуты целые семьи грибов, и меж них коралл костяники.

Пока Павлюкан в одном белье и жилете отпрягал и проваживал потных коней и устанавливал их к корму у растянутого на оглоблях хрептюга, протопоп походил немножко по лесу, а потом, взяв из повозки коверчик, снес его в зеленую лощинку, из которой бурливым ключом бил гремучий ручей, умылся тут свежею водой и здесь же лег отдохнуть на этом коверчике.

Мерный рокот ручья и прохлада повеяли здоровым «русским духом» на опаленную зноем голову Туберозова,

и он не заметил сам, как заснул, и заснул нехотя: совсем не хотел спать, — хотел встать, а сон свалил и держит, — хотел что-то Павлюкану молвить, да дрема мягкою рукой рот зажала.

Дремотные мечтания протопопа были так крепки, что Павлюкан напрасно тряс его за плечи, приглашая встать и откушать каши, сваренной из крупы и молодых грибов. Туберозов едва проснулся и, проговорив: «Кушай, мой друг, мне сладостно спится», снова заснул еще глубже.

Павлюкан отобедал один. Он собрал ложки и хлеб в плетеный из лыка дорожный кошель, опрокинул на свежую траву котел и, залив водой костерчик, забрался под телегу и немедленно последовал примеру протопопа. Лошади отца Савелия тоже недолго стучали своими челюстями; и они одна за другою скоро утихли, уронили головы и задремали.

Кругом стало сонное царство. Тишь до того нерушима, что из чащи леса сюда на опушку выскочил подлинялый заяц, сделав прыжок, сел на задние лапки, пошевелил усиками, но сейчас же и сконфузился: кинул за спину длинные уши и исчез.

Туберозов отрывался от сна на том, что уста его с непомерным трудом выговаривали кому-то в ответ слово «здравствуй».

«С кем я это здравствуюсь? Кто был здесь со мной?» — старается он понять, просыпаясь. И мнится ему, что сейчас возле него стоял кто-то прохладный и тихий в длинной одежде цвета зреющей сливы... Это казалось так явственно, что Савелий быстро поднялся на локти, но увидел только, что вон спит Павлюкан, вон его бурые лошади, вон и кибитка. Все это просто и ясно. Вон даже пристяжная лошадь, наскучив покоем, скапывает с головы оброть... Сбросила, отошла, повалялась, встала и нюхает ветер. Туберозов продолжает дремать, лошадь идет дальше и дальше; вот она щипнула густой муравы на опушке; вот скусила верхушку молодого дубочка; вот, наконец, ступила на поросший диким клевером рубеж и опять нюхает теплый ветер. Савелий все смотрит и никак не поймет своего состояния. Это не сон и не бденье; влага, в которой он спал, отуманила его, и в голове точно пар стоит. Он протер глаза и глянул вверх: высоко в небе над его головой плавает ворон. Ворон ли это или коршун? Нет.

Нет, соображает старик, это непременно ворон: он держится стойче, и круги его шире... А вот долетает оттуда, как брошенная горстка гороху, *ку-у-рлю*. Это воронье *ку-у-рлю,* это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? Он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой воды. И Туберозову приходит на память легенда, прямо касающаяся этого источника, который, по преданию, имеет особенное, чудесное происхождение. Чистый прозрачный водоем ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование этой котловины приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли, и тоже опять по совершенно особенному случаю. Тут будто бы некогда, разумеется очень давно, пал изнемогший в бою русский витязь, а его одного отовсюду облегла несметная сила неверных. Погибель была неизбежна; и витязь взмолился Христу, чтобы спаситель избавил его от позорного плена, и предание гласит, что в то же мгновение из-под чистого неба вниз стрекнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар, и кони татарские пали на колени и сбросили своих всадников, а когда те поднялись и встали, то витязя уже не было, и на месте, где он стоял, гремя и сверкая алмазною пеной, бил вверх высокою струей ключ студеной воды, сердито рвал ребра оврага и серебристым ручьем разбегался вдали по зеленому лугу.

Родник почитают все чудесным, и поверье гласит, что в воде его кроется чудотворная сила, которую будто бы знают даже и звери и птицы. Это всем ведомо, про это все знают, потому что тут всегдашнее таинственное присутствие Ратая веры. Здесь вера творит чудеса, и оттого все здесь так сильно и крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, который ютится при его корне. Даже по-видимому совершенно умершее здесь оживает: вон тонкая сухая орешина; ее опалила молонья, но на ее кожуре выше корня, как зеленым воском, выведен «Петров крест», и отсюда опять пойдет новая жизнь. А в грозу здесь, говорят, бывает не шутка.

«Что же; есть ведь, как известно, такие наэлектризованные места», — подумал Туберозов и почувствовал, что у него как будто шевелятся седые волосы. Только что встал он на ноги, как в нескольких шагах пред собою увидал небольшое бланжевое облачко, которое, меняя слегка очертания, тихо ползло над рубежом, по которому

бродила свободная лошадь. Облачко точно прямо шло на коня и, настигнув его, вдруг засновало, вскурилось и разнеслось, как дым пушечного жерла. Конь дико всхрапнул и в испуге понесся, не чуя под собой земли.

Это была дурная вещь. Туберозов торопливо вскочил, разбудил Павлюкана, помог ему вскарабкаться на другого коня и послал его в погоню за испуганною лошадью, которой между тем уже не было и следа.

— Спеши, догоняй, — сказал Савелий дьячку и, вынув свои серебряные часы, поглядел на них: был в начале четвертый час дня.

Старик сел в тени с непокрытою головой, зевнул и неожиданно вздрогнул; ему вдалеке послышался тяжелый грохот.

«Что бы это такое: неужто гром?»

С этим он снова встал и, отойдя от опушки, увидел, что с востока действительно шла темная туча. Гроза застигала Савелия одним-одинешенька среди леса и полей, приготовлявшихся встретить ее нестерпимое дыхание.

Опять удар, нива заколебалась сильней, и по ней полоснуло свежим холодом.

К черной туче, которою заслонен весь восток, снизу взмывали клубами меньшие тучки. Их будто что-то подтягивало и подбирало, как кулисы, и по всему этому нет-нет и прорежет огнем. Точно маг, готовый дать страшное представление, в последний раз осматривает с фонарем в руке темную сцену, прежде чем зажжет все огни и поднимет завесу. Черная туча ползет, и чем она ближе, тем кажется непрогляднней. Не пронесет ли ее бог? Не разразится ли она где подальше? Но нет: вон по ее верхнему краю тихо сверкнула огнистая нить, и молнии замигали и зареяли разом по всей темной массе. Солнца уже нет: тучи покрыли его диск, и его длинные, как шпаги, лучи, посветив мгновение, тоже сверкнули и скрылись. Вихорь засвистал и защелкал. Облака заволновались, точно знамена. По бурому полю зреющей ржи запестрели широкие белые пятна и пошли ходенем; в одном месте падет будто с неба одно, в другом — сядет широко другое и разом пойдут навстречу друг другу, сольются и оба исчезнут. У межи при дороге ветер треплет колос так странно, что это как будто и не ветер, а кто-то живой притаился у корня и злится. По лесу шум. Вот и над лесом зигзаг; и еще

вот черкнуло совсем по верхушкам, и вдруг тихо... все тихо!.. ни молний, ни ветру: все стихло. Это тишина пред бурей: все запоздавшее спрятать себя от невзгоды пользуется этою последнею минутой затишья; несколько пчел пронеслось мимо Туберозова, как будто они не летели, а несло их напором ветра. Из темной чащи кустов, которые казались теперь совсем черными, выскочило несколько перепуганных зайцев и залегли в меже вровень с землею. По траве, которая при теперешнем освещении тоже черна как асфальт, прокатился серебристый клубок и юркнул под землю. Это еж. Все убралось, что́ куда может. Вот и последний, недавно реявший, ворон плотно сжал у плеч крылья и, ринувшись вниз, тяжело закопошился в вершине высокого дуба.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Туберозов не был трусом, но он был человек нервный, а такими людьми в пору больших электрических разряжений овладевает невольное и неодолимое беспокойство. Такое беспокойство чувствовал теперь и он, озираясь вокруг и соображая, где бы, на каком бы месте ему безопаснее встретить и переждать готовую грянуть грозу.

Первым его движением было броситься к своей повозке, сесть в нее и закрыться, но чуть только он уместился здесь, лес заскрипел, и кибитку затрясло, как лубочную люльку. Ясно было, что это приют ненадежный: кибитка могла очень легко опрокинуться и придавить его.

Туберозов выскочил из-под своего экипажа и бросился бегом в ржаное поле; крутивший встречь и с боков ветер останавливал его, рвал его назад за полы, и свистал, и трубил, и визжал, и гайгайкал ему в уши.

Туберозов бросился в ложбину к самому роднику; а в хрустальном резервуаре ключа еще беспокойнее: вода здесь бурлила и кипела, и из-под расходящихся по ней кругов точно выбивался наружу кто-то замкнутый в недрах земли. И вдруг, в темно-свинцовой массе воды, внезапно сверкнуло и разлилось кровавое пламя. Это удар молнии, но что э́то за странный удар! Стрелой в два зигзага он упал сверху вниз и, отраженный в воде, в то же мгновение, таким же зигзагом взвился под небо. Точно

небо с землею переслалось огнями; грянул трескучий удар, как от массы брошенных с кровли железных полос, и из родника вверх целым фонтаном взвилось облако брызг.

Туберозов закрыл лицо руками, пал на одно колено и поручил душу и жизнь свою богу, а на полях и в лесу пошла одна из тех грозовых перепалок, которые всего красноречивее напоминают человеку его беззащитное ничтожество пред силой природы. Реяли молнии; с грохотом несся удар за ударом, и вдруг Туберозов видит пред собою темный ствол дуба, и к нему плывет светящийся, как тусклая лампа, шар; чудная искра посредине дерева блеснула ослепляющим светом, выросла в ком и разорвалась. В воздухе грянуло страшное бббах! У старика сперло дыхание, и на всех перстах его на руках и ногах завертелись горячие кольца, тело болезненно вытянулось, подломилось и пало... Сознание было одно, — это сознание, что *все рушилось*. «Конец!» — промелькнуло в голове протопопа, и дальше ни слова. Протопоп не замечал, сколько времени прошло с тех пор, как его оглушило, и долго ли он был без сознания. Приходя в себя, он услыхал, как по небу вдалеке тяжело и неспешно прокатило и стихло! Гроза проходила. Савелий поднял голову, оглянулся вокруг и увидал в двух шагах от себя на земле нечто огромное и безобразное. Это была целая куча ветвей, целая вершина громадного дуба. Дерево было как ножом срезано у самого корня и лежало на земле, а из-под ветвей его, смешавшихся с колосом ржи, раздавался противный, режущий крик: это драл глотку давешний ворон. Он упал вместе с деревом, придавлен тяжелою ветвью к земле и, разинув широко пурпуровую пасть, судорожно бился и отчаянно кричал.

Туберозов быстро отпрыгнул от этого зрелища таким бодрым прыжком, как бы ему было не семьдесят лет, а семнадцать.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Гроза как быстро подошла, так быстро же и пронеслась: на месте черной тучи вырезывалась на голубом просвете розовая полоса, а на мокром мешке с овсом, который лежал на козлах кибитки, уже весело чирикали во-

робьи и смело таскали мокрые зерна сквозь дырки мокрой реднины. Лес весь оживал; послышался тихий, ласкающий свист, и на межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара степных голубей. Голубка разостлала по земле крылышко, черкнула по нем красненькою лапкой и, поставив его парусом кверху, закрылась от дружки. Голубь надул зоб, поклонился ей в землю и заговорил ей печально «умру». Эти поклоны заключаются поцелуями, и крылышки трепетно бьются в густой бахроме мелкой полыни. Жизнь началась. Невдалеке послышался топот: это Павлюкан. Он ехал верхом на одной лошади, а другую вел в поводу.

— Ну, отец, живы вы! — весело кричал он, подъезжая и спешиваясь у кибитки. — А я было, знаете, шибко спешил, чтобы вас одних не застало, да как этот громище как треснул, я так, знаете, с лошади всею моею мордой оземь и чокнул... А это дуб-то срезало?

— Срезало, друг, срезало. Давай запряжем и поедем.

— Боже мой, знаете, силища!

— Да, друг, поедем.

— Теперь, знаете, легкое поветрие, ехать чудесно.

— Чудесно, запрягай скорей; чудесно.

И Туберозов нетерпеливо взялся помогать Павлюкану.

Выкупанные дождем кони в минуту были впряжены, и кибитка протопопа покатила, плеща колесами по лужам колеистого проселка.

Воздух был благораствореннейший; освещение теплое; с полей несся легкий парок; в воздухе пахло орешиной. Туберозов, сидя в своей кибитке, чувствовал себя так хорошо, как не чувствовал давно, давно. Он все глубоко вздыхал и радовался, что может так глубоко вздыхать. Словно орлу обновились крылья!

У городской заставы его встретил малиновый звон колоколов; это был благовест ко всенощной.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Кибитка Туберозова въехала на самый двор.

— Господи, что я за тебя, отец Савелий, исстрадалася! — кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстречу мужу. — Этакой гром, а ты, сердце мое, был один.

— О, голубка моя, да я был на шаг от смерти!

И протопоп рассказал жене все, что было с ним у Гремучего ключа, и добавил, что отныне он живет словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и в сем видит себе и урок и укоризну, что словно никогда не думал о бренности и ничтожестве своего краткого века.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнув, проговорила: «А ты теперь покушать не хочешь ли?» — но видя, что муж в ответ на это качнул отрицательно головой, она осведомилась о его жажде.

— Жажда? — повторил за женою Савелий, — да, я жажду.

— Чайку?

Протопоп улыбнулся и, поцеловав жену в темя, сказал:

— Нет, истины.

— Ну что же? и благословен бог твой, ты что ни учредишь, все хорошо.

— Да, ну, я буду умываться, а ты, мой друг, рассказывай мне, что тут делают с дьяконом. — И протопоп подошел к блестящему медному рукомойнику и стал умываться, а Наталья Николаевна сообщила, что знала об Ахилле, и вывела, что все это делается не иначе, как назло ее мужу.

Протопоп молчал и, сделав свой туалет, взял трость и шляпу и отправился в церковь, где на эту пору шла всенощная.

Минут через пять, стоя в сторонке у жертвенника в алтаре, он положил на покатой доске озаренного закатом окна листок бумаги и писал на нем. Что такое он писал? Мы это можем прочесть из-под его руки.

Вот этот манускрипт, адресованный Савелием исправнику Порохонцеву: «Имея завтрашнего числа совершить соборне литургию по случаю торжественного дня, долгом считаю известить об этом ваше высокородие, всепокорнейше прося вас ныне же заблаговременно оповестить о сем с надлежащею распиской всех чиновников города, дабы они пожаловали во храм. А наипаче сие прошу рекомендовать тем из служебных лиц, кои сею обязанностью наиболее склонны манкировать, так как я предопределил о подаваемом ими дурном примере донести

неукоснительно по начальству. В принятии же сего ведения, ваше высокородие, всепокорно прошу расписаться».

Протоиерей потребовал рассыльную церковную книгу; выставил на бумаге нумер, собственноручно записал ее и тотчас же послал ее с пономарем по назначению.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Ночь, последовавшая за этим вечером в доме Савелия, напоминала ту, когда мы видели старика за его журналом: он так же был один в своем зальце, так же ходил, так же садился, писал и думал, но пред ним не было его книги. На столе, к которому он подходил, лежал маленький, пополам перегнутый листок, и на этом листке он как бисером часто и четко нанизывал следующие отрывочные заметки:

«Боже, суд твой цареви даждь и правду твою сыну цареву.

Обыденный приступ от вчерашнего моего положения под грозою. Ворон: как он спрятался от грозы в крепчайший дуб и нашел гибель там, где ждал защиту.

Сколь поучителен мне этот ворон. Там ли спасенье, где его чаем, — там ли погибель, где оной боимся?

Безмерное наше умствование, порабощающее разум. Ученость, отвергающая возможность постижения доселе постижимого.

Недостаточность и неточность сведений о душе. Непонимание натуры человека, и проистекающее отсель бесстрастное равнодушие к добру и злу, и кривосудство о поступках: оправдание неоправдимого и порицание достойного. Моисей, убивший египтянина, который бил еврея, не подлежит ли осуждению с ложной точки зрения иных либералов, охуждающих горячность патриотического чувства? Иуда-предатель с точки зрения «слепо почивающих в законе» не заслуживает ли награды, ибо он «соблюл закон», предав учителя, преследуемого правителями? (Иннокентий Херсонский и его толкование.) Дние наши также лукавы: укоризны небеспристрастным против ухищрений тайных врагов государства. Великая утрата заботы о благе родины и, как последний пример, небре-

женье о молитве в день народных торжеств, сведенной на единую формальность.

*Толкование слов:* «Боже, суд твой цареви даждь» в смысле: «да тихое и мирное житие поживем» (ап. Павел). Сколь такое житие важно? Пример: Ровоам после Соломона, окруженный друзьями и совоспитанными с ним и предстоявшими пред лицом его, лукаво представлявшими ему, что облегчение народу есть уничижение собственного его царева достоинства, и как он по их совету приумножил бедствия Израиля. «Отец мой наложи на вас ярем тяжек; аз же приложу к ярему вашему» (кн. Царств 11,12). Происшедшие от сего несчастия и разделение царства.

Ясно отсюда, что нам надлежит желать и молиться, дабы сердце царево не было ни в каких руках человеческих, а в руках божиих.

Но мы преступно небрежем этою заботою, и мне если доводится видеть в такой день храм не пустым, то я даже недоумеваю, чем это объяснить? Перебираю все догадки и вижу, что нельзя этого ничем иным объяснить, как страхом угрозы моей, и отсель заключаю, что все эти молитвенники слуги лукавые и ленивые и молитва их не молитва, а наипаче есть торговля, торговля во храме, видя которую господь наш И. Х. не только возмутился божественным духом своим, но и веземь вервие и изгна их из храма.

Следуя его божественному примеру, я порицаю и осуждаю сию торговлю совестью, которую вижу пред собою во храме. Церкви противна сия наемничья молитва. Может быть, довлело бы мне взять вервие и выгнать им вон торгующих ныне в храме сем, да не блазнится о лукавстве их верное сердце. Да будет слово мое им вместо вервия. Пусть лучше будет празднен храм, я не смущуся сего: я изнесу на главе моей тело и кровь господа моего в пустыню и там пред дикими камнями в затрапезной ризе запою: «Боже, суд твой цареви даждь и правду твою сыну цареву», да соблюдется до века Русь, ей же благодеял еси!

*Воззвание заключительное:* не положи ее, творче и содетелю! в посмеяние народам чужим, ради лукавства слуг ее злосовестливых и недобрслужащих».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Это была программа поучения, которую хотел сказать и сказал на другой день Савелий пред всеми собранными им во храме чиновниками, закончив таким сказанием не только свою проповедь, но и все свое служение церкви.

Старогородская интеллигенция находила, что это не проповедь, а революция и что если протопоп пойдет говорить в таком духе, то чиновным людям скоро будет неловко даже выходить на улицу. Даже самые друзья и приятели Савелия строго обвиняли его в неосторожном возбуждении страстей черни. На этом возбуждении друзья его сошлись с его врагами, и в одно общим хором гласили: нет, этого терпеть нельзя! Исключение из общего хора составляли заезжие: Борноволоков и Термосесов. Они хотя слышали проповедь, но ничего не сказали и не надулись. Напротив, Термосесов, возвратясь от обедни, подошел со сложенными руками к Борноволокову и чрезвычайно счастливый прочел: «Ныне отпущаеши раба твоего».

— Что это значит? — осведомился начальник.

— Это значит, что я от вас отхожу. Живите и будьте счастливы, но на отпуске еще последнюю дружбу: черкните начальству, что, мол, поп, про которого писано мной, забыв сегодня все уважение, подобающее торжественному дню, сказал крайне возмутительное слово, о котором устно будет иметь честь изложить посылаемый мною господин Термосесов.

— Черт вас возьми! Напишите, я подпишу.

Друзья уже совсем были готовы расстаться, но разлука их на минуту замедлилась внезапным появлением бледного и перепуганного мещанина Данилки, который влетел, весь мокрый и растерзанный, пред очи Борноволокова и, повалясь ему в ноги, завопил:

— Батюшка, сошлите меня, куда милость ваша будет, а только мне теперь здесь жить невозможно! Сейчас народ на берегу собравшись, так все к моей морде и подсыкаются.

И Данилка объяснил, что ему чуть не смертью грозят за то, что он против протопопа просьбу подал, и в доказа-

тельство указал на свое мокрое и растерзанное рубище, доложив, что его сию минуту народ с моста в реку сбросил.

— Превосходно!.. Бунт! — радостно воскликнул Термосесов и, надев посреди комнаты фуражку, заметил своему начальнику: — Видите, как делают дела!

Термосесов уехал, а вслед за ним в другую сторону уехал и Борноволоков обнаруживать иные беспорядки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В Старогороде проповедь Туберозова уже забывалась. Но к вечеру третьего дня в город на почтовой телеге приехала пара оригинальных гостей: длинный сухожильный квартальный и толстый, как мужичий блин, консисторский чиновник с пуговочным носом.

Это были послы по Савелиеву душу: протопопа под надзором их требовали в губернский город. Через полчаса это знал весь город, и к дому Туберозова собрались люди, а через час дверь этого дома отворилась, и из нее вышел готовый в дорогу Савелий. Наталья Николаевна провожала мужа, идучи возле него и склонясь своею голубиною головкой к его локтю.

Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единою слезой.

Ожидавший выхода протопопа народ шарахнулся вперед и загудел.

Туберозов снял шляпу, поклонился ниже пояса на все стороны.

Гомон затих: у многих навернулись слезы, и все стали креститься.

Из-за угла тихо выехала спрятанная там, по деликатному распоряжению исправника, запряженная тройкой почтовая телега.

Протопоп поднял ногу на ступицу и взялся рукою за грядку, в это время квартальный подхватил его под локоть снизу, а чиновник потянул за другую руку вверх... Старик гадливо вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у куклы на проволочной пружине.

Наталья Николаевна подскочила к мужу и, схватив его руку, прошептала:

— Одну только жизнь свою пощади!

Туберозов отвечал ей:

— Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается «житие».

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Жизнь кончилась, и начинается житие», — сказал Туберозов в последнюю минуту пред отъездом своим к ответу. Непосредственно затем уносившая его борзая тройка взвилась на гору и исчезла из виду.

Народ, провожавший протопопа, постоял-постоял и начал расходиться. Наступила ночь: все ворота и калитки заперлись на засовы, и месяц, глядя с высокого неба, назирал на осиротелом протопоповском дворе одну осиротелую же Наталью Николаевну.

Она не спешила под кровлю и, плача, сидела на том же крылечке, с которого недавно сошел ее муж. Она, рыдая, бьется своею маленькою головкой о перила, и нет с ней ни друга, ни утешителя! Нет; это было не так. Друг у нее есть, и друг крепкий...

Пред глазами плачущей старушки в широко распахнувшуюся калитку влез с непокрытою курчавою головою дьякон Ахилла. Он в коротком толстом казакине и широких шароварах, нагружен какими-то мешками и ведет за собой пару лошадей, из которых на каждой громоздится большой и тяжелый вьюк. Наталья Николаевна молча смотрела, как Ахилла ввел на двор своих лошадей, сбросив на землю вьюки, и, возвратившись к калитке, запер ее твердою хозяйскою рукой и положил ключ к себе в шаровары.

— Дьякон! Это ты сюда ко мне! — воскликнула, догадавшись о намерениях Ахиллы, Наталья Николаевна.

— Да, скорбная мати, я переехал, чтобы беречь вас.

Они обнялись и поцеловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь в свою спаленку, а Ахилла, поставив под сарай своих коней, разостлал на крыльце войлок, лег навзничь и уставился в звездное небо.

Целую ночь он не спал, все думал думу: как бы теперь, однако, помочь своему министру юстиции? Это совсем не то, что Варнавку избить. Тут нужно бы умом подвигать. Как же это: одним умом, без силы? Если бы хоть при этом... как в сказках, ковер-самолет, или сапоги-скороходы, или... невидимку бы шапку! Вот тогда бы он знал, что сделать очень умное, а то... Дьякон решительно не знал, за что взяться, а взяться было необходимо.

Добравшись до самолета-ковра и невидимки-шапки, непривычный ни к каким умственным ухищрениям Ахилла словно освободился от непосильной ноши, вздохнул и сам полетел на ковре; он прошел, никем не видимый, в сапогах и в шапке к одному и к другому из важных лиц, к которым без этих сапог пройти не надеялся, и того и другого толкнул слегка сонного в ребра и начал им говорить: «Не обижайте попа Савелия, а то после сами станете тужить, да не воротите».

И вот, слыша невидимый голос, все важные лица завертелись на своих пышных постелях и все побежали, все закричали: «О, бога ради, заступитесь поскорее за попа Савелия!» Но все это в наш век только и можно лишь со скороходами-сапогами и с невидимкою-шапкой, и хорошо, что Ахилла вовремя о них вспомнил и запасся ими. Благодаря лишь только им дьякон мог проникнуть в своей желтой нанковой рясе в такой светозарный чертог, сияние которого так нестерпимо ослепляет его, что он даже и не рад уже, что сюда забрался. Может быть, и тех бы мест довольно, где он уже побывал, но скороходы-сапоги расскакались и затащили его туда, где он даже ничего не может разглядеть от несносного света и, забыв про Савелия и про цель своего посольства, мечется, заботясь только, как бы самому уйти назад, меж тем как проворные сапоги-скороходы несут его все выше и выше, а он забыл спросить слово, как остановить их...

— Загорюсь! ей-богу, загорюсь! — кричал дьякон, прячась за мелькнувшее пред ним маленькое теневое пятнышко, и удивился, услышав из этого пятнышка тихий голосок Николая Афанасьевича:

— Полно вам, отец дьякон, спать да кричать, что вы загоритесь! Со стыда разве надо всем нам сгореть! — говорил карлик, заслоняя от солнца лицо дьякона своим маленьким телом.

Ахилла вскочил и, бросясь к ушату, выпил один за другим два железные ковша студеной воды.

— Что ты, Никола, о каком здесь стыде говоришь? — вопросил он, смачивая водой свои кудри.

— А где наш протопоп? А?

— Протопоп, душка Николавра, тю-тю, его вчера увезли...

— Что ж, сударь, «тю-тю»? Ведь нам надо его выручать.

— Голубчик, я и сам всю ночь про то думал, да не умею ничего придумать.

— Вот то-то и есть, камень в воду всяк бросит, да не всяк-с его вытащит.

И Николай Афанасьевич, скрипя своими сапожками, заковылял в комнаты к протопопице, но, побыв здесь всего одну минуту, взял с собой дьякона и побрел к исправнику; от исправника они прошли к судье, и карлик с обоими с ними совещался, и ни от того, ни от другого ничего не узнал радостного. Они жалели Туберозова, говорили, что хотя протопоп и нехорошо сделал, сказав такую возбуждающую проповедь, но что с ним все-таки поступлено уже через меру строго.

А что теперь делать? Что предпринять? И вообще предпринимать ли и делать ли что-нибудь в защиту Туберозова? Об этом ни слова.

Карлик, слушая пространные, но малосодержательные речи чиновников, только вздыхал и мялся, а Ахилла глядел, хлопая глазами, то на того, то на другого и в помышлениях своих все-таки сводил опять все к тому, что если бы ковер-самолет или хотя волшебная шапка, а то как и за что взяться? Не за что.

— Одно, что я могу, — спохватился судья, — это написать письмо губернскому прокурору: он мой товарищ и, верно, не откажет сам посодействовать и походатайствовать за протопопа.

Исправнику это чрезвычайно понравилось, а Николаю Афанасьевичу хотя оно и не понравилось, но он считал возражения неуместными.

Думали только о том, как послать письмо? Почта шла через два дня, а эстафета была бы, по мнению обоих чиновников, делом слишком эффектным, и притом почтмей-

стерша, друг Термосесова, которого, по указанию Ахиллы, все подозревали в доносе на Туберозова, могла бы писать этому деятелю известия с тою же эстафетой.

Услыша такое затруднение, дьякон тотчас же взялся все это уладить и объявил, что пусть только будет готово письмо, а уж он отвечает своею головой, что оно завтра будет доставлено по адресу; но способ, которым он располагал исполнить это, Ахилла удержал в секрете и просил ничего на этот счет не выпытывать у него.

Ему в этом не отказали, и дело сделалось. Пред вечером чиновник секретно передал дьякону ничего не значащее письмо, а через час после сумерек к дому отца Захарии тихо подъехал верхом огромный черный всадник и, слегка постучав рукой в окошко, назвал «кроткого попа» по имени.

Захария отворил раму и, увидав всадника, спросил:

— Это ты такой страшный?

— Тс! Строго блюдите тишину и молчание, — отвечал таинственно всадник, смиряя в шенкелях своего нетерпеливого коня.

Захария оглянулся вправо и влево по пустой набережной и прошептал:

— Куда же это ты и по какой надобности?

— Не могу вам ничего объяснить, потому что слово дал, — отвечал таинственно всадник, — но только, прошу вас, не ищите меня завтра и не спрашивайте, зачем я еду... Ну, да хоть слово дал, а скажу вам аллегорией:

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть,

и в шапке у меня —

Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея...

Поняли?

— Нет, ничего не понял.

— Так оно и следует по аллегории.

И с этим всадник, ударив себя кулаком в грудь, добавил:

— Но только знайте, отче Захарие, что это не казак едет, а это дьякон Ахилла, и что сердце мое за его обиду стерпеть не может, а разума в голове, как помочь, нет.

Проговорив это, дьякон пустил коню повода, стиснул его в коленях и не поскакал, а точно полетел, махая по темно-синему фону ночного неба своими кудрями, своими необъятными полами и рукавами нанковой рясы и хвостом и разметистою гривой своего коня.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Николай Афанасьевич не напрасно ничего не ожидал от письма, с которым поскакал дьякон. Ахилла проездил целую неделю и, возвратясь домой с опущенною головой и на понуром коне, отвечал, что ничего из того письма не было, да и ничего быть не могло.

— Отчего это так? — пытали Ахиллу.

— Очень просто! Оттого, что отец Савелий сами сказали мне: «Брось эти хлопоты, друг; для нас, духовных, нет защитников. Проси всех, в одолжение мне, не вступаться за меня».

И дьякон более не хотел об этом и говорить.

— Что же, — решил он, — если уже нет промеж нас ни одного умного человека, который бы знал, как его защитить, так чего напрасно и суетиться? Надо исполнять его наученне и не вмешиваться.

Ахилла гораздо охотнее рассказывал, в каком положении нашел Туберозова и что с ним было в течение этой недели. Вот что он повествовал.

— Владыка к ним даже вовсе не особенно грозны и даже совсем не гневливы и предали их сему терзанию только для одной политики, чтобы не противоречить за чиновников светской власти. Для сего единственно и вызов отцу Савелию сделали, да-с! И отец Савелий могли бы и совсем эту вину с себя сложить и возвратиться, потому что владыка потаенно на их стороне... да-с! И им было от владыки даже на другой же день секретно преподано, чтоб они шли к господину губернатору, и повинились, и извинились, да-с! Но токмо отец Савелий, по крепкому нраву своему, отвечали строптиво... «Не знаю, говорит, за собой вины, а потому не имею в чем извиняться!» Этим и владыку ожесточили, да-с! Но и то ожесточение сие не особенное, потому владыка решение консисторское

о назначении следствия насчет проповеди синим хером перечеркнули и все тем негласно успокоили, что назначили отца Савелия к причетнической при архиерейском доме должности, — да-с!

— И он ныне причетничествует? — спросил Захария.

— Да-с; читает часы и паремии, но обычая своего не изменяют и на политичный вопрос владыки: «В чем ты провинился?» еще политичнее, яко бы по непонятливости, ответил: «В этом подряснике, ваше преосвященство», и тем себе худшее заслужили, да-с!

— О-о-ох! — воскликнул Захария и отчаянно замотал головкой, закрыв ручками уши.

— Наняли у жандармского вахмистра в монастырской слободке желтенькую каморочку за два с половиной серебра в месяц и ходят себе с кувшином на реку по воду. Но в лице и в позиции они очень завострились, и наказали, чтобы вы, Наталья Николаевна, к ним всемерно спешили.

— Еду, завтра же еду, — отвечала плачущая протопопица.

— Да-с; только и всех новостей. А этот прокурор, к которому было письмо, говорит: «Скажи, не мое это дело, у вас свое начальство есть», и письма не дал, а велел кланяться, — вот и возьмите, если хотите, себе его поклон. И еще велел всем вам поклониться господин Термосесов; он встретился со мной в городе: катит куда-то шибко и говорит: «Ах, постой, говорит, пожалуйста, дьякон, здесь у ворот: я тебе штучку сейчас вынесу: ваша почтмейстерша с дочерьми мне пред отъездом свой альбом навязала, чтоб им стихи написать, я его завез, да и назад переслать не с кем. Сделай милость, просит, отдай им, когда назад поедешь». Я думаю себе: враг тебя побери. «Давай», говорю, чтоб отвязаться, и взял.

Дьякон вынул из кармана подрясника тощий альбомчик из разноцветной бумаги и прочитал:

На последнем сем листочке
Пишем вам четыре строчки
В знак почтения от нас...
Ах, не вырвало бы вас?

— Вот его всем вам почтение, и примите оное, яко дань вам благопотребную.

И Ахилла швырнул на стол пред публикой альбом с почтением Термосесова, а сам отправился с дороги спать на конюшню.

Утром рано его разбудил карлик и, сев возле дьякона на вязанку сена, спросил:

— Ну-с, что же теперь, сударь, будем далее делать?

— Не знаю, Николавра, ей-право, не знаю!

— Или на этом будет и квита? — язвил Николай Афанасьич.

— Да ведь, голубчик Никола... куда же сунешься?

— Куда сунуться-с?

— Да; куда ты сунешься? ишь, всюду волки сидят.

— Ну, а я, сударь, старый заяц: что мне волков бояться? Пусть меня волки съедят.

Карлик встал и равнодушно протянул Ахилле на прощание руку, но когда тот хотел его удержать, он нетерпеливо вырвался и, покраснев, добавил:

— Да-с, сударь! Нехорошо! А еще великан!.. Оставьте меня; старый заяц волков не боится, пускай его съедят! — и с этим Николай Афанасьич, кряхтя, влез в свою большую крытую бричку и уехал.

Ахилла вышел вслед за ним за ворота, но уже брички и видно не было.

В этот же день дьякон выпроводил Наталью Николаевну к мужу и остался один в опальном доме.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из умов городской интеллигенции Савелий самым успешным образом был вытеснен стихотворением Термосесова. Последний пассаж сего последнего и скандальное положение, в котором благодаря ему очутилась бойкая почтмейстерша и ее дочери, совсем убрали с местной сцены старого протопопа; все были довольны и все помирали со смеху. О Термосесове говорили как «об острой бестии»; о протопопе изредка вспоминали как о «скучном маньяке».

Дни шли за днями; прошел месяц, и наступил другой. Город пробавлялся новостями, не идущими к нашему

делу; то к исправнику поступала жалоба от некоей девицы на начальника инвалидной команды, капитана Повердовню, то Ахилла, сидя на крыльце у станции, узнавал от проезжающих, что чиновник князь Борноволоков будто бы умер «скорописною смертию», а Туберозов все пребывал в своей ссылке, и друзья его солидно остепенились на том, что тут «ничего не поделаешь». Враги протопопа оказались несколько лучше друзей; по крайней мере некоторые из них не забыли его. В его спасение вступилась, например, тонкая почтмейстерша, которая не могла позабыть Термосесову нанесенной ей тяжкой обиды и еще более того не могла простить обществу его злорадства и вздумала показать этому обществу, что она одна всех их тоньше, всех их умнее и дальновиднее, даже честнее.

К этому ей ниспослан был случай, которым она и воспользовалась, опять не без тонкости и не без ядовитости. Она задумала ослепить общество нестерпимым блеском и поднять в его глазах авторитет свой на небывалую высоту.

Верстах в шести от города проводила лето в своей роскошной усадьбе петербургская дама, г-жа Мордоконаки. Старый муж этой молодой и весьма красивой особы в пору своего откупщичества был некогда восприемником одной из дочерей почтмейстерши. Это показалось последней достаточным поводом пригласить молодую жену старого Мордоконаки на именины крестницы ее мужа и при всех неожиданно возвысить к ней, как к известной филантропке и покровительнице церквей, просьбу за угнетенного Туберозова.

Расчет почтмейстерши был не совсем плох: молодая и чудовищно богатая петербургская покровительница пользовалась влиянием в столице и большим почетом от губернских властей. Во всяком случае она, если бы только захотела, могла бы сделать в пользу наказанного протопопа более, чем кто-либо другой. А захочет ли она? Но для того-то и будут ее просить всем обществом.

Дама эта скучала уединением и не отказала сделать честь балу почтмейстерши. Ехидная почтмейстерша торжествовала: она более не сомневалась, что поразит уездную знать своею неожиданною инициативой в пользу старика Туберозова — инициативой, к которой все другие,

спохватясь, поневоле примкнут только в качестве хора, в роли людей значения второстепенного.

Почтмейстерша таила эту сладкую мысль, но, наконец, настал и день ее осуществления.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

День именин в доме почтмейстерши начинался, по уездному обычаю, утреннею закуской. Встречая гостей, хозяйка ликовала, видя, что у них ни у одного нет на уме ничего серьезного, что все заботы об изгнанном старике испарились и позабыты.

Гости нагрянули веселые и радостные; первый пришел «уездный комендант», инвалидный капитан Повердовня, глазастый рыжий офицер из провиантских писарей. Он принес имениннице стихи своего произведения; за ним жаловали дамы, мужчины и, наконец, Ахилла-дьякон.

Ахилла тоже был весел. Он подал имениннице из-под полы рясы вынутую просфору и произнес:

— Богородичная-с!

Затем на пороге появился кроткий отец Захария и, раскланиваясь, заговорил:

— Господи благослови! Со днем ангела-хранителя! — и тоже подал имениннице в двух перстах точно такую же просфору, какую несколько минут назад принес Ахилла, проговорив: — Приимите богородичную просфору!

Поклонившись всем, тихий священник широко распахнул полы своей рясы, сел, отдулся и произнес:

— А долгое-таки нынче служеньице было, и на дворе очень жарко.

— Очень долго.

— Да-с; помолились, слава создателю!

И Захария, загнув на локоть рукав новой рясы, принял чашку чаю.

В эту минуту пред ним, улыбаясь и потирая губы, появился лекарь и спросил, сколько бывает богородичных просфор за обедней?

— Одна, сударь, одна, — отвечал Захария. — Одна была пресвятая наша владычица богородица, одна и просфора в честь ее вынимается; да-с, одна. А там другая в честь мучеников, в честь апостолов, пророков...

— Так богородичная одна?

— Одна; да-с, одна.

— А вот отец дьякон говорит, что две.

— Врет он-с; да-с, врет, — с ласковою улыбкой отвечал добродушный отец Захария.

Ахилла хотел отмолчаться, но видя, что лекарь схватил его за рукав, поспешил вырваться и пробасил:

— Никогда я этого не говорил.

— Не говорил? А какую же ты просфору принес?

— Петую просфору, — отвечал дьякон и, нагнувшись под стол, заговорил: — Что это мне показалось, будто я трубку здесь давеча видел...

— С ним это бывает, — проговорил, слабо вторя веселому смеху лекаря, отец Захария. — Он у нас, бывает, иногда нечто соплетет; но только он это все без всякой цели; да-с, он без цели.

Все утреннее угощение у именинницы на этот раз предположено было окончить одним чаем. Почтмейстерша с довольно изысканною простотой сказала, что у нее вся хлеб-соль готовится к вечеру, что она днем никого не просит, но зато постарается, чтобы вечером все были сыты и довольны и чтобы всем было весело.

И вот он и настал, этот достославный вечер.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Семейство почтмейстерши встретило важную петербургскую гостью.

Большая, белая, вальяжная Мордоконаки осчастливила собрание, и при ней все как бы померкло и омизерилось. Сама Данка Бизюкина смялась в ее присутствии. Хозяйка не набирала льстивых слов и окружила гостью всеми интереснейшими лицами, наказав капитану Повердовне и Варнаве Препотенскому занимать гостью всемерно. Личности мало-мальски неудобные к беседованию были убраны. Эти личности были: голова, имевший привычку употреблять в разговоре поговорку: «в рот те наплевать»; старый кавказский майор, по поводу которого в городе ходила пословица: «глуп как кавказский маиор», и с ними дьякон Ахилла. Эти три лица были ис-

кусно спрятаны в прохладном чулане, где стояли вина и приготовленная закуска. Эти изгнанники сидели здесь очень уютно при одной свечке и нимало не тяготились своим удалением за фронт. Напротив, им было здесь очень хорошо. Без чинов и в ближайшем соседстве с закуской, они вели самые оживленные разговоры и даже философствовали. Маиор добивался, «отчего бывает дерзость?», и объяснял происхождение ее разбалованностью, и приводил тому разные доказательства; но Ахилла возражал против множественности причин и говорил, что дерзость бывает только от двух причин: «от гнева и еще чаще от вина».

Маиор подумал и согласился, что действительно бывает дерзость, которая происходит и от вина.

— Это верно, я вам говорю, — пояснил дьякон и, выпив большую рюмку настойки, начал развивать. — Я вам даже и о себе скажу. Я во хмелю очень прекрасный, потому что у меня ни озорства, ни мыслей скверных никогда нет; ну, я зато, братцы мои, смерть люблю пьяненький хвастать. Ей-право! И не то чтоб я это делал изнарочно, а так, верно, по природе. Начну такое на себя сочинять, что после сам не надивлюсь, откуда только у меня эта брехня в то время берется.

Голова и маиор засмеялись.

— Право! — продолжал дьякон. — Вдруг начну, например, рассказывать, что прихожане ходили ко владыке просить, чтобы меня им в попы поставить, чего даже и сам не желаю; или в другой раз уверяю, будто губернское купечество меня в протодьяконы просят произвесть; а то... — Дьякон оглянулся по чулану и прошептал: — А то один раз брякнул, что будто я в юности был тайно обручен с консисторского секретаря дочерью! То есть, я вам говорю, после я себя за это мало не убил, как мне эту мою продерзость стали рассказывать!

— А ведь дойди это до секретаря, вот бы сейчас и беда, — заметил маиор.

— Да как же-с, не беда! Еще какая беда-то! — подтвердил дьякон и опять пропустил настойки.

— Да, я вам даже, если на то пошло, так еще вот что расскажу, — продолжал он, еще понизив голос. — Я уж через эту свою брехню-то раз под такое было дело попал,

что чуть-чуть публичному истязанию себя не подверг. Вы этого не слыхали?

— Нет, не слыхали.

— Как же-с! Ужасное дело было; мог быть повешен по самому первому пункту в законе.

— Господи!

— Да-с; да этого еще-с мало, что голова-то моя на площади бы скатилась, а еще и семь тысяч триста лет дьякон в православия день анафемой поминал бы меня, вместе с Гришкой Отрепьевым и Мазепой!

— Не может быть! — воскликнул, повернувшись на своем месте, маиор.

— Отчего же так не может? Очень просто бы было, если б один добрый человек не спас.

— Так вы, отец дьякон, это расскажите.

— А вот сейчас выпью водочки и расскажу.

Ахилла еще пропустил рюмочку и приступил к продолжению рассказа о своем преступлении по первому пункту.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

— Фортель этот, — начал дьякон, — от того зависел, что пред пасхой я поехал в губернию, моя лошадь, да Сереги-дьячка, парой спрягли. Серега ехал за ребятенками. а я так; даже враг меня знает, зачем и поехал-то? Просто чтобы с знакомцами повидаться. Приехали-с мы таким манером под самый город; а там мост снесен, и паром через реку ходит. Народу ждет видимо-невидимо; а в перевозчицкой избе тут солдатик водкой шинкует. Ну, пока до очереди ждать, мы и зашли, да с холоду и выпили по две косушечки. А тут народу всякого: и послушники, и извозчики, и солдаты, и приказь — это уж самый вредный народ, — и нашей тоже братии духовенства. Знакомцы хорошие из нашей округи тож нашлись, ну, для соблюдения знакомства и еще по две косушечки раздавили. А тут приказный, что к парому отряжен, и этакий шельма речистый, все нас заводить начал. Я говорю: «Иди, брат, откуда пришел; иди, ты нам не родня». А он: «Я, говорит, государю моему офицер!» Я говорю: «Я и сам, брат, все равно что штаб-офицер». — «Штаб-офицер, — он гово-

рит, — поп, а ты ему подначальный». Я говорю, что у престола божия точно что я ниже попа стою по моему сану, а в политике, говорю, мы оба равны. Спор пошел. Я разгорячился от этих самых от косушечек-то, да и говорю, что, говорю, ты знаешь, строка ты этакая! Ты, я говорю, божьего писания понимать не можешь; у тебя кишок в голове нет. Ты вот, говорю, скажи, был ли хоть один поп на престоле? «Нет, говорит, не был». А, мол, то-то и есть, что не был. А дьякон был, и короною венчался. «Кто такой? Когда это, говорит, было?» — «То-то, мол, и есть *когда?* Я не арихметчик и этих годов в точности не понимаю, а ты возьми да в книгах почитай, кто таков был Григорий Отрепьев до своего воцарения заместо Димитрия, вот ты тогда и увидишь, чего дьяконы-то сто́ят?» — «Ну то, говорит, Отрепьев; а тебе далеко, говорит, до Отрепьева». А я это пьяненький-то и брехни ему: «А почем, говорю, ты знать можешь, что далеко? А может быть, даже и совсем очень близко? Тот, говорю, на Димитрия был похож, а я, може, на какого-нибудь там Франца-Венецыяна или Махмуда сдамся в одно лицо, вот тебе и воцарюсь!» Только что я это проговорил, как, братцы вы мои, этот приказный сделал сейчас крик, шум, свидетелей, бумаги. Схватили меня, связали, посадили на повозку с сотским и повезли. Да дай господи вечно доброе здоровье, а по смерти царство небесное жандармскому полковнику Альберту Казимировичу, что в те поры у нас по тайной полиции был. Призвал он меня утром к себе, жену свою вызвал, да и говорит: «Посмотри, душечка, на самозванца!» Посмеялся надо мной, посмеялся, да и отпустил. «Ступай, говорит, отец Махмуд, а вперед косушки-то счетом глотай». Дай бог ему много лет! — повторил еще раз отец дьякон и, еще раз подняв рюмочку с настойкой, добавил: — вот даже и сейчас выпью за его здоровье!

— Ну, это вы избавились от большой беды, — протянул маиор.

— Да как же не от большой? Я потому и говорю: поляк — добрый человек. Поляк власти не любит, и если что против власти — он всегда снисходительный.

Около полуночи беседа этих трех отшельников была прервана; настало и их время присоединиться к обществу: их позвали к столу.

Когда немножко выпивший и приосанившийся дьякон вошел в залу, где в это время стоял уже накрытый к ужину стол и тесно сдвинутые около него стулья, капитан Повердовня взял Ахиллу за локоть и, отведя его к столику, у которого пили водку, сказал:

— Ну-ка, дьякон, пусти на дам хорошего *глазенапа.*

— Это зачем? — спросил дьякон.

— А чтоб они на тебя внимание обратили.

— Ну да, поди ты! стану я о твоих дамах думать! Чем мне, вдовцу, на них смотреть, так я лучше без всякого греха две водки выпью.

И, дав такой ответ, Ахилла действительно выпил, да и все выпили пред ужином по комплектной чарке. Исключение составлял один отец Захария, потому что у него якобы от всякого вина голова кружилась. Как его ни упрашивали хоть что-нибудь выпить, он на все просьбы отвечал:

— Нет, нет, освободите! Я ровно, ровно вина никакого не пью.

— Нынче все пьют, — уговаривали его.

— Действительно, действительно так, ну а я не могу.

— Курица, и та пьет, — поддерживал потчевавших дьякон Ахилла.

— Что ж, пускай и курица!.. Глупо это довольно, что ты, братец, мне курицу представляешь...

— Хуже курицы вы, отец, — укорял Ахилла.

— Не могу! Чего хуже курицы? Не могу!

— Ну, если уж вина никакого не можете, так хоть хересу для политики выпейте!

Захария, видя, что от него не отстают, вздохнул и, приняв из рук дьякона рюмку, ответил:

— Ну, еще ксересу так и быть; позвольте мне ксересу.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Бал вступал в новую фазу развития.

Только что все сели за стол, капитан Повердовня тотчас же успел встать снова и, обратившись к петербургской филантропке, зачитал:

Приветствую тебя, обитатель
Нездешнего мира!
Тебя, которую послал создатель,
Поет моя лира.
Слети к нам с высот голубого эфира,
Тебя ждет здесь восторг добродушный:
Прикоснись веществам сего пира,
Оставь на время мир воздушный.

Аристократка откупщичьей породы выслушала это стихотворение, слегка покраснев, и взяла из рук Повердовни листок, на котором безграмотною писарскою рукой с тысячью росчерков были написаны прочитанные стихи.

Хозяйка была в восторге, но гости ее имели каждый свое мнение как об уместности стихов Повердовни, так и об их относительных достоинствах или недостатках. Мнения были различны: исправник, ротмистр Порохонцев, находил, что сказать стихи со стороны капитана Повердовни во всяком случае прекрасно и любезно. Препотенский, напротив, полагал, что это глупо; а дьякон уразумел так, что это просто очень хитро, и, сидя рядом с Повердовней, сказал капитану на ухо:

— А ты, брат, я вижу, насчет дам большой шельма!

Но как бы там ни было, после стихов Повердовни всем обществом за столом овладела самая неподдельная веселость, которой почтмейстерша была уже и не рада. Говор не прекращался, и не было ни одной паузы, которою хозяйка могла бы воспользоваться, чтобы заговорить о сосланном протопопе. Между тем гостья, по-видимому, не скучала, и когда заботливая почтмейстерша в конце ужина отнеслась к ней с вопросом: не скучала ли она? та с искреннейшею веселостью отвечала, что она не умеет ее благодарить за удовольствие, доставленное ей ее гостями, и добавила, что если она может о чем-нибудь сожалеть, то это только о том, что она так поздно познакомилась с дьяконом и капитаном Повердовней. И госпожа Мордоконаки не преувеличивала; непосредственность Ахиллы и капитана сильно заняли ее. Повердовня, услыхав о себе такой отзыв, тотчас же в ответ на это раскланялся. Не остался равнодушен к такой похвале и дьякон: он толкнул в бок Препотенского и сказал ему:

— Видишь, дурак, как нас уважают, а о тебе ничего.

— Вы сами дурак, — отвечал ему шепотом недовольный Варнава.

Повердовня же минуту подумал, крепко взял Ахиллу за руку, приподнялся с ним вместе и от лица обоих проговорил:

Мы станем свято твою память чтить,
Хранить ее на многие и счастливые лета.
Позволь, о светлый дух, тебя молить:
Да услышана будет молитва эта!

И затем они, покрытые рукоплесканиями, сели.

— Вот видишь, а ты опять никаких и стихов не знаешь, — укорил Варнаву дьякон Ахилла; а Повердовня в эти минуты опять вспрыгнул уже и произнес, обращаясь к хозяйке дома:

Матреной ты наречена
И всем женам предпочтена.
Ура!

— Что это за капитан! Это совсем душа общества, — похвалила Повердовню хозяйка.

— А ты все ничего! — надоедал Варнаве дьякон.

— Давайте все говорить стихи!

— Все! все! Пусть исправник начинает!

— А что ж такое: я начну! — отвечал исправник. — Без церемонии: кто что может, тот и читай.

— Начинайте! Да что ж такое, ротмистр! ей-богу, начинайте!

Ротмистр Порохонцев встал, поднял вровень с лицом кубок и, посмотрев сквозь вино на огонь, начал:

Когда деспот от власти отрекался,
Желая Русь как жертву усыпить,
Чтобы потом верней ее сгубить,
Свободы голос вдруг раздался,
И Русь на громкий братский зов
Могла б воспрянуть из оков.
Тогда, как тать ночной, боящийся рассвета,
Позорно ты бежал от друга и поэта,
Взывавшего: грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все прегрешения сарматов
Принять я на душу готов,
Лишь только б русскому народу
Мог возвратить его свободу!
Ура!

— Все читают, а ты ничего! — опять отнесся к Препотенскому Ахилла. — Это, брат, уж как ты хочешь, а если ты пьешь, а ничего не умеешь сказать, ты не человек, а больше ничего как бурдюк с вином.

— Что вы ко мне пристаете с своим бурдюком! Сами вы бурдюк, — отвечал учитель.

— Что-о-о-о? — вскричал, обидясь, Ахилла. — Я бурдюк?.. И ты это мог мне так смело сказать, что я бурдюк?!.

— Да, разумеется, бурдюк.

— Что-о-о?

— Вы сами не умеете ничего прочесть, вот что!

— Я не умею прочесть? Ах ты, глупый человек! Да я если только захочу, так я такое прочитаю, что ты должен будешь как лист перед травой вскочить да на ногах слушать!

— Ну-ну, попробуйте, прочитайте.

— Да и прочитаю, и ты теперь кстати сейчас можешь видеть, что у меня действительно верхняя челюсть ходит...

И с этим Ахилла встал, обвел все общество широко раскрытыми глазами и, остановив их на стоявшей посреди стола солонке, начал низким бархатным басом отчетистое:

— «Бла-годенствен-н-н-ное и мир-р-рное житие, здр-р-раавие же и спас-с-сение... и во всем благ-г-гое по-спеш-шение... на вр-р-раги же поб-б-беду и одол-ление...» — и т. д. и т. д.

Ахилла все забирался голосом выше и выше, лоб, скулы, и виски, и вся верхняя челюсть его широкого лица все более и более покрывались густым багрецом и пóтом; глаза его выступали, на щеках, возле углов губ, обозначались белые пятна, и рот отверст был как медная труба, и оттуда со звоном, треском и громом вылетело многолетие, заставившее все неодушевленные предметы в целом доме задрожать, а одушевленные подняться с мест и, не сводя в изумлении глаз с открытого рта Ахиллы, тотчас по произнесении им последнего звука хватить общим хором: «Многая, многая, мно-о-о-огая лета, многая ле-е-ета!»

Один Варнава хотел остаться в это время при своем занятии и продолжать упитываться, но Ахилла поднял его насильно и, держа его за руку, пел: «Многая, многая, мно-о-о-гая лета, многая лета!»

Городской голова послал Ахилле чрез соседа синюю бумажку.

— Это что же такое? — спросил Ахилла.

— *Всей палате*. Хвати «всей палате и воинству», — просил голова.

Дьякон положил ассигнацию в карман и ударил:

— «И вс-сей пал-лате и в-воинству их мно-о-огая леттта!»

Это Ахилла сделал уже превзойдя самого себя, и зато когда он окончил многолетие, то петь рискнул только один привычный к его голосу отец Захария, да городской голова: все остальные гости пали на свои места и полулежали на стульях, держась руками за стол или друг за друга.

Дьякон был утешен.

— У вас редкий бас, — сказала ему первая, оправясь от испуга, петербургская дама.

— Помилуйте, это ведь я не для того, а только чтобы доказать, что я не трус и знаю, что прочитать.

— Ишь, ишь!.. А кто же тут трус? — вмешался Захария.

— Да, во-первых, отец Захария, вы-с! Вы ведь со старшими даже хорошо говорить не можете: заикаетесь.

— Это правда, — подтвердил отец Захария, — я пред старшими в таковых случаях, точно, заикаюсь. Ну а ты, а ты? Разве старших не боишься?

— Я?.. мне все равно: мне что сам владыка, что кто простой, все равно. Мне владыка говорит: так и так, братец, а я ему тоже: так и так, ваше преосвященство; только и всего.

— Правда это, отец Захария? — пожелал осведомиться преследующий дьякона лекарь.

— Врет, — спокойно отвечал, не сводя своих добрых глаз с дьякона, Бенефактов.

— И он также архиерею в землю кувыркается?

— Кувыркается-с.

— Никогда! У меня этого и положения нет, — вырубал дьякон, выдвигаясь всею грудью. — Да мне и невозможно. Мне если б обращать на всех внимание, то я и жизни бы своей был не рад. У меня вот и теперь не то что владыка, хоть он и преосвященный, а на

меня теперь всякий день такое лицо смотрит, что сто раз его важнее.

— Это ты про меня, что ли, говоришь? — спросил лекарь.

— С какой стати про тебя? Нет, не про тебя.

— Так про кого же?

— Ты давно ли читал новые газеты?

— А что ж там такого писали? — спросила, как дитя развеселившаяся, гостья.

— Да по распоряжению самого обер-протопресвитера Бажанова послан придворный регент по всей России для царской певческой басов выбирать. В генеральском чине он и ордена имеет, и даром что гражданский, а ему архиерей все равно что ничего, потому что ведь у государя и кучер, который на козлах ездит, и тот полковник. Ну-с, а приказано ему, этому регенту, идти потаенно, вроде как простолюдину, чтобы баса при нем не надюжались, а по воле бы он мог их выслушать.

Дьякон затруднялся продолжать, но лекарь его подогнал.

— Ну что ж далее?

— А далее, этот царский регент теперь пятую неделю в нашем городе находится, вот что! Я и вижу, как он в воскресенье войдет в синей сибирке и меж мещанами и стоит, а сам все меня слушает. Теперь другой на моем месте что бы должен делать? Должен бы он сейчас пред царским послом мелким бесом рассыпаться, зазвать его к себе, угостить его водочкой, чаем попотчевать; ведь так? А у меня этого нет. Хоть ты и царский регент, а я, брат, нет... шалишь... поступай у меня по закону, а не хочешь по закону, так адью, мое почтенье.

— Это он все врет? — отнесся к отцу Захарии лекарь.

— Врет-с, — отвечал, по обыкновению спокойно, отец Захария. — Он немножко выпил, так от него уж теперь правды до завтра не услышишь, все будет в мечтании хвастать.

— Нет, это я верно говорю.

— Ну, полно, — перебил отец Захария. — Да тебе, братец, тут нечем и обижаться, когда у тебя такое заведение мечтовать по разрешении на вино.

Ахилла обиделся. Ему показалось, что после этого ему не верят и в том, что он не трус, а этого он ни за что

не мог снесть, и он клялся за свою храбрость и требовал турнира, немедленного и самого страшного.

— Я всем хочу доказать, что я всех здесь храбрее, и докажу.

— Этим, отец дьякон, не хвалитесь, — сказал маиор. — Особенно же вы сами сказали, что имеете слабость... прихвастнуть.

— Ничего, слабость имею, а хвалюсь: я всех здесь храбрее.

— Не хвалитесь. Иной раз и на храбреца трус находит, а другой раз трус чего и не ждешь наделает, да-с, да-с, это были такие примеры.

— Ничего, подавай.

— Да кого ж подавать-с? Позвольте, я лучше пример представлю.

— Ничего, представляйте.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

— У нас, как я с Кавказа перевелся, — начал маиор, — был полковник, превеселый начальник и службист. Саблю золотую имел за храбрость. Делали мы Венгерскую кампанию в сорок восьмом году. Ночью нужно было охотников послать, а тут попойка шла. Полковник и говорит: «Сколько охотников?» Адъютант отвечает: «Сто десять охотников». — «Ого! — говорит полковник, а сам в преферанс играет. — Это, говорит, много. Нет ли между ними трусов?» Адъютант говорит: «Нету». — «А если есть?» — «Не надеюсь, говорит, господин полковник». — «А нуте-ка, говорит, соберите их». Собрали. «Ну-ка, — говорит полковник, — попробуем. Кто самый храбрый? Кто за старшего?» Такой-то, Сергеев там, что ли, или Иванов. «Позвать, говорит, его сюда. Ты за старшего идешь?» — «Я, говорит, ваше высокоблагородие». — «Ты не трус?» — «Никак нет, говорит, ваше высокоблагородие». — «Не трус?» — «Нет». — «Ну, если не трус, потяни меня за ус». Солдатик стал, да и ни с места, и оробел. Кликнули другого, и другой тоже, третьего, и третий, и пятый, и десятый. Все трусами в этот раз оказались.

— Ах, лукавый его возьми! Вот выдумщик! — воскликнул весело Ахилла. — «Трус, потяни меня за ус!» Ха-

ха-ха!.. Это отлично! Капитан, пусть, друг, тебя учитель Варнава за ус тронет.

— Охотно, — отвечал капитан.

Препотенский отказывался, но его раздражили злыми насмешками над его трусостью, и он согласился.

Ахилла выставил на средину комнаты стул, и капитан Повердовня сел на этот стул и подперся в бока по-кавалерийски.

Вокруг него стали исправник, Захария, голова и маиор.

Ахилла поместился у самого плеча Варнавы и наблюдал каждое его движение.

Учитель пыхтел, мялся, ежился и то робко потуплял глаза, то вдруг расширял их и, не шевелясь, двигался всем своим существом, точно по нем кверху полозьями ездили.

Ахилла, по доброте своей, ободрял его как умел, говоря:

— Да чего же ты, дурачок, испугался? Ты не бось: он не укусит, не робей.

И с этим дьякон послюнил себе концы пальцев, сердобольно поправил ими набегавшую на глаза Варнавы косицу и добавил:

— Ну, хватай его сразу за ус!

Варнава тронулся, но дрогнул в коленах и отступил.

— Ну так ты трус, — сказал Ахилла. — А ты бы, дурачок, посудил: чего ты боишься-то?.. Смех!

Варнава посудил и расслабел еще хуже. А Повердовня сидит как божок и чувствует, что он «душа общества», и готовит обществу еще новый сюрприз.

— Ты трус, братец, трус. Презренный трус, понимаешь ли, самый *презренный трус,* — внушал на ухо учителю Ахилла.

— Что ж это, нехорошо: гости ждут, — замечал маиор.

Препотенский подумал и, указав пальцем на исправника, сказал:

— Позвольте, я лучше Воина Васильича потяну.

— Нет, ты не его, а меня, — настаивал Повердовня и опять засерьезничал.

— Трус, трус! — опять шепчут со всех сторон. Варнава это слышит, и по его лицу выступает холодный пот, по телу его бегут мурашки; он разнемогается нестерпи-

мою, раздражающею немочью робости и в этой робости даже страшен становится.

Прежде всех это заметил близко за ним наблюдавший Ахилла. Видя острое сверкание глаз учителя, он кивал исправнику отойти подальше, а Захарию просто взял за рукав и, оттянув назад, сказал:

— Не стойте около него, отец: видите, он мечтает.

Варнава начал выступать. Вот он делает шаг, вот трепещущая рука труса шевельнулась, отделилась и стала подниматься тихо и медленно, но не к усам капитана, а неукоснительно прямо к лицу исправника.

Это постоянное стремление Варнавиной руки к исправничьей физиономии заставило всех улыбнуться.

— Черт его, братцы мои, знает, что в нем такое действует! — воскликнул Ахилла и, обратясь к исправнику, еще раз ему погрозил: отойди, мол, а то, видишь, человек смущается.

Но в это же краткое мгновенье Препотенский, зажмуря глаза, издалеча коснулся усов Повердовни: капитан на него страшно зарычал и неожиданно гавкнул пособачьи. Варнава, не снеся этого, неистово вскрикнул и, кинувшись пантерою на исправника, начал в беспамятстве колотить кого попало.

Это был сюрприз, какого никто не ожидал, и эффект его был полнейший. Опрокинутая лампа, пылающий керосин, бегущие гости, ужас исправника и вопли Варнавы, отбивавшегося в углу от преследующего его привидения, — все это сделало продолжение пира невозможным.

Петербургская гостья уезжала, а Препотенский, хорошо знавший все ходы и переходы почтмейстерского помещения, пользуясь минутой проводов, бросился коридором в контору и спрятался там за шкафом.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Почтмейстерша, нетерпеливо расхаживая в кофте по своей комнате, мысленно отыскивала, кто мог быть первым виновником совершившегося ужасного события. Кто затеял эту шутку?

— Нет, еще шутка ничего, — рассуждала она, — а кто пригласил Препотенского? Да и это не то, а кто меня с

ним познакомил? Кто же, как не муженек мой... Приходит; вот-де, рекомендую тебе Варнаву Васильича! Ну, погоди же ты: задам я тебе Варнаву Васильича! Но только где же это мой муж? — вопросила она, оглядываясь. — Неужто он спит? Неужто он может спать после того, что случилось?.. Ну, я этого не могу, — решила почтмейстерша и нетерпеливо выскочила в зал, где, по обыкновению, ночевывал почтмейстер, изгоняемый при домашних счетах из супружеской опочивальни. Но, к удивлению хозяйки, мужа ее здесь не было.

— А! это он от меня прячется; он теперь храпит на диване в конторе... Ну, да не будете же вы храпеть! — И почтмейстерша пустилась к конторе.

Почтмейстерша почти не ошиблась: муж ее действительно спал в конторе; но маленькая ошибка с ее стороны была лишь в том, что почтмейстер спал не на диване, как полагала она, а на столе. На диване же спал Препотенский, который после всего, что с ним здесь произошло, боялся идти домой, опасаясь, не подкарауливает ли его где-нибудь за углом Ахилла, и уговорил почтмейстера дозволить ему переночевать для безопасности. Почтмейстер на это согласился тем охотнее, что, видя жену свою в состоянии крайнего раздражения, он и сам находил выгоды иметь в эту пору около себя в доме чужого человека, и потому он не только не отказал Варнаве в ночлеге, но даже, как любезный хозяин, предоставил в его пользование стоявший в конторе диван, а сам лег на большом сортировальном столе и закрылся с головой снятым с этого же стола канцелярским сукном.

Дверь из комнаты в контору, где спали почтмейстер и Препотенский, была заперта. Это еще более взбесило энергическую даму, ибо, по уставу дома, ни одна из его внутренних дверей никогда не должна была запираться от ее, хозяйкина, контроля, а в конторе почтмейстерша считала себя такою же хозяйкой, как и в своей спальне. И вдруг неслыханная дерзость!..

Почтмейстерша вскипела. Она еще раз потрогала дверь, но дверь не отпирается: крючок постукивает, но сидит в петле, а между тем сквозь дверь слышно два дыхания. Два! Можно представить себе весь ужас, объявший сердце жены при таком внезапном открытии!

Оскорбленная в своих правах супруга кинулась назад по коридору и, вбежав в кухню, бросилась к столу. Долго она шарила впотьмах руками по большому ящику, в котором кишел рой прусаков, и, наконец, нашла именно то, что ей здесь было нужно.

Это был нож.

Огромный интерес, возбуждаемый этою строкой, заставляет на ней приостановиться, чтобы дать читателю приготовиться быть свидетелем ужасного события.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Животрепещущая дама, вооруженная большим кухонным ножом, засучив правый рукав своей кофты, прямо направилась к двери конторы и еще раз приложила ухо к створу. И сомнения никакого не было, что злосчастная пара наслаждается сном безмятежным; так и слышно, как один, более сильный субъект гудет гусаком, а другой, нежнейший, выпускает придыханием протяжные «пхэ».

Почтмейстерша завела нож в дверной створ, приподняла крючок, и легкая тесовая дверка без всяких затруднений тихо скрипнула и отворилась.

Рассвет еще был далеко, и в комнате только чуть видны были едва сереющие окна, но привычный глаз различил здесь и стол с почтовыми весками, и другой длинный стол в углу, и диван.

Держась левою рукой около стены, негодующая почтмейстерша направилась прямо к дивану и, щупая впотьмах руками, без больших затруднений отыскала храпуна, который лежал на самом краю и, немножко свесив голову, играл во всю носовую завертку. Спящий ничего не слыхал и, при приближении почтмейстерши, храпнул даже с некоторым особенным удовольствием, как будто чувствовал, что всему этому скоро конец, что этим удовольствием ему уже более сегодня не наслаждаться.

Это так и случилось.

Не успел спящий сделать последней фиоритуры, как левая рука почтмейстерши сильно приподняла его за волосы, а правая, выбросив нож, дала ему нестерпимую оплеуху.

— Ммм... зачем же! зачем! — заговорил пробужденный храпун, но вместо ответа получил другую пощечину, потом третью, пятую, десятую, и все одна другой громче, одна другой сильнее и оглушительней.

— Ай, ай, ай, ай! — восклицал он, уклоняясь от сыпавшихся на него из непроглядной тьмы затрещин, которые вдруг сменились беззвучною, отчаянною трепкой и поволочкой.

— Мамчик! Что ты это, мамчик! ведь это не я, а Варнава Васильевич, — воззвал вдруг в это время со стола разбуженный и испуганный почтмейстер.

Почтмейстерша оторопела, выпустила из рук гривку Варнавы и, вскрикнув: «Да что же это вы, разбойник, со мною делаете!», кинулась к мужу.

— Да; вот это я... это я! — услышал Варнава голос почтмейстера и, ничего не соображая в эту минуту, кроме необходимости бежать, быстро сорвался с дивана и, отыскав выходную дверь, выскочил в одном белье на улицу.

Он был избит очень серьезно и, обтерши себе рукавом лицо, заметил, что у него идет из носу кровь.

В это же время дверь тихо приотворилась, и почтмейстер тихо назвал Препотенского по имени.

— Здесь, — отвечал глухо Препотенский.

— Ваше платье, и извините.

Дверь снова захлопнулась, а на землю упало платье. Учитель стал подбирать его. Минуту спустя к его ногам через забор шлепнулись сапоги.

Варнава сел на землю и надел сапоги; потом вздел кое-как свое одеяние и побрел к дому.

На дворе начинало немножко светать, а когда Препотенский постучал в кольцо у калитки своего дома, стало даже и совсем видно.

— Боже, кто это тебя, Варначок, так изувечил? — вскрикнула, встретив запоздалого сына, просвирня.

— Никто-с, никто меня не изувечил. Ложитесь спать. Это на меня впотьмах что-то накинулось.

— *Накинулось!*

— Ну да, да, да, впотьмах что-то накинулось, и только.

Старушка просвирня зарыдала.

— Чего вы визжите! Не до вас мне.

— Это они, они тебя мучат!.. — заговорила, всхлипы-

вая, старушка. — Да; теперь тебе уж не жить здесь больше, Варнаша.

— Кто они? — вскрикнул недовольный Препотенский.

Старушка указала рукой по направлению к пустым подставкам, на которых до недавнего времени висел скелет, и, прошептав: «Мертвецы!», она убежала, крестясь, в свою каморку.

Через день учитель Препотенский с отпуском и бедными грошами в кармане бежал из города, оставив причину своего внезапного бегства для всех вечною загадкой.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Госпожа Мордоконаки возвратилась к себе тоже около того самого времени, когда доплелся домой изувеченный Варнава Препотенский.

Быстрая езда по ровной, крепкой дороге имела на петербургскую даму то приятное освежающее действие, в котором человек нуждается, проведя долгое время в шуме и говоре, при необходимости принимать во всем этом свою долю участия. Мордоконаки не смеялась над тем, что она видела. Она просто отбыла свой визит в низменные сферы и уходила от них с тем самым чувством, с каким она уходила с крестин своей экономки, упросившей ее когда-то быть восприемницей своего ребенка.

В этом удобном состоянии духа она приехала домой, прошла ряд пустых богатых покоев, разделась, легла в постель и, почувствовав, что ей будто холодно, протянула руку к пледу, который лежал свернутый на табурете у ее кровати.

К удивлению своему, раскидывая этот плед, она заметила посредине его приколотую булавкой бумажку. Это был вчетверо сложенный тонкий почтовый листок.

Сонная красавица взглянула внимательнее на этот supplement [1] к ее пледу и посреди странных бордюрок, сделанных по краям листка, увидала крупно написанное русскими буквами слово *«Парольдонер»*.

«Что бы это могло значить!» — подумала она и, выдернув булавку, развернула листок и прочитала:

---

[1] Дополнение *(франц.)*.

Милостивая государыня! Извините меня, что я пред вами откровенный, потому что военный всегда откровенный. Душевно радуюсь и бога благодарю, что вы отъезжаете устроить к ночи ваших любезных детей. Дай боже им достигнуть такой цели, как матушка ихняя. Прошу вас покорнейше написать ответ. Если же вы находите, что Повердовня не заслужил расположения, то удостойте своим неземным подчерком, который будет оценен в душе моей.

Неземной я вас называю,
Вы души моей кумир,
Вам всю душу открываю, —
В вас сокрыт волшебный мир.

*Капитан Повердовня.*

Мордоконаки расхохоталась, еще раз прочитала послание влюбленного капитана и, закрыв серебряным колпачком парафиновую свечку, сладко уснула, подумав: «Bon Dieu, voilà la véritable Russie!» [1]

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В тот же самый день, когда в Старом Городе таким образом веселились, далеко, в желтой каморке ссыльного протопопа, шла сцена другого рода. Там умирала Наталья Николаевна.

По своей аккуратности и бережливости, протопопица все время своего пребывания при муже в его ссылке обходилась без прислуги и брала на себя труды, вовсе ей непривычные и непосильные. Добравшись до последней двадцатипятирублевой ассигнации в своей коробке, она испугалась, что у них скоро не будет ни гроша, и решила просить своего хозяина, жандарма, подождать на них за квартиру, пока выйдет им прощение. Жандарм на это согласился, и Наталья Николаевна, тщательно скрывая все это от мужа, искала всеми мерами отслужить чем-нибудь своему хозяину: она копала с его работницей картофель, рубила капусту и ходила сама со своим бельем на реку.

Ее годы и ее плохое здоровье этого не вынесли, и она заболела и слегла.

Протопоп осуждал ее хлопотливость и заботливость.

[1] Боже мой, вот она, настоящая Россия! *(франц.).*

— Ты думаешь, что ты помогаешь мне, — говорил он, — а я когда узнал, что ты делала, так... ты усугубила муки мои.

— Прости, — прошептала Наталья Николаевна.

— Что прости? Ты меня прости, — отвечал протопоп и с жаром взял и поцеловал женину руку. — Я истерзал тебя моею непокорною нравностью, но хочешь... скажи одно слово, и я сейчас пойду покорюсь для тебя...

— Что ты, что ты! Никогда я не скажу этого слова! Тебя ли мне учить, ты все знаешь, что к чему устрояешь!

— К чести моей, друг, все сие переношу.

— И боже тебе помогай, а обо мне не думай.

Протопоп опять поцеловал женины руки и пошел дьячить, а Наталья Николаевна свернулась калачиком и заснула, и ей привиделся сон, что вошел будто к ней дьякон Ахилла и говорит: «Что же вы не помолитесь, чтоб отцу Савелию легче было страждовать?» — «А как же, — спрашивает Наталья Николаевна, — поучи, как это произнести?» — «А вот, — говорит Ахилла, — что произносите: господи, ими же веси путями спаси!» — «Господи, ими же веси путями спаси!» — благоговейно проговорила Наталья Николаевна, и вдруг почувствовала, как будто дьякон ее взял и внес в алтарь, и алтарь тот огромный-преогромный: столбы — и конца им не видно, а престол до самого неба и весь сияет яркими огнями, а назади, откуда они уходили, — все будто крошечное, столь крошечное, что даже смешно бы, если бы не та тревога, что она женщина, а дьякон ее в алтарь внес. «В уме ли ты, дьякон! — говорит она Ахилле, — тебя сана лишат, что ты женщину в алтарь внес». А он отвечает: «Вы не женщина, а вы *сила!*» и с этим не стало ни Ахиллы, ни престола, ни сияния, и Наталья Николаевна не спит, а удивляется, отчего же это все вокруг нее остается такое маленькое: вон самовар не как самовар, а как будто игрушка, а на нем на конфорочке яичная скорлупочка вместо чайника...

В это время вернулся из монастыря Туберозов и что-то ласково заговорил, но Наталья Николаевна так и замахала ему руками.

— Тише, — говорит, — тише: ведь я скоро умру.

Протопоп удивился.

— Что ты, Наташа, бог с тобой!

— Нет, умру, дружок, умру: я уже вполовину умерла.

— Кто же тебе это сказал?

— Как кто сказал? Я уж все вполовину вижу.

Пришел лекарь, пощупал пульс, посмотрел язык и говорит: «Ничего, простуда и усталость».

Туберозов хотел сказать, что больная все вполовину видит, да посовестился.

— Что ж, отлично, что ты ему не сказал, — отвечала на его слова об этом Наталья Николаевна.

— А ты все видишь вполовину?

— Да, вполовину; вон ведь это на небе, должно быть, месяц?

— Месяц в окно на нас с тобой, на старых, смотрит

— А я вижу точно рыбий глазок.

— Тебе это все кажется, Наташа.

— Нет; это, отец Савелий, верно так.

Туберозов, желая разубедить жену, показал ей вынутую из коробки заветную двадцатипятирублевую ассигнацию и спросил:

— Ну, скажи: а это что такое?

— Двенадцать с полтиной, — кротко отвечала Наталья Николаевна.

Туберозов испугался: что это за притча непонятная, а Наталья Николаевна улыбнулась, взяла его за руку и, закрыв глаза, прошептала:

— Ты шутишь, и я шучу: я видела, это наша бумажка; все маленькое... а вот зажмурюсь, и сейчас все станет большое, пребольшое большое. Все возрастают: и ты, и Николай Афанасьич, дружок, и дьяконочек Ахилла... и отец Захария... Славно мне, славно, не будите меня!

И Наталья Николаевна заснула навеки.

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Карлик Николай Афанасьевич не один был поражен страшным спокойствием лица и дрогающею головой Туберозова, который медленно ступал по глубокой слякоти немощеных улиц за гробом своей усопшей жены Натальи Николаевны. В больших и молчаливых скорбях человека

с глубокою натурой есть несомненно всеми чувствуемая неотразимая сила, внушающая страх и наводящая ужас на натуры маленькие, обыкшие изливать свои скорби в воплях и стенаниях. То чувствовали теперь и люди, которым было какое-нибудь дело до осиротелого старика, лишенного своей верной подруги. Когда могильная земля застучала по крышке гроба Натальи Николаевны и запрещенный протопоп обернулся, чтобы сойти с высокого отвала, все окружавшие его попятились и, расступясь, дали ему дорогу, которою он и прошел один-одинешенек с обнаженною головой через все кладбище.

У ворот он остановился, помолился на образ в часовне и, надев свою шляпу, еще раз оглянулся назад и изумился: пред ним стоял карлик Николай Афанасьевич, следовавший за ним от самой могилы в двух шагах расстояния.

На серьезном лице протопопа выразилось удовольствие: он, очевидно, был рад встрече со «старою сказкой» в такую тяжелую минуту своей жизни и, отворотясь в сторону, к черным полям, покрытым замерзшею и свернувшеюся озимою зеленью, уронил из глаз тяжелую слезу — слезу одинокую и быструю как капля ртути, которая, как сиротка в лесу, спряталась в его седой бороде.

Карлик видел эту слезу и, поняв ее во всем ее значении, тихонько перекрестился. Эта слеза облегчила грудь Савелия, которая становилась тесною для сжатого в ней горя. Он мощно дунул пред собою и, в ответ на приглашение карлика сесть в его бричку, отвечал:

— Да, Николаша, хорошо, я сяду.

Они ехали молча, и когда бричка остановилась у жандармской хибары в монастырской слободке, Туберозов молча пожал руку карла и молча пошел к себе.

Николай Афанасьевич не следовал за ним, потому что он видел и понимал желание Туберозова быть с самим собою. Он навестил вдовца только вечером и, посидев немного, попросил чайку, под тем предлогом, что он будто озяб, хотя главною его целию тут была попытка отвлечь Савелия от его горя и завести с ним беседу о том, для чего он, Николай Афанасьевич, приехал. План этот удался Николаю Афанасьевичу как нельзя лучше, и когда Туберозов, внося к себе в комнату кипящий самовар, начал собирать из поставца чашки и готовить чай, карлик

завел издалека тихую речь о том, что до них в городе происходило, и вел этот рассказ шаг за шаг, день за день, как раз до самого того часа, в который он сидит теперь здесь, в этой лачужке. В рассказе этом, разумеется, главным образом получили большое место сетования города о несчастьях протопопа, печаль о его отсутствии и боязнь, как бы не пришлось его вовсе лишиться.

Протопоп, слушавший начало этих речей Николая Афанасьича в серьезном, почти близком к безучастию покое, при последней части рассказа, касающейся отношений к нему прихода, вдруг усилил внимание, и когда карлик, оглянувшись по сторонам и понизив голос, стал рассказывать, как они написали и подписали мирскую просьбу и как он, Николай Афанасьевич, взял ее из рук Ахиллы и «скрыл на своей груди», старик вдруг задергал судорожно нижнею губой и произнес:

— Добрый народ, спасибо.

— Он, наш народ, добрый, батушка, и даже очень добрый, но только он пока еще не знает, как ему за что взяться, — отвечал карлик.

— Тьма, тьма над бездною... но дух божий поверх всего, — проговорил протопоп и, вздохнув из глубины груди, попросил себе бумагу, о которой шла речь.

— А зачем она вам, государь отец протопоп, эта бумага? — вопрошал с лукавою улыбкой карлик. — Она кому надписана, тому и будет завтра подана.

— Дай мне... я хочу на нее посмотреть.

Карлик стал расстегивать свои одежды, чтобы доконаться до лежащей на его груди сумы, но вдруг что-то вспомнил и остановился.

— Дай же, дай! — попросил Савелий.

— А вы, батушка... ее не того... не изорвете?

— Нет, — твердо сказал Туберозов, и когда карла достал и подал ему листы, усеянные бисерными и вершковыми, четкими и нечеткими подписями, Савелий благоговейно зашептал:

— Изорвать... изорвать сию драгоценность! Нет! нет! с нею в темницу; с нею на крест; с нею во гроб меня положите!

И он, к немалому трепету карлика, начал проворно свертывать эту бумагу и положил ее на грудь себе под подрясник.

— Позвольте же, батушка, это ведь надо подать!

— Нет, не надо!

Туберозов покачал головой и, помахав отрицательно пальцем, подтвердил:

— Нет, Никола, не надо, не надо.

И с этим он еще решительнее запрятал на грудь просьбу и, затянув пояс подрясника, застегнул на крючки воротник.

Отнять у него эту просьбу не было теперь никакой возможности: смело можно было ручаться, что он скорее расстанется с жизнию, чем с листом этих драгоценных каракуль «мира».

Карлик видел это и не спеша заиграл на собственных нотах Савелия. Николай Афанасьич заговорил, как велико и отрадно значение этого мирского заступничества, и затем перешел к тому, как свята и ненарушима должна быть для каждого воля мирская.

— Они, батушка, отец протопоп, в горести плачут, что вас не увидят.

— Все равно сего не минет, — вздохнул протопоп, — немного мне жить; дни мои все сочтены уже вмале.

— Но я-то, батушка, я-то, отец протопоп: мир что мне доверил, и с чем я миру явлюсь?

Туберозов тронулся с места и, обойдя несколько раз вокруг своей маленькой каморки, остановился в угле пред иконой, достал с груди бумагу и, поцеловав ее еще раз, возвратил карлику со словами:

— Ты прав, мой милый друг, делай, что велел тебе мир

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Николай Афанасьевич имел много хлопот, исполняя возложенное на него поручение, но действовал рачительно и неотступно. Этот маленький посланец большого мира не охладевал и не горячился, но как клещ впивался в кого ему было нужно для получения успеха, и не отставал. Савелия он навещал каждый вечер, но не говорил ему ничего о своих дневных хлопотах; тот, разумеется, ни о чем не спрашивал. А между тем дело настолько подвинулось, что в девятый день по смерти Натальи Николаевны, когда протопоп вернулся с кладбища, карлик сказал ему:

— Ну-с, батушка, отец протопоп, едемте, сударь, домой: вас отпускают.

— Буди воля господня о мне, — отвечал равнодушно Туберозов.

— Только они требуют от вас одного, — продолжал карлик, — чтобы вы подали обязательную записку, что впредь сего не совершите.

— Хорошо; не совершу... именно не совершу, поелику... слаб я и ни на что больше не годен.

— Дадите таковую подписку?

— Дам, согласен.... дам.

— И еще прежде того просят... чтобы вы принесли покаяние и попросили прощения.

— В чем?

— В дерзости... То есть это они так говорят, что «в дерзости».

— В дерзости? Я никогда не был дерзок и других, по мере сил моих, от того воздерживал, а потому каяться в том, чего не сделал, не могу.

— Они так говорят и называют.

— Скажи же им, что я предерзостным себя не признаю.

Туберозов остановился и, подняв вверх указательный палец правой руки, воскликнул:

— Не наречен был дерзостным пророк за то, что он, ревнуя, поревновал о вседержителе. Скажи же им: так вам велел сказать ваш подначальный поп, что он ревнив и так умрет таким, каким рожден ревнивцем. А более со мной не говори ни слова о прощении.

Ходатай отошел с таким решительным ответом и снова ездил и ходил, просил, молил и даже угрожал судом людским и божиим судом, но всуе дребезжал его слабеющий язык.

Карлик заболел и слег; неодолимость дела, за которое взялся этот оригинальный адвокат, сломила и его силу и его терпение.

Роли стариков переменились, и как до сих пор Николай Афанасьевич ежедневно навещал Туберозова, так теперь Савелий, напилив урочные дрова и отстояв в монастыре вечерню, ходил в большой плодомасовский дом, где лежал в одном укромном покойчике разболевшийся карлик.

Савелию было безмерно жаль Николая Афанасьевича, и он скорбел за него и, вздыхая, говорил:

— Сего лишь единственно ко всему бывшему недоставало, чтобы ты за меня перемучился.

— Батушка, отец протопоп, что тут обо мне, старом зайце, разговаривать? На что уж я годен? Нет, вы о себе-то и о них-то, о своем первосвященнике, извольте попечалиться: ведь они *просят* вас покориться! Утешьте их: попросите прощения!

— Не могу, Николай, не могу!

— Усиленно, отец протопоп, просят! Ведь они только по начальственному высокомерию об этом говорить не могут, а им очень вас жаль и неприятно, что весь город за вас поднялся... Нехорошо им тоже всем отказывать, не откажите ж и вы им в снисхождении, утешьте просьбой.

Не могу, Николай, не могу! Прощение не потеха.

— Смиритесь!

— Я пред властью смирен, а что есть превыше земной власти, то надо мною властнее... Я человек подзаконный. Сирах вменил в обязанности нам пещись о чести имени, а первоверховный Павел протестовал против попранья прав его гражданства; не вправе я себя унизить ради просьбы.

Карлик был в отчаянии. Подзаконный протопоп не подавал ни малейшей надежды ни на какую уступку. Он как стал на своем, так и не двигался ни вперед, ни назад, ни направо, ни налево.

Николай Афанасьевич не одобрял уже за это отца Савелия и хотя не относил его поведения к гордости или к задору, но видел в нем непохвальное упрямство и, осуждая протопопа, решился еще раз сказать ему:

— Ведь нельзя же, батушка, отец Савелий, ведь нельзя же-с и начальства не пожалеть, ведь надо же... надо же им хоть какой-нибудь реваншик предоставить. Как из этого выйти?

— А уж это их дело.

— Ну, значит, вы к ним человек без сожаления.

— О, друже, нет; я его, сие скорбное начальство наше, очень сожалею! — отвечал, вздохнув, протопоп.

— Ну, так и поступитесь маленечко своим обычаем: повинитесь.

— Не могу, закон не позволяет.

Карлик мысленно положил отречься от всякой надежды чего-нибудь достичь и стал собираться назад в свой город. Савелий ему ничего не возражал, а напротив, даже советовал уехать и ничего не наказывал, что там сказать или ответить. До последней минуты, даже провожая карлика из города за заставу, он все-таки не поступился ни на йоту и, поворотив с знакомой дороги назад в город, побрел пилить дрова на монастырский двор.

Горе Николая Афанасьевича не знало меры и пределов. Совсем не так он думал возвращаться, как довелось, и зато он теперь ехал, все вертясь в своих соображениях на одном и том же предмете, и вдруг его посетила мысль, — простая, ясная, спасительная и блестящая мысль, какие редко ниспосылаются и обыкновенно приходят вдруг, — именно как бы откуда-то свыше, а не из нас самих.

Карлик с десятой версты повернул в город и, явясь к начальству Савелия, умолял *приказать* протопопу повиниться.

Начальство, в самом деле, давно не радо было, что зацепило упрямого старика, и карлик, получив то, чего желал, внезапно предстал снова Туберозову и сказал:

— Ну-с, государь мой, гордый отец протопоп, не желали вы сдаваться на просьбу, так теперь довели себя до того, что должны оказать повиновение строгости: мне приказано вам сказать, что вам властию повелевают извиниться.

— Где же они повелевают мне стать пред ними на колени: здесь, или на площади, или во храме? — сухо спросил Туберозов. — Мне все равно: по повелению я все исполню.

Карлик отвечал ему, что никто от него никакого унижения не требует и что ему достаточно написать требуемое прошение на бумаге.

Туберозов тотчас же взял и написал кому и что следовало, обозначив эту бумагу «Требованное всепокорнейшее прошение». Карлик заметил, что слово «требованное» здесь совершенно неуместно, но Савелий это решительно отверг и сказал:

— Ну, уж надеюсь, что тебе меня логике не повелено учить; я ей в семинарии научен: ты сказал, что от меня требуют, я и пишу «требованное».

Кончилось это для отца Савелия тем, что, наскучив с ним возиться, его отпустили, но за то, что всепокорнейшее прошение его было в то же время прошение «требованное», на нем последовала надпись, в силу которой упорный старик за эту «требованность» оставляем еще на полгода под запрещением.

Савелий этим нисколько не смутился и, поблагодарив всех, кого считал нужным благодарить, выехал с карликом домой после долгой и тягостной ссылки своей.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Во время дороги они мало разговаривали, и то заводил речи только Николай Афанасьевич. Стараясь развлечь и рассеять протопопа, сидевшего в молчании со сложенными на коленях руками в старых замшевых перчатках, он заговаривал и про то и про другое, но Туберозов молчал или отзывался самыми краткими словами. Карлик рассказывал, как скучал и плакал по Туберозове его приход, как почтмейстерша, желая избить своего мужа, избила Препотенского, как учитель бежал из города, гонимый Бизюкиной, — старик все отмалчивался.

Николай Афанасьевич заговорил о домике Туберозова, что он опускается и требует поправки.

Протопоп вздохнул и сказал:

— Уже все это отныне для меня прах, и я гнушаюсь, что был к тому привязан.

Карлик повернул на то, что вот Ахилла все находит себе утешение и, скучая безмерно, взял к себе в дом из-под кручи слепого щеночка и им забавляется.

— Добро ему: пусть тешится, — прошептал протопоп.

Николай Афанасьевич оживился.

— Да-с, — начал он, — и скажу вам, батушка, сколько же с ними чрез эту собачку, по их характеру, произошло самых дивных историй. Выучили они эту собачку, как и прежних, смеяться; скажут: «Засмейся, собачка», — она

и скалит зубенки; но впала им в голову мысль, как ее назвать?

— Ну не все ли будто равно псу, как его называют? — отозвался нехотя протопоп.

Карлик заметил, что рассказы об Ахилле спутник его слушал не так равнодушно, и пошел далее.

— Да-с; ну вот подите же! А по отца дьякона характеру, видите, не все равно: что село им в голову, то уж им вынь да положь. «Я, говорят, этого песика по особенному случаю растревоженный домой принес, и хочу, чтоб он в означение сего случая таким особенным именем назывался, каких и нет».

Протопоп улыбнулся.

— Ну-с, вот и приезжает он, отец Ахилла, таким манером ко мне в Плодомасово верхом, и становится на коне супротив наших с сестрицей окошек, и зычно кричит: «Николаша! а Николаша!» Я думаю: господи, что такое? Высунулся в форточку, да и говорю: «Уж не с отцом ли Савелием еще что худшее, отец дьякон, приключилось?» — «Нет, говорят, не то, а я нужное дело к тебе, Николаша, имею. Я к тебе за советом приехал».

«Так пожалуйте же, мол, в комнаты, — не казаки же мы с вами сторожевые, чтобы нам перекликаться одному с коня, а другому с вышки». Так ведь куда тебе! — не хочет: «Мне, говорит, некогда, да я и не один».

«В чем же, кричу, дело-то? Говорите скорее, сударь, а то мне в форточке холодно, я человек зябкий». — «А ты, говорит, сызмальства по господским домам живешь, так должен ты все собачьи имена знать». — «Ну как, мол, можно все их имена знать; мало ли где как собак называют». — «Ну, кричит, скорей пересчитывай!» Я им и называю, что ведь названия, мол, даются всё больше по породам, что какой прилично: борзые почаще все «Милорды», а то из наших простых, которые красивей, «Барбосы» есть, из аглицких «Фани», из курляндских «Шарлотки», французских называют и «Жужу» и «Бижу»; испанские «Карло», или «Катанья», или еще как-нибудь: немецкие «Шпиц»... Но отец дьякон меня на этом перебивают: «Нет, ты, говорит, скажи мне такое имя, чтобы ни у кого такого не было. Ты, — изволят настаивать, — должен это знать!» Как, думаю, их успокоить?

— Ну и как же ты его успокоил? — полюбопытствовал Туберозов.

— Да я, батушка, что же, я в ту пору стал очень в форточке-то зябнуть и, чтобы поскорее отделаться, говорю: «Знаю я, сударь, еще одну кличку, да только сказать вам ее опасаюсь». — «Нет, ничего, кричит, ничего, говори». — «Звали, мол, у одного барина собаку *Каквас*». А отец Ахилла-то вдруг и засмутились. «Что ты это за вздор, говорят, мелешь: или ты с ума сошел?» — «Нет, мол, я с ума не сходил, а я точно знаю, что в Москве у одного князя собаку звали *Каквас*». Ахилла Андреич вдруг как вскипят, разгневались и начали лошадь шпорить и к стене подскакивают, а сами кричат: «Разве тебе, бесстыдник ты этакий старый, можно это на меня сказать? Разве ты не знаешь, что мое имя крещеное и я священнослужитель?» Насилу их, батушка, успокоил и растолковал им, что это такое *Каквас*. Ну, тут уж зато они взыграли на коне и, вынув из-за пазухи из полушубка того щеночка, закричали: «Здравствуй, *Каквасинька!*» и понеслись радостные назад.

— Дитя великовозрастное, — проговорил, улыбнувшись, Савелий.

— Да-с, все бы им шутки.

— Не осуждай его: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало; тяжело ему ношу, сонную дрему, весть, когда в нем в одном тысяча жизней горит.

— Именно-с. Я и не знаю, как ему умирать?

— Я и сам этого не знаю, — пошутил протопоп, — он есть само отрицание смерти. Ну а что же с этим *Каквасом?*

— А что вы изволите полагать, с ним идет беда по сю пору, да и нельзя без нее. Отец дьякон какие же привычки себе изволили выдумать? Как только им делается по вас очень скучно, они в ту пору возьмут своего *Каквaску* на руки и идут к почтовой станции, сядут на крылечко и ждут. Чуть какой-нибудь важный проезжий или дама какая останавливаются, а они сейчас: «Засмейся, собачка», та и смеется, каналья, а проезжим любопытство; спрашивают: «Батушка, как эту собачку звать?» А они: «Я, говорит, не батушка, а дьякон, — моего батушку собаки съели». А спросят: «Ну а как же вашу собачку звать?» — «А собачку, отвечают, зовут *Каквас*». И ссоры

он из-за этого затевает постоянные и все говорит: «Я их теперь, говорит, всех этак постоянно в глаза буду собаками звать, и сам мировой судья мне ни лысого беса не сделает». И все это за вас, отец Савелий, мстит, а в каком соображении мстит — того не рассуждает. А вот отцу Захарии за него вышла неприятность: у них эту собачку благочинный увидали да спросили, как звать; а отец Захария говорит: «Зовут *Каквас,* ваше преподобие», и получили выговор.

Савелий рассмеялся до слез и, обтершись платком, проговорил:

— Бесценный сей прямодушный Захария. Сосуд господень и молитвенник, какого другого я не видывал. Жажду обнять его.

Пред путешественниками вдруг с горы открылся родной город — город древний, характерный и полный для Туберозова воспоминаний, под мгновенным напором которых старик откинулся назад и зажмурился, как от сверкания яркого солнца.

Они велели ехать еще тише, чтобы не въезжать засветло, и в сумерки постучали в железное кольцо знакомых ворот. Послышался оклик: «кто там?», это был голос Ахиллы. Туберозов обтер пальцем слезу и перекрестился.

— Кто там? — переспросил еще Ахилла.

— Да кто же, как не я и отец Савелий, — отозвался карлик.

Дьякон взвизгнул, слетел со всех ступеней крыльца, размахнул настежь ворота, а сам вкатил клубом в бричку и, обхватив шею протопопа, замер.

Оба они, обняв друг друга в бричке, долго и жалостно всхлипывали, меж тем как карлик, стоя на земле, тихо, но благодатно плакал в свой прозябший кулачок.

Наконец дьякон, нарыдавшись, захотел говорить. Он чуть было уже не спросил о Наталье Николаевне; но, спохватясь, ловко переменил слово и, показывая протопопу на вертевшуюся возле его ног собачку, сказал:

— А вот это, батя, мой новый песик *Какваска!* Самая чудесная собачка. И как мы захотим, он нам сейчас засмеется. Чего о пустом скучать!

*«О пустом»,* — с нестерпимою болью в сердце было повторил отец Савелий, но удержался и только крепко, во всю мочь, сжал Ахиллину руку.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Войдя в свой дом, где в течение довольно долгого времени оставался хозяином и единственным жильцом дьякон Ахилла, протопоп поцеловал стихийного исполина в сухой пробор его курчавой головы и, обойдя вместе с ним все комнатки, перекрестил пустую осиротелую кроватку Натальи Николаевны и сказал:

— Что же, друг: теперь нам с тобой уже не стоит и расходиться, — станем жить вместе!

— И очень извольте: рад, и готов, и даже сам так располагал, — отвечал Ахилла и опять обеими руками обнял протопопа.

Так они и остались жить вдвоем: Ахилла служил в церкви и домовничал, а Туберозов сидел дома, читал Джона Буниана, думал и молился.

Он показывался из дома редко, или, лучше сказать, совсем не показывался, и на вопросы навещавших его людей, почему он не выходит, коротко отвечал:

— Да вот... все... собираюсь.

Он действительно все *собирался* и жил усиленной и сосредоточенною жизнью самоповеряющего себя духа.

Ахилла отстранял его от всяких забот и попечений, и это давало старцу большое удобство *собираться.*

Но недолго суждено было длиться и этому блаженству. Ахиллу ждала честь: его брал с собою в Петербург архиерей, вызванный на череду для присутствования в синоде. Губернский протодьякон был нездоров.

Расставание дьякона с Туберозовым было трогательное, и Ахилла, никогда не писавший никаких писем и не знавший, как их пишут и как отправляют, не только вызвался писать отцу Туберозову, но и исполнял это.

Письма его были оригинальны и странны, не менее чем весь склад его мышления и жизни. Прежде всего он прислал Туберозову письмо из губернского города и в этом письме, вложенном в конверт, на котором было надписано: «Отцу протоиерею Туберозову, секретно и в собственные руки», извещал, что, живучи в монастыре, он отомстил за него цензору Троадию, привязав его коту на спину колбасу с надписанием: «Сию колбасу я хозяину несу» и пустив кота бегать с этою ношею по монастырю.

Через месяц Ахилла писал из Москвы, сколь она ему понравилась, но что народ здесь прелукавый, и особенно

певчие, которые два раза звали его пить вместе лампопо́, но что он, «зная из практики, что такое обозначает сие лампопо́, такой их певческой наглости только довольно подивился».

Еще немного спустя он писал уже из Петербурга: «Прелюбезный друг мой и ваше высокопреподобие отец Савелий. Радоватися. Живу чудесно на подворье, которое будет вроде монастырька, но соблазну ужас как много, потому что все равно что среди шумного города. Но по вас все-таки, несмотря на сию шумность, скучаю, ибо вместе бы если бы тут были, то отрадней бы гораздо всему вдвоем удивлялись. Советы ваши благие помню и содержу себя в постоянном у всех почтении, на что и имеете примету в том московском лампопе, которого пить не захотел. Пью самую малость, да и то главнее всего для того, что через непитье опасаюсь, как бы хорошее знакомство не растерять. Хорошего здесь много, но дьяконов настоящих, как по-нашему требуется, нет; все тенористые, пристойные по-нашему разве только к кладбищам, и хотя иные держат себя и очень даже форсисто, но и собою все против нас жидки и в служении всё действуют говорком, а нередко даже и не в ноту, почему певчим с ними потрафлять хорошо невозможно. Я же, как в этом сведущий, их моде не подражаю, а служу по-своему, и зато хоть и приезжий, но купечество приглашало меня в Гостиный ряд под воротами в шатре молебен служить и, окромя денежного подарения, за ту службу дали мне три фуляровые платка, какие вы любите, и я их вам привезу в гостинец. На здоровье! Скучаю я тоже немало, конечно по своей необразованности, да и потому, что отовсюду далеко. Из угощений здесь все больше кофий. Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо все в сторону; я же езжу на пол-империале, а на нем никуда в сторону невозможно, но вы этого, по своей провинциальности, не поймете: сидишь точно на доме, на крышке очень высоко, и если сходить оттуда, то надо иметь большую ловкость, чтобы сигнуть долой на всем скаку, а для женского пола, по причине их одежды, этого даже не позволяют. Извозчики же здесь, по замечанию, очень насмешливы, и буде наш брат духовный станет их нанимать, но жертвует очень дешево, то они сейчас один о другом выкрикают: «Напрасно, батюшка, с ним сели: он вчера священника

в лужу вывалил»; а потому и не ряжу их вовсе. Варнавку нашего однажды встретил, но не тронул, потому что и он и я оба ехали на встречных пол-империалах, и я ему только успел погрозить, да, впрочем, он здесь стал очень какой-то дохлый. Насчет же вашего несчастия, что вы еще в запрещении и не можете о себе на литургии молиться, то, пожалуйста, вы об этом нимало не убивайтесь, потому что я все это преестественно обдумал и дополнил, и вседержитель это видит. Полагайтесь так, что хотя не можете вы молиться сами за себя из уездного храма, но есть у вас такой человек в столице, что через него идет за вас молитва и из Казанского собора, где спаситель отечества, светлейший князь Кутузов погребен, и из Исакиевского, который весь снаружи мраморный, от самого низа даже до верха, и столичный этот за вас богомолец *я,* ибо я, четши ектению велегласно за кого положено возглашаю, а про самого себя шепотом твое имя, друже мой, отец Савелий, потаенно произношу, и молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю превечному, и жалуюсь, как ты напрасно пред всеми от начальства обижен. А ты особливо того слова, пожалуйста, себе и не думайте и не говорите, что «дни мои изочтены», потому что это нам с отцом Захарией будет со временем очень прискорбно и я тебя, честное слово, разве малым чем тогда переживу».

Засим следовала подпись: «временно столичный за протодьякона своей епархии Старогородского уездного собора дьякон Ахилла Десницын».

Было и еще получено письмо от Ахиллы, где он писал, что «счастливым случаем таки свиделся с Препотенским и думал с ним за прошедшее биться, но вышел всему тому совсем другой оборот, так что он даже и был у него в редакции, потому что Варнава теперь уже был редактором, и Ахилла видел у него разных «литератов» и искренно там с Варнавой примирился. Примирению же этому выставлялась та причина, что Варнава стал (по словам Ахиллы) человек жестоко несчастливый, потому что невдавнях женился на здешней барышне, которая гораздо всякой дамы строже и судит все против брака, а Варнаву, говорят, нередко бьет, и он теперь уже совсем не такой: сам мне открылся, что если бы не опасался жены, то готов бы даже за бога в газете заступиться, и ругательски

ругает госпожу Бизюкину, а особливо Термосесова, который чудесно было себя устроил и получал большое жалованье на негласной службе для надзора за честными людьми, но враг его смутил жадностью: стал фальшивые бумажки перепущать и теперь в острог сел». Наипаче же всего Ахилла хвалился тем, что он видел, как в театре представляли. «Раз (объяснял он), было это с певчими, ходил я в штатском уборе на самый верх на оперу «Жизнь за царя», и от прекрасного пения голосов после целую ночь в восторге плакал; а другой раз, опять тоже переряженный по-цивильному, ходил глядеть, как самого царя Ахиллу представляли. Но только на меня даже ни крошки не похоже: выскочил актер, весь как есть в латах, и на пятку жалится, а дай мне этакую сбрую, я бы гораздо громче разыграл. Остальная же игра вся по-языческому с открытостью до самых пор, и вдовому или одинокому человеку это видеть неспокойно».

И еще, наконец, пришло третье и последнее письмо, которым Ахилла извещал, что скоро вернется домой, и вслед затем в один сумрачный серый вечер он предстал пред Туберозова внезапно, как радостный вестник.

Поздоровавшись с дьяконом, отец Савелий тотчас же сам бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть от любопытных радостное возвращение Ахиллы.

Беседа их была долгая. Ахилла выпил за этою беседой целый самовар, а отец Туберозов все продолжал беспрестанно наливать ему новые чашки и приговаривал:

— Пей, голубушка, кушай еще,— и когда Ахилла выпивал, то он говорил ему: — Ну, теперь, братец, рассказывай дальше: что ты там еще видел и что узнал?

И Ахилла рассказывал. Бог знает что́ он рассказывал: это все выходило пестро, громадно и нескладно, но всего более в его рассказах удивляло отца Савелия то, что Ахилла кстати и некстати немилосердно уснащал свою речь самыми странными словами, каких он до поездки в Петербург не только не употреблял, но, вероятно, и не знал!

Так, например, он ни к селу ни к городу начинал с того:

— Представь себе, голубчик, отец Савелий, какая комбынация (причем он беспощадно напирал на *ы*).

Или:

— Как он мне это сказал, я ему говорю: ну нет, же ву пердю, это, брат, сахар дюдю.

Отец Туберозов хотя с умилением внимал рассказам Ахиллы, но, слыша частое повторение подобных слов, поморщился и, не вытерпев, сказал ему:

— Что ты это... Зачем ты такие пустые слова научился вставлять?

Но бесконечно увлекающийся Ахилла так нетерпеливо разворачивал пред отцом Савелием всю сокровищницу своих столичных заимствований, что не берегся никаких слов.

— Да вы, душечка, отец Савелий, пожалуйста, не опасайтесь, теперь за слова ничего — не запрещается.

— Как, братец, *ничего?* слышать скверно.

— О-о! это с непривычки. А мне так теперь что хочешь говори, все ерунда.

— Ну вот опять.

— Что такое?

— Да что ты еще за пакостное слово сейчас сказал?

— Ерунда-с!

— Тьфу, мерзость!

— Чем-с?.. все литераты употребляют.

— Ну, им и книги в руки: пусть их и сидят с своею «герундой», а нам с тобой на что эту герунду заимствовать, когда с нас и своей русской чепухи довольно?

— Совершенно справедливо, — согласился Ахилла и, подумав, добавил, что чепуха ему даже гораздо более нравится, чем ерунда.

— Помилуйте,—добавил он, опровергая самого себя, — чепуху это отмочишь, и сейчас смех, а они там съерундят, например, что бога нет, или еще какие пустяки, что даже попервоначалу страшно, а не то спор.

— Надо, чтоб это всегда страшно было, — кротко шепнул Туберозов.

— Ну да ведь, отец Савелий, нельзя же все так строго. Ведь если докажут, так деться некуда.

— Что докажут? что ты это? что ты говоришь? Что тебе доказали? Не то ли, что бога нет?

— Это-то, батя, доказали...

— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужик и христианин: перекрестись! что ты это сказал?

— Что же делать? Я ведь, голубчик, и сам этому не рад, но против хвакта не попрешь.

— Что за «хвакт» еще? что за факт ты открыл?

— Да это, отец Савелий... зачем вас смущать? Вы себе читайте свою Буниану и веруйте в своей простоте, как и прежде сего веровали.

— Оставь ты моего Буниана и не заботься о моей простоте, а посуди, что ты на себя говоришь?

— Что же делать? хвакт! — отвечал, вздохнув, Ахилла.

Туберозов, смутясь, встал и потребовал, чтоб Ахилла непременно и сейчас же открыл ему факт, из коего могут проистекать сомнения в существовании бога.

— Хвакт этот по каждому человеку прыгает, — отвечал дьякон и объяснил, что это блоха, а блоху всякий может сделать из опилок, и значит все-де могло сотвориться само собою.

Получив такое искреннее и наивное признание, Туберозов даже не сразу решился, что ему ответить; но Ахилла, высказавшись раз в этом направлении, продолжал и далее выражать свою петербургскую просвещенность.

— И взаправду теперь, — говорил он, — если мы от этой самой ничтожной блохи пойдем дальше, то и тут нам ничего этого не видно, потому что тут у нас ни книг этаких настоящих, ни глобусов, ни труб, ничего нет. Мрак невежества до того, что даже, я тебе скажу, здесь и смелости-то такой, как там, нет, чтоб очень рассуждать! А там я с литератами, знаешь, сел, полчаса посидел, ну и вижу, что религия, как она есть, так ее и нет, а блоха это положительный хвакт. Так по науке выходит...

Туберозов только посмотрел на него и, похлопав глазами, спросил:

— А чему же ты до сих пор служил?

Дьякон нимало не сконфузился и, указав рукой на свое чрево, ответил:

— Да чему и все служат: маммону. По науке и это выведено, для чего человек трудится, — для еды; хочет, чтоб ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы есть бы не хотели, так ничего бы и не делали. Это называется *борба* (дьякон произнес это слово без *ь*) *за сушшествование*. Без этого ничего бы не было.

— Да вот видишь ты, — отвечал Туберозов, — а бог-то ведь, ни в чем этом не нуждаясь, сотворил свет.

— Это правда, — отвечал дьякон, — бог это сотворил.

— Так как же ты его отрицаешь?

— То есть я не отрицаю, — отвечал Ахилла, — а я только говорю, что, восходя от хвакта в рассуждении, как блоха из опилок, так и вселенная могла сама собой явиться. У них бог, говорят, «кислород»... А я, прах его знает, что он есть кислород! И вот видите: как вы опять заговорили в разные стороны, то я уже опять ничего не понимаю.

— Откуда же взялся твой кислород?

— Не знаю, ей-богу... да лучше оставьте про это, отец Савелий.

— Нет, нельзя этого, милый, в тебе оставить! Скажи: откуда начало ему, твоему кислороду?

— Ей-богу, не знаю, отец Савелий! Да нет, оставьте, душечка!

— Может быть сей кислород безначален?

— А идол его знает! Да ну его к лешему!

— И конца ему нет?

— Отец Савелий!.. да ну его совсем к свиньям, этот кислород. Пусть он себе будет хоть и без начала и без конца: что нам до него?

— А ты можешь ли понять, как это без начала и без конца?

Ахилла отвечал, что это он может.

И затем громко продолжал:

«Един бог во святой троице спокланяемый, он есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет».

— Аминь! — произнес с улыбкой Туберозов и, так же с улыбкой приподнявшись с своего места, взял Ахиллу дружески за руку и сказал:

— Пойдем-ка, я тебе что-то покажу.

— Извольте, — отвечал дьякон.

И оба они, взявшись под руки, вышли из комнаты, прошли весь двор и вступили на средину покрытого блестящим снегом огорода. Здесь старик стал и, указав дьякону на крест собора, где они оба столь долго предстояли алтарю, молча же перевел свой перст вниз к самой земле и строго вымолвил:

— Стань поскорей и помолись!

Ахилла опустился на колени.

— Читай: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», — произнес Савелий и, проговорив это, сам положил первый поклон.

Ахилла вздохнул и вслед за ним сделал то же. В торжественной тишине полуночи, на белом, освещенном луною пустом огороде, начались один за другим его мерно повторяющиеся поклоны горячим челом до холодного снега, и полились широкие вздохи с сладостным воплем молитвы: «Боже! очисти мя грешного и помилуй мя», которой вторил голос протопопа другим прошением: «Боже, не вниди в суд с рабом твоим». Проповедник и кающийся молились вместе.

Над Старым Городом долго неслись воздыхания Ахиллы: он, утешник и забавник, чьи кантаты и веселые окрики внимал здесь всякий с улыбкой, он сам, согрешив, теперь стал молитвенником, и за себя и за весь мир умолял удержать праведный гнев, на нас движимый!

О, какая разница была уж теперь между этим Ахиллой и тем, давним Ахиллой, который, свистя, выплыл к нам раннею зарей по реке на своем красном жеребце!

Тот Ахилла являлся свежим утром после ночного дождя, а этот мерцает вечерним закатом после дневной бури.

Старый Туберозов с качающеюся головой во все время молитвы Ахиллы сидел, в своем сером подрясничке, на крыльце бани и считал его поклоны. Отсчитав их, сколько разумел нужным, он встал, взял дьякона за руку, и они мирно возвратились в дом, но дьякон, прежде чем лечь в постель, подошел к Савелию и сказал:

— Знаете, отче: когда я молился...

— Ну?

— Казалося мне, что земля была трепетна.

— Благословен господь, что дал тебе подобную молитву! Ляг теперь с миром и спи, — отвечал протопоп, и они мирно заснули.

Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутил, что он как бы куда-то ушел из себя: как будто бы он невзначай что-то кинул и что-то другое нашел. Нашел что-то такое, что нести тяжело, но с чем и нельзя и неохота расставаться.

Это был прибой благодатных волн веры в смятенную и трепетную душу.

Ей надо было болеть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась.

Немудрый Ахилла стал мудр: он искал безмолвия и, окрепнув, через несколько дней спросил у Савелия:

— Научи же меня, старец великий, как мне себя исправлять, если на то будет божия воля, что я хоть на малое время останусь один? Силой своею я был горд, но на сем вразумлен, и на нее больше я не надеюсь...

— Да, был могуч ты и силен, а и к тебе приблизится час, когда не сам препояшешься, а другой тебя препояшет, — ответил Савелий.

— А разум мой еще силы моей ненадежней, потому что я, знаете, всегда в рассуждении сбивчив.

— На сердце свое надейся, оно у тебя бьется верно.

— А что ж я взговорю, если где надобно слово? Ведь сердце мое бессловесно.

— Слушай его, и что в нем простонет, про то говори, а с сорной земли сигающих на тебя блох отрясай!

Ахилла взялся рукой за сердце и отошел, помышляя: «Не знаю, как все сие будет?» А безотчетное предчувствие внятно ему говорило, что он скоро, скоро будет один, и оставит его вся сила его, «и иной его препояшет»

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Жуткие и темные предчувствия Ахиллы не обманули его: хилый и разбитый событиями старик Туберозов был уже не от мира сего. Он простудился, считая ночью поклоны, которые клал по его приказанию дьякон, и заболел — заболел не тяжко, но так основательно, что сразу стал на край домовины.

Чувствуя, что смерть принимает его в свои объятия, протопоп сетовал об одном, что срок запрещения его еще не минул. Ахилла понимал это и разумел, в чем здесь главная скорбь.

Туберозову не хотелось умереть в штрафных, — ему хотелось предстать пред небесною властию разрешенным властию земною. Он продиктовал Ахилле письмо, в кото-

ром извещал свое начальство о своем болезненном состоянии и умилительно просил снизойти к нему и сократить срок положенного на него запрещения. Письмо это было послано, но ответа на него не получалось.

Отец Туберозов молчал, но Ахилла прислушался к голосу своего сердца и, оставив при больном старике дьячка Павлюкана, взял почтовую пару и катнул без всякого разрешения в губернский город.

Он не многословил в объяснениях, а отдал кому следовало все, чем мог располагать, и жалостно просил исхлопотать отцу Туберозову немедленно разрешение. Но хлопоты не увенчались успехом: начальство на сей раз показало, что оно вполне обладает тем, в чем ему у нас так часто любят отказывать. Оно показало, что обладает характером, и решило, что все определенное Туберозову должно с ним совершиться, как должно совершиться все определенное высшими судьбами.

Ахилла было опять почувствовал припадок гнева, но обуздал этот порыв, и как быстро собрался в губернский город, так же быстро возвратился домой и не сказал Туберозову ни слова, но старик понял и причину его отъезда и прочел в его глазах привезенный им ответ.

Пожав своею хладеющею рукой дьяконову, Савелий проговорил:

— Не огорчайся, друг.

— Да и конечно, не огорчаюсь, — ответил Ахилла. — Мало будто вы в свою жизнь наслужились пред господом!

— Благодарю его... открыл мой ум и смысл, дал зреть его дела, — проговорил старик и, вздохнув, закрыл глаза.

Ахилла наклонился к самому лицу умирающего и заметил на его темных веках старческую слезу.

— А вот это нехорошо, баточка, — дружески сказал он Туберозову.

— Чт...т...о? — тупо вымолвил старик.

— Зачем людьми недоволен?

— Ты не понял, мой друг, — прошептал слабо в ответ больной и пожал руку Ахиллы.

Вместо Ахиллы в губернский город снова поскакал карлик Николай Афанасьич, и поскакал с решительным словом.

— Как только доступлю, — говорил он, — так уж прочь и не отойду без удовлетворения. Да-с; мне семьде-

сят годов и меня никуда заключить нельзя; я калечка и уродец!

Дьякон проводил его, а сам остался при больном.

Всю силу и мощь и все, что только Ахилла мог счесть для себя драгоценным и милым, он все охотно отдал бы за то, чтоб облегчить эту скорбь Туберозова, но это все было вне его власти, да и все это было уже поздно: ангел смерти стал у изголовья, готовый принять отходящую душу.

Через несколько дней Ахилла, рыдая в углу спальни больного, смотрел, как отец Захария, склонясь к изголовью Туберозова, принимал на ухо его последнее предсмертное покаяние. Но что это значит?.. Какой это такой грех был на совести старца Савелия, что отец Бенефактов вдруг весь так взволновался? Он как будто бы даже забыл, что совершает таинство, не допускающее никаких свидетелей, и громко требовал, чтоб отец Савелий кому-то и что-то простил! Пред чем это так непреклонен у гроба Савелий?

— Будь мирен! будь мирен! прости! — настаивал кротко, но твердо Захария. — Коль не простишь, я не разрешу тебя...

Бледный Ахилла дрожал и с замиранием сердца ловил каждое слово.

— Богом живым тебя, пока жив ты, молю... — голосно вскрикнул Захария и остановился, не докончив речи.

Умирающий судорожно привстал и снова упал, потом выправил руку, чтобы положить на себя ею крест и, благословясь, с большим усилием и расстановкой произнес:

— Как христианин, я... прощаю им мое пред всеми поругание, но то, что, букву мертвую блюдя... они здесь... божие живое дело губят...

Торжественность минуты все становилась строже: у Савелия щелкнуло в горле, и он продолжал как будто в бреду:

— Ту скорбь я к престолу... владыки царей... положу и сам в том свидетелем стану...

— Будь мирен: прости! все им прости! — ломая руки, воскликнул Захария.

Савелий нахмурился, вздохнул и прошептал: «Благо мне, яко смирил мя еси» и вслед за тем неожиданно твердым голосом договорил:

— По суду любящих имя твое просвети невежд и прости слепому и развращенному роду его жестокосердие.

Захария с улыбкой духовного блаженства взглянул на небо и осенил лицо Савелия крестом.

Лицо это уже не двигалось, глаза глядели вверх и гасли: Туберозов кончался.

Ахилла, дрожа, ринулся к нему с воплем и, рыдая, упал на его грудь.

Отходящий последним усилием перенес свою руку на голову Ахиллы и с этим уже громкий колоколец заиграл в его горле, мешаясь с журчаньем слов тихой отходной, которую читал сквозь слезы Захария.

Протопоп Туберозов кончил свое житие.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Смерть Савелия произвела ужасающее впечатление на Ахиллу. Он рыдал и плакал не как мужчина, а как нервная женщина оплакивает потерю, перенесение которой казалось ей невозможным. Впрочем, смерть протоиерея Туберозова была большим событием и для всего города: не было дома, где бы ни молились за усопшего.

В доме покойника одна толпа народа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон честному гробу, другие, чтобы посмотреть, как лежит в гробе священник. В ночь после смерти отца Савелия карлик Николай Афанасьевич привез разрешение покойного от запрещения, и Савелий был положен в гробу во всем облачении: огромный, длинный, в камилавке. Панихиды в доме его совершались беспрестанно, и какой бы священник, приходя из усердия, ни надевал лежавшую на аналое ризу и епитрахиль, чтоб отпеть панихиду, дьякон Ахилла тотчас же просил благословения на орарь и, сослужа, усердно молился.

На второй день было готово домовище и, по старому местному обычаю, доселе сохраняющемуся у нас в некоторых местах при положении священников в гроб, началась церемония торжественная и страшная. Собравшееся духовенство со свечами, в траурном облачении, обносило на руках мертвого Савелия три раза вокруг огромного

гроба, а Ахилла держал в его мертвой руке дымящееся кадило, и мертвец как бы сам окаждал им свое холодное домовище. Потом усопшего протопопа положили в гроб, и все разошлись, кроме Ахиллы; он оставался здесь один всю ночь с мертвым своим другом, и тут произошло нечто, чего Ахилла не заметил, но что заметили за него другие.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Дьякон не ложился спать с самой смерти Савелия, и три бессонные ночи вместе с напряженным вниманием, с которым он беспрестанно обращался к покойнику, довели стальные нервы Ахиллы до крайнего возбуждения.

В дьяконе замолчали инстинкты и страсти, которыми он наиболее был наклонен работать, и вместо них выступили и резкими чертами обозначились душевные состояния, ему до сих пор не свойственные.

Его вечная легкость и разметанность сменились тяжеловесностью неотвязчивой мысли и глубокою погруженностью в себя. Ахилла не побледнел в лице и не потух во взоре, а напротив, смуглая кожа его озарилась розовым, матовым подцветом. Он видел все с режущею глаз ясностью; слышал каждый звук так, как будто этот звук раздавался в нем самом, и понимал многое такое, о чем доселе никогда не думал.

Он теперь понимал все, чего хотел и о чем заботился покойный Савелий, и назвал усопшего мучеником.

Оставаясь все три ночи один при покойном, дьякон не находил также никакого затруднения беседовать с мертвецом и ожидать ответа из-под парчового воздуха, покрывавшего лицо усопшего.

— Баточка! — взывал полегоньку дьякон, прерывая чтение евангелия и подходя в ночной тишине к лежавшему пред ним покойнику: — Встань! А?.. При мне при одном встань! Не можешь, лежишь яко трава.

И Ахилла несколько минут сидел или стоял в молчании и опять начинал монотонное чтение.

На третью и последнюю ночь Ахилла вздремнул на одно короткое мгновение, проснулся за час до полуночи, сменил чтеца и запер за ним дверь.

Надев стихарь, он стал у аналоя и, прикоснувшись к плечу мертвеца, сказал:

— Слушай, баточка мой, это я теперь тебе в последнее зачитаю, — и с этим дьякон начал евангелие от Иоанна. Он прочел четыре главы и, дочитав до главы пятой, стал на одном стихе и, вздохнув, повторил дважды великое обещание: «Яко грядет час и ныне есть, егда мертвии услышат глас сына божия и, услышавши, оживут».

Повторив дважды голосом, Ахилла начал еще мысленно несколько раз кряду повторять это место и не двигался далее.

Чтение над усопшим дело не мудрое; люди, мало-мальски привычные к этому делу, исполняют его без малейшего смущения; но при всем том и здесь, как во всяком деле, чтоб оно шло хорошо, нужно соблюдать некоторые практические приемы. Один из таких приемов заключается в том, чтобы чтец, читая, не засматривал в лицо мертвеца. Поверье утверждает, что это нарушает его покой; опыт пренебрегавших этим приемом чтецов убеждает, что в глазах начинается какое-то неприятное мреянье; покой, столь нужный в ночном одиночестве, изменяет чтецу, и глаза начинают замечать тихое, едва заметное мелькание, сначала невдалеке вокруг самой книги, потом и дальше и больше, и тогда уж нужно или возобладать над собою и разрушить начало галлюцинации, или она разовьется и породит неотразимые страхи.

Ахилла теперь нимало не соблюдал этого правила, напротив, он даже сожалел, что лик усопшего закутан парчовым воздухом; но, несмотря на все это, ничто похожее на страх не смущало дьякона. Он, как выше сказано, все стоял на одном стихе и размышлял:

«Ведь он уже теперь услышал глас сына божия и ожил... Я его только не вижу, а он здесь».

И в этих размышлениях дьякон не заметил, как прошла ночь и на небе блеснула бледною янтарною чертой заря, последняя заря, осеняющая на земле разрушающийся остаток того, что было слышащим землю свою и разумевающим ее попом Савелием.

Увидя эту зарю, дьякон вздохнул и отошел от аналоя к гробу, облокотился на обе стенки домовища, так что высокая грудь Савелия пришлась под его грудью,

и, осторожно приподняв двумя перстами парчовый воздух, покрывающий лицо покойника, заговорил:

— Батя, батя, где же ныне дух твой? Где твое огнеустое слово? Покинь мне, малоумному, духа твоего!

И Ахилла припал на грудь мертвеца и вдруг вздрогнул и отскочил: ему показалось, что его насквозь что-то перебежало. Он оглянулся по сторонам: все тихо, только отяжелевшие веки его глаз липнут, и голову куда-то тянет дремота.

Дьякон отряхнулся, ударил земной поклон и испугался этого звука: ему послышалось, как бы над ним что-то стукнуло, и почудилось, что будто Савелий сидит с закрытым парчою лицом и с евангелием, которое ему положили в его мертвые руки.

Ахилла не оробел, но смутился и, тихо отодвигаясь от гроба, приподнялся на колени. И что же? по мере того как повергнутый Ахилла восставал, мертвец по той же мере в его глазах медленно ложился в гроб, не поддерживая себя руками, занятыми крестом и евангелием.

Ахилла вскочил и, махая рукой, прошептал:

— Мир ти! мир! я тебя тревожу!

И с этим словом он было снова взялся за евангелие и хотел продолжать чтение, но, к удивлению его, книга была закрыта, и он не помнил, где остановился.

Ахилла развернул книгу наудачу и прочел: «В мире бе, и мир его не позна...»

«Чего это я ищу?» — подумал он отуманенною головой и развернул безотчетно книгу в другом месте. Здесь стояло: «И возрят нань его же прободоша».

Но в то время, как Ахилла хотел перевернуть еще страницу, он замечает, что ему непомерно тягостно и что его держит кто-то за руки.

«А что же мне нужно? и что это такое я отыскиваю?.. Какое зачало? Какой ныне день?» — соображает Ахилла и никак не добьется этого, потому что он восхищен отсюда... В ярко освещенном храме, за престолом, в светлой праздничной ризе и в высокой фиолетовой камилавке стоит Савелий и круглым полным голосом, выпуская как шар каждое слово, читает: «В начале бе слово и слово бе к богу и бог бе слово». — «Что это, господи! А мне казалось, что умер отец Савелий. Я проспал пир веры!.. я пропустил святую заутреню».

Ахилла задрожал и, раскрыв глаза, увидал, что он действительно спал, что на дворе уже утро; красный огонь погребальных свеч исчезает в лучах восходящего солнца, в комнате душно от нагару, в воздухе несется заунывный благовест, а в двери комнаты громко стучат.

Ахилла торопливо провел сухой рукой по лицу и отпер двери.

— Заснул? — тихо спросил его входящий Бенефактов.

— Воздремал, — ответил дьякон, давая дорогу входившему за отцом Захарией духовенству.

— А я... знаешь... того; я не спал: я сочинял всю ночь надгробное слово, — шепнул дьякону Бенефактов.

— Что же, сочинили?

— Нет; не выходит.

— Ну; это уж так по обыкновению.

— А знаешь ли, может быть ты бы нечто сказал?

— Полноте, отец Захария, разве я ученый!

— Что же... ведь ты в стихаре... ты право имеешь.

— Да что же в том праве, отец Захария, когда дара и понимания не имею?

— А вы, сударь, возьмите-ка да поусерднее о даре помолитесь, он и придет, — вмешался шепотом карлик.

— Помолиться! Нет, друг Николаша, разве ты за меня помолись, а я от печали моей обезумел; мне даже наяву видения снятся.

— Что же, извольте, я помолюсь, — отвечал карлик.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вот весь Старогород сопровождает тело Туберозова в церковь. Обедня и отпевание благодаря Ахилле производили ужасное впечатление; дьякон, что ни начнет говорить, захлебывается, останавливается и заливается слезами. Рыдания его, разносясь в толпе, сообщают всем глубочайшую горесть.

Только во время надгробного слова, сказанного одним из священников, Ахилла смирил скорбь свою и, слушая, тихо плакал в платок; но зато когда он вышел из церкви и увидел те места, где так много лет ходил вместе с Туберозовым, которого теперь несут заключенным в гробе,

Ахилла почувствовал необходимость не только рыдать, но вопить и кричать. Дабы дать исход этим рвавшимся из души его воплям, он пел «Святый бессмертный, помилуй нас», но пел с такой силой, что слепая столетняя старуха, которую при приближении печального шествия внуки вывели за ворота поклониться гробу, вдруг всплеснула руками и, упав на колени, воскликнула:

— Ох, слышит это, слышит господь, как Ахилла под самое небо кричит!

Но вот и обведенное рвом и обсаженное ветлами место упокоения — кладбище, по которому часто любил гулять вечерами Туберозов и о порядке которого он немало заботился. Гроб пронесли под перемет темных тесовых ворот; пропета последняя лития, и белые холсты, перекатившись через насыпь отвала, протянулись над темною пропастью могилы. Через секунду раздастся последний «аминь», и гроб опустится в могилу.

Но пред этим еще надлежало произойти чему-то, чего никто не ожидал. Много раз в жизнь свою всех удивлявший Ахилла почувствовал необходимость еще раз удивить старогородцев, и притом удивить совсем в новом роде. Бледный и помертвевший, он протянул руку к одному из державших холст могильщиков и, обратясь умиленными глазами к духовенству, воскликнул:

— Отцы! молю вас... велите повременить немного... я только некое самое малое слово скажу.

Всхлипывающий Захария торопливо остановил могильщиков и, протянув обе руки к дьякону, благословил его.

Весь облитый слезами, Ахилла обтер бумажным платком покрытый красными пятнами лоб и судорожно пролепетал дрожащими устами: «В мире бе и мир его не позна»... и вдруг, не находя более соответствующих слов, дьякон побагровел и, как бы ловя высохшими глазами звуки, начертанные для него в воздухе, грозно воскликнул: «Но возрят нань его же прободоша», — и с этим он бросил горсть земли на гроб, снял торопливо стихарь и пошел с кладбища.

— Превосходно говорили государь отец дьякон! — прошептал сквозь слезы карлик.

— Се дух Савелиев бе на нем, — ответил ему разоблачавшийся Захария.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После похорон Туберозова Ахилле оставалось совершить два дела: во-первых, подвергнуться тому, чтоб «иной его препоясал», а во-вторых, умереть, будучи, по словам Савелия, «живым отрицанием смерти». Он непосредственно и торопливо принялся приближать к себе и то и другое. Освободившись от хлопот за погребальным обедом, Ахилла лег на своем войлоке в сеничном чулане и не подымался.

Прошел день, два и три, Ахилла все лежал и не показывался. Дом отца Туберозова совсем глядел мертвым домом: взойдет яркое солнце и осветит его пустынный двор — мертво; набежат грядой облачка и отразятся в стеклах его окон, словно замогильные тени, и опять ничего.

Наблюдая эту тишь, соседи стали жаловаться, что им даже жутко; а дьякон все не показывался. Стало сомнительно, что с ним такое?

Захария пошел его навещать. Долго кроткий старичок ходил из комнаты в комнату и звал:

— Дьякон, где ты? Послушай, дьякон!

Но дьякон не откликался. Наконец отец Захария приотворил дверь в темный чуланчик.

— Чего вы, отец Захария, так гласно стужаетесь? — отозвался откуда-то из темноты Ахилла.

— Да как, братец мой, чего? Где ты о сю пору находишься?

— Приотворите пошире дверь: я вот тут, в уголушке.

Бенефактов исполнил, что ему говорил Ахилла, и увидел его лежащим на примощенной к стене дощатой кроватке. На дьяконе была ровная холщовая сорочка с прямым отложным воротником, завязанным по-малороссийски длинною пестрою тесьмой, и широкие тиковые полосатые шаровары.

— Что же ты так это, дьякон? — вопросил его, ища себе места, отец Бенефактов.

— Позвольте, я подвинусь, — отвечал Ахилла, переваляcь на ближайшую к стене доску.

— Что же ты, дьякон?

— Да, вот вам и дьякон...

— Да что ж ты такое?

— Уязвлен, — ответил Ахилла.

— Да чем же ты это уязвлен?

— Смешно вы, отец Захария, спрашиваете: чем? Тем и уязвлен. Кончиной отца протопопа уязвлен.

— Да, ну что ж делать? Ведь это смерть... конечно... она враждебна... всему естеству и помыслам преграда... но неизбежно... неизбежно...

— Вот я этою преградой и уязвлен.

— Но ты... ты того... мужайся... грех... потому воля... определение...

— Ну, когда ж я и определением уязвлен!

— Но что же ты это зарядил: уязвлен, уязвлен! Это, братец, того... это нехорошо.

— Да что же осталось хорошего! — ничего.

— Ну, а если и сам понимаешь, что мало хорошего, так и надо иметь рассудок: закона природы, брат, не обойдешь!

— Да про какой вы тут, отец Захария, про «закон природы»! Ну, а если я и законом природы уязвлен?

— Да что же ты теперь будешь с этим делать?

— Тс! ах, царь мой небесный! Да не докучайте вы мне, пожалуйста, отец Захария, с своими законами! Ничего я не буду делать!

— Однако же, неужто так и будешь теперь все время лежать?

Дьякон промолчал, но потом, вздохнув, начал тихо:

— Я еще очень скорблю, а вы сразу со мной заговорили. О каком вы тут деле хотите со мной разговаривать?

— Да поправляйся скорей, вот что, потому что ведь хоть и в скорбех, а по слабости и есть и пить будем.

— Да это-то что, что про это и говорить? Есть-то и пить мы будем, а вот в этом-то и причина!

— Что, что такое? Какая причина?

— А вот та причина, что мы теперь, значит, станем об этом, что было, мало-помалу позабывать, и вдруг совсем, что ли, про него позабудем?

— А что же делать?

— А то делать, что я с моим характером никак на это не согласен, чтоб его позабыть.

— Все, братец, так; а придет время, позабудешь.

— Отец Захария! Пожалуйста, вы мне этого не говорите, потому что вы знаете, какой я в огорчении дикий.

— Ну вот еще! Нет, уж ты, брат, от грубостей воздерживайся.

— Да, воздерживайся! А кто меня от чего-нибудь теперь будет воздерживать?

— Да если хочешь, я тебя удержу!

— Полноте, отец Захария!

— Да что ты такое? Разумеется, удержу!

— Полноте, пожалуйста!

— Да отчего же полноте?

— Да так; потому что зачем неправду говорить: ни от чего вы меня не можете удержать.

— Ну, это ты, дьякон, даже просто нахал, — отвечал, обидясь, Захария.

— Да ничуть не нахал, потому что я и вас тоже люблю, но как вы можете меня воздержать, когда вы характера столь слабого, что вам даже дьячок Сергей грубит.

— Грубит! Мне все грубят! А ты больше ничего как глупо рассуждаешь!

— А вот удержите же меня теперь от этого, чтоб я так не рассуждал.

— Не хочу я тебя удерживать, да... не хочу, не хочу за то, что я пришел тебя навестить, а ты вышел грубиян... Прощай!

— Да позвольте, отец Захария! Я совсем не в том смысле...

— Нет, нет; пошел прочь: ты меня огорчил.

— Ну, бог с вами...

— Да, ты грубиян, и очень большой грубиян.

И Захария ушел, оставив дьякона, в надежде, что авось тому надоест лежать и он сам выйдет на свет; но прошла еще целая неделя, а Ахилла не показывался.

— Позабудут, — твердил он, — непременно все они его позабудут! — И эта мысль занимала его неотвязно, и он сильнейшим образом задумывался, как бы этому горю помочь.

Чтобы вызвать Ахиллу из его мурьи, нужно было особое событие.

Проснувшись однажды около шести часов утра, Ахилла смотрел, как сквозь узенькое окошечко над дверями в чуланчик пронизывались лучи восходящего солнца, как

вдруг к нему вбежал впопыхах отец Захария и объявил, что к ним на место отца Туберозова назначен новый протопоп.

Ахилла побледнел от досады.

— Что же ты не рад, что ли, этому? — вопросил Захария.

— А мне какое до этого дело?

— Как какое до этого дело? А ты спроси, кто назначен-то?

— Да разве мне не все равно?

— Академик!

— Ну вот, академик! Вишь чему вы обрадовались! Нет, ей-богу, вы еще суетны, отец Захария.

— Чего ты «суетный»? Академик — значит умный.

— Ну вот опять: умный! Да пусть себе умный: нешто мы с вами от этого поумнеем?

— Что же это, — стало быть, ученого духовенства не уважаешь?

— А разве ему не все равно, уважаю я его или не уважаю? Ему от этого ничего, а я, может быть, совсем о чем важнее думаю.

— О чем; позволь спросить, о чем?

— О вчерашнем.

— Вот ты опять грубишь!

— Да ничего я вам не грублю: вы думаете, как бы нового встретить, а я — как бы старого не забыть. Что вы тут за грубость находите?

— Ну, с тобой после этого говорить не стоит, — решил Захария и с неудовольствием вышел, а Ахилла тотчас же встал, умылся и потек к исправнику с просьбой помочь ему продать как можно скорее его дом и пару его аргамаков.

— На что это тебе? — спрашивал Порохонцев.

— Не любопытствуй, — отвечал Ахилла, — только после, когда сделаю, тогда все и увидишь.

— Хоть скажи, в каком роде?

— В таком роде, чтобы про отца Савелия не скоро позабыли, вот в каком роде.

— Пусть отец Захария о нем чаще в слове церковном напоминает.

— Что отец Захария может напоминать? Нет, он нынче уже науки любит, а я... я по-старому человека люблю.

На этом кончились переговоры, и имущество Ахиллы, согласно его желанию, было продано.

Оставалось смотреть, что он теперь станет делать.

Дьякон получил за все ему принадлежавшее двести рублей; сунул оба билетика в карман нанкового подрясника и объявил, что идет в губернию. Он уже отрубил себе от тонкой жердины дорожную дубинку, связал маленький узелок, купил на базаре две большие лепешки с луком и, засунув их в тот же карман, где лежали у него деньги, совсем готов был выступить в поход, как вдруг приехал новый протопоп Иродион Грацианский. Это был благообразный человек неопределенного возраста. По его наружному виду ему с одинаковым удобством можно было дать двадцать шесть лет, как и сорок.

Ахилла подошел к этому своему новому настоятелю и, приняв от него благословение, хотел поцеловать ему руку, но когда тот отдернул эту руку и предложил дружески поцеловаться, то Ахилла и поцеловался.

— Видишь, какой добрый! — говорил дьякону, провожая его через час, Захария.

— В чем же вы так скоро это, отец Захария, заключаете его доброcть? — отвечал небрежно Ахилла.

— Как же? даже не позволил тебе руки поцеловать, а устный поцелуй... это доброcть.

— А по-моему, это больше ничего как самая пустая поважность, — отвечал Ахилла.

Теперь он уже ожесточенно ревновал нового протопопа к месту Савелия и придирался к нему, стараясь находить в нем все нехорошее, чтоб он никак не мог сравниться с покойным Туберозовым. Чем более новый протопоп всем старогородцам нравился, тем Ахилла ожесточеннее хотел его ненавидеть.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

На другой день новый протопоп служил обедню и произнес слово, в котором расточал похвалы своему предшественнику и говорил о необходимости и обязанности поминать и чтить его заслуги.

Ахилла и Захария слушали эту проповедь из алтаря, прислоня уши свои к завесе врат. Ахиллу возмущало, что

новый протопоп так же говорит и что его слушают с неменьшим вниманием, чем Туберозова... и что он, наконец, заступается за Туберозова и поучает ценить и помнить его заслуги.

— К чему это? к чему это ему? — негодовал, идучи с Захарией из церкви, дьякон.

Он уже жестоко ненавидел нового протопопа за его успех в проповеди и лютовал на него, как ревнивая женщина. Он сам чувствовал свою несправедливость, но не мог с собой совладать, и когда Захария, взявшись устыжать его, сказал, что Грацианский во всех своих поступках благороден, Ахилла нетерпеливо переломил бывшую в его руках палочку и проговорил:

— Вот это-то самое мне и противно-с!

— Да что же, разве лучше, если б он был хуже?

— Лучше, лучше... разумеется, лучше! — перебил нетерпеливо Ахилла. — Что вы, разве не знаете, что не согрешивый не покается!

Захария только махнул рукой.

Поход Ахиллы в губернский город все день ото дня откладывался: дьякон присутствовал при поверке ризницы, книг и церковных сумм, и все это молча и негодуя бог весть на что. На его горе, ему не к чему даже было придраться. Но вот Грацианский заговорил о необходимости поставить над могилой Туберозова маленький памятник.

Ахилла так и привскочил.

— Это за что же ему «маленький» памятник, а не большой? Он у нас большое время здесь жил и свои заслуги почище другого кого оставил.

Грацианский посмотрел на Ахиллу с неудовольствием и, не отвечая ему, предложил подписку на сооружение Савелию памятника.

Подписка принесла тридцать два рубля.

Дьякон не захотел ничего подписать и резко отказался от складчины.

— Отчего же? Отчего ты не хочешь? — спрашивал его Бенефактов.

— Оттого, что суетно это, — отвечал Ахилла.

— А в чем вы видите эту суетность? — сухо вставил Грацианский.

— Да как же можно такому человеку от всего мира в тридцать два рубля памятник ставить? Этакий памятник все равно что за грош пистолет. Нет-с; меня от этой обиды ему увольте; я не подпишусь.

Вечером отец Захария, совершая обычную прогулку, зашел к Ахилле и сказал ему:

— А ты, дьякон, смотри... ты несколько вооружаешь против себя отца протопопа.

— Что?.. тсс! ах, говорите вы, пожалуйста, явственно. Что такое; чем я его вооружаю?

— Непочтением, непочтением, непокорством, вот чем: на памятник не согласился, ушел — руки не поцеловал.

— Да ведь он не желает, чтоб я у него руку целовал?

— Не желает дома, а то на службе... Это, братец, совсем другое на службе...

— Ах! вы этак меня с своим новым протопопом совсем с толку собьете! Там так, а тут этак: да мне всех этих ваших артикулов всю жизнь не припомнить, и я лучше буду один порядок держать.

Дьякон пошел к новому протопопу проситься на две недели в губернский город и насильно поцеловал у него руку, сказав:

— Вы меня извините; а то я иначе путаюсь.

И вот Ахилла на воле, на пути, в который так нетерпеливо снаряжался с целями самого грандиозного свойства: он, еще лежа в своем чулане, прежде всех задумал поставить отцу Туберозову памятник, но не в тридцать рублей, а на все свои деньги, на все двести рублей, которые выручил за все свое имущество, приобретенное трудами целой жизни. Ахилла считал эти деньги вполне достаточными для того, чтобы возвести монумент на диво временам и народам, монумент столь огромный, что идеальный план его не умещался даже в его голове.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Октябрьская ночь была холодна и сумрачна; по небу быстро неслись облака, и ветер шумел голыми ветвями придорожных ракит. Ахилла все не останавливаясь шел, и когда засерел осенний рассвет, он был уже на половине дороги и смело мог дать себе роздых.

Он свернул с дороги к большому омету соломы, прилег за ним от ветра, закрыл полой голову и заснул.

День был такой же, как ночь: холодное солнце то выглянет и заблещет, то снова занавесится тучами; ветер то свирепеет и рвет, то шипит змеей по земле. Пола, которою дьякон укутал свою голову, давно была сорвана с его головы и билась по ветру, а солнце, выскакивая из-за облак, прямо освещало его богатырское лицо. Дьякон все спал. День уже совсем обогрелся, и в вытоптанном жнивье, в котором лежал Ахилла, уткнувшись головой в солому омета, показались последние запоздалые жильцы умершей нивы: на сапог Ахиллы всползла жесткая чернокожая двухвостка, а по его бороде, едва плетясь и вздрагивая, поднялся полуокоченевший шмель. Бедное насекомое, обретя тепло и приют в густой бороде дьякона, начало копошиться и разбудило его: Ахилла громко фыркнул, потянулся, вскочил, забросил за плечи свой узел и, выпив на постоялом дворе за грош квасу, пошел к городу.

К сумеркам он отшагал и остальные тридцать пять верст и, увидев кресты городских церквей, сел на отвале придорожной канавы и впервые с выхода своего задумал попитаться: он достал перенедельничавшие у него в кармане лепешки и, сложив их одна с другою исподними корками, начал уплетать с сугубым аппетитом, но все-таки не доел их и, сунув опять в тот же карман, пошел в город. Ночевал он у знакомых семинаристов, а на другой день рано утром пришел к Туганову, велел о себе доложить и сел на коник в передней.

Прошел час и другой, Ахиллу не звали. Он уже не раз спрашивал часто пробегавшего мимо казачка:

— Дворецкий! что ж: когда меня позовут?

Но дворецкий даже и не считал нужным отвечать мужиковатому дьякону в пыльной нанковой рясе.

Не отдохнув еще как должно от вчерашнего перехода, Ахилла начал дремать, но как дрема была теперь для него не у места, то он задумал рассеяться едою, к чему недоеденные вчера куски лепешки представляли полную возможность. Но только что он достал из подрясника остаток этих лепешек и хотел обдуть налипший к ним сор, как вдруг остолбенел и потом вскочил как ужаленный и бро-

сился без всякого доклада по незнакомым ему роскошным покоям дома. По случаю он попал прямо в кабинет предводителя и, столкнувшись с ним самим лицом к лицу, воскликнул:

— Отцы! кто в бога верует, пособите мне! Посмотрите, какое со мною несчастие!

— Что, что такое с тобою? — вопросил удивленный Туганов.

— Пармен Семеныч! что я, злодей, сделал! — вопиял потерявшийся от ужаса Ахилла.

— Что ты, убил кого, что ли?

— Нет; я бежал к вам пешком, чтобы вы мне хорошо посоветовали, потому что я хочу протопопу памятник ставить за двести рублей.

— Ну так что ж? Или у тебя отняли деньги?

— Нет, не отняли, а хуже.

— Ты их потерял?

— Нет, я их съел!

И Ахилла в отчаянии поднес к глазам Туганова исподнюю корку недоеденной лепешки, к которой словно припечен был один уцелевший уголок сторублевой бумажки.

Туганов тронул своими тонкими ногтями этот уголок и, отделив его от корки, увидал, что под ним ниже еще плотнее влип и присох такой же кусок другого билета.

Предводитель не выдержал и рассмеялся.

— Да; вот, как видите, все съел, — утверждал дьякон, кусая в растерянности ноготь на своем среднем пальце, и вдруг, повернувшись, сказал: — Ну-с, затем прошу прощения, что обеспокоил, прощайте!

Туганов вступился в его спасение.

— Полно, братец, приходить в отчаяние, — сказал он, — все это ничего не значит; мне в банке обменяют твои бумажки, а ты бери у меня другие и строй памятник попу Савелию, я его любил.

И с этим он подал Ахилле два новые сторублевые билета, а его объедки прибрал для приобщения к фамильным антикам.

Эта беда была поправлена, но начиналась другая: надо было сочинить такой памятник, какого хотел, но не мог никак сообразить Ахилла.

Он и эту беду поверг на воззрение Туганова.

— Я хочу, Пармен Семеныч, — говорил он, — чтобы памятник за мои деньги был как можно крепкий и обширный.

— Пирамиду закажи из гранита.

Туганов велел подать себе из шкафа одну папку и, достав оттуда рисунок египетской пирамиды, сказал:

— Вот такую пирамиду!

Мысль эта Ахилле страшно понравилась, но он усумнился, хватит ли у него денег на исполнение? Он получил в ответ, что если двухсот рублей не хватит, то Туганов, уважая старика Туберозова, желает сам приплатить все, что недостанет.

— А ты, — молвил он, — будешь строитель, и строй по своему усмотрению, что хочешь!

— Вот уж это... — заговорил было, растерявшись, Ахилла, но вместо дальнейших слов ударил поклон в землю и, неожиданно схватив руку Туганова, поцеловал ее.

Туганов был тронут: назвал Ахиллу «добрым мужиком» и предложил ему поместиться у него на мезонине.

Дьякон немедленно перешел от семинаристов на двор к предводителю и начал хлопотать о заказе камня. Он прежде всего старался быть крайне осторожным.

— Что такое? — говорил он себе, — ведь и вправду точно, куда я стремлюсь, туда следом за мной и все беспорядки.

И он молил бога, хоть теперь, хоть раз в жизни, избавить его от всех увлечений и сподобить его исполнить предпринимаемое дело вполне серьезно.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дьякон обошел всех известных в городе монументщиков и остановился на самом худшем, на русском жерновщике, каком-то Попыгине. Два монументщика из немцев рассердили дьякона тем, что всё желали знать, «позволит ли масштаб» построить столь большую пирамиду, какую он им заказывал, отмеряя расстояние попросту шагами, а вышину подъемом руки.

Жерновщик Попыгин понял его короче: они всё размерили шагами и косыми саженями, и уговорились они тоже

на слове, ударили по рукам, и пирамида была заказана и исполнялась. Ахилла смотрел, как двигали, ворочали и тесали огромные камни, и был в восторге от их больших размеров.

— Вот этак-то лучше без мачтаба, — говорил он, — как хотим, так и строим.

Русский мастер Попыгин его в этом поддерживал.

Туганов выслушивал рапорты Ахиллы о движении работ и ни о чем с ним не спорил, ни в чем не противоречил. Он тешил этого богатыря памятником, как огорченного ребенка тешат игрушкой.

Через неделю и пирамида и надписание были совсем готовы, и дьякон пришел просить Туганова взглянуть на чудесное произведение его творческой фантазии. Это была широчайшая расплюснутая пирамида, с крестом наверху и с большими вызолоченными деревянными херувимами по углам.

Туганов осмотрел монумент и сказал: «живет»; а дьякон был просто восхищен. Пирамиду разобрали и разобранную повезли на девяти санях в Старгород. На десятых санях сзади обоза ехал сам Ахилла, сидя на корточках, в засаленном тулупе, между четырех деревянных вызолоченных и обернутых рогожей херувимов. Он был в восторге от великолепия памятника, но к его восторгу примешивалось некоторое беспокойное чувство: он боялся, как бы кто не стал критиковать его пирамиды, которая была для него заветным произведением его ума, вкуса, преданности и любви к усопшему Савелию. Чтоб избежать критиканов, Ахилла решил довершить пышное сооружение как можно секретнее и, прибыв в Старгород ночью, появился только одному Захарии и ему рассказал все трудности, преодоленные им при исполнении пирамиды.

Но Ахилле не удалось собрать монумент в секрете. Разложенные на подводах части пирамиды Савелия на следующее же утро сделались предметом всеобщего внимания. Собравшиеся кучи горожан были особенно заинтересованы сверкавшими из рогож руками и крыльями золоченых херувимов; эти простые люди горячо спорили и не могли решить, какого свойства эти херувимы: серебряные они или позолоченные?

— Серебряные и позолоченные, а в середке бриллиантами наколоченные, — разъяснил им Ахилла, в это же самое время расталкивая сограждан, толпившихся вокруг собирателей пирамиды.

Докучали Ахилле и граждане высших сфер. Эти, как ему показалось, даже прямо нарочно пришли с злобною целию критиковать.

— Это просто я не знаю как и назвать, что это такое! Все, все, все как есть нехорошо. Ах ты боже мой! Можно ли так человека огорчать? Ну, если не нравится тебе, нехорошо, — ну, потерпи, помолчи, уважь... ведь я же старался... Тьфу! Что за поганый народ — люди!

И не самолюбивый и не честолюбивый Ахилла, постоянно раздражаясь, дошел до того, что стал нестерпим: он не мог выносить ни одного слова о Туберозове. Самые похвалы покойнику приводили его в азарт: он находил, что без них лучше.

— Что хвалить! — говорил он Бенефактову. — Вы, отец Захария, воля ваша, легкомысленник; вы вспоминаете про него словно про молоко в коровий след.

— Да я разве что худое про него говорю?

— Да не надо ничего про него говорить, теперь не такое время, чтобы про сильно верующих спорить.

— Ишь ты цензор какой! Значит, его и похвалить нельзя?

— Да что его хвалить? Он не цыганская лошадь, чтоб его нахваливать.

— Ты совершенно, совершенно несуразный человек, — говорил Захария, — прежде ты был гораздо лучше.

С другими Ахилла был еще резче, чем с Бенефактовым, и, как все, признав раздражительность Ахиллы, стали избегать его, он вдруг насел на одну мысль: о тщете всего земного и о смерти.

— Как вы хотите-с, — рассуждал он, — а это тоже не пустое дело-с вдруг взять и умереть и совсем бог знает где, совсем в другом месте очутиться.

— Да тебе рано об этом думать, ты еще не скоро умрешь, — утешал его Захария.

— Почему вы это, отец Захария, предусматриваете?

— По сложению твоему... и уши у тебя какие... крепкие.

— Да по сложению-то и по ушам мне и самому, разумеется, пожалуй, ввек не умереть, а долбней бы добивать меня надо; но это... знаете, тоже зависит и от фантазии, и потому человек должен об этом думать.

И, наконец, дьякон впал взаправду в тягостнейшую ипохондрию, которую в нем стали и замечать, и заговорили, что он на себя смерть зовет.

С этих пор каморочка завещанного на школу протопопского дома, где до времени ютился философствующий Ахилла, сделалась для одних предметом участливого или любопытного внимания, а для других местом таинственного страха.

Протоиерей Грацианский, навестив дьякона, упрекал его за добровольное изгнание и убеждал, что такое удаление от людей неблагоразумно, но Ахилла спокойно отвечал:

— Благоразумного уже поздно искать: *он похоронен.*

Лекарю Пуговкину, которого дьякон некогда окунал и который все-таки оставался его приятелем и по дружбе пришел его утешить и уверять, что он болен и что его надо лечить, Ахилла вымолвил:

— Это ты, друг, правду говоришь: я всеми моими мнениями вокруг рассеян... Размышляю — не знаю о чем, и все... меня... знаешь, мучит (Ахилла поморщился и докончил шепотом) тоска!

— Ну да, у тебя очень возвышенная чувствительность.

— Как ты назвал?

— У тебя возвышенная чувствительность.

— Вот именно чувствительность! Все меня, знаешь, давит, и в груди как кол, и я ночью сажусь и долговременно не знаю о чем сокрушаюсь и плачу.

Приехала навестить его духовная дочь Туберозова, помещица Серболова. Ахилла ей обрадовался. Гостья спросила его:

— Чем же это вы, отец дьякон, разболелись? Что с вами такое сделалось?

— А у меня, сударыня, сделалась возвышенная чувствительность: после отца протопопа все тоска и слезы.

— У вас возвышенные чувства, отец дьякон, — отвечала дама.

— Да... грудь спирает, и все так кажется, что жить больше незачем.

— Откуда вы это взяли, что вам жить не надо?

— А пришли ко мне три сестрицы: уныние, скука и печаль, и все это мне открыли. Прощайте, милостивая государыня, много ценю, что меня посетили.

И дьякон выпроводил ее, как выпроваживал всех других, и остался опять со своими «тремя сестрицами» и возвышенною чувствительностью.

Но вдруг произошло событие, по случаю которого Ахилла встрепенулся: событие это была смерть карлика Николая Афанасьевича, завещавшего, чтоб его хоронили отец Захария и Ахилла, которым он оставил за то по пяти рублей денег да по две пары чулок и по ночному бумажному колпачку своего вязанья.

Возвратясь с похорон карлика, дьякон не только как бы повеселел, а даже расшутился.

— Видите, братцы мои, как *она* по ряду всю нашу дюжину обирать зачала, — говорил он, — вот уже и Николай Афанасьевич помер: теперь скоро и наша с отцом Захарией придет очередь.

И Ахилла не ошибался. Когда он ждал *ее* встречи, *она,* милостивая и неотразимая, стояла уже за его плечами и приосеняла его прохладным крылом своим.

Хроника должна тщательно сберечь последние дела богатыря Ахиллы — дела, вполне его достойные и пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Старгород оживал в виду приближения весны: река собиралась вскрыться, синела и пучилась; по обоим берегам ее росли буяны кулей с хлебом и ладились широкие барки.

Из голодавших зимой деревень ежедневно прибывали в город толпы оборванных мужиков в лаптях и белых войлочных колпачках. Они набивались в бурлаки из одних податей и из хлеба и были очень счастливы, если их брали сплавлять в далекие страны тот самый хлеб, которого недоставало у них дома. Но и этого счастья, разумеется, удостоивались не все. Предложение труда далеко превы-

шало запрос на него. Об этих излишних людях никто не считал себя обязанным заботиться; нанятые были другое дело: о них заботились. Их подпускали к пище при приставниках, которые отгоняли наголодавшихся от котла, когда они наедались в меру. До отвала наголодавшимся нельзя давать есть; эти, как их называют, «жадники» объедаются, «не просиживают зобов» и мрут от обжорства. Недавно два такие голодные «жадника» — родные братья, рослые ребята с Оки, сидя друг против друга за котлом каши, оба вдруг покатились и умерли. Лекарь вскрыл трупы и, ища в желудке отравы, нашел одну кашу; кашей набит растянутый донельзя желудок; кашей набит был пищевод, и во рту и в гортани везде лежала все та же самая съеденная братьями каша. Грех этой кончины падал на приставника, который не успел вовремя отогнать от пищи наголодавшихся братьев «жадников». Недосмотр был так велик, что в другой артели в тот же день за обедом посинели и упали два другие человека; эти не умерли только благодаря тому, что случился опытный человек, видавший уже такие виды. Объевшихся раздели донага и держали животами пред жарким костром. Товарищи наблюдали, как из вытапливаемых бурлаков валил пар, и они уцелели и пошли на выкормку.

Все это сцены, известные меж теми, что попадали с мякины на хлеб; но рядом с этим шли и другие, тоже, впрочем, довольно известные сцены, разыгрываемые оставшимися без хлеба: ночами, по глухим и уединенным улицам города, вдруг ни с того ни с сего начали показываться черти. Один такой внезапный черт, в полной адской форме, с рогами и когтями, дочиста обобрал двух баб, пьяного кузнеца и совершенно трезвого приказного, ходившего на ночное свидание с купеческою дочерью. Ограбленные уверяли, что у черта, которому они попались в лапы, были бычьи рога и когти, совершенно как железные крючья, какими бурлаки, нагружая барки, шпорят кули. По городу никто не стал ходить, чуть догорала вечерняя зорька, но черт все-таки таскался; его видели часовые, стоявшие у соляных магазинов и у острога. Он даже был так дерзок, что подходил к солдатам ближе, чем на выстрел, и жалостно просил у них корочки хлеба. Посланы были ночные патрули, и один из них, под командой самого исправника, давно известного нам Воина

Порохонцева, действительно встретил черта, даже окликнул его, но, получив от него в ответ «свой», оробел и бросился бежать. Ротмистр, не полагаясь более на средства полиции, отнесся к капитану Повердовне и просил содействия его инвалидной команды к безотлагательной поимке тревожащего город черта; но капитан затруднялся вступить в дело с нечистым духом, не испросив на то особого разрешения у своего начальства, а черт между тем все расхаживал и, наконец, нагнал на город совершенный ужас. В дело вмешался протоиерей Грацианский: он обратился к народу с речью о суеверии, в которой уверял, что таких чертей, которые снимают платки и шинели, вовсе нет и что бродящий ночами по городу черт есть, всеконечно, не черт, а какой-нибудь ленивый бездельник, находящий, что таким образом, пугая людей в костюме черта, ему удобнее грабить. На протопопа возгорелось сильное негодование. Уставщик раскольничьего молитвенного дома изъяснил, что в этом заключается ересь новой церкви, и без всякого труда приобщил к своей секте несколько овец из соборного стада. Черт отмстил Грацианскому за его отрицание еще и иным способом: на другой же день после этой проповеди, на потолке, в сенях протопопского дома, заметили следы грязных сапогов. Разумеется, это всех удивило и перепугало: кто бы это мог ходить по потолку кверху ногами? Решено было, что этого никто иной не мог сделать, как черт, и протопоп был бессилен разубедить в этом даже собственную жену. Вопреки его увещаниям, отважный демон пользовался полным почетом: его никто не решался гневать, но и никто зато после сумерек не выходил на улицу.

Однако черт пересолил, и ему зато пришлось очень плохо; на улицах ему не стало попадаться ровно никакой поживы. И вот вслед за сим началось похищение медных крестов, складней и лампад на кладбище, где был погребен под пирамидой отец Савелий.

Город, давно напуганный разными проделками черта, без всяких рассуждений отнес и это святотатство к его же вражеским проказам.

Осматривавшие кражу набрели, между прочим, и на повреждения, произведенные на памятнике Савелия: крест и вызолоченная главка, венчавшие пирамиду, были сильно помяты ломом и расшатаны, но все еще держались

на крепко заклепанном стержне. Зато один из золоченых херувимов был сорван, безжалостно расколот топором и с пренебрежением брошен, как вещь, не имеющая никакой ходячей ценности.

Извещенный об этом Ахилла осмотрел растревоженный памятник и сказал:

— Ну, будь ты сам Вельзевул, а уж тебе это даром не пройдет.

•

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В следующую за сим ночь, в одиннадцатом часу, дьякон, не говоря никому ни слова, тихо вышел из дому и побрел на кладбище. Он имел в руке длинный шест и крепкую пеньковую петлю.

Никого не встретив и никем не замеченный, Ахилла дошел до погоста в начале двенадцатого часа. Он посмотрел на ворота; они заперты и слегка постукивают, колеблемые свежим весенним ветром. Черт, очевидно, ходит не в эти ворота, а у него должна быть другая большая дорога.

Ахилла взял в сторону и попробовал шестом рыхлый снег, наполнявший ров, которым окопано кладбище. Палка, проткнув легкий ледяной налет, сразу юркнула и ушла до половины. Канава была глубиной аршина два с половиной, а с другой стороны этой канавы шел обмерзший и осклизший глинистый отвал.

Ахилла воткнул шест покрепче, оперся на него и, взвившись змеем, перелетел на другую сторону окопа. Эта воздушная переправа совершена была Ахиллой благополучно, но самый шест, на котором он сделал свой гигантский скачок, не выдержал тяжести его массивного тела и переломился в ту самую минуту, когда ноги дьякона только что стали на перевале. Ахилла над этим не задумался; он надеялся найти на кладбище что-нибудь другое, что с таким же точно удобством сослужило бы ему службу при обратной переправе; да и притом его вдруг охватило то чувство, которое так легко овладевает человеком ночью на кладбище. Страшно не страшно, а на душе как-то строго, и все пять чувств настораживаются остро и проницательно. Ахилла широко вдохнул в себя

большую струю воздуха, снял с головы черный суконный колпачок и, тряхнув седыми кудрями, с удовольствием посмотрел, как луна своим серебряным светом заливает «божию ниву». На душе его стало грустно и в то же время бодро; он вспомнил старые годы своей минувшей удали и, взглянув на луну, послал ей шутливый привет:

— Здравствуй, казацкое солнышко!

Тишь, беспробудность, настоящее место упокоения! Но вот что-то ухнуло, словно вздох... Нет, это ничего особенного, это снег оседает. И Ахилла стал смотреть, как почерневший снег точно весь гнется и волнуется. Это обман зрения; это по лунному небу плывут, теснясь, мелкие тучки, и от них на землю падает беглая тень. Дьякон прошел прямо к могиле Савелия и сел на нее, прислонясь за одного из херувимов. Тишь, ничем ненарушимая, только тени всё беззвучно бегут и бегут, и нет им конца.

На дьякона стал налегать сон; он поплотней прислонился к пирамиде и задремал, но ненадолго; ему вдруг почудилось, как будто кто-то громко топнул; Ахилла открыл глаза: все было тихо, только небо изменилось; луна побледнела, и по серой пирамиде Савелия ползла одна длинная и широкая тень. Тучилось и пахло утром. Ахилла встал на ноги, и в эту минуту ему опять показалось, что по кладбищу кто-то ходит.

Дьякон обошел пирамиду: никого нет.

Есть как будто что-то похожее на недавние следы, но кто теперь отличит свежий след от вчерашнего, когда снег весь взялся жидким киселем и нога делает в нем почти бесформенную яму. В городе прокричали утренние петухи. Нет, верно черта сегодня не будет...

Ахилла побрел назад к тому месту, где он перепрыгнул на кладбище. Без всякого затруднения нашел он этот лаз и без задумчивости взялся рукой за торчащий из канавы длинный шест, но вспомнил, что он свой шест переломил... откуда же опять взялся целый шест?

«Диковина!» — подумал дьякон, и, удостоверясь, что шест ему не мерещится, а действительно стремит из канавы, он уже готов был на нем прыгнуть, как вдруг сзади через плечи на грудь его пали две огромные лапы, покрытые лохматою черною шерстью, с огромными железными когтями.

Черт!

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Ахилла быстро принагнулся в коленах и, подобравшись таким приемом под наседавшего на него черта, схватил его за лапы и дернул за них так сильно, что подбородок черта звонко ляскнул о маковку дьякона и так и прилип к ней. Не ожидавший такого исхода черт отчаянно закопошился, но скоро, поняв тщету своих усилий, стих и, глухо застонав, повис за спиной у дьякона. Он не только не мог вырываться, но не мог даже произнести ни одного слова, потому что челюсти его были точно прессом прижаты к макушке Ахиллы. Все движения, какие черт мог делать, заключались в дрыганье ногами, но зато ими демон воспользовался с адским коварством.

Ахилла, держа на себе черта с такою же легкостью, с какою здоровый мужик несет сноп гороху, сделал несколько шагов назад на кладбище и, разбежавшись, прыгнул через канаву, но лукавый черт воспользовался этим мгновением и ловко обвил своими ногами разметанные по воздуху ноги дьякона в тот самый момент, когда оба они были над канавой. Неожиданно опутанный Ахилла потерял баланс и рухнул вместе с своею ношей в холодную студень канавы.

От страшного холода он чуть было не разжал рук и не выпустил черта, но одолел себя и стал искать других средств к спасению. Но, увы! средств таких не было; гладкие края канавы были покрыты ледянистою корой, и выкарабкаться по ним без помощи рук было невозможно, а освободить руки значило упустить черта. Ахилла этого не хотел. Он попробовал кричать, но его или никто не слыхал, или кто и слышал, тот только плотнее запирался, дескать: «кого-то опять черт дерет».

Дьякон понял, что он не может надеяться ни на какую помощь от запуганного населения, но не выпускал черта и дрог с ним в канаве. Оба они окоченели и, может быть, оба здесь умерли бы, если б их не выручил случай.

Ранним утром к городской пристани тянулся обоз со спиртом. Проходя дорогой мимо кладбища, мужики заметили в канаве какую-то необыкновенную группу и остановились, но, разглядев в ней синее лицо человека, над котором сзади возвышалась рогатая морда черта, бросились прочь. Застывший Ахилла, собрав все силы и позвав

мужиков, велел им смотреть за чертом, а сам вытащил из канавы руку и перекрестился.

— Это, ребята, крещеный! — крикнули мужики и, вытащив дьякона с чертом из канавы, всунули в утор одной бочки соломинку и присадили к ней окоченелого Ахиллу, а черта бросили на передок и поехали в город.

Потянув немножко спирту, дьякон вздрогнул и повалился в сани. Состояние его было ужасное: он весь был мокр, синь, как котел, и от дрожи едва переводил дыхание. Черт совсем лежал мерзлою кочерыжкой; так его, окоченелого, и привезли в город, где дьякон дал знак остановиться пред присутственными местами.

Здесь Ахилла снял черта с саней и, велев его внести в канцелярию, послал за исправником, а сам, спросив у сторожа сухую рубашку и солдатскую шинель, переоделся и лег на диване.

Город, несмотря на ранний час утра, был уже взволнован новостию, и густая толпа народа, как море вокруг скалы, билась около присутственных мест, где жил в казенной квартире сам ротмистр Порохонцев. Народ, шумя, напирал и ломился на крыльцо, желая видеть и черта, который расколол херувима, да и дьякона, совершившего поимкой этого черта до сих пор никому не удавшийся подвиг. Сквозь эту толпу, несмотря на свой сан и значение, с трудом могли пробираться самые влиятельные лица города, как-то: протоиерей Грацианский, отец Захария и капитан Повердовня, да и то они пробились лишь потому, что толпа считала присутствие священников при расправе с чертом религиозною необходимостью, а капитан Повердовня протеснился с помощию сабельного эфеса, которым он храбро давал зуботычины направо и налево.

Этот офицер теперь тоже здесь был чрезвычайно необходим, и притом со всею своею храбростию, потому что городу угрожал бунт.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пока внизу люди кипели и волновались вокруг дома, скрывшего необычайное явление, не менее суеты происходило и в самом доме. Исправник, ротмистр Порохонцев, выскочил в канцелярию в спальных бумазейных пантало-

нах и фланелевой куртке и увидал, что там, скорчась в комочек на полу, действительно сидит черт с рогами и когтями, а против него на просительском диване лежит и дрожит огромная масса, покрытая поверх солдатской шинели еще двумя бараньими шубами: это был дьякон.

Над чертом в различных позах стояла вся старогородская аристократия, но лица не выражали ни малейшего страха от близости демона. Бояться было и нечего: всякий мог видеть, что этот черт был что-то жалкое, дрожащее от холода и обороченное кое-как в ветхие лохмотья старой войлочной бурки, подаренной когда-то, по совершенной ее негодности, дьяконом Ахиллой комиссару Данилке. На голове черта, покрытой тою же буркой, торчали скверно и небрежно привязанные грязною бечевкой коровьи рога, а у рук, обмотанных обрывками вывернутой овчины, мотались два обыкновенные железные крюка, которыми поднимают кули. А что всего страннее, так это то, что один из солдатиков, запустив черту за пазуху свою руку, вытащил оттуда на шнурке старый медный крест с давленною надписью: «Да воскреснет бог и расточатся врази его».

— Я вам говорил, что это обман, — заметил протоиерей Грацианский.

— Да, да; по костюму совершенно черт, а по образку совершенно не черт, — поддержал его Захария и, тотчас же подскочив к этому сфинксу, запытал: — Послушай, братец: кто ты такой? А? Слышишь, что я говорю?.. Любезный!.. А? Слышишь?.. Говори... А то сечь будем!.. Говори!.. — добивался Захария.

Но тут вступился исправник и принялся сам допрашивать черта, но также безуспешно.

Черт, начав отогреваться и приходя в себя, только тихо заворочался и, как черепаха, еще глубже ушел в свою бурку.

Из различных уст подавались различные мнения: как же теперь быть с этим чертом? Исправник полагал отослать его прямо в таком виде, как он есть, к губернатору, и опирался в этом на закон о чудовищах и уродцах; но всеобщее любопытство страшно восставало против этого решения и изобретало всякие доводы для убеждения исправника в необходимости немедленно же разоблачить

демона и тем удовлетворить всеобщее нетерпеливое и жгучее любопытство.

Не спорили только два лица: это голова и отец Захария, но и то они не спорили потому, что были заняты особыми расследованиями: голова, низенький толстый купец, все потихоньку подкрадывался к черту то с той, то с другой стороны и из изнавести крестил и затем сам тотчас же быстро отскакивал в сторону, чтобы с ним вместе не провалиться, а Захария тормошил его за рожки и шептал под бурку:

— Послушай, братец, послушай: ты мне одно скажи, это ты у отца протопопа вверх ногами по потолку ходил? Признайся, и сечь не будем.

— Я, — глухо простонал черт.

Это первое произнесенное демоном слово произвело в присутствующих неожиданную панику, которая еще увеличилась дошедшими до них в эту минуту дикими воплями народа снаружи. Потерявшая терпение толпа ломилась наверх, требуя, чтобы черт немедленно же был ей предъявлен, причем громогласно выражалось самое ярое подозрение, что полиция возьмет с черта взятку и отпустит его обратно в ад. В толпе нашлись люди, которые прямо предлагали высадить двери правления и насильно взять черта из рук законной власти. За угрозой почти непосредственно последовало и исполнение: раздались удары в двери; но ротмистр нашелся, что сделать: он мигнул квартальному, который тотчас же выкатил пожарную трубу, взлез со шприцем на забор и пустил в толпу сильную холодную струю. Сигнал был дан, и пошла потеха. Народ на минуту отхлынул, раздались веселые крики, свистки и хохот, но через минуту все эти развеселившиеся люди вдруг принасупились, закусили губы и двинулись вперед. Холодная душь более никого не пугала: дверь затрещала, в окна полетели камни, а квартального стащили за ноги с забора и, овладев шприцем, окачивали его в глазах начальства. Исправник, а за ним и все бывшие с ним аристократы шарахнулись во внутренние покои и заперлись на замок, а не успевший за ними туда капитан Повердовня бегал по канцелярии и кричал:

— Господа! ничего!.. не робеть!.. С нами бог!.. У кого есть оружие... спасайтесь!

И с этим, увидя растворенный канцелярский шкаф, он быстро вскочил в него и захлопнул дверцы; а между тем в комнату через разбитые окна еще ожесточеннее падали камни. У самого черта вырвался крик ужаса и отчаяния.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Минута была самая решительная: она ждала своего героя, и он явился. Шубы, которыми был закрыт всеми позабытый Ахилла, зашевелясь, слетели на пол, а сам он, босой, в узком и куцем солдатском белье, потрошил того, кто так недавно казался чертом и за кого поднялась вся эта история, принявшая вид настоящего открытого бунта.

— Раздевайся! — командовал дьякон, — раздевайся и покажи, кто ты такой, а то я все равно все это с тебя вместе с родной кожей сниму.

И говоря это, он в то же время щипал черта, как ретивая баба щиплет ошпаренного цыпленка.

Одно мгновение — и черта как не бывало, а пред удивленным дьяконом валялся окоченевший мещанин Данилка.

Ахилла поднес его к окну и, высунув голову сквозь разбитую раму, крикнул:

— Цыть, дураки! Это Данилка чертом наряжался! Глядите, вот он.

И дьякон, подняв пред собою синего Данилку, сам в то же время выбрасывал на улицу одну за другою все части его убранства и возглашал:

— А вот его коготки! а вот его рожки! а вот вам и вся его амуниция! А теперь слушайте: я его допрошу.

И оборотя к себе Данилку, дьякон с глубоким и неподдельным добродушием спросил его:

— Зачем ты, дурачок, так скверно наряжался?

— С голоду, — прошептал мещанин.

Ахилла сейчас же передал это народу и непосредственно вслед за тем вострубил своим непомерным голосом:

— Ну, а теперь, православные, расходитесь, а то, спаси бог, ежели начальство осмелеет, оно сейчас стрелять велит.

Народ, весело смеясь, стал расходиться.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Начальство действительно «осмелело», выползло и приступило к распорядкам.

Мокрого и едва дышащего Данилку переодели в сухую арестантскую свиту и стали серьезно допрашивать. Он винился, что с голоду и холоду, всеми брошенный и от всех за свое беспутство гонимый, он ходил и скитался, и надумался, наконец, одеться чертом, и так пугал ночами народ и таскал, что откуда попало, продавал жиду и тем питался. Ахилла все это внимательно слушал. Кончился допрос, он все смотрел на Данилку и ни с того ни с сего стал замечать, что Данилка в его глазах то поднимется, то опустится. Ахилла усиленно моргнул глазами, и опять новая притча. Данилка теперь становится то жарко-золотым, то белым серебряным, то огненным, таким, что на него смотреть больно, то совсем стухнет, и нет его, а меж тем он тут. Следить за всеми этими калейдоскопическими превращениями больно до нестерпимости, а закроешь глаза, все еще пестрее и еще хуже режет.

«Фу ты, что это такое!» — подумал себе дьякон и, проведя рукой по лицу, заметил, что ладонь его, двигаясь по коже лица, шуршит и цепляется, будто сукно по фланели. Вот минута забвения, в крови быстро прожгла огневая струя и, стукнув в темя, отуманила память. Дьякон позабыл, зачем он здесь и зачем тут этот Данилка стоит общипанным цыпленком и беззаботно рассказывает, как он пугал людей, как он щечился от них всякою всячиной и как, наконец, нежданно-негаданно попался отцу дьякону.

— Ну, а расскажи же, — спрашивает его опять Захария, — расскажи, братец, как ты это у отца протоиерея вверх ногами по потолку ходил?

— Просто, батюшка, — отвечал Данилка, — я снял сапоги, вздел их голенищами на палочку, да и клал по потолку следочки.

— Ну, отпустите же его теперь, довольно вам его мучить, — неожиданно отозвался, моргая глазами, Ахилла.

На него оглянулись с изумлением.

— Что вы это говорите? как можно отпустить святотатца? — остановил его Грацианский.

— Ну, какой там еще святотатец? Это он с голоду. Ей-богу отпустите! Пусть он домой идет.

Грацианский, не оборачиваясь к Ахилле, заметил, что его заступничество неуместно.

— Отчего же... за бедного человека, который с голоду... апостолы класы восторгали...

— Да что вы это? — строго повернулся протопоп, — вы социалист, что ли?

— Ну, какой там «социалист»! Святые апостолы, говорю вам, проходя полем, класы исторгали и ели. Вы, разумеется, городские иерейские дети, этого не знаете, а мы, дети дьячковские, в училище, бывало, сами съестное часто воровали. Нет, отпустите его, Христа ради, а то я его все равно вам не дам.

— Что вы, с ума, что ли, сошли? Разве вы смеете!..

Но дьякону эти последние слова показались столь нестерпимо обидными, что он весь побагровел и, схватив на себя свой мокрый подрясник, вскричал:

— А вот я его не дам, да и только! Он мой пленник, и я на него всякое право имею.

С этим дьякон, шатаясь, подошел к Данилке, толкнул его за двери и, взявшись руками за обе притолки, чтобы никого не выпустить вслед за Данилкой, хотел еще что-то сказать, но тотчас же почувствовал, что он растет, ширится, пышет зноем и исчезает. Он на одну минуту закрыл глаза и в ту же минуту повалился без чувств на землю.

Состояние Ахиллы было сладостное состояние забвенья, которым дарит человека горячка. Дьякон слышал слова: «буйство», «акт», «удар», чувствовал, что его трогают, ворочают и поднимают; слышал суету и слезные просьбы вновь изловленного на улице Данилки, но он слышал все это как сквозь сон, и опять рос, опять простирался куда-то в бесконечность, и сладостно пышет и перегорает в огневом недуге. Вот это *она*, кончина жизни, *смерть*.

О поступке Ахиллы был составлен надлежащий акт, с которым старый сотоварищ, «старый гевальдигер», Воин Порохонцев, долго мудрил и хитрил, стараясь представить выходку дьякона как можно невиннее и мягче, но тем не менее дело все-таки озаглавилось: *«О дерзостном буйстве, произведенном в присутствии старогородского полицей-*

*ского правления соборным дьяконом Ахиллою Десницыным».*

Ротмистр Порохонцев мог только вычеркнуть слово «дерзостном», а «буйство» Ахиллы сделалось предметом дела, по которому рано или поздно должно было пасть строгое решение.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Ахилла ничего этого не знал: он спокойно и безмятежно горел в огне своего недуга на больничной койке. Лекарь, принявший дьякона в больницу, объявил, что у него жестокий тиф, прямо начинающийся беспамятством и жаром, что такие тифы обязывают медика к предсказаниям самым печальным.

Ротмистр Порохонцев ухватился за эти слова и требовал у врача заключения: не следует ли поступок Ахиллы приписать началу его болезненного состояния? Лекарь взялся это подтвердить. Ахилла лежал в беспамятстве пятый день при тех же туманных, но приятных представлениях и в том же беспрестанном ощущении сладостного зноя. Пред ним на утлом стульчике сидел отец Захария и держал на голове больного полотенце, смоченное холодною водой. Ввечеру сюда пришли несколько знакомых и лекарь.

Дьякон лежал с закрытыми глазами, но слышал, как лекарь сказал, что кто хочет иметь дело с душой больного, тот должен дорожить первою минутой его просветления, потому что близится кризис, за которым ничего хорошего предвидеть невозможно.

— Не упустите такой минуты, — говорил он, — у него уже пульс совсем ненадежный, — и затем лекарь начал беседовать с Порохонцевым и другими, которые, придя навестить Ахиллу, никак не могли себе представить, что он при смерти, и вдобавок при смерти от простуды! Он, богатырь, умрет, когда Данилка, разделявший с ним холодную ванну, сидит в остроге здоров-здоровешенек. Лекарь объяснял это тем, что Ахилла давно был сильно потрясен и расстроен.

— Да, да, да, вы говорили... — у него возвышенная чувствительность, — пролепетал Захария.

— Странная болезнь, — заметил Порохонцев, — и тут все новое! Я сколько лет живу и не слыхал такой болезни.

— Да, да, да... — поддержал его Захария, — утончаются обычаи жизни и усложняются болезни.

Дьякон тихо открыл глаза и прошептал:

— Дайте мне питки!

Ему подали металлическую кружку, к которой он припал пламенными губами и, жадно глотая клюковное питье, смотрел на всех воспаленными глазами.

— Что, наш орга́н дорогой, как тебе теперь? — участливо спросил его голова.

— Огустел весь, — тяжело ответил дьякон, и через минуту совсем неожиданно заговорил в повествовательном тоне: — Я после своей собачонки Какваски... — когда ее мальпост колесом переехал... хотел было себе еще одного песика купить... Вижу в Петербурге на Невском собачéя... и говорю: «Достань, говорю, мне... хорошенькую собачку...» А он говорит: «Нынче, говорит, собак нет, а теперь, говорит, пошли все понтера́ и сетера́»... — «А что, мол, это за звери?..» — «А это те же самые, говорит, собаки, только им другое название».

Дьякон остановился.

— Вы это к чему же говорите? — спросил больного смелым, одушевляющим голосом лекарь, которому казалось, что Ахилла бредит.

— А к тому, что вы про новые болезни рассуждали: все они... как их ни называй, клонят к одной предместности — к смерти...

И с этим дьякон опять забылся и не просыпался до полуночи, когда вдруг забредил:

— Аркебузир, аркебузир... пошел прочь, аркебузир!

И с этим последним словом он вскочил и, совершенно проснувшись, сел на постели.

— Дьякон, исповедайся, — сказал ему тихо Захария.

— Да, надо, — сказал Ахилла, — принимайте скорее, — исповедаюсь, чтоб ничего не забыть, — всем грешен, простите, Христа ради, — и затем, вздохнув, добавил: — Пошлите скорее за отцом протопопом.

Грацианский не заставил себя долго ждать и явился.

Ахилла приветствовал протоиерея издали глазами, попросил у него благословения и дважды поцеловал его руку.

— Умираю, — произнес он, — желал попросить вас, простите: всем грешен.

— Бог вас простит, и вы меня простите, — отвечал Грацианский.

— Да я ведь и не злобствовал... но я рассужденьем не всегда был понятен...

— Зачем же конфузить себя... У вас благородное сердце...

— Нет, не стоит сего... говорить, — перебил, путаясь, дьякон. — Все я не тем занимался, чем следовало... и напоследях... серчал за памятник... Пустая фантазия: земля и небо сгорят, и все провалится. Какой памятник! То была одна моя несообразность!

— Он уже мудр! — уронил, опустив головку, Захария. Дьякон метнулся на постели.

— Простите меня, Христа ради, — возговорил он спешно, — и не вынуждайте себя быть здесь, меня опять распаляет недуг... Прощайте!

Ученый протопоп благословил умирающего, а Захария пошел проводить Грацианского и, переступив обратно за порог, онемел от ужаса:

Ахилла был в агонии и в агонии не столько страшной, как поражающей: он несколько секунд лежал тихо и, набрав в себя воздуху, вдруг выпускал его, протяжно издавая звук: «у-у-у-х!», причем всякий раз взмахивал руками и приподнимался, будто от чего-то освобождался, будто что-то скидывал.

Захария смотрел на это, цепенея, а утлые доски кровати все тяжче гнулись и трещали под умирающим Ахиллой, и жутко дрожала стена, сквозь которую точно рвалась на простор долго сжатая стихийная сила.

— Уж не кончается ли он? — хватился Захария и метнулся к окну, чтобы взять маленький требник, но в это самое время Ахилла вскрикнул сквозь сжатые зубы:

— Кто ты, огнелицый? Дай путь мне!

Захария робко оглянулся и оторопел, огнелицего он никого не видал, но ему показалось со страху, что Ахилла, вылетев сам из себя, здесь же где-то с кем-то боролся и одолел...

Робкий старичок задрожал всем телом и, закрыв глаза, выбежал вон, а через несколько минут на соборной колокольне заунывно ударили в колокол по умершем Ахилле.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Старогородская хроника кончается, и последнею ее точкой должен быть гвоздь, забитый в крышку гроба Захарии.

Тихий старик не долго пережил Савелия и Ахиллу. Он дожил только до великого праздника весны, до Светлого Воскресения, и тихо уснул во время самого богослужения.

Старогородской поповке настало время полного обновления.

# ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дело было о святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полатях, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу, везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Сердито захлопнув ворота за последними добившимися на двор санями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Кто там? — окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы, — ответили глухо из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились... обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, — говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно совсем перезябший человек.

— Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

— Пусти хоть малость обогреться!

— А кто же вы такие?

— Извозчики.

— Порожнем или с возами?

— С возами, родной, шкурье везем.

— Шкурье! шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

— А что же им делать? — спросил проезжий, лежавший под медвежьею шубой на верхней лавке.

— Валить шкурье да спать под ним, вот что им делать, — отвечал хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег недвижимо на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек с острою, клином, бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, — заговорил он, — он это с практики берет и внушает правильно — со шкурьем безопасно.

— Да? — отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

— Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

— Это почему?

— А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет.

— А кого теперь еще понесет черт? — молвила шуба.

— А ты слушай, — отозвался хозяин, — ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и богородичный лик.

— Это верно, — поддержал рыженький человечек. — Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

— А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, — отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

— Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, — проговорила шуба.

— Да-с, ее и имел.

— Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

— Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

— Что вы, шутите или смеетесь?

— Боже меня сохрани таким делом шутить!

— Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

— Это, милостивый государь, целая большая история.

— А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

— Извольте-с.

— Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

— Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведу, пристойнее на коленях стоя сказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

— Ну как хотите, только скорее сказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал?

— Извольте-с, я начинаю.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего, как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукомеслом я каменщик,

а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а приумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним не ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то есть имели при себе свое «божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы всё самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как остротою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во имя разные и Деисусы, и нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например: Индикт, праздники, Страшный суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седмица с предстоящими; Троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия не изрещи, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью, и сообща пред нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса

кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая ангел-хранитель, Строганова дела. Изрещи нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на владычицу, как пред ее чистотою бездушные древеса преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на ангела... радость! Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлобожественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно что для жидов их святая святых, чудным Веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: владычицу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевой кошель на темной пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а вверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесть. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся, и свирец на свирели играет... то есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно, и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили всё вести спокойные; и за

все это благословляли мы предходящего нам ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнию своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем такое горе нас ожидало, и устроялось нам, как мы после только уразумели, не людским коварством, а самого оного путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, пред которым все, до сего часа исхоженные нами, пути были что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать, занятна ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет, как же, как же: сделайте милость, продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от ангела.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре-реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу, и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной

стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели, как должно, лествицу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас глядючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует... Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше гласование замечать, и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет: «Бо-господь и явися нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам,

новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пеозаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилося нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть посреди нас два сосуда избрания божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, наподобие вельблуда, и недрист как кабан — одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого пития, которое надлежало нам испить.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже высоко над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи закладывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы

разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны и отсекать их надо, а каждый тот болт, — по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, — отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все на это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою колоникой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпет, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так, как восковую свечу, будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудренье смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

— Так, русс! Твой молодец; твой карош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой: он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит, и пошло в обе стороны худо: одни всё причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первыя. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорты и деньги ко дворам отправлять, и назад новые паспорты он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил, и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали

касательства, все его знали и почитали его за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охоч с господами чаи пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница, и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к чему она избралась сосудом! Ну любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен за чем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет пред ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де староверцы и такие-то и вот этакие-то, святые, праведные, приснюблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку набок, бороду маслит, а голосом сластит:

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этакие-то правила содержим и друг друга за чистотою обычая смотрим, и, словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А меж тем та, представьте, интересуется.

— Я слыхала, — говорит, — что к вам божие благословение видимо, — говорит, — проявляется.

А тот сейчас и подхватывает:

— Как же, — отвечает, — матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо, — говорит, — государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барынька так и всплеснула ручонками.

— Ах, — говорит, — как интересно! ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-с, — отвечает Пимен, — отчего же-с; очень

можно! Только, — говорит, — в таковых случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

— Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не сказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек, и омрачнеет ум его, и оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, — и опять все ей по ее желанию делается, а Пимену все на свещи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса действительно деялись непонятные: был у этой госпожи старший сын в училище, и был он первый потаскун, и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

— Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свещами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастие этому ее блудяге-сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво, да и только, а мы всё ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и премениться одним дивесам на другие.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели или какой беспошлинный торг производили, но только надо было это

начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

— Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать и отвечает:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да чтоб они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно!

— Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоил ее Пимен, — я их голодом запощу, пока не вымолят, — взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстает.

— Я, — говорит, — как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолитвим; у нас есть такой ангел-хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

— Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно; я очень рада, что есть такой ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампады, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам виноватиться, что так-де и так, я, говорит, ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не выcловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен поснимали да попрятали в коробьи, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то

расфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора:

— У нас, — говорим, — такового ангела нет.

И как она ни добивалась и Пимену выговаривала, но мы ей ангела не показали и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у нее был какой-то отголкновенный, даром что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? — отвечал он.

— У вас, что же, почитается красотою, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! — повторил, улыбнувшись и не обижаясь, рассказчик. — Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается, лобочки в нашей настоящей чисто русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика: у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой, гордый нос. А особливо бровь, бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были pooткрытнее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее, и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление

имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду.

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

— Чего вы? она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличье нет, но бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили, и взялись скорей ладаном курить, чтоб ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вымели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробья уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по-старому, покропили их святою водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только бог весть отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось, и было как будто жутко и неспокойно.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю: «Что такое с тобою, Лука Кирилов?» А он говорит: «После скажу».

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен, и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтил и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть предлогом покинул работу и побежал домой; думаю:

пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проницала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне наопашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленоватая.

— Что вы, — говорю, — второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает:

— А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

«Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?»

— А зачем же, — говорю, — вы в чуланчике у себя не ляжете?

— Нельзя, — говорит, — Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! вот, — думаю, — так и есть, что что-нибудь по вере сталось», а тетка Михайлица и начинает:

— Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось?

— Нет, мол, второродительница, не знаю.

— Ах, страсти!

— Расскажите же скорее, второродительница.

— Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?

— Отчего же, — говорю, — не скажете: разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

— Знаю, родной мой, — отвечает, — что ты мне вместо сына, ну только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловить, потому что глупа я и бесталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.

Но я никак не мог, чтобы дождаться, и пристал к ней: скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами, и все у нее глаза делаются полны слез, и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

— У нас, дитя, сею ночью ангел-хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

— Говорите, — прошу, — скорее: как это диво сталося и кто были оного дивозрители?

А она отвечает:

— Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

— Уснув, — говорит, — помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет да в завертах около быков крутит и в глубь глотает, сосет. — А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырьях, и стоит у самой воды, а против нее, на том берегу стремит высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» — потому что чувствиями ей далося знать, что эта птица что-то предвозвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь и такое в воздухе тощение, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг уже чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает: «Господи Исусе Христе! что это такое: овец у нас во всей нашей пришлой слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?» И в ту пору стренулася: «Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава богу, — думает, — что это еще агнец вскочил, а не пес со двора ко святыне забрался». Да и ну с этим Луку будить: «Кирилыч, — кличет, — Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена, и какое-с молозиво в избу вскочило», а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном объят спит. Как его

Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жестче трясет и двизает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить, что «ты, мол, имя-то Исусово вспомяни», но только что она сама это имя выговорила, как в горнице кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кроватки и бросился было вперед, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла. «Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь!» — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. Баба опять до него: «Кормилец, — говорит, — что это с тобой?» А он ей только показывает перстом, что там, где ангел был, пустое место, а сам ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран нагробник, а потом, подняв руку, почесал остриженное гуменцо на маковке и тихо молвил:

— Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принес, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

— Ангел господень, да пролиются стопы твоя аможе хощеши!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук, и незнакомый голос зовет:

— Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит, стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшего? А он отвечает:

— Того самого, — говорит, — что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам

спрашивает: что такое за дело? на что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

— Доподлинно не знаю, а слышно, что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

— Слыхал-де, — говорит, — как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали, ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то сюда вертит глазами: видно, сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

— Что же ты, шпилман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпилманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен и ботвит будто бодр, а видно, что ему жестоце не по себе.

Лука его и допрашивает:

— Говори, — говорит, — говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

— Ничего.

Ну так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С барином, за которого наш Пимен молитвовал, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину сразу десять тысяч рублей. Он говорит: «Я не могу, я большой чиновник, доверием облечен и взяток не беру»; а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять: «Не могу»; они двадцать. Он: «Что же вы, — говорит, — не пони-

маете, что ли, что *я не могу,* я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать». А они опять гыр-гыр, да и говорят:

— Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы-зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал, подумал: хотя он и большим лицом себя почитал, а, видно, и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатовал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все, что надо было, из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

— А зи теперь зи, васе высокоблагородие, пожалуйте с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

— Давайте же скорее мою печать.

А жиды говорят:

— А давайте зи наши деньги.

Барин: «Что? как?» А те на своем стали:

— Мы зи, — говорят, — деньги под залог оставляли. Тот опять:

— Как под залог?

— А как зи, — говорят, — мы под залог.

— Врете, — говорит, — вы подлецы этакие, христопродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

— Гёрш-ту, — говорят, — слышь, мы будто совсем дали... Гм, гм! Ай-вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? («Хабар» по-ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки юрут: «Ай-вай, ну что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают». Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда

чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит: «Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!» А те уже не хотят, говорят: «А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч». Видите, что пошло! А жидки грозят: «Если нынче, — говорят, — пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал, и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене, и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить? «Нужно, — говорит, — твою приданую деревнишку продать», а та говорит: «Ни за что на свете: я к ней привязана». Он говорит: «Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог». А она отвечает: «Что ты, — говорит, — сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал да не объявил, что они у тебя печать украли, а между прочим, — говорит, — это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят». И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «Сейчас, живо, — говорит, — съездить за Днепр и привезть мне раскольницкого старосту». Ну, посол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки: «Послушайте,— говорит, — я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили... Жиды... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч, и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые и вам, как я сама уверилась, во всем сам бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я, с своей стороны, зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и на масло». Без труда, чай, можете себе, милостивые государи, представить, что наш шпилман при этаком обороте восчувство-

вал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротитися и клятися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не захотела. «Нет, да мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч это пустяки». Пимен, разумеется, и тут попытался ей разъяснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые нивари чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе, верно, хорошее московское научение и вдруг его осаждила: «Что вы, что вы, — говорит, — мне это рассказываете! Разве я не знаю, сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет». Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный, точно из бани, и все по углам ходил нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит: «с меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал». Ну, Лука, разумеется, и за это на него расходился: «Ах ты, шпилман этакий, — говорит, — шпилман; нужно было тебе с ними знаться да еще сюда их водить! Что мы, богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они?.. Как это заделывал, так и разделывайся, а нам пяти тысяч взять негде». С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкушал, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился,

я и домекнул так, что, верно, он ударился ту барыню умилостивлять. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие-либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья, и я за самыми плечами у себя услыхал шум многих голосов и, обернувшись, увидал несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними немалое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнагощенными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать... Кои не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во всем платье, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут... Даже не поверите, ужасно стало, чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но наших более полусот, и все выспреннею горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкою по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг, как были все мокренькие, и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Теперь же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой, и господа чиновники со сбирою своей там его застали. Он после и рассказывал, что как

они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампады гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат: «Ты поп?» Он говорит: «Нет, не поп». Они: «Кто же у вас поп?» А он отвечает: «У нас нет попа». А они: «Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!» Тут Марой стал им было объяснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши в чем дело, да «связать, — говорят, — его, под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котёлки нанизывают. Марой на все на это святотатственное бесчиние смотрит и плещами не тряхнет, потому что, рассуждает, что так, вероятно, это богу изволися попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой, один жандарм вскрикнул, и за ним другой: дверь разлетелася, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастию их впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

— Стой, Христов народушко, не дерзничайте! — а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутом иконы, молвит: — Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главнее всех был, как крикнет на дядю Луку:

— Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

— Позвольте, ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораста икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

— Прочь! — а шепотом шепнул: — Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

— Бог с вами, если так: губите всё как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

— Ах ты, козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, чтобы, значит, ни снять, ни обменить было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился, и звал нас и ворами-то и мошенниками, и говорит:

— Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну так она же на него не попадет, а я ее вот как! — да, накоптивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и пробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать, как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь в слезе растворенная...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали, как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосящих по своем запечатленном ангеле, и тут-то, в сей тьме и тишине, на разрушенной отчей святыне, пришла нам мысль: уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще сущий отрок, не более как семнадцати лет, но великотелесен,

добр сердцем, богочтитель с детства своего и послушлив и благонравен, что твой ретив бел конь среброузден.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не стану утруждать вас подробностями, как мы с моим сомудренником и содействителем, сквозь иглины уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили, это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая, от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствили! Не кладите, — говорит, — сей иконы в подвал, а поставьте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником». Так слуги архиереевы по его приказанию и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего ангела стало невозможно. Оставалось другое средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощию подменить икону иным в соответствие сей хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмен икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели.

И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас как водный труд по закожью: в горнице, где одни славословия слышались, стали раздаваться одни вопления, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз, и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось: нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это неспроста, а за староверского ангела: «его, — бают, — запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились, и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

— Принесите нам сюда запечатленного ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

— Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велося не жестокостью, а божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну и я ему поклонился. А он и говорит:

— Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разнобытие по вере.

А я отвечаю:

— Кому в какой вере быть — это дело божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо, и прости меня, а я тебя в том, как Аммос-пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

— Не говори, — говорит, — мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле», и даже в том знамение имею, — и жалуется мне, что на днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем, и точно, пежинные пятна, как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «бог шельму метит», но только сдавил я это слово в устах и молвил:

— Что же, молись, — говорю, — и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоятии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебряным блюдом выставлять. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его велиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся, да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла всё яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

— Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмоль-

ном запечатлении, мы ничем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

— Что же, — говорит, — вы думаете делать?

— Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукой опаленный.

— Да чем, — говорит, — он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорог он, — отвечаем, — нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

— А как, — говорит, — вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено?

— Ну, уж на этот счет, — отвечаем, — ваша милость не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

— Вы в этом уверены?

— Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал, и еще раз сказал:

— Ну так не горюйте же: я вам помощник, и мы вашего ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

— Нет, — говорим, — на небольшое время.

— Ну так я скажу, что хочу на вашего запечатленного ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

— Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

— Это почему так?

А мы отвечаем:

— Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли

воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

— Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

— Нет-с, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и разъясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое и на самую близь явственно; да и светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолюбивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небожительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

— А где же, — говорит, — есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

— Очень, — докладываю, — они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, — говорю, — в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя; а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, — говорю, — нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

— Это опять почему? — пытает.

— А потому, — ответствую, — что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

— Так как же, — говорит, — быть?

— Сам, — говорю, — не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Сева-

стьян с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные, — говорит, — вы люди, и как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что до вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, — говорю, — сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличают.

— Может ли, — говорит, — это быть?

— Все равно, — отвечаю, — как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят, кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?

— А есть, — говорю, — разница в приеме как перевода рисунка, так и в плави, в пробелах, лицевых движках и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание, и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомесла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить, как художника имя и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

— Где же они делись?

— А не знаю, — говорю, — на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

— Это, — говорит, — быть не может.

— Напротив, — отвечаю, — вполне статочно и при-

меры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?

— Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом тихо молвит, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

— Ну, а у нас, — говорю, — верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела.

— А если таковая, — говорит, — ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

— Некем, — отвечаю, — нам его, милостивый государь, поддерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растление чувства развито и суете ум повинуется. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пишут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может быть, еще и не то изобразят и велят за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

— Я уже все кончил, — а он говорит:

— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал, как писано в Новегороде звездное небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят седмь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия-пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями — дар премудрости, седмисвещный подсвечник — дар разума; седмь очес — дар совета; седмь трубных рогов — дар крепости; десная рука посреди седми звезд — дар видения; седмь курильниц — дар благочестия; седмь молоний — дар страха божия. «Вот, — говорю, — таковое изображение гореносно!»

А англичанин отвечает:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это почитаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, что христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе бога вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — ответствую, — Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великия и богатыя милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностию кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он помышляет вышний проспект жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха божия, она сейчас и. пойдет облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе преизбытки вышних даров,

и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

— А вы же, чудаки, чего себе молите?

— Мы, — отвечаю, — молим христианския кончины живота и доброго ответа на страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечою на длинных спицах вязанье делает. Она была прекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала, и, верно, хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шепотом: «Трогательная женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что, верно, за нас просит. И англичанин — знать, приятна ему эта доброта в жене — глядит на нее, ажно весь гордостию сияет, и все жену по головке гладит, да этак, как голубь, гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает, и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай ищи, где знаешь, какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает и жене моей в вашем роде напишет — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слез улыбается и частит:

— Ни-ни-ни: это он, а я особая, — да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

— Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет и сама убежала, а он говорит:

— Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать и берите, что она дает, — и сам отвернулся и говорит: — и ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обиделись, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои притоманные люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню пакибытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преполовение моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам объявились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратилися.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В путь шествующему человеку первое дело сопутник; с умным и добрым товарищем и холод и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда береглась для опасного случая. Совершали мы путь свой вроде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами всё, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы.

Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не были мы, старые верители, и тобою утешены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолюбии и благочестии, а на едином упрямстве, и, с каждым днем в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно: но, однако, сами себя стыдяся, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскались, и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней; грунта́ кладут меловые, слабые, а не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой, как вода, краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недостижимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг пред другом величаются, а другого чтоб унизить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообща хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда как воробьи за совами старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепущают, меняют, подменивают, подделывают доски, в трубах коптят, утлизну в них делают и червоточину; из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают; амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею,

и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие этою нечестною меною даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то того-то так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другом один против другого лучше нарохтятся, как божьим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левой, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени непереносно показалось, что мы оба даже заскучали и напал на нас страх.

«Неужто же, — думаем, — такова она к этому времени стала, наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не открываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: «Как бы он в смущении чего недолжного не надумал?» — да и говорю:

— Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

— Нет, — говорит, — дядя, ничего: это я так.

— Пойдем же, мол, на Боженинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

— Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

— Отчего же, — говорю, — ты не пойдешь?

— А так, — отвечает, — мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужу и два не нужу, а на третий опять зову:

— Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

— Нету, дядюшка, голубчик белый: поволь мне дома остаться.

— Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а всё дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

— Ну родненький, ну батечка, ну Марк Александрыч,

государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладныне речи о святыне говорят, а то меня соблазн обдержать может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах, и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

— Ты гляди, человече, этой иконе не покланяйся.

Я говорю:

— Почему?

А он отвечает:

— Потому что она адописная, — да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте сковырнул письмо, а там под низом опять чертик.

— Господи! — заплакал я, — да что же это такое?

— А то, — говорит, — что ты не ему, а мне закажи.

И увидал уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой, и вижу, в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем оттуда тонкое, нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтиев голос, и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слыхал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

Продаша мя мои братия!

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплению за братский грех!..

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев, они меня так растрогали, что я и сам захлипкал, а Левонтий, услыхав это, смолк и зовет меня:

— Дядя! а дядя!

— Что, — говорю, — добрый молодец?

— А знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?

— Рахиль, — отвечаю.

— Нет, — говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Как же, — спрашиваю, — таинственно?

— А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано.

— Ты, — говорю, — смотри, дитя: не опасно ли ты умствуешь?

— Нет, — отвечает, — я это в сердце моем чувствую, что крестует бо ся Спас нас ради того, что мы его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ко мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

— Что же: пойдем, — отвечает, — здесь, на Москве, меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище, и там, — говорит, — я слыхал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

— Старец Памва, — отвечаю со строгостию, — господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?

— А что же, — говорит, — за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

— Церковные, — говорю, — и на небо смотрят не с верою, а в Аристетилевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою премудростию создано.

Я от этого словно еще глупее стал и говорю:

— Церковные кофий пьют!

— А что за беда, — отвечает Левонтий, — кофий боб, он был Давиду-царю в дарах принесен.

— Откуда, — говорю, — ты это все знаешь?

— В книгах, — говорит, — читал.

— Ну так знай же, что в книгах не все писано.

— А что, — говорит, — там еще не написано?

— Что? что не написано? — А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

— Церковные, — говорю, — зайцев едят, а заяц поганый.

— Не погань, — говорит, — богом созданного, это грех.

— Как, — говорю, — не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

— Спи, дядя, ты невегласы глаголешь!

Я, признаюсь вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах невесть что говорю, и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своем московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набежать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слыхал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но, — думаю себе, — чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян, точно, в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

— Был он здесь, был, да вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настигаем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю: «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю куда зашли, и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

— Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

— Нет, не могу я, дядя, больше идти, — сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебе, дитятко?

А он отвечает:

— Разве, — говорит, — ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу, точно, весь он трясется, и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый пень и говорит:

— Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти; не могу больше шагу ступить! — а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы древеса, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю:

— Левушка, батюшка, поневолься, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

— Не спяй и бдяй сохранит.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу, по лесу вдалеке что-то словно потрескивает... «Владыко многомилостиве! — думаю, — это, верно, зверь, и сейчас он нас растерзает!» И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: «Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час!» А треск-от все ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит... Здесь я должен вам, господа̀, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю... И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то поначалу совсем безвидное, — не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь и не разбойник, а очень небольшой старичок в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнулся, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия, и ведет прямо к своей вязаночке, и взвалил ее ему на плечи, и говорит:

— Понеси-ко за мною!

А Левонтий и понес.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичок взялся, и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичок впереди грядет, и как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался: маленький и горбатенький; а бородка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

— Доброчестный человек!

А он отзывается:

— Что тебе?

— Куда ты нас ведешь?

— Я, — говорит, — никого никуда не веду, всех господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет:

— Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пущу!

Но старичок опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился и говорит:

— Спаси тебя бог, брате мой, за твою услугу.

«Господи! — помышляю, — куда это мы попали», и вдруг как молонья меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый! — взгадал я, — да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, — думаю, — я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров».

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

— Вся господня земля и благословенны вси живущие, — ложись, спи!

— Нет, позволь, — говорю, — тебе объявиться, ведь мы по старой вере.

— Все, — говорит, — уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

— Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

— Прости, божий человек, еще одно вопрошение...

Он отвечает:

— Что вопрошать: бог все знает.

— Нет, скажи, — говорю, — мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

— Зовут меня зовуткою, а величают уткою, — и с этими пустыми словами пополоз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду, — отвечает, — брате Мирон, не буду. Спаси тебя бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя так грубительно грозится?

А он отвечает:

— Это служка мой Мирон... добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш! — думаю, — это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь истлит нас, как гаггрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были». Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу «Верую», как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет, и видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой... самый необъяснимый: будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так, смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди очистись», а тот отвечает: «И очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкою лыковый лапо́ток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапо́тки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты всё знаешь?

— Знаю, — говорит, — знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути господнего ищут. Помогай господь твоему смирению, помогай!

— Какое же, — говорю, — святой человек, мое смирение? — ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

— Ах нет, брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и как малое дитя заплакал.

— Господи! — молится, — не прогневайся на меня за сию волевращность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну, — думаю, — нет: слава богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец». Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его господь на мучение демонам? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слыхал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговейную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, но только вдруг гляжу, отворяется дверь, и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

— Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

— Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапóток плесть.

Тут я сразу вскочил и думаю:

«Нет; пойду скорее возьму Леву, и утечем отсюда без оглядки!» и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия навзничь и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шепотом шепчу ему: — Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит... Отошел!.. Умер!..

Взвыл я не своим голосом:

— Памва! отец Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостию:

— Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да, — отвечаю сквозь слезы, — он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! — и, повергшись к ногам усопшего, стенал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрятали его мощи, положили в гроб и понесли, так как он сим утром, пока я, нетяг, спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согруби ему — он благословит, прибей его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет: недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гагрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит или к богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жестче терзайте, ибо я того достоин». Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки об него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапо́тком аду на погибель создан! и, всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, окроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг...

«Господи! — дерзаю рассуждать, — если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен».

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаждать хоть на минуту его пред отходом отсюда видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой самый троскот, и отец Памва опять выходит с топором и с вязанкою дров и говорит:

— Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить?

Мне это слово показалось очень горько, и я сказал:

— За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь:

я никакого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

— Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то ангел отступится.

Я говорю:

— Отче, знаешь ли, зачем я хожу?

И рассказал ему все наше горе. А он все слушал, слушал, и отвечает:

— Ангел тих, ангел кроток, во что ему повелит господь, он в то и одеется; что ему укажет, то он сотворит. Вот ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатлен, но любовь сокрушит печать...

И с тем, вижу, он удаляется от меня, а я отвратить глаз от него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и вслед ему в землю поклонился, а поднимаю лицо и вижу, его уже нет, или за древа зашел, или... господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: «ангел в душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его», да вдруг думаю: «А что если он сам ангел, и бог повелит ему в ином виде явиться мне: я умру, как Левонтий!» Взгадав это, я, сам не помню, на каком-то пеньке переплыл через речечку и ударился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе, думая, не ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем переговорили и положили, чтобы завтра же ехать, но поладили мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз, потому, что изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух божий в ноздрех человека сего».

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились и англичанину Якову Яковлевичу. Тот,

любопытный этакой, сейчас же поинтересовался изографа видеть и все ему на руки его смотрел да плечьми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие, как грабли, и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковлевич и говорит:

— Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

— Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

— Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не вывесть.

Тот спрашивает:

— Почему?

— А потому что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

— Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что-нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

— Значит ты, — говорит, — нам запечатленного ангела подведешь?

— Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

— Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древнерусском роде, и такую, чтоб ей нравилась.

— Какое же во имя?

— А уж этого я, — говорит, — не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

— А о чем ваша супруга более богу молится?

— Не знаю, — говорит, — друг мой; не знаю о чем, но я думаю, вернее всего о детях, чтоб из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

— Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

— Как же ты потрафишь?

— Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа-чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней таланствовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок, как слоновья кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — рождество пресвятыя Владычицы богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово пречистое рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия-баба, и скот всяким подобием: волы, овцы, козы и осли, и сухолапль-птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жидовства, а от божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут был за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородичном рождестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанницы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свещи. Едина жена держит святую Анну под-

плещи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую богородицу омывает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокан, и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит пресвятую богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленые, а ограда бела и вохряна... Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил, и надписал образ «Доброчадие», и принес англичанам. Те глянули, стали разбирать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхивали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой ошибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

— Могу.

— Так скопируй мне, — говорит, — в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

— Нет, вот уж этого я не могу.

— А почему?

— А потому, — говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

— Что за вздор такой!

— Никак нет, — отвечает, — это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

— А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

— Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно при вас они останутся.

Англичанин просиял и шутя говорит жене:

— Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглицки прибавляет: «Ох, мол, гут карахтер». Но только молвил в конце:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

— Ну так смотрите, — говорит, — я начинаю, — и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко на это ему ни то ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстает и домогает; а мы уже ждем, что порох огня.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло немало, и на дворе стояло Спасово рождество. Но вы не числите тамошнее рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз справляет этот праздник по-зимнему, а в другой раз невесть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постянет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги, как будто в весеннюю половодь... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто *халепа,* так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал бог другой мост: река стала, и наш англичанин

поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе, и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

— Завтра, — говорит, — ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человечу! Вместо соблюдения тайности обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избы к избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпет, а в чистом небе Еспер-звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ожидании и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготовлял: яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилку, как струну, в излучине из крепкого обода и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичаниновы сани несутся, и прямо к нам... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся:

— Боже отец духовом и ангелом: пощади рабы твои!

И с этим моленьем упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

— Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! — и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это что-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

— Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно, досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

— Да что же вы всё путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил; а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать. Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

— Твои, — говорит, — мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Но Севастьян-изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и ответствует:

— Нет, — говорит, — ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно подлинная икона вперед нужна. Это, — говорит, — только в обиду нам выдумано, что мы будто по переводам точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике постановлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать святого Зосиму или Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа, как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею-голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить как

ему фантазия его художества позволит, и потому опять не могу я знать, как тот ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна, как и нас, и нет от него никакого дальше решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаяваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель, и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер-звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил ливень, и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло... Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину, и прядают они и сами звенят, прости господи, точно демоны... Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, но нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолился — складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: всё, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

— Знаешь что, мужик: пойдем вашего ангела красть?

Лука отвечает:

— Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотаря и попросит ему икону ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее вглядится и дома напишет с нее подделок. Затем,

когда у настоящего злотаря риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть, и войдет в алтарь, и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу, и, отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынесть. А на дворе за церковью наш человек чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда, на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

— Что же-с? Мы, — говорим, — на все согласны!

— Только смотрите же, — говорит, — помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

— Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок.

— Ну а если тебе что-нибудь помешает?

— Что же такое мне может помешать?

— Ну, вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а впрочем соображает, что действительно трафляется иногда и кладязь копающему обретать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

— На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

— А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

— Ковач Марой, — отвечает Лука.

— Это старик?

— Да, он не молод.

— Но он, кажется, глуп?

— Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

— Какой же, — говорит, — может быть дух у глупого человека?

— Дух, сударь, — ответствует Лука, — бывает не по разуму: дух иде же хощет дышит, и все равно что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный.

Англичанин подумал и говорит:

— Хорошо, хорошо: это всё интересные ощущения. Ну, а как же он меня выручит, если я попадусь?

— А вот как, — отвечает Лука, — вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет, и в окно полезет и всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно, — говорит, — любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

— Ну уж это, мол, дело взаимоверия.

— Взаимоверия, — повторяет. — Гм, гм, взаимоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово... под кнут... Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему, в чем дело, а он и говорит:

— Ну так что же?

— А ты не убежишь? — говорит англичанин.

А Марой отвечает:

— Зачем?

— А чтобы тебя плетьми не били да в Сибирь не сослали.

А Марой говорит:

— Экося! — да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется: весь ожил.

— Прелесть, — говорит, — как интересно.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навеслили мы наутро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим, смотрим, бежит наш изограф, и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

— Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?

— Видел, — отвечает, — и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.

— Батюшка, — молим его, — порадей!

— Ничего, — отвечает, — порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу, и к сумеркам у него на холстике поспел ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, чтобы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления, как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерняя и всенощна пройдет? И кажется мне, что уже времени и невесть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-помалу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк, и закачало. Я встрепенулся и вижу, в ней стоит дядя Лука и не своим, передавленным голосом говорит:

— Греби!

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, ангела?

— Со мной он, греби мощней!

— Расскажи же, — пытаю, — как вы его достали?

— Непорушно достали, как было сказано.

— А успеем ли назад взворотить?

— Должны успеть: еще только великий прокимен вскричали. Греби! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты господи! и точно, я не туда гребу: все, кажись, как надлежит, вопоперек течения держу, а нашей слободы нет, — это потому что снег и ветер такой, что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, и как народ пред нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаменоваться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее и на свою подделку, и говорит:

— Хороша! только надо ее маленько грязцой с шафраном усмирить! — А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч, и... пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой писчей бумаги... Долго ли тут до греха: то есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такою холодностью и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно, спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомкал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и, наконец, глянул сквозь холст на свет, а весь этот новенький списочек как сито сделался в трещинках... Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в средину краев, а на долонь набрал какой знал темной красочной грязи,

замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном вроде замазки и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать... Живо он все это свершал, и вновь писанная иконка стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

— Давай каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портняжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку!.. От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает, и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек помалу поворачивает. а другою — утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильнее налегает, и вдруг отбросил и утюг и поярок и поднял к свету икону, а печати как не бывало: крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лике, но зато светлобожественный лик весь виден...

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

— Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

— Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вот сюда этому новому ангелу на лик, как у того было.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

— Ну нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

— Так как же нам теперь быть?

— А уже я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

— И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть, и говорит:

— Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему:

— Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что́ на дворе?

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул: лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло... У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу... Стою, и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и... выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

— Нате, готово!

Мы глянули: у нового ангела на лике печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

— Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичанка, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» и пала неживая.

А мы стоим и одно чувствуем:

— Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепенулся и воскликнул к англичанке:

— Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и доброчестное лицо его клеймом обесчестит, но быть тому только разве после моей смерти! — и с этим словом перекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб, и ты погибнешь! — да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, наземь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

— Прочь! или насмерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей-право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но... угодно вам — верьте, не угодно — нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

— Заводи катавасию!

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», а другие подхватили, и мы катавасию кричим, бури вою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спущается... А далее? далее объяла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами проклятыми его в пучину забуровило, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всенощную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин Яков Яковлевич с его соизволения стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под тем самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы, как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во займоверии превозвысить, а к этим двум верам третия, еще сильнейшая движет, но только не знают они, что та, третья вера, творит. Но вот как ударили в последний звон всенощной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердисловит:

— Перенеси бог! перенеси бог, перенеси бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит: — Перенес бог, перенес бог!

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

«Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб», — ан смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

— Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же светение?

Лука отвечает:

— Я не знаю, я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал... точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

— Это ангелы, — я их видел, и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

— Что же, — говорит, — печати нет?

Лука говорит:

— Как нет?

— Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

— Ну, кончено! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросился Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и, пав ему в ноги, говорит:

— Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своея все то выслушал и ответствует:

— Это тебе должно быть внушительно теперь, где вера действеннее: вы, — говорит, — плутовством с своего ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей ответствует разрешительным словом:

— Властию, мне данною от бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься заутро принять пречистое тело Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром ворочаются и говорят:

— Отцы и братие, мы видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолюбии ее иерарха и сами к оной освященным елеем примазались и тела и крови Спаса сегодня за обеднею приобщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Русью, воскликнул за всех:

— И мы за тобой, дядя Лука! — да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут только поняли, к чему и куда всех нас наш запечатленный ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все объяснимо, и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось впросонье, и падение ангела, которого забеглая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то, — добавил слушатель, — что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно перезябшему человеку мало ли что могло зарябить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию, не преполовя дня умер...

— Да он и умер-с, — отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот что для меня действительно совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового ангела, которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с, — весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела

ее под края оклада... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились, и оттого печать и спала.

— Ну, теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да, так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями господь человека взыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством утолил. А вон мужички-вахлачки уже вылезают из-под снегу. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня, невежу!

# ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, от чего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

— Я уверен, — сказал этот путник, — что в настоящем случае непременно виновата рутина, или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то, часто здесь путешествующий, ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

— Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до того пил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

— Какая же на это последовала резолюция?

— М... н...не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

— И прекрасно сделал, — откликнулся философ.

— Прекрасно? — переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

— А что же? по крайней мере умер, и концы в воду.

— Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас незаметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах — этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, просто-

душный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого. Казалось, что ему бы не в ряске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптищах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкою.

— Это все ничего не значит, — начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх по-гусарски закрученных седых усов. — Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться — это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

— А вот кто-с, — отвечал богатырь-черноризец, — есть в московской епархии в одном селе попик — прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, — так он ими орудует.

— Как же вам это известно?

— А помилуйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

— Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

— Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, — пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыко и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, думает, я себя довел, и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, говорит, мне только и осталося: тогда, по крайней мере, владыко сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, — куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыко решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только воздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?», потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят — входит старец, добрый-предобрый, и владыко его сейчас узнали, что это преподобный Сергий.

Владыко и говорят:

«Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает:

«Я, раб божий Филарет».

Владыко спрашивают:

«Что же твоей чистоте угодно от моего недостоинства?»

А святой Сергий отвечает:

«Милости хощу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыко проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или

мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергий, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оного течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыко не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, — говорит, — их: теперь нет их молитвенника», — и проскакал мимо; а за сим стратопедархом — его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и всё кивают владыке грустно и жалостно, и всё сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! — он один за нас молится». Владыко как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и расспрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился: «Виноват, — говорит, — в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишить, я всегда на святой проскомидии за без покаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыко и поняли, что то за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика: «Ступай, — изволили сказать, — и к тому не согрешай, а за кого молился — молись», — и опять его на место отправили. Так вот он, этакий человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все

будет за них создателю докучать, и тот должен будет их простить.

— Почему же *«должен»?*

— А потому, что «толцытеся»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

— А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника за самоубийц разве никто не молится?

— А не знаю, право, как вам на это что доложить? Не следует, говорят, будто бы за них бога просить, потому что они самоуправцы, а впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На троицу, не то на духов день, однако, кажется даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

— А их нельзя разве читать в другие дни?

— Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

— А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

— Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

— Отчего же это?

— Занятия мои мне не позволяют.

— Вы иеромонах или иеродиакон?

— Нет, я еще просто в рясофоре.

— Все же ведь уже это значит, вы инок?

— Н... да-с; вообще это так почитают.

— Почитать-то почитают, — отозвался на это купец, — но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

— Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

— Разве вы служили в военной службе?

— Служил-с.

— Что же, ты из ундеров, что ли? — снова спросил его купец.

— Нет, не из ундеров.

— Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок — чей возок?

— Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

— Значит, кантонист? — сердясь, добивался купец.

— Опять же нет.

— Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

— Я *конэсер*.

— Что-о-о тако-о-е?

— Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководствования.

— Вот как!

— Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

— Как же вы таких усмиряли?

— Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за ухо да в сторону, а правою кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, — она и усмиреет.

— Ну, а потом?

— Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

— И лошадь после этого смирно идет?

— Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и выщелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей приезжал, — «бешеный усмиритель» он назывался, — так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки

привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

— Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

— С божиею помощию-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть; а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, говорю, это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лощину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в однех шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный поясок от святого храброго князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: *«Чести моей никому не отдам»*. В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной — крепкая татарская нагайка с свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой — простой муравный горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости трусится, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, говорю, скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю — вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали); как, говорят, это можно, что ты велишь узду

снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами — они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутить, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снедь!» да как дерну его книзу — он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался и ездил, но только скоро издох.

— Издох однако?

— Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

— Что же, вы служили у него?

— Нет-с.

— Отчего же?

— Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык, — для выбора,

а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

— Какая же?

— Хотел у меня секрет взять.

— А вы бы ему продали?

— Да, я бы продал.

— Так за чем же дело стало?

— Так... он сам меня, должно быть, испугался.

— Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

— Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет — я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? — это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет, и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» — да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примеру стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет — и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

— Поэтому вы к нему и не поступили?

— Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

— А вы что же почитаете своим призванием?

— А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

— А когда же вы в монастырь пошли?

— Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.

— И тоже призвание к этому почувствовали?

— М... н...н...не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.

— Почему же вы это так... как будто не наверное говорите?

— Да потому, что как же наверное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?

— Это отчего?

— Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.

— А чьею же?

— По родительскому обещанию.

— И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?

— Всю жизнь свою я погибал, и никак не мог погибнуть.

— Будто так?

— Именно так-с.

— Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.

— Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.

— Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.

— Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

— Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены

представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха — конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика — кормовик, чтобы с гумна на ворки корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил, и в царский проезд один раз в седьмом номере был, и старинною синею ассигнациею жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее *молитвенный сын,* значит, она, долго детей не имея, меня себе у бога все выпрашивала и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто *Голован.* Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни — отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспитомков и обучали их. У нас у всякого кучера с форейтором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские — все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смирные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не под-

даются: стоят на дворе — всё дивятся и даже от стен шарахаются, а всё только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на иного, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство — строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравниться по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иваныч, правил киргизским шестериком, а когда я подрос, так меня к нему в этот же шестерик форейтором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофишенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужасть! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже и сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на форейторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских форейторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дддиди-и-и-ттт-ы-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своем силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседлывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам, ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив

мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь, да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубахе вытянуть. Это форейторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыне дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям саженными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать — столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так я держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затянул «дддд-и-и-и-т-т-т-ы-о-о», и с версту все это звучал, и до того разгорелся, что как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаяся, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиною раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край,

да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а *он* не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю:

«Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А *он* отвечает:

«Ты, — говорит, — меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, — отвечаю. — Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, — говорю, — тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, — говорит, — это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее *моленый сын*?»

«Как же, — говорю, — слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли, — говорит, — ты еще и то, что ты *сын обещанный*?»

«Как это так?»

«А так, — говорит, — что ты богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну так пускай же, — говорю, — она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я, — говорит, — не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так, — говорит, — потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, — говорит, — так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу, — отвечаю, — только какое же знамение?»

«А вот, — говорит, — тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно, — отвечаю, — согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с графинею в Воронеж, — к новоявленным мощам маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, — и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу — опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит:

«Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь — они тебя пустят».

Я отвечаю:

«Это с какой стати?»

А он говорит:

«Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит:

«Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был — как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню — нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкою форейтор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется,

за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводами держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чует, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самою пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне:

— Ну что, неужели ты, малый, жив?

Я отвечаю:

— Должно быть, жив.

— А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было — не знаю.

А мужик и улыбается:

— Да и где же, — говорит, — тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели —

расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим — ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну, а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть.

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке:

— Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны.

Графиня только головою закачала, а граф говорит:

— Проси у меня, Голован, что хочешь, — я все тебе сделаю.

Я говорю:

— Я не знаю, чего просить!

А он говорит:

— Ну, чего тебе хочется?

А я думал-думал да говорю:

— Гармонию.

Граф засмеялся и говорит:

— Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить.

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию:

— На, — говорит, — играй.

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не успел я, по сем облагодетельствовании своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилося мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей — голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся — все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и вышвырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого откуда ни возьмись белая кошка какая-то мимо бежала и подхватила и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней — пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, — думаю, — нет, зачем же, мол, это так делать?» — да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, — так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка

детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордою и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мяя», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, — думаю, — теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил, и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегает графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит:

— Ага, ага! вот это кто? вот это кто!

Я говорю:

— Что такое?

— Это ты, — говорит, — Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?

Я говорю:

— Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?

— А как же ты, — говорит, — это смел?

— А она, мол, как смела моих голубят есть?

— Ну, важное дело твои голубята!

— Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня.

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

— Что, — говорю, — за штука такая кошка.

А та стрекоза:

— Как ты эдак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала, — да с этим ручкою хвать меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогоже снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решился с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а оттудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталося скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется — белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

— Что это, — говорит, — ты, батрак, делаешь?

— А тебе, мол, что до меня за надобность?

— Или, — пристает, — тебе жить худо?

— Видно, — говорю, — не сахарно.

— Так чем своей рукой вешаться, пойдем, — говорит, — лучше с нами жить, авось иначе повиснешь.

— А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?

— Воры, — говорит, — мы и воры и мошенники.

— Да; вот видишь, — говорю, — а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?

— Случается, — говорит, — и это действуем.

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях, да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого рукомесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все

насмехаются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все: «А еще, — говорят, — спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит:

— Чтоб я, — говорит, — тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать.

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, знавши в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шеи, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит:

— Вот тебе твоя доля.

Мне это обидно показалось.

— Как, — говорю, — я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?

— Потому, — отвечает, — что такая выросла.

— Это, — говорю, — глупости: почему же ты себе много берешь?

— А опять, — говорит, — потому, что я мастер, а ты еще ученик.

— Что, — говорю, — ученик, — ты это все врешь! — да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю:

— Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец.

А он отвечает:

— И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься.

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит:

— Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?

— Нет, — говорю, — у меня один целковый есть, а десяти рублей нету.

— Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?

— Да, — говорю, — это сережка.

— Серебряная?

— Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания серебряный.

— Ну, скидавай, — говорит, — их скорее и давай их мне, я тебе отпускной вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателеву печать приложил и говорит:

— Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, — говорит, — и кому еще нужно — ко мне посылай.

«Ладно, — думаю, — хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылал, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла — всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и всё так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил

меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит:

— Скажи правду: ты ведь беглый?

Я говорю:

— Беглый.

— Вор, — говорит, — или душегубец, или просто бродяга?

Я отвечаю:

— На что вам это расспрашивать?

— А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен.

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит:

— Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, — говорит, — верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру.

Я ужаснулся.

— Как, — говорю, — в няньки? я к этому обстоятельству совсем не сроден.

— Нет, это пустяки, — говорит, — пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить.

— Помилуйте, — отвечаю, — тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?

— Пустяки, — говорит, — ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится.

— Да, что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен.

— А я, — говорит, — на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дой и тем молочком мою дочку воспитывай.

Я задумался и говорю:

— Конечно, мол, с козою отчего дитя не воспитать, но только все бы, — говорю, — кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь.

— Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, — отве-

чает, — не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, — и коза-то, и та к нам привыкла, бывало за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только:

— Я, — говорит, — тут чем причинен? снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит.

Я понес, а лекарь говорит:

— Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать.

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут

весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскликались! оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копьями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколышется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, — думаю, — опять это мне про монашество пошло!» и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река-рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу — дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее:

— Что надо?

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет:

— Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!

Я говорю:

— Ну так что же в этом такое?

— Отдай, — говорит, — мне ее.

— С чего же ты это, — говорю, — взяла, что я ее тебе отдам?

— Разве тебе, — плачет, — ее не жаль? видишь, как она ко мне жмется.

— Жаться, мол, она глупый ребенок — она тоже и ко мне жмется, а отдать я ее не отдам.

— Почему?

— Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена — вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить.

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

— Ну, хорошо, — говорит, — ну, не хочешь дитя мне отдать, так по крайней мере не сказывай, — говорит, — моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла.

— Это, мол, другое дело, — это я обещаю и исполню.

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бегит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

— Кури, — говорит, — пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить.

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте

за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?.. с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

— Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и релегию, свой обряд изменила, то должна и пострадать.

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала всё мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит:

— Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, — говорит, — что я тебе скажу: нынче, — говорит, — *он* сам сюда к нам придет.

Я спрашиваю:

— Кто это такой?

Она отвечает:

— Ремонтер.

Я говорю:

— Ну так что ж мне за причина?

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я, то есть, ей ее дочку отдал.

— Ну, уж вот этого, — говорю, — никогда не будет.

— Отчего же, Иван? отчего же? — пристает. — Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?

— Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне.

Она плакать, а я говорю:

— Ты лучше не плачь, потому что мне все равно.

Она говорит:

— Ты бессердечный, ты каменный.

А я отвечаю:

— Совсем, мол, я не каменный, а такой же как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя, и берегу его.

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

— Опять-таки, — отвечаю, — это не мое дело.

— Неужто же, — вскрикивает она, — неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?

— А что же, — говорю, — если ты, презрев закон и релегию...

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтер, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал? и взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему — та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит:

— Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, — говорит, — раскинем, у него

глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка, — и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит:

— Вот, — говорит, — тут ровно тысяча рублей, — отдай нам дитя, а деньги бери и ступай, куда хочешь.

А я нарочно невежничаю, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил:

— Нет, — говорю, — это твое средство, ваше благородие, не подействует, — а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю:

— Тубо, — пиль, апорт, подними!

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцыю, — что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю:

— Вот тебе, — говорю, — и храбрость твою под ногой придавлю.

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее, да с кулачонками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу:

— Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хвать за другую и говорю:

— Ну, тяни его: на чию половину больше оторвется.

Он кричит:

— Подлец, подлец, изверг! — и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина

к дитяти... А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бегит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит:

— Держи их, Иван! Держи!

«Ну как же, — думаю себе, — так я тебе и стану их держать? Пускай любятся!» — да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю:

— Нате вам этого пострела! только уже теперь и меня, — говорю, — увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по беззаконному паспорту.

Она говорит:

— Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить.

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит:

— Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя.

Я говорю:

— Почему же?

— А потому,— отвечает, — что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет.

— Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый.

— Ну вот видишь, — отвечает, — а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с богом, куда хочешь.

А мне, признаюсь, ужасть как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю:

— Ну, прощайте, — говорю, — покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что.

— Что, — спрашивает, — такое?

— А то, — отвечаю, — что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил.

Он рассмеялся и говорит:

— Ну что это, бог с тобой, ты добрый мужик.

— Нет-с, это, — отвечаю, — мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь «вы» говорил.

— Это, — отвечает, — правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: «Жалуем *вас* и повелеваем *вас* почитать и уважать».

— Ну, позвольте же, — говорю, — я этого никак дальше снесть не могу...

— А что же, — говорит, — теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь.

— Вынуть, — говорю, — нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить, — и взял обе щеки перед ним надул.

— Да за что же?— говорит, — за что же я тебя стану бить?

— Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил.

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает:

— Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?

А я говорю:

— Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, — говорю, — меня с обеих сторон ударить, — и опять щеки надул; а он вдруг, вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит:

— Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут.

— А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все

я нигде места под собой не согрею... «Шабаш, — думаю, — пойду в полицию и объявлюсь, но только, — думаю, — опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимаются, ездовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посереди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

— Нешто ты, — говорит, — его не знаешь: это хан Джангар.

— Что, мол, еще за хан Джангар?

А тот и говорит:

— Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь.

— Разве, — говорю, — эта степь не под нами?

— Нет, она, — отвечает, — под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, — говорит, — хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и шихзады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться.

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против

кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? просто статуй великолепный, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навытяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости всё вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтораста и так далее, всё большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить, — сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке прилагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! — думаю себе, — ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, — думаю, — милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, — но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена сла-

галась, но и это еще было все ничего, как вдруг тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим, из-за Суры от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит:

— Моя кобылица.

А хан отвечает:

— Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают.

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу:

— Сто монетов больше всех даю!

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и как гвоздь воткнулся перед белой кобылицей и говорит:

— Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает:

— Это, — говорит, — дело зависит от очень большого хана-Джангарова понятия. Он, — говорит, — не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, михорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня, или двух, что конэсеры не знать что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится, и еще деньги за то получает. Эту его привычку знавши, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...

— Диво, — говорю, — какая лошадь!

— Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всереди косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он сказал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других

отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?

— А что, мол, такое: из-за чего нам биться?

— А из-за того, — отвечает, — что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет.

— Что же они, — спрашиваю, — очень, что ли, богаты?

— И богатые, — отвечает, — и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худищий, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, — оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают.

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступилися от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и всё хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и всё трясутся да кричат; один кричит:

— Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов (значить пять лошадей), — а другой вопит:

— Врет твоя мордам, я даю десять.

Бакшей Отучев кричит:

— Я даю пятнадцать голов.

А Чепкун Емгурчеев:

— Двадцать.

Бакшей:

— Двадцать пять.

А Чепкун:

— Тридцать.

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, и Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», — и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут

вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормошат их, Чепкуна и Бакшея, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа:

— Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?

— А вот видишь, — говорит, — этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили.

— Как же, — спрашиваю, — можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может.

— Отчего же, — отвечает, — азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят.

Я любопытствую:

— Что же, мол, такое это значит: «наперепор».

А тот мне отвечает:

— Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается.

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

— Сгода́! — дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

— Сгода́: поладили!

И оба враз с себя и халаты долой и бешметы и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет? А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают:

— Сейчас, бачка, сейчас.

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, — говорит, — обе штуки ровные».

— Ровные, — кричат татарва, — все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают.

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «подождите», и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошками хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с нагайками порются... Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенели, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца:

— Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?

— Да, — отвечает, — тоже такой поединок, только это, — говорит, — не насчет чести, а чтобы не расходоваться.

— И что же, — говорю, — они эдак могут друг друга долго сечь?

— А сколько им, — говорит, — похочется и сколько силы станет.

А те всё хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», и кому хочется, об заклад держат — те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят, и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит:

— Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет.

А я говорю:

— Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят.

А тот мне отвечает:

— Сидят-то, — говорит, — они еще оба ровно, да не одна в них повадка.

— Что же, — говорю, — по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает.

— А вот то, — отвечает, — и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его запорет.

«Что это, — думаю, — такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, — размышляю, — должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

— Скажи, — говорю, — милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасаешься?

А он говорит:

— Экой ты пригородник глупый! ты гляди, — говорит, — какая у Бакшея спина.

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

— А видишь, — говорит, — как он бьет?

Гляжу, и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

— Ну, а теперь сообрази, как он нутрём действует?

— Что же, мол, такое нутрём? — я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит:

— Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет.

— Что же, — спрашиваю, — стало быть, Чепкун надежней?

— Непременно, — отвечает, — надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, и спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрохвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть

сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея запорет. Понимаешь ты это теперь?

— Теперь, — говорю, — понимаю, — и точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

— А еще самое главное, — указует мой знакомец, — замечай, — говорит, — как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет, — это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет.

Я все эти его любопытные примеры на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна и в Бакшея, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тут мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат:

— Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умнай башка — совсем пересек Бакшея, садись — теперь твоя кобыла.

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит:

— Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай.

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, — думаю, — все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», — а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне:

— Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет.

Я говорю:

— Чему же еще быть? все кончено.

— Нет, — говорит, — не кончено, ты смотри, — говорит, — как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское.

Ну, а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшея взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, — по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, — настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой несся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

— Как он ваш стал? — перебили рассказчика удивленные слушатели.

— Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся

татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородина какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, говорит, по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татарином сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав, да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упросил, говорю:

«Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

— Вы с этим татарином... что же... секли друг друга?

— Да-с, тоже таким манером попоролись на мировую, и жеребенок мне достался.

— Значит, вы татарина победили?

— Победил-с, не без труда, но пересилил его.

— Ведь это, должно быть, ужасная боль.

— Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на óпух бить, чтобы кровь не спущать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлобыснет, я сам под нагайкой спиною поддерну, и так приноровился, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

— Как запороли, неужто совершенно до смерти?

— Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, — отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него, если не с ужасом, то с немым недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

— Видите, — продолжал он, — это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынь-песках первый батырь

считался и через эту амбицыю ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацыю не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

— И сколько же вы насчитали ударов? — перебили рассказчика.

— А вот наверно этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пущал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва — те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю:

«Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как, — говорят, — ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он, — говорят, — тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, — говорят, — по христианству надо судить. Пойдем, — говорят, — в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им:

«Спасайте, князья: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались, и пошли меня друг за дружку перепихивать, и скрыли.

— То есть позвольте... как же они вас *скрыли?*

— Совсем я с ними бежал в их степи.

— В степи даже!

— Да-с, в самые Рынь-пески.

— И долго там провели?

— Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.

— Что же, вам понравилось или нет в степи жить?

— Нет-с; что же там может нравиться? скучно, и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.

— Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?

— Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, говорят, тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, — коней нам лечи и бабам помогай».

— И вы лечили?

— Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.

— Да вы разве умеете лечить?

— Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит — я сабуру дам или калганного корня, и пройдет, а сабуру у них много было, — в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.

— И обжились вы с ними?

— Нет-с, постоянно назад стремился.

— И неужто никак нельзя было уйти от них?

— Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.

— А у вас что же с ногами случилось?

— Подщетинен я был после первого раза.

— Как это?.. Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были *подщетинены?*

— Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, говорят, нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.

— Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?

— Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпкой шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, дён несколько держали руки связавши,— всё боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, говорят, здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никогда не уйдешь».

Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

«Что же это, — говорю, — вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят:

«Ничего, Иван, ничего, что́ ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, — говорю, — это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты, — говорят, — присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи» .

«Тьфу вы, подлецы!» — думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, — скука смертная одолела, и стал приснoравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили:

«Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

— Экое несчастие, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

— Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?.. Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетинили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетиниванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

— Попервоначалу даже очень нехорошо, — отвечал Иван Северьяныч, — да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, — говорят, — тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принесть, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь Наташу, — мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю:

«Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

— Как! женили вас на татарке?

— Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне:

«Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

— И что же: эта точно была для вас утешнее? — спросили слушатели Ивана Северьяныча.

— Да, — отвечал он, — эта вышла поутешнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

— Как же она баловалась?

— А разно... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тюбетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да,

как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать — шлепнешься, да и сам рассмеешься.

— А вы там, в степи, голову брили и носили тюбетейку?

— Брил-с.

— Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

— Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

— Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

— Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

— Позвольте же, — запытал опять один из слушателей, — как же вас могли угнать?

— Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и ших-за́ды, и мало-за́ды, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

— Это которого Чепкун сек?

— Да-с, тот самый.

— Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

— За что же?

— За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

— Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, говорит, Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, говорит, было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы, — отвечаю ему, — ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья, — говорю, — слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, — говорит, — и видел, что из них, — говорит, — настоящих охотников нет, а всё только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну, а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

— И вы верхом ехали?

— Верхом-с.

— А как же ваши ноги?

— А что же такое?

— Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

— Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетинят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетиненный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

— Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

— Опять и еще жесточе погибал.

— Но не погибли?

— Нет-с, не погиб.

— Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

— Извольте.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, — говорят, — тебе там, Иван, с Емгурчеевыми жить, — Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что, — говорю, — мне их больше? мне больше не надо».

«Нет, — говорят, — ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тятькой кричать будут».

«Ну, — говорю, — легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

— Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

— Как-с?

— Этих новых жен своих вы любили?

— Любить?.. Да, то есть вы про это? ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

— А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

— Ничего; я и ее жалел.

— И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

— Нет; скучать не скучал.

— Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

— Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парою принесла.

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их всё так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них всё если взрослый русский человек — так *Иван,* а женщина — *Наташа,* а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

— Как же не почитали за своих? почему же это так?

— Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

— А чувства-то ваши родительские?

— Что же такое-с?

— Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

— Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

— А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

— Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

— Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

— Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую — все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор — краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

— Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже чем от ковыля делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь пáлом по траве пойдет, — суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А по-

том по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чириканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник... И когда на восходе солнца туман росою садится, будто прохладой пахнёт, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенесть можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там — погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит — не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит — татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, — это и называется *тюбенькуют*... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может — снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно по крайней мере запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне

к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уж более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, говорит, мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», — он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что где ты пропадаешь, ото всего этого счастия отлучен и столько лет на духу не был, и живешь невенчанный и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали — утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы свой монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

— А все прошло, слава богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена? Он поведал об этом следующее сказание:

— Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидать свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуй бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и *плененных»,* а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, — думаю, — молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятится.

Я говорю:

— Что такое?

— Ничего, — говорят, — из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять.

Я бросился, говорю:

— Где они?

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал.

Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули:

— А что? а что! видите! видите? как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета.

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

— Нет, — я говорю, — я, точно, русский! Отцы, — говорю, — духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу.

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: всё проповедуют.

Я думаю: «Ну, что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтися», — и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особливой ставке, и кинулся к ним и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

— Попугайте, — говорю, — их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, — говорю, — здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть.

А они отвечают:

— Что, — говорят, — сыне: выкупу у нас нет, а пугать, — говорят, — нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем.

— Так что же, — говорю, — стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?

— А что же, — говорят, — все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у бога много милости, может быть он тебя и избавит.

— Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил.

— А ты, — говорят, — не отчаявайся, потому что это большой грех!

— Да я, — говорю, — не отчаяваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки, и ничего пособить мне не хотите.

— Нет, — отвечают, — ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны.

— Все? — говорю.

— Да, — отвечают, — все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, — говорят, — рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать.

И показывают мне книжку.

— Вот ведь, — говорят, — видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, — это всё мы столько людей к нашей вере присоединили!

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит:

— У нас на озере, тятька, человек лежит.

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: сбчертит да дернет, так шкуру и снимет, — а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, — думаю, — не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святый боже» над ним пропел, — а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

— А эти миссионеры даже и туда, в Рынь-пески, заходят?

— Как же-с, они ходят, но только всё без пользы без всякой.

— Отчего же?

— Обращаться не знают как. Азията в веру приводить надо со страхом, чтобы он трясся от перепуга, а они им бога смирного проповедывают. Это поперевоначалу никак не годится, потому что азият смирного бога без угрозы ни за что не уважит и проповедников побьет.

— А главное, надо полагать, идучи к азиятам, денег и драгоценностей не надо при себе иметь.

— Не надо-с, а впрочем, все равно они не поверят, что кто-нибудь пришел да ничего при себе не принес; подумают, что где-нибудь в степи закопал, и пытать станут, и запытают.

— Вот разбойники!

— Да-с; так было при мне с одним жидовином: старый жидовин невесть откуда пришел и тоже о вере говорил. Человек хороший, и, видно, к вере своей усердный, и весь в таких лохмотках, что вся плоть его видна, а стал говорить про веру, так даже, кажется, никогда бы его не перестал слушать. Я с ним поперевоначалу было спорить зачал, что какая же, мол, ваша вера, когда у вас святых нет, но он говорит: есть, и начал по талмуду читать, какие у них бывают святые... очень занятно, а тот талмуд, говорит, написал раввин Иовоз бен Леви, который был такой ученый, что грешные люди на него смотреть не могли; как взглянули, сейчас все умирали, через что бог позвал его перед самого себя и говорит: «Эй ты, ученый раввин, Иовоз бен Леви! то хорошо, что ты такой ученый, но только то нехорошо, что чрез тебя все мои жидки могут умирать. Не на то, говорит, я их с Моисеем через степь перегнал и через море переправил. Пошел-ну ты за это вон из своего отечества и живи там, где бы тебя никто не мог видеть». А раввин Леви как пошел, то ударился до самого до того места, где был рай, и зарыл себя там в песок по самую шею, и пребывал в песке тринадцать лет, а хотя же и был засыпан по шею, но всякую субботу приготовлял себе агнца, который был печен огнем, с небеси нисходящим. И если комар или муха ему садилась на нос, чтобы пить его кровь, то они тоже сейчас были пожираемы небесным огнем... Азиятам это очень понравилось про ученого раввина, и они долго сего жидовина слушали, а по-

том приступили к нему и стали его допрашивать: где он, идучи к ним, свои деньги закопал? Жидовин, батюшки, как клялся, что денег у него нет, что его бог без всего послал, с одной мудростью, ну, однако, они ему не поверили, а сгребли уголья, где костер горел, разостлали на горячую золу коневью шкуру, положили на нее и стали потряхивать. Говори им да говори: где деньги? А как видят, что он весь почернел и голосу не подает:

«Стой, — говорят, — давай мы его по горло в песок закопаем: может быть, ему от этого проходит».

И закопали, но, однако, жидовин так закопанный и помер, и голова его долго потом из песку чернелась, но дети ее стали пужаться, так срубили ее и в сухой колодец кинули.

— Вот тебе и проповедуй им!

— Да-с; очень трудно, но а деньги у этого жидовина все-таки ведь были.

— Были?!

— Были-с; его потом волки тревожить стали и шакалки и всего по кусочкам из песку повытаскали и, наконец, добрались и до обуви. Тут сапожонки растормошили, а из подметки семь монет выкатились. Нашли их потом.

— Ну, а как же вы-то от них вырвались?

— Чудом спасен.

— Кто же это чудо сделал, чтобы вас избавить?

— Талафа.

— Это кто же такой этот Талафа: тоже татарин?

— Нет-с; он другой породы, индийской, и даже не простой индеец, а ихний бог, на землю сходящий.

Упрошенный слушателями, Иван Северьяныч Флягин рассказал нижеследующее об этом новом акте своей житейской драмокомедии.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— После того как татары от наших мисанеров избавились, опять прошел без мала год, и опять была зима, и мы перегнали косяки тюбеньковать на сторону поюжнее, к Каспию, и тут вдруг одного дня перед вечером пригонили к нам два человека, ежели только можно их за человеков считать. Кто их знает, какие они и откуда и какого рода

и звания. Даже языка у них никакого настоящего не было, ни русского, ни татарского, а говорили слово по-нашему, слово по-татарски, а то промеж себя невесть по-каковски. Оба не старые, один черный, с большой бородой, в халате, будто и на татарина похож, но только халат у него не пестрый, а весь красный, и на башке острая персианская шапка; а другой рыжий, тоже в халате, но этакий штуковатый: всё ящички какие-то при себе имел, и сейчас чуть ему время есть, что никто на него не смотрит, он с себя халат долой снимет и остается в одних штанцах и в курточке, а эти штанцы и курточка по-такому шиты, как в России на заводах у каких-нибудь немцев бывает. И все он, бывало, в этих ящичках что-то вертит да перебирает, а что такое у него там содержалось? — лихо его ведает. Говорили, будто из Хивы пришли коней закупать и хотят там у себя дома с кем-то войну делать, а с кем — не сказывают, но только все татарву против русских подущают. Слышу я, этот рыжий, — говорить он много не умеет, а только выговорит вроде как по-русски «нат-шальник» и плюнет; но денег с ними при себе не было, потому что они, азияты, это знают, что если с деньгами в степь приехать, то оттоль уже с головой на плечах не выедешь, а манули они наших татар, чтобы им косяки коней на их реку, на Дарью, перегнать и там расчет сделать. Татарва и туда и сюда мыслями рассеялись и не знают: согласиться на это или нет? Думают, думают, словно золото копают, а, видно, чего-то боятся.

А те их то честью уговаривали, а потом тоже и пугать начали.

«Гоните, — говорят, — а то вам худо может быть: у нас есть бог Талафа, и он с нами свой огонь прислал. Не дай бог, как рассердится».

Татары того бога не знают и сомневаются, что́ он им сделать может в степи зимою с своим огнем, — ничего. Но этот чернобородый, который из Хивы приехал, в красном халате, говорит, что если, говорит, вы сомневаетесь, то Талафа вам сею же ночью свою силу покажет, только вы, говорит, если что увидите или услышите, наружу не выскакивайте, а то он сожжет. Разумеется, всем это среди скуки степной, зимней, ужасть как интересно, и все мы хотя немножко этой ужасти боимся, а рады посмотреть:

что такое от этого индийского бога будет; чем он, каким чудом проявится?

Позабрались мы с женами и с детьми под ставки рано и ждем... Все темно и тихо, как и во всякую ночь, только вдруг, так в первый сон, я слышу, что будто в степи что-то как вьюга прошипело и хлопнуло, и сквозь сон мне показалось, будто с небеси искры посыпались.

Схватился я, гляжу, и жены мои ворочаются, и ребята заплакали.

Я говорю:

«Цыть! заткните им глотки, чтобы сосали и не плакали».

Те зацмоктали, и стало опять тихо, а в темной степи вдруг опять вверх огонь зашипел... зашипело и опять лопнуло...

«Ну, — думаю, — однако, видно, Талафа-то не шутка!»

А он мало спустя опять зашипел, да уже совсем на другой манер, — как птица огненная, выпорхнул с хвостом, тоже с огненным, и огонь несбыкновенно какой, как кровь красный, а лопнет, вдруг все желтое сделается и потом синее станет.

По становищу, слышу, все как умерло. Не слыхать этого, разумеется, никому нельзя этакой пальбы, но все, значит, оробели и лежат под тулупами. Только слышно, что земля враз вздрогнет, затрясется и опять станет. Это, можно разуметь, кони шарахаются и всё в кучу теснятся, да слышно раз было, как эти хивяки или индийцы куда-то пробегли, и сейчас опять по степи огонь как пустится змеем... Кони как зынули на то, да и понеслись... Татарва и страх позабыли, все повыскакали, башками трясут, вопят: «Алла! Алла!» — да в погоню, а те, хивяки, пропали, и следа их нет, только один ящик свой покинули по себе на память... Вот тут как все наши ба́тыри угнали за табуном, а в стану одни бабы да старики остались, я и догляделся до этого ящика: что там такое? Вижу, в нем разные земли, и снадобья, и бумажные трубки: я стал раз одну эту трубку близко к костру рассматривать, а она как хлопнет, чуть мне огнем все глаза не выжгло, и вверх полетела, а там... бббаххх, звездами рассыпало... «Эге, — думаю себе, — да это, должно, не бог, а просто фейверок, как у нас в публичном саду пускали», — да опять как из другой трубки бабахну, а гляжу, татары, кои тут старики

остались, уже и повалились и ничком лежат кто где упал, да только ногами дрыгают... Я было попервоначалу и сам испугался, но потом как увидал, что они этак дрыгают, вдруг совсем в иное расположение пришел и, с тех пор как в полон попал, в первый раз как заскриплю зубами, да и ну на них вслух какие попало незнакомые слова произносить. Кричу как можно громче:

«Парле-бьен-комса-шире-мир-ферфлюхтур-мин-адью-мусью!»

Да еще трубку с вертуном выпустил... Ну, тут уже они, увидав, как вертун с огнем ходит, все как умерли... Огонь погас, а они всё лежат, и только нет-нет один голову поднимет, да и опять сейчас мордою вниз, а сам только пальцем кивает, зовет меня к себе. Я подошел и говорю:

«Ну, что? признавайся, чего тебе, проклятому: смерти или живота?», потому что вижу, что они уже страсть меня боятся.

«Прости, — говорят, — Иван, не дай смерти, а дай живота».

А в другом месте тоже и другие таким манером кивают и всё прощенья и живота просят.

Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно уже я за все свои грехи оттерпелся, и прошу:

«Мать пресвятая владычица, Николай Угодник, лебедики мои, голубчики, помогите мне, благодетели!»

А сам татар строго спрашиваю:

«В чем и на какой конец я вас должен простить и животом жаловать?»

«Прости,— говорят,— что мы в твоего бога не верили».

«Ага, — думаю, — вон оно как я их пугнул», — да говорю: «Ну уж нет, братцы, врете, этого я вам за противность религии ни за что не прощу!» Да сам опять зубами скрип да еще трубку распечатал.

Эта вышла с ракитою... Страшный огонь и треск.

Кричу я на татар:

«Что же: еще одна минута, и я вас всех погублю, если вы не хотите в моего бога верить».

«Не губи, — отвечают, — мы все под вашего бога согласны подойти».

Я и перестал фейверки жечь и окрестил их в речечке.

— Тут же, в это самое время и окрестили?

— В эту же самую минуту-с. Да и что же тут было долго время препровождать? Надо, чтобы они одуматься не могли. Помочил их по башкам водицей над прорубью, прочел «во имя отца и сына», и крестики, которые от мисанеров остались, понадевал на шеи, и велел им того убитого мисанера чтобы они за мученика почитали и за него молились, и могилку им показал.

— И они молились?

— Молились-с.

— Ведь они же никаких молитв христианских, чай, не знали, или вы их выучили?

— Нет; учить мне их некогда было, потому что я видел, что мне в это время бежать пора, а велел им: молитесь, мол, как до сего молились, по-старому, но только Аллу называть не смейте, а вместо него Иисуса Христа поминайте. Они так и приняли сие исповедание.

— Ну, а потом как же все-таки вы от этих новых христиан убежали с своими искалеченными ногами и как вылечились?

— А потом я нашел в тех фейверках едкую землю; такая, что чуть ее к телу приложишь, сейчас она страшно тело палит. Я ее и приложил и притворился, будто я болен, а сам себе все, под кошмой лежа, этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась и вся та щетина, которую мне татары десять лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмогнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало, и наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и три дня я им за юрты выходить не велел, а для большей еще острастки самый большой фейверк пустил и ушел...

— Но они вас не догнали?

— Нет; да и где им было догонять: я их так запостил и напугал, что они небось радешеньки остались и три дня носу из юрт не казали, а после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал.

— И все пешком?

— А то как же-с, там ведь не проезжая дорога, встретить некого, а встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на четвертый день чувашин показался, один пять лошадей гонит, говорит: «Садись верхом».

Я поопасался и не поехал.

— Чего же вы его боялись?

— Да так... он как-то мне неверен показался, а притом нельзя было и разобрать, какой он религии, а без этого на степи страшно. А он, бестолковый, кричит:

«Садись, — кричит, — веселей, двое будем ехать».

Я говорю:

«А кто ты: может быть, у тебя бога нет?»

«Как, — говорит, — нет: это у татарина бока нет, он кобылу ест, а у меня есть бок».

«Кто же, — говорю, — твой бог?»

«А у меня, — говорит, — всё бок: и солнце бок, и месяц бок, и звезды бок... все бок. Как у меня нет бок?»

«Все!.. гм... все, мол, у тебя бог, а Иисус Христос, — говорю, — стало быть, тебе не бог?»

«Нет, — говорит, — и он бок, и богородица бок, и Николач бок...»

«Какой, — говорю, — Николач?»

«А что один на зиму, один на лето живет».

Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает.

«Всегда, — говорю, — его почитай, потому что он русский», — и уже совсем было его веру одобрил и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался.

«Как же, — говорит, — я Николача почитаю: я ему на зиму пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему двугривенный даю, чтоб он мне хорошенько коровок берег, да! Да еще на него одного не надеюсь, так Кереметн бычка жертвую».

Я и рассердился.

«Как же, — говорю, — ты смеешь на Николая Чудотворца не надеяться и ему, русскому, всего двугривенный, а своей мордовской Керемети поганой целого бычка! Пошел прочь, — говорю, — не хочу я с тобою... я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь».

И не поехал: зашагал во всю мочь, не успел опомниться, смотрю, к вечеру третьего дня вода завиднелась и люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю: что за

народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть, но вижу, что эти люди пищу варят... Должно быть, думаю, христиане. Подполоз еще ближе: гляжу, крестятся и водку пьют, — ну, значит, русские!.. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это, вышло, ватага рыбная: рыбу ловили. Они меня, как надо землякам, ласково приняли и говорят:

«Пей водку!»

Я отвечаю:

«Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык».

«Ну, ничего, — говорят, — здесь своя нацыя, опять привыкнешь: пей!»

Я налил себе стаканчик и думаю:

«Ну-ка, господи благослови, за свое возвращение!» — и выпил, а ватажники пристают, добрые ребята.

«Пей еще! — говорят, — ишь ты без нее как зачичкался».

Я и еще одну позволил и сделался очень откровенный: все им рассказал: откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им, у огня сидя, рассказывал и водку пил, и все мне так радостно было, что я опять на святой Руси, но только под утро этак, уже костерок стал тухнуть и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне:

«А паспорт же у тебя есть?»

Я говорю:

«Нет, нема».

«А если, — говорит, — нема, так тебе здесь будет тюрьма».

«Ну так я, — говорю, — я от вас не пойду; а у вас небось тут можно жить и без паспорта?»

А он отвечает:

«Жить, — говорит, — у нас без паспорта можно, но помирать нельзя».

Я говорю:

«Это отчего?»

«А как же, — говорит, — тебя поп запишет, если ты без паспорта?»

«Так как же, мол, мне на такой случай быть?»

«В воду, — говорит, — тебя тогда бросим на рыбное пропитание».

«Без попа?»

«Без попа».

Я, в легком подпитии будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется.

«Я, — говорит, — над тобою шутил: помирай смело, мы тебя в родную землю зароем».

Но я уже очень огорчился и говорю:

«Хороша, мол, шутка. Если вы этак станете надо мною часто шутить, так я и до другой весны не доживу».

И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь, и пришел в Астрахань, заработал на поденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе, и сижу уже я в остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался, но тоже очень состарился, и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел, он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье, а он стал меня исповедовать и на три года не разрешает мне причастия...

Я говорю:

«Как же так, батюшка, я было... столько лет не причащамшись... ждал...»

«Ну, мало ли, — говорит, — что; ты ждал, а зачем ты, — говорит,—татарок при себе вместо жен держал... Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю, а если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь, но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется».

«Ну что же, — думаю, — делать: останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена», — но граф этого не захотели. Изволили сказать:

«Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть».

И приказали управителю еще раз меня высечь с оглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить.

Так и сделалось: выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал, через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерениев у меня никаких определительных не было, но на мою долю бог послал практику.

— Какую же?

— Да опять все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша, а вскоре очень достаточного положения достиг и еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет.

— Что же это такое, если можно спросить?

— Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи.

— Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала?

— Магнетизм-с.

— Как! магнетизм?!

— Да-с, магнетическое влияние от одной особы.

— Как же вы чувствовали над собой ее влияние?

— Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял.

— Вот тут, значит, к вам и пришла *ваша* собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь?

— Нет-с, это еще после пришло, а до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение.

— Вы можете рассказать и эти приключения?

— Отчего же-с; с большим моим удовольствием.

— Так, пожалуйста.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Взявши я паспорт, пошел без всякого о себе намерения, и пришел на ярмарку, и вижу, там цыган мужику лошадь меняет и безбожно его обманывает; стал ее силу пробовать, и своего конишку в просяной воз заложил, а мужикову лошадь в яблочный. Тяга в них, разумеется,

хоть и равная, а мужикова лошадь преет, потому что ее яблочный дух обморачивает, так как коню этот дух страшно неприятен, а у цыгановой лошади, кроме того, я вижу, еще и обморок бывает, и это сейчас понять можно, потому что у нее на лбу есть знак, как был огонь ставлен, а цыган говорит: «Это бородавка». А мне мужика, разумеется, жаль, потому ему на оморочной лошади нельзя будет работать, так как она кувырнет, да и все тут, а к тому же я цыганов тогда смерть ненавидел через то, что от первых от них имел соблазн бродить, и впереди, вероятно, еще иное предчувствовал, как и оправдалось. Я эту фальшь в лошади мужичку и открыл, а как цыган стал со мною спорить, что не огонь жжен на лбу, а бородавка, я в доказательство моей справедливости ткнул коня шильцем в почку, он сейчас и шлеп на землю и закрутился. Взял я и мужикам хорошую лошадь по своим познаниям выбрал, а они мне за это вина и угощенья и две гривны денег, и очень мы тут погуляли. С того и пошло: и капитал расти и усердное пьянство, и месяца не прошло, как я вижу, что это хорошо: обвешался весь бляхами и коновальскою сбруею и начал ходить с ярмарки на ярмарку и безде бедных людей руководствую и собираю себе достаток и все магарычи пью; а между тем стал я для всех барышников-цыганов все равно что божия гроза, и узнал стороною, что они собираются меня бить. Я от этого стал уклоняться, потому что их много, а я один, и они меня ни разу не могли попасть одного и вдоволь отколотить, а при мужиках не смели, потому что те за мою добродетель всегда стояли за меня. Тут они и пустили про меня дурную славу, что будто я чародей и не своею силою в твари толк знаю, но, разумеется, все это было пустяки: к коню я, как вам докладывал, имею дарование и готов бы его всякому, кому угодно, преподать, но только что, главное дело, это никому в пользу не послужит.

— Отчего же это не послужит в пользу?

— Не поймет-с никто, потому что на это надо не иначе как иметь дар природный, и у меня уже не раз такой опыт был, что я преподавал, но все втуне осталось; но позвольте, об этом после.

Когда моя слава по ярмаркам прогремела, что я насквозь коня вижу, то один ремонтер, князь, мне сто рублей давал:

«Открой, — говорит, — братец, твой секрет насчет понимания. Мне это дорого стоит».

А я отвечаю:

«Никакого у меня секрета нет, а у меня на это природное дарование».

Ну, а он пристает:

«Открой же мне, однако, как ты об этом понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу как-нибудь, — вот тебе сто рублей».

Что тут делать? Я пожал плечами, завязал деньги в тряпицу и говорю: извольте, мол, я, что знаю, стану сказывать, а вы извольте тому учиться и слушать; а если не выучитесь и нисколько вам от того пользы не будет, за это я не отвечаю.

Он, однако, был и этим доволен, и говорит: «Ну уж это не твоя беда, сколько я научусь, а ты только сказывай».

«Первое самое дело, — говорю, — если кто насчет лошади хочет знать, что она в себе заключает, тот должен иметь хорошее расположение в осмотре и от того никогда не отдаляться. С первого взгляда надо глядеть умно на голову и потом всю лошадь окидывать до хвоста, а не латошить, как офицеры делают. Тронет за зашеину, за челку, за храпок, за обрез и за грудной соколок или еще за что попало, а все без толку. От этого барышники кавалерийских офицеров за эту латошливость страсть любят. Барышник как этакую военную лато́ху увидал, сейчас начнет перед ним конем крутить, вертеть, во все стороны поворачивать, а которую часть не хочет показать, той ни за что не покажет, а там-то и фальшь, а фальшей этих бездна: конь вислоух — ему кожицы на вершок в затылке вырежут, стянут, и зашьют, и замажут, и он оттого ушки подберет, но ненадолго: кожа ослабнет, и уши развиснут. Если уши велики, — их обрезывают, — а чтобы ушки прямо стояли, в них рожки суют. Если кто паристых лошадей подбирает и если, например, один конь во лбу с звездочкой, — барышники уже так и зрят, чтобы такую звездочку другой приспособить: пемзою шерсть вытирают, или горячую репу печеную приложат где надо, чтобы белая шерсть выросла, она сейчас и идет, но только всячески если хорошо смотреть, то таким манером ращенная шерстка всегда против настоящей немножко длиннее и пупится, как будто бородочка. Еще больше барышники обижают

публику глазами: у иной лошади западинки ввалившись над глазом, и некрасиво, но барышник проколет кожицу булавкой, а потом приляжет губами и все в это место дует, и надует так, что кожа подымется и глаз освежеет, и красиво станет. Это легко делать, потому что если лошади на глаз дышать, ей это приятно, от теплого дыхания, и она стоит не шелохнется, но воздух выйдет, и у нее опять ямы над глазами будут. Против этого одно средство: около кости щупать, не ходит ли воздух. Но еще того смешнее, как слепых лошадей продают. Это точно комедия бывает. Офицерик, например, крадется к глазу коня с соломинкой, чтобы испытать, видит ли конь соломинку, а сам того не видит, что барышник в это время, когда лошади надо головой мотнуть, кулаком ее под брюхо или под бок толкает. А иной хоть и тихо гладит, но у него в перчатке гвоздик, и он будто гладит, а сам кольнет». И я своему ремонтеру против того, что здесь сейчас упомянул, вдесятеро более объяснил, но ничего ему это в пользу не послужило: назавтра, гляжу, он накупил коней таких, что кляча клячи хуже, и еще зовет меня посмотреть и говорит:

«Ну-ка, брат, полюбуйся, как я наловчился коней понимать».

Я взглянул, рассмеялся и отвечаю, что, мол, и смотреть нечего:

«У этой плечи мясисты, — будет землю ногами цеплять; эта ложится — копыто под брюхо кладет и много что чрез годок себе килу намнет; а эта когда овес ест, передней ногою топает и колено об ясли бьет», — и так всю покупку раскритиковал, и все правильно на мое вышло.

Князь на другой день и говорит:

«Нет, Иван, мне, точно, твоего дарования не понять, а лучше служи ты сам у меня конэсером и выбирай ты, а я только буду деньги платить».

Я согласился и жил отлично целые три года, не как раб и наемник, а больше как друг и помощник, и если бы не выходы меня одолели, так я мог бы даже себе капитал собрать, потому что, по ремонтирскому заведению, какой заводчик ни приедет, сейчас сам с ремонтером знакомится, а верного человека подсылает к конэсеру, чтобы как возможно конэсера на свою сторону задобрить, потому что заводчики знают, что вся настоящая сила не в ремонтере, а в том, если который имеет при себе настоящего

конэсера. Я же был, как докладывал вам, природный конэсер и этот долг природы исполнял совестно: ни за что я того, кому служу, обмануть не мог. И мой князь это чувствовал и высоко меня уважал, и мы жили с ним во всем в полной откровенности. Он, бывало, если проиграется где-нибудь ночью, сейчас утром как встанет, идет в архалучке ко мне в конюшню и говорит:

«Ну что, почти полупочтеннейший мой Иван Северьяныч! Каковы ваши дела?» — он все этак шутил, звал меня *почти полупочтенный,* но почитал, как увидите, вполне.

А я знал, что это обозначает, если он с такой шуткой идет, и отвечу, бывало:

«Ничего, мол: мои дела, слава богу, хороши, а не знаю, как ваше сиятельство, каковы ваши обстоятельства?»

«Мои, — говорит, — так довольно гадки, что даже хуже требовать не надо».

«Что же это такое, мол, верно, опять вчера продулись по-анамеднешнему?»

«Вы, — отвечает, — изволили отгадать, мой полупочтеннейший, продулся я-с, продулся».

«А на сколько, — спрашиваю, — вашу милость облегчило?»

Он сейчас же и ответит, сколько тысяч проиграл, а я покачаю головою да говорю:

«Продрать бы ваше сиятельство хорошо, да некому».

Он рассмеется и говорит:

«То и есть, что некому».

«А вот ложитесь, мол, на мою кроватку, я вам чистенький кулечек в голову положу, а сам вас постегаю».

Он, разумеется, и начнет подъезжать, чтобы я ему на реванж денег дал.

«Нет, ты, — говорит, — лучше меня не пори, а дай-ка мне из расходных денег на реванжик: я пойду отыграюсь и всех обыграю».

«Ну уж это, — отвечаю, — покорно вас благодарю, нет уже, играйте, да не отыгрывайтесь».

«Как, благодаришь! — начнет смехом, а там уже пойдет сердиться: — Ну, пожалуйста, — говорит, — не забывайся, прекрати надо мною свою опеку и подай деньги».

Мы спросили Ивана Северьяныча, давал ли он своему князю на реванж?

— Никогда, — отвечал он. — Я его, бывало, либо обману: скажу, что все деньги на овес роздал, либо просто со двора сбегу.

— Ведь он на вас небось за это сердился?

— Сердился-с; сейчас, бывало, объявляет: «Кончено-с; вы у меня, полупочтеннейший, более не служите».

Я отвечаю:

«Ну и что же такое, и прекрасно. Пожалуйте мой паспорт».

«Хорошо-с, — говорит, — извольте собираться: завтра получите ваш паспорт».

Но только назавтра у нас уже никогда об этом никакого разговору больше не было. Не более как через какой-нибудь час он, бывало, приходит ко мне совсем в другом расположении и говорит:

«Благодарю вас, мой премного-малозначащий, что вы имели характер и мне на реванж денег не дали».

И так он это всегда после чувствовал, что если и со мною что-нибудь на моих выходах случалось, так он тоже как брат ко мне снисходил.

— А с вами что же случалось?

— Я же вам объяснял, что выходы у меня бывали.

— А что это значит *выходы?*

— Гулять со двора выходил-с. Обучась пить вино, я его всякий день пить избегал и в умеренности никогда не употреблял, но если, бывало, что меня растревожит, ужасное тогда к питью усердие получаю и сейчас сделаю выход на несколько дней и пропадаю. А брало это меня и не заметишь отчего; например, когда, бывало, отпущаем коней, кажется, и не братья они тебе, а соскучаешь по них и запьешь. Особенно если отдалишь от себя такого коня, который очень красив, то так он, подлец, у тебя в глазах и мечется, до того, что как от наваждения какого от него скрываешься, и сделаешь выход.

— Это значит — запьете?

— Да-с; выйду и запью.

— И надолго?

— М... н... н... это не равно-с, какой выход задастся: иногда пьешь, пока все пропьешь, и либо кто-нибудь тебя отколотит, либо сам кого побьешь, а в другой раз покороче удастся, в части посидишь или в канаве выспишься, и доволен, и отойдет. В таковых случаях я уже наблю-

дал правило и, как, бывало, чувствую, что должен сделать выход, прихожу к князю и говорю:

«Так и так, ваше сиятельство, извольте принять от меня деньги, а я пропаду».

Он уже и не спорит, а принимает деньги или только спросит, бывало:

«Надолго ли, ваша милость, вздумали зарядить?»

Ну, я отвечаю, судя по тому, какое усердие чувствую: на большой ли выход или на коротенький.

И я уйду, а он уже сам и хозяйничает и ждет меня, пока кончится выход, и все шло хорошо; но только ужасно мне эта моя слабость надоела, и вздумал я вдруг от нее избавиться; тут-то и сделал такой последний выход, что даже теперь вспомнить страшно.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мы, разумеется, подговорились, чтобы Иван Северьяныч довершил свою любезность, досказав этот новый злополучный эпизод в своей жизни, а он, по доброте своей, всеконечно от этого не отказался и поведал о своем «последнем выходе» следующее:

— У нас была куплена с завода кобылица Дидона, молодая, золото-гнедая, для офицерского седла. Дивная была красавица: головка хорошенькая, глазки пригожие, ноздерки субтильные и открытенькие, как хочет, так и дышит; гривка легкая; грудь меж плеч ловко, как кораблик, сидит, а в поясу гибкая, и ножки в белых чулочках легкие, и она их мечет, как играет... Одним словом, кто охотник и в красоте имеет понятие, тот от наглядения на этакого животного задуматься может. Мне же она так по вкусу пришла, что я даже из конюшни от нее не выходил и все ласкал ее от радости. Бывало, сам ее вычищу и оботру ее всю как есть белым платочком, чтобы пылинки у нее в шерстке нигде не было, даже и поцелую ее в самый лобик, в завиточек, откуда шерсточка ее золотая расходилась... В эту пору у нас разом шли две ярмарки: одна в Л., другая в К., и мы с князем разделились: на одной я действую, а на другую он поехал. И вдруг я получаю от него письмо, что пишет «прислать,

говорит, ко мне сюда таких-то и таких-то лошадей и Дидону». Мне неизвестно было, зачем он эту мою красавицу потребовал, на которую мой охотницкий глаз радовался. Но думал я, конечно, что кому-нибудь он ее, голубушку, променял или продал, или, еще того вернее, проиграл в карты... И вот я отпустил с конюхами Дидону и ужасно растосковался и возжелал выход сделать. А положение мое в эту пору было совсем необыкновенное: я вам докладывал, что у меня всегда было такое заведение, что если нападет на меня усердие к выходу, то я, бывало, появляюсь к князю, отдаю ему все деньги, кои всегда были у меня на руках в большой сумме, и говорю: «Я на столько-то или на столько-то дней пропаду». Ну, а тут как мне это устроить, когда моего князя при мне нет? И вот я думаю себе: «Нет, однако, я больше не стану пить, потому что князя моего нет и выхода мне в порядке сделать невозможно, потому что денег отдать некому, а при мне сумма знатная, более как до пяти тысяч». Решил я так, что этого нельзя, и твердо этого решения и держусь, и усердия своего, чтобы сделать выход и хорошенько пропасть, не попущаю, но ослабления к этому желанию все-таки не чувствую, а, напротив того, больше и больше стремлюсь сделать выход. И, наконец, стал я исполняться одной мысли: как бы мне так устроить, чтобы и свое усердие к выходу исполнить и княжеские деньги соблюсти? И начал я их с этою целию прятать и всё по самым невероятным местам их прятал, где ни одному человеку на мысль не придет деньги положить... Думаю: «Что делать? видно, с собою не совладаешь, устрою, думаю, понадежнее деньги, чтобы они были сохранны, и тогда отбуду свое усердие, сделаю выход». Но только напало на меня смущение: где я эти проклятые деньги спрячу? Куда я их ни положу, чуть прочь от того места отойду, сейчас мне входит в голову мысль, что их кто-то крадет. Иду и опять поскорее возьму и опять перепрятываю... Измучился просто я их прятавши, и по сеновалам, и по погребам, и по застрехам, и по другим таким неподобным местам для хранения, а чуть отойду, сейчас все кажется, что кто-нибудь видел, как я их хоронил, и непременно их отыщет, и я опять вернусь, и опять их достану, и ношу их с собою, а сам опять думаю: «Нет, уже баста, видно

мне не судьба в этот раз свое усердие исполнить». И вдруг мне пришла божественная мысль: ведь это, мол, меня бес томит этой страстью, пойду же я его, мерзавца, от себя святыней отгоню! И пошел я к ранней обедне, помолился, вынул за себя часточку и, выходя из церкви, вижу, что на стене Страшный суд нарисован и там в углу дьявола в геенне ангелы цепью бьют. Я остановился, посмотрел и помолился поусерднее святым ангелам, а дьяволу взял да, послюнивши, кулак в морду и сунул:

«На-ка, мол, тебе кукиш, на него что хочешь, то и купишь», — а сам после этого вдруг совершенно успокоился и, распорядившись дома чем надобно, пошел в трактир чай пить... А там, в трактире, вижу, стоит между гостей какой-то проходимец. Самый препустейший-пустой человек. Я его и прежде, этого человека, видал и почитал его не больше как за какого-нибудь шарлатана или паяца, потому что он все, бывало, по ярмаркам таскается и у господ по-французски пособия себе просит. Из благородных он будто бы был и в военной службе служил, но все свое промотал и в карты проиграл и ходит по миру... Тут его, в этом трактире, куда я пришел, услужающие молодцы выгоняют вон, а он не соглашается уходить и стоит да говорит:

— Вы еще знаете ли, кто я такой? Ведь я вам вовсе не ровня, у меня свои крепостные люди были, и я очень много таких молодцов, как вы, на конюшне для одной своей прихоти сек, а что я всего лишился, так на это была особая божия воля, и на мне печать гнева есть, а потому меня никто тронуть не смеет.

Те ему не верят и смеются, а он сказывает, как он жил, и в каретах ездил, и из публичного сада всех штатских господ вон прогонял, и один раз к губернаторше голый приехал, «а ныне, — говорит, — я за свои своеволия проклят и вся моя натура окаменела, и я ее должен постоянно размачивать, а потому подай мне водки! — я за нее денег платить не имею, но зато со стеклом съем».

Один гость и велел ему подать, чтобы посмотреть, как он будет стекло есть. Он сейчас водку на лоб хватил, и, как обещал, так честно и начал стеклянную рюмку зубами хрустать и перед всеми ее и съел, и все этому

с восторгом дивились и хохотали. А мне его стало жалко, что благородный он человек, а вот за свое усердие к вину даже утробою жертвует. Думаю: надо ему дать хоть кишки от этого стекла прополоснуть, и велел ему на свой счет другую рюмку подать, но стекла есть не понуждал. Сказал: не надо, не ешь. Он это восчувствовал и руку мне подает.

— Верно, — говорит, — ты происхождения из господских людей?

— Да, — говорю, — из господских.

— Сейчас, — говорит, — и видно, что ты не то, что эти свиньи. Гран-мерси, — говорит, — тебе за это.

Я говорю:

— Ничего, иди с богом.

— Нет, — отвечает, — я очень рад с тобою поговорить. Подвинься-ка, я возле тебя сяду.

— Ну, мол, пожалуй, садись.

Он возле меня и сел и начал сказывать, какой он именитой фамилии и важного воспитания, и опять говорит:

— Что это... ты чай пьешь?

— Да, мол, чай. Хочешь, и ты со мною пей..

— Спасибо, — отвечает, — только я чаю пить не могу.

— Отчего?

— А оттого, — говорит, — что у меня голова не чайная, а у меня голова отчаянная: вели мне лучше еще рюмку вина подать!.. — И этак он и раз, и два, и три у меня вина выпросил и стал уже очень мне этим докучать. А еще больше противно мне стало, что он очень мало правды сказывает, а все-то куражится и невесть что о себе сплетет, а то вдруг беднится, плачет, и все о суете.

— Подумай, — говорит, — ты, какой я человек? Я — говорит, — самим богом в один год с императором создан и ему ровесник.

— Ну так что же, мол, такое?

— А то, что какое же мое, несмотря на все это, положение? Несмотря на все это, я, — говорит, — нисколько не взыскан и вышел ничтожество, и, как ты сейчас видел, я ото всех презираем. — И с этими словами опять водки потребовал, но на сей раз уже велел целый графин подать, а сам завел мне преогромную историю, как над ним по трактирам купцы насмехаются, и в конце говорит:

— Они, — говорит, — необразованные люди, думают, что это легко такую обязанность несть, чтобы вечно пить и рюмкою закусывать? Это очень трудное, братец, призвание, и для многих даже совсем невозможное; но я свою натуру приучил, потому что вижу, что свое надо отбыть, и несу.

— Зачем же, — рассуждаю, — этой привычке так уже очень усердствовать? Ты ее брось.

— Бросить? — отвечает. — А-га, нет, братец, мне этого бросить невозможно.

— Почему же, — говорю, — нельзя?

— А нельзя, — отвечает, — по двум причинам: во-первых, потому, что я, не напившись вина, никак в кровать не попаду, а все буду ходить; а во-вторых, самое главное, что мне этого мои христианские чувства не позволяют.

— Что же, мол, это такое? Что ты в кровать не попадешь, это понятно, потому что все пить ищешь; но чтобы христианские чувства тебе не позволяли этаку вредную пакость бросить, этому я верить не хочу.

— Да, вот ты, — отвечает, — не хочешь этому верить... Так и все говорят... А что, как ты полагаешь, если я эту привычку пьянствовать брошу, а кто-нибудь ее поднимет да возьмет: рад ли он этому будет или нет?

— Спаси, мол, господи! Нет, я думаю, не обрадуется.

— А-га! — говорит. — Вот то-то и есть, а если уже это так надо, чтобы я страдал, так вы уважайте же меня по крайней мере за это, и вели мне еще графин водки подать!

Я постучал еще графинчик, и сижу, и слушаю, потому что мне это стало казаться занятно, а он продолжает таковые слова:

— Оно, — говорит, — это так и надлежит, чтобы это мучение на мне кончилось, чем еще другому достанется, потому что я, — говорит, — хорошего рода и настоящее воспитание получил, так что даже я еще самым маленьким по-французски богу молился, но я был немилостивый и людей мучил, в карты своих крепостных проигрывал; матерей с детьми разлучал; жену за себя богатую взял и со света ее сжил, и, наконец, будучи во всем сам виноват, еще на бога возроптал: зачем у меня такой характер? Он меня и наказал: дал мне другой характер, что

нет во мне ни малейшей гордости, хоть в глаза наплюй, по щекам отдуй, только бы пьяным быть, про себя забыть.

— И что же, — спрашиваю, — теперь ты уже на этот характер не ропщешь?

— Не ропщу, — отвечает, — потому что оно хотя хуже, но зато лучше.

— Как это, мол, так: я что-то не понимаю, как это: хуже, но лучше?

— А так, — отвечает, — что теперь я только одно знаю, что себя гублю, а зато уже других губить не могу, ибо от меня все отвращаются. Я, — говорит, — теперь все равно что Иов на гноище, и в этом, — говорит, — все мое счастье и спасение, — и сам опять водку допил, и еще графин спрашивает, и молвит:

— А ты знаешь ли, любезный друг: ты никогда никем не пренебрегай, потому что никто не может знать, за что кто какой страстью мучим и страдает. Мы, одержимые, страждем, а другим зато легче. И сам ты если какую скорбь от какой-нибудь страсти имеешь, самовольно ее не бросай, чтобы другой человек не поднял ее и не мучился; а ищи такого человека, который бы добровольно с тебя эту слабость взял.

— Ну, где же, — говорю, — возможно такого человека найти! Никто на это не согласится.

— Отчего так? — отвечает, — да тебе даже нечего далеко ходить: такой человек перед тобою, я сам и есть такой человек.

Я говорю:

— Ты шутишь?

Но он вдруг вскакивает и говорит:

— Нет, не шучу, а если не веришь, так испытай.

— Ну как, — говорю, — я могу это испытывать?

— А очень просто: ты желаешь знать, каково мое дарование? У меня ведь, брат, большое дарование: я вот, видишь, — я сейчас пьян... Так или нет: пьян я?

Я посмотрел на него и вижу, что он совсем сизый и весь осоловевши и на ногах покачивается, и говорю:

— Да разумеется, что ты пьян.

А он отвечает:

— Ну, теперь отвернись на минуту на образ и прочитай в уме «Отче наш».

Я отвернулся и действительно, только «Отче наш», глядя на образ, в уме прочитал, а этот пьяный баринок уже опять мне командует:

— А ну-ка погляди теперь на меня? пьян я теперь или нет?

Обернулся я и вижу, что он, точно ни в одном глазу у него ничего не было, и стоит, улыбается.

Я говорю:

— Что же это значит: какой это секрет?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — не секрет, а это называется магнетизм.

— Не понимаю, мол, что это такое?

— Такая воля, — говорит, — особенная в человеке помещается, и ее нельзя ни пропить, ни проспать, потому что она дарована. Я, — говорит, — это тебе показал для того, чтобы ты понимал, что я, если захочу, сейчас могу остановиться и никогда не стану пить, но я этого не хочу, чтобы другой кто-нибудь за меня не запил, а я, поправившись, чтобы про бога не позабыл. Но с другого человека со всякого я готов и могу запойную страсть в одну минуту свести.

— Так сведи, — говорю, — сделай милость, с меня!

— А ты, — говорит, — разве пьешь?

— Пью, — говорю, — и временем даже очень усердно пью.

— Ну так не робей же, — говорит, — это все дело моих рук, и я тебя за твое угощение отблагодарю: все с тебя сниму.

— Ах, сделай милость, прошу, сними!

— Изволь, — говорит, — любезный, изволь: я тебе это за твое угощение сделаю; сниму и на себя возьму, — и с этим крикнул опять вина и две рюмки.

Я говорю:

— На что тебе две рюмки?

— Одна, — говорит, — для меня, другая — для тебя!

— Я, мол, пить не стану.

А он вдруг как бы осерчал и говорит:

— Тссс! силянс! молчать! Ты теперь кто? — больной.

— Ну, мол, ладно, будь по-твоему: я больной.

— А я, — говорит, — лекарь, и ты должен мои приказания исполнять и принимать лекарство, — и с этим

налил и мне и себе по рюмке и начал над моей рюмкой в воздухе, вроде как архиерейский регент, руками махать.

Помахал, помахал и приказывает:

— Пей!

Я было усумнился, но как, по правде сказать, и самому мне винца попробовать очень хотелось и он приказывает: «Дай, — думаю, — ни для чего иного, а для любопытства выпью!» — и выпил.

— Хороша ли, — спрашивает, — вкусна ли или горька?

— Не знаю, мол, как тебе сказать.

— А это значит, — говорит, — что ты мало принял, — и налил вторую рюмку и давай опять над нею руками мотать. Помотает-помотает и отряхнет, и опять заставил меня и эту, другую, рюмку выпить и вопрошает: «Эта какова?»

Я пошутил, говорю:

— Эта что-то тяжела показалась.

Он кивнул головой, и сейчас намахал третью, и опять командует: «Пей!» Я выпил и говорю:

— Эта легче, — и затем уже сам в графин стучу, и его потчую, и себе наливаю, да и пошел пить. Он мне в этом не препятствует, но только ни одной рюмки так просто, не намаханной, не позволяет выпить, а чуть я возьмусь рукой, он сейчас ее из моих рук выймет и говорит:

— Шу, силянс... атанде, — и прежде над нею руками помашет, а потом и говорит:

— Теперь готово, можешь *принимать, как сказано.*

И лечился я таким образом с этим баринком тут в трактире до самого вечера, и все был очень спокоен, потому что знаю, что я пью не для баловства, а для того, чтобы перестать. Попробую за пазухою деньги, и чувствую, что они все, как должно, на своем месте целы лежат, и продолжаю.

Барин мне тут, пивши со мною, про все рассказывал, как он в свою жизнь кутил и гулял, и особенно про любовь, и впоследи всего стал ссориться, что я любви не понимаю.

Я говорю:

— Что же с тем делать, когда я к этим пустякам не привлечен? Будет с тебя того, что ты все понимаешь и зато вон какой лонтрыгой ходишь.

А он говорит:

— Шу, силянс! любовь — наша святыня!

— Пустяки, мол.

— Мужик, — говорит, — ты и подлец, если ты смеешь над священным сердца чувством смеяться и его пустяками называть.

— Да, пустяки, мол, оно и есть.

— Да ты понимаешь ли, — говорит, — что такое «краса природы совершенство»?

— Да, — говорю, — я в лошади красоту понимаю.

А он как вскочит и хотел меня в ухо ударить.

— Разве лошадь, — говорит, — краса природы совершенство?

Но как время было довольно поздно, то ничего этого он мне доказать не мог, а буфетчик видит, что мы оба пьяны, моргнул на нас молодцам, а те подскочили человек шесть и сами просят... «пожалуйте вон», а сами подхватили нас обоих под ручки и за порог выставили и дверь за нами наглухо на ночь заперли.

Вот тут и началось такое наваждение, что хотя этому делу уже много-много лет прошло, но я и по сие время не могу себе понять, что тут произошло за действие и какою силою оно надо мною творилось, но только таких искушений и происшествий, какие я тогда перенес, мне кажется, даже ни в одном житии в Четминеях нет.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Первым делом, как я за дверь вылетел, сейчас же руку за пазуху и удостоверился, здесь ли мой бумажник? Оказалось, что он при мне. «Теперь, — думаю, — вся забота, как бы их благополучно домой донести». А ночь была самая темная, какую только можете себе вообразить. В лете, знаете, у нас около Курска бывают такие темные ночи, но претеплейшие и премягкие: по небу звезды как лампады навешаны, а понизу темнота такая густая, что словно в ней кто-то тебя шарит и трогает... А на ярмарке всякого дурного народа бездна бывает, и достаточно случаев, что иных грабят и убивают. Я же хоть силу в себе и ощущал, но думаю, во-первых, я пьян, а во-вторых, что если десять или более человек на меня нападут,

то и с большою силою ничего с ними не сделаешь, и оберут, а я хоть и был в кураже, но помнил, что когда я, не раз вставая и опять садясь, расплачивался, то мой компаньон, баринок этот, видел, что у меня с собою денег тучная сила. И потому вдруг мне, знаете, впало в голову: нет ли с его стороны ко вреду моему какого-нибудь предательства? Где он взаправду? вместе нас вон выставили, а куда же он так спешно делся?

Стою я и потихоньку оглядываюсь и, имени его не зная, потихоньку зову так:

— Слышишь, ты? — говорю, — магнетизер, где ты?

А он вдруг, словно бес какой, прямо у меня перед глазами вырастает и говорит:

— Я вот он.

А мне показалось, что будто это не тот голос, да и впотьмах даже и рожа не его представляется.

— Подойди-ка, — говорю, — еще поближе. — И как он подошел, я его взял за плечи, и начинаю рассматривать, и никак не могу узнать, кто он такой? как только его коснулся, вдруг ни с того ни с сего всю память отшибло. Слышу только, что он что-то по-французски лопочет: «ди-ка-ти-ли-ка-ти-пе», а я в том ничего не понимаю.

— Что ты такое, — говорю, — лопочешь?

А он опять по-французски:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе.

— Да перестань, — говорю, — дура, отвечай мне порусски, кто ты такой, потому что я тебя позабыл.

Отвечает:

— Ди-ка-ти-ли-ка-типе: я магнетизер.

— Тьфу, мол, ты, пострел этакой! — и на минутку будто вспомню, что это он, но стану в него всматриваться, и вижу у него два носа!.. Два носа, да и только! А раздумаюсь об этом — позабуду, кто он такой...

«Ах ты, будь ты проклят, — думаю, — и откуда ты, шельма, на меня навязался?» — и опять его спрашиваю:

— Кто ты такой?

Он опять говорит:

— Магнетизер.

— Провались же, — говорю, — ты от меня: может быть, ты черт?

— Не совсем, — говорит, — так, а около того.

Я его в лоб и стукнул, а он обиделся и говорит:

— За что же ты меня ударил? я тебе добродетельствую и от усердного пьянства тебя освобождаю, а ты меня бьешь?

А я, хоть что хочешь, опять его не помню и говорю:

— Да кто же ты, мол, такой?

Он говорит:

— Я твой довечный друг.

— Ну, хорошо, мол, а если ты мой друг, так ты, может быть, мне повредить можешь?

— Нет, — говорит, — я тебе такое пти-ком-пё представлю, что ты себя иным человеком ощутишь.

— Ну, перестань, — говорю, — пожалуйста, врать.

— Истинно, — говорит, — истинно: такое пти-ком-пё...

— Да не болтай ты, — говорю, — черт, со мною по-французски: я не понимаю, что то за пти-ком-пё!

— Я, — отвечает, — тебе в жизни новое понятие дам.

— Ну, вот это, мол, так, но только какое же такое ты можешь мне дать новое понятие?

— А такое, — говорит, — что ты постигнешь красу природы совершенство.

— Отчего же я, мол, вдруг так ее и постигну?

— А вот пойдем, — говорит, — сейчас увидишь.

— Хорошо, мол, пойдем.

И пошли. Идем оба, шатаемся, но всё идем, а я не знаю куда, и только вдруг вспомню, что кто же это такой со мною, и опять говорю:

— Стой! говори мне, кто ты? иначе я не пойду.

Он скажет, и я на минутку как будто вспомню, и спрашиваю:

— Отчего же это я позабываю, кто ты такой?

А он отвечает:

— Это, — говорит, — и есть действие от моего магнетизма; но только ты этого не пугайся, это сейчас пройдет, только вот дай я в тебя сразу побольше магнетизму пущу.

И вдруг повернул меня к себе спиною и ну у меня в затылке, в волосах пальцами перебирать... Так чудно: копается там, точно хочет мне взлезть в голову.

Я говорю:

— Послушай ты... кто ты такой! что ты там роешься?

— Погоди, — отвечает, — стой: я в тебя свою силу магнетизм перепущаю.

— Хорошо, — говорю, — что ты силу перепущаешь, а может, ты меня обокрасть хочешь?

Он отпирается.

— Ну так постой, мол, я деньги попробую.

Попробовал — деньги целы.

— Ну, теперь, мол, верно, что ты не вор, — а кто он такой — опять позабыл, но только уже не помню, как про то и спросить, а занят тем, что чувствую, что уже он совсем в меня сквозь затылок точно внутрь влез и через мои глаза на свет смотрит, а мои глаза ему только словно как стекла.

«Вот, — думаю, — штуку он со мной сделал! — а где же теперь, — спрашиваю, — мое зрение?

— А твоего, — говорит, — теперь уже нет.

— Что, мол, это за вздор, что нет?

— Так, — отвечает, — своим зрением ты теперь только то увидишь, чего нету.

— Вот, мол, еще притча! Ну-ка, давай-ка я понатужусь.

Вылупился, знаете, во всю мочь, и вижу, будто на меня из-за всех углов темных разные мерзкие рожи на ножках смотрят, и дорогу мне перебегают, и на перекрестках стоят, ждут и говорят: «Убьем его и возьмем сокровище». А передо мною опять мой вихрястенький баринок, и рожа у него вся светом светится, а сзади себя слышу страшный шум и содом, голоса и бряцанье, и гик, и визг, и веселый хохот. Осматриваюсь и понимаю, что стою, прислонясь спиною к какому-то дому, а в нем окна открыты и в середине светло, и оттуда те разные голоса, и шум, и гитара ноет, а передо мною опять мой баринок, и все мне спереди по лицу ладонями машет, а потом по груди руками ведет, против сердца останавливается, напирает, и за персты рук схватит, встряхнет полегонечку, и опять машет, и так трудится, что даже, вижу, он сделался весь в поту.

Но только тут, как мне стал из окон дома свет светить и я почувствовал, что в сознание свое прихожу, то я его перестал опасаться и говорю:

— Ну, послушай ты, кто ты такой ни есть: черт, или дьявол, или мелкий бес, а только, сделай милость, или разбуди меня, или рассыпься.

А он мне на это отвечает:

— Погоди, — говорит, — еще не время: еще опасно, ты еще не можешь перенести.

Я говорю:

— Чего, мол, такого я не могу перенести?

— А того, — говорит, — что в воздушных сферах теперь происходит.

— Что же я, мол, ничего особенного не слышу?

А он настаивает, что будто бы я не так слушаю, и говорит мне божественным языком:

— Ты, — говорит, — чтобы слышать, подражай примерне гуслеигрателю, како сей подклоняет низу главу и, слух прилагая к пению, подвизает бряцало рукою.

«Нет,— думаю, — да что же это такое? Это даже совсем на пьяного человека речи не похоже, как он стал разговаривать!»

А он на меня глядит и тихо по мне руками водит, а сам продолжает в том же намерении уговаривать.

— Так, — говорит, — купно струнам, художне соударяемым единым со другими, гусли песнь издают и гуслеигратель веселится, сладости ради медовныя.

То есть просто, вам я говорю, точно я не слова слышу, а вода живая мимо слуха струит, и я думаю: «Вот тебе и пьяничка! Гляди-ка, как он еще хорошо может от божества говорить!» А мой баринок этим временем перестал егозиться и такую речь молвит:

— Ну, теперь довольно с тебя; теперь проснись, — говорит, — и подкрепись!

И с этим принагнулся, и все что-то у себя в штанцах в кармашке долго искал, и, наконец, что-то оттуда достает. Гляжу, это вот такохонький махонький-махонький кусочек сахарцу, и весь в сору, видно оттого, что там долго валялся. Обобрал он с него коготками этот сор, пообдул и говорит:

— Раскрой рот.

Я говорю:

«Зачем?» — а сам рот раззявил. А он воткнул мне тот сахарок в губы и говорит:

— Соси, — говорит, — смелее; это магнитный сахарментор: он тебя подкрепит.

Я уразумел, что хоть это и по-французски он говорил, но насчет магнетизма, и больше его не спрашиваю, а занимаюсь, сахар сосу, а кто мне его дал, того уже не вижу.

Отошел ли он куда впотьмах в эту минуту или так куда провалился, лихо его ведает, но только я остался один и совсем сделался в своем понятии и думаю: чего же мне его ждать? мне теперь надо домой идти. Но опять дело: не знаю — на какой я такой улице нахожусь и что это за дом, у которого я стою? И думаю: да уже дом ли это? может быть, это все мне только кажется, а все это наваждение... Теперь ночь, — все спят, а зачем тут свет?.. Ну, а лучше, мол, попробовать... зайду посмотрю, что здесь такое: если тут настоящие люди, так я у них дорогу спрошу, как мне домой идти, а если это только обольщение глаз, а не живые люди... так что же опасного? я скажу: «Наше место свято: чур меня» — и все рассыпется.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вхожу я с такою отважною решимостью на крылечко, перекрестился и зачурался, ничего: дом стоит, не шатается, и вижу: двери отворены, и впереди большие длинные сени, а в глубине их на стенке фонарь со свечою светит. Осмотрелся я и вижу налево еще две двери, обе циновкой обиты, и над ними опять этакие подсвечники с зеркальными звездочками. Я и думаю: что же это такое за дом: трактир как будто не трактир, а видно, что гостиное место, а какое — не разберу. Но только вдруг вслушиваюсь, и слышу, что из-за этой циновочной двери льется песня... томная-претомная, сердечнейшая, и поет ее голос, точно колокол малиновый, так за душу и щипет, так и берет в полон. Я и слушаю и никуда далее не иду, а в это время дальняя дверка вдруг растворяется, и я вижу, вышел из нее высокий цыган в шелковых штанах, а казакин бархатный, и кого-то перед собою скоро выпроводил в особую дверь под дальним фонарем, которую я спервоначала и не заметил. Я, признаться, хоть не хорошо рассмотрел, кого это он спровадил, но показалось мне, что это он вывел моего магнетизера и говорит ему вслед:

— Ладно, ладно, не обижайся, любезный, на этом полтиннике, а завтра приходи: если нам *от него* польза будет, так мы тебе за его приведение к нам еще прибавим.

И с этим дверь на защелку защелкнул и бегит ко мне будто ненароком, отворяет передо мною дверь, что под зеркальцем, и говорит:

— Милости просим, господин купец, пожалуйте наших песен послушать! Голоса есть хорошие.

И с этим дверь перед мною тихо навстежь распахнул... Так, милостивые государи, меня и обдало не знаю чем, но только будто столь мне сродным, что я вдруг весь там очутился. Комната этакая обширная, но низкая, и потолок повихнут, пузом вниз лезет, все темно, закоптело, и дым от табаку такой густой, что люстра наверху висит, так только чуть ее знать, что она светится. А внизу в этом дымище люди... очень много, страсть как много людей, и перед ними этим голосом, который я слышал, молодая цыганка поет. Притом, как я взошел, она только последнюю штучку тонко-претонко, нежно дотянула и спустила на нет, и голосок у нее замер... Замер ее голосок, и с ним в одно мановение точно всё умерло... Зато через минуту все как вскочат, словно бешеные, и ладошами плещут и кричат. А я только удивляюсь: откуда это здесь так много народу и как будто еще все его больше и больше из дыму выступает? «Ух, — думаю, — да не дичь ли это какая-нибудь вместо людей?» Но только вижу я разных знакомых господ ремонтеров и заводчиков и так просто богатых купцов и помещиков узнаю, которые до коней охотники, и промежду всей этой публики цыганка ходит этакая... даже нельзя ее описать как женщину, а точно будто как яркая змея, на хвосте движет и вся станом гнется, а из черных глаз так и жжет огнем. Любопытная фигура! А в руках она держит большой поднос, на котором по краям стоят много стаканов с шампанским вином, а посредине куча денег страшная. Только одного серебра нет, а то и золото, и ассигнации, и синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет. Кому она подаст стакан, тот сейчас вино выпьет и на поднос, сколько чувствует усердия, денег мечет, золото или ассигнации; а она его тогда в уста поцелует и поклонится. И обошла она первый ряд и второй — гости вроде как полукругом сидели — и потом проходит и самый последний ряд, за которым я сзади за стулом на ногах стоял, и было уже назад повернула, не хотела мне подносить, но старый цыган, что сзади ее шел, вдруг как крикнет:

— Грушка! — и глазами на меня кажет. Она взмахнула на него ресничищами... ей-богу, вот этакие ресницы, длинные-предлинные, черные, и точно они сами по себе живые и, как птицы какие, шевелятся, а в глазах я заметил у нее, как старик на нее повелел, то во всей в ней точно гневом дунуло. Рассердилась, значит, что велят ей меня потчевать, но, однако, свою должность исполняет: заходит ко мне за задний ряд, кланяется и говорит:

— Выкушай, гость дорогой, про мое здоровье!

А я ей даже и отвечать не могу: такое она со мною сразу сделала! Сразу, то есть, как она передо мною над подносом нагнулась и я увидал, как это у нее промеж черных волос на голове, будто серебро, пробор вьется и за спину падает, так я и осатанел, и весь ум у меня отняло. Пью ее угощенье, а сам через стакан ей в лицо смотрю и никак не разберу: смугла она или бела она, а меж тем вижу, как у нее под тонкою кожею, точно в сливе на солнце, краска рдеет и на нежном виске жилка бьет... «Вот она, — думаю, — где настоящая-то красота, что природы совершенство называется; магнетизер правду сказал: это совсем не то, что в лошади, в продажном звере».

И вот я допил стакан до дна и стук им об поднос, а она стоит да дожидается, за что ласкать будет. Я поскорее спустил на тот конец руку в карман, а в кармане все попадаются четвертаки, да двугривенные, да прочая расхожая мелочь. Мало, думаю; недостойно этим одарить такую язвинку, и перед другими стыдно будет! А господа, слышу, не больно тихо цыгану говорят:

— Эх, Василий Иванов, зачем ты велишь Груше этого мужика угощать? нам это обидно.

А он отвечает:

— У нас, господа, всякому гостю честь и место, и моя дочь родной отцов цыганский обычай знает; а обижаться вам нечего, потому что вы еще пока не знаете, как иной простой человек красоту и талант оценить может. На это разные примеры бывают.

А я, это слышучи, думаю:

«Ах вы, волк вас ешь! Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств больше? Нет уже, что будет, то будет: после князю отслужу, а теперь себя не постыжу и сей невиданной красы скупостью не унижу».

Да с этим враз руку за пазуху, вынул из пачки сторублевого лебедя, да и шаркнул его на поднос. А цыганочка сейчас поднос в одну ручку переняла, а другою мне белым платком губы вытерла и своими устами так слегка даже как и не поцеловала, а только будто тронула устами, а вместо того точно будто ядом каким провела, и прочь отошла.

Она отошла, а я было на том же месте остался, но только тот старый цыган, этой Груши отец, и другой цыган подхватили меня под руку, и волокут вперед, и сажают в самый передний ряд рядом с исправником и с другими господами.

Мне было, признаться, на это и неохота: я не хотел продолжать и хотел вон идти; но они просят, и не пущают, и зовут:

— Груша! Грунюшка, останови гостя желанного!

И та выходит и... враг ее знает, что она умела глазами делать: взглянула, как заразу какую в очи пустила, а сама говорит:

— Не обидь: погости у нас на этом месте.

— Ну уж тебя ли, — говорю, — кому обидеть можно, — и сел.

А она меня опять поцеловала, и опять то же самое осязание: как будто ядовитою кисточкою уста тронет и во всю кровь до самого сердца болью прожжет.

И после этого начались опять песни и пляски, и опять другая цыганка с шампанеей пошла. Тоже и эта хороша, но где против Груши! Половины той красоты нет, и за это я ей на поднос зацепил из кармана четвертаков и сыпнул... Господа это взяли в пересмех, но мне все равно, потому я одного смотрю, где она, эта Грушенька, и жду, чтобы ее один голос без хора слышать, а она не поет. Сидит с другими, подпевает, но со́лу не делает, и мне ее голоса не слыхать, а только роток с белыми зубками видно... «Эх ты, — думаю, — доля моя сиротская: на минуту зашел и сто рублей потерял, а вот ее-то одну и не услышу!» Но на мое счастье не одному мне хотелося ее послушать: и другие господа важные посетители все вкупе закричали после одной перемены:

— Груша! Груша! «Челнок», Груша! «Челнок»!

Вот цыганы покашляли, и молодой ее брат взял в руки гитару, а она запела. Знаете... их пение обыкновенно

достигательное и за сердца трогает, а я как услыхал этот самый ее голос, на который мне еще из-за двери манилось, расчувствовался. Ужасно мне как понравилось! Начала она так как будто грубовато, мужественно, эдак: «Мо-о-ре во-оо-о-ет, мо-ре сто-нѐт». Точно в действительности слышно, как и море стонет и в нем челночок поглощенный бьется. А потом вдруг в голосе совсем другая перемена, обращение к звезде: «Золотая, дорогая, предвещательница дня, при тебе беда земная недоступна до меня». И опять новая обратность, чего не ждешь. У них все с этими с обращениями: то плачет, томит, просто душу из тела вынимает, а потом вдруг как хватит совсем в другом роде, и точно сразу опять сердце вставит... Так и тут она это «море»-то с «челном» всколыхала, а другие как завизжат всем хором:

Джа-ла́-ла. Джа-ла-ла.
Джа-ла́-ла пригнала́!
Джа-ла-ла принга-ла.
Гай да чепурингаля!
Гей гоп-гай, та гара!
Гей гоп-гай-та гара!

и потом Грушенька опять пошла с вином и с подносом, а я ей опять из-за пазухи еще одного лебедя... На меня все оглядываться стали, что я их своими подарками ниже себя ставлю; так что им даже совестно после меня класть, а я решительно уже ничего не жалею, потому моя воля, сердце выскажу, душу выкажу, и выказал. Что Груша раз ни споет, то я ей за то лебедя, и уже не считаю, сколько их выпустил, а даю да и кончено, и зато другие ее все разом просят петь, она на все их просьбы не поет, говорит «устала», а я один кивну цыгану: не можно ли, мол, ее понудить? тот сейчас на ее глазами поведет, она и поет. И много-с она пела, песня от песни могучее, и покидал я уже ей много, без счету лебедей, а в конце, не знаю, в который час, но уже совсем на заре, точно и в самом деле она измаялась, и устала, и, точно с намеками на меня глядя, завела: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих». Этими словами точно гонит, а другими словно допрашивает: «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». А я ей еще лебедя! Она меня опять поневоле поцеловала, как ужалила,

и в глазах точно пламя темное, а те, другие, в этот лукавый час напоследях как заорут:

> Ты восчувствуй, мила́я,
> Как люблю тебя, драгая!

и все им подтягивают да на Грушу смотрят, и я смотрю да подтягиваю: «ты восчувствуй!» А потом цыгане как хватят: «Ходи, изба, ходи, печь; хозяину негде лечь» — и вдруг все в пляс пошли... Пляшут и цыгане, пляшут и цыганки, и господа пляшут: все вместе вьются, точно и в самом деле вся изба пошла. Цыганки перед господами носятся, и те поспевают, им вслед гонят, молодые с посвистом, а кои старше с покрехтом. На местах, гляжу, уже никого и не остается... Даже от которых бы степенных мужчин и в жизнь того скоморошества не ожидал, и те все поднимаются. Посидит-посидит иной, кто посолиднее, и сначала, видно, очень стыдится идти, а только глазом ведет, либо усом дергает, а потом один враг его плечом дернет, другой ногой мотнет, и смотришь, вдруг вскочит и хоть не умеет плясать, а пойдет такое ногами выводить, что ни к чему годно! Исправник толстый-претолстый, и две дочери у него были замужем, а и тот с зятьями своими тут же заодно пыхтит, как сом, и пятками месит, а гусар-ремонтер, ротмистр богатый и собой молодец, плясун залихватский, всех ярче действует: руки в боки, а каблуками навыверт стучит, перед всеми идет — козырится, взагреб валяет, а с Грушей встренется — головой тряхнет, шапку к ногам ее ронит и кричит: «Наступи, раздави, раскрасавица!» — и она... Ох, тоже плясунья была! Я видал, как пляшут актерки в театрах, да что все это, тьфу, все равно что офицерский конь без фантазии на параде для одного близиру манежится, невесть чего ерихонится, а огня-жизни нет. Эта же краля как пошла, так как фараон плывет — не колыхнется, а в самой, в змее, слышно, как и хрящ хрустит и из кости в кость мозжечок идет, а станет, повыгнется, плечом ведет и бровь с носком ножки на одну линию строит... Картина! Просто от этого виденья на ее танец все словно свой весь ум потеряли: рвутся к ней без ума, без памяти: у кого слезы на глазах, а кто зубы скалит, но все кричат:

«Ничего не жалеем: танцуй!» — деньги ей так просто зря под ноги мечут, кто золото, кто ассигнации. И все тут

гуще и гуще завеялось, и я лишь один сижу, да и то не знаю, долго ли утерплю, потому что не могу глядеть, как она на гусарову шапку наступает... Она ступит, а меня черт в жилу щелк; она опять ступит, а он меня опять щелк, да, наконец, думаю: «Что же мне так себя всуе мучить! Пущу и я свою душу погулять вволю», — да как вскочу, отпихнул гусара, да и пошел перед Грушею вприсядку... А чтобы она на его, гусарову, шапку не становилася, такое средство изобрел, что, думаю, все вы кричите, что ничего не жалеете, меня тем не удивите: а вот что я ничего не жалею, так я то делом-правдою докажу, да сам прыгну, и сам из-за пазухи ей под ноги лебедя и кричу: «Дави его! Наступай!» Она было не того... даром, что мой лебедь гусарской шапки дороже, а она и на лебедя не глядит, а все норовит за гусаром; да только старый цыган, спасибо, это заметил, да как на нее топнет... Она и поняла и пошла за мной... Она на меня плывет, глаза вниз спустила, как змеища-горынище, ажно гневом землю жжет, а я перед ней просто в подобии беса скачу, да все, что раз прыгну, то под ножку ей мечу лебедя... Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и землю и небо сделала? а сам на нее с дерзостью кричу: «ходи шибче», да все под ноги ей лебедей, да раз руку за пазуху пущаю, чтобы еще одного достать, а их, гляжу, там уже всего с десяток остался... «Тьфу ты, — думаю, — черт же вас всех побирай!» — скомкал их всех в кучку, да сразу их все ей под ноги и выбросил, а сам взял со стола бутылку шампанского вина, отбил ей горло и крикнул:

— Сторонись, душа, а то оболью! — да всю сразу и выпил за ее здоровье, потому что после этой пляски мне пить страшно хотелось.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Ну, и что же далее? — вопросили Ивана Северьяныча.

— Далее действительно все так воспоследовало, как *он* обещался.

— Кто обещался?

— А магнетизер, который это на меня навел: он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел,

и я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал.

— Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили?

— А я и сам не знаю, как-то очень просто: как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу — не край, в другую оборочусь — и здесь тоже краю нет... Заблудил на конике, да и полно!.. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» — а сам лазию во все стороны и все не найду края, и, наконец, думаю: ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну, и размахнулся да как сигану как можно дальше, и чувствую, что меня будто что по морде ударило и вокруг меня что-то звенит и сыпется, и сзади тоже звенит и опять сыпется, и голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!»

А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг; а наместо того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все...

— Как же вы это так заблудились?

— Очень просто: думал, что я, по всегдашнему своему обыкновению, на конике сплю, а я, верно, придя от цыган, прямо на пол лег, да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать... и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот... магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил... Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: «как бы хуже не было, если питье бросить», — и пошел его искать — хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же, напротив цыганов, у шинкарки так напился, что и помер.

— А вы так и остались замагнетизированы?

— Так и остался-с.

— И долго же на вас этот магнетизм действовал?

— Отчего же долго ли? он, может быть, и посейчас действует.

— А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то?.. Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей?

— Нет-с, объяснение было, только не важное. Князь тоже приехал проигравшись и на реванж у меня стал просить. Я говорю:

«Ну уже это оставьте: у меня ничего денег нет».

Он думает, шутка, а я говорю:

«Нет, исправди, у меня без вас большой выход был».

Он спрашивает:

«Куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть?..»

Я говорю:

«Я их сразу цыганке бросил...»

Он не верит.

Я говорю:

«Ну, не верьте; а я вам правду говорю».

Он было озлился и говорит:

«Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять, — а потом, это вдруг отменив, и говорит: — Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный».

И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете и слышу, говорят, что у меня белая горячка была и хотел будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю:

«Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить».

Он отвечает:

«Пошел к черту».

Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь.

«Что, — говорит, — это значит?»

«Да оттрепите же, — прошу, — меня по крайней мере как следует!»

А он отвечает:

«А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь, а может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю».

«Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня, подлеца, за это повесить мало».

А он отвечает:

«А что, братец, делать, когда ты артист».

«Как, — говорю, — это так?»

«Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьяныч, вы, мой полупочтеннейший, артист.

«И понять, — говорю, — не могу».

«Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что и я сам тоже артист».

«Ну, вот это, — думаю, — понятно: видно, не я один до белой горячки подвизался».

А он встал, ударил об пол трубку и говорит:

«Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел, я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было».

Я во все глаза на него вылупился.

«Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите, мне это даже слушать страшно».

«Ну, ты,— отвечает, — очень не пугайся: бог милостив, и авось как-нибудь выкручусь, а только я за эту Грушу в табор полсотни тысяч отдал».

Я так и ахнул:

«Как, — говорю, — полсотни тысяч! за цыганку? да стоит ли она этого, аспидка?»

«Ну, вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили... Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить».

А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю:

«Этакая, мол, сумма! целые пятьдесят тысяч!»

«Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал... все, что хочешь, дал бы».

«А вам бы, — говорю, — плюнуть и больше ничего».

«Не мог, — говорит, — братец, не мог плюнуть».

«Отчего же?»

«Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеленья надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи: ведь правда: она хороша? А? правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?..»

Я губы закусил и только уже молча головой трясу:

«Правда, мол, правда!»

«Мне, — говорит князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»

«Что же, — говорю, — тут непонятного, краса, природы совершенство...»

«Как же ты это понимаешь?»

«А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенство, и за это восхищенному человеку погибнуть... даже радость!»

«Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премногомалозначащий Иван Северьянович! именно-с, именно гибнуть-то и радостно, и вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул: и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть».

Тут я еще ниже спустил голос и шепчу:

«Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?»

А он отвечает:

«А то как же иначе? разумеется, здесь».

«Может ли, — говорю, — это быть?»

«А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, — от тебя я ее не скрою».

И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:

«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть! Наскучит!» Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, и в уме мешаюсь, думаю: «Неужели я ее сейчас увижу?» А они вдруг и входят: князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другою Грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит, а она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам как будто птичьи крылья шевелятся.

Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван; одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую — под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо

и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому сафьянному башмачку и мне кивает: дескать, садись и ты.

Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тощо делается. Я сидел-сидел, индо колени разломило, а гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю: вижу, что он от томноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит.

Я ему и киваю: дескать, что же вы, прикажите ей петь! А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает.

И опять оба сидим на полу да ждем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать, и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут... И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела: «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную».

Князь шепчет: «Что?»

А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю:

«Пти-ком-пё», — говорю, и сказать больше нечего, а она в эту минуту вдруг как вскрикнет: «А меня с красоты продадут, продадут», да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет, и я, глядя на нее, плачу, и князь... тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а, как будто службу служа, застонал: «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной», — да и ну рыдать. И поет и рыдает: «Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого». Как он так жестоко взволновался, она, вижу, внемлет сим его слезам и пению и все стала тишать, усмиряться и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно обвила ею его голову...

Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной, и я встал потихоньку, незаметно, и вышел.

— И, верно, тут-то вы и в монастырь пошли? — вопросил некто рассказчика.

— Нет-с: еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьяныч и добавил, что ему еще надлежало прежде

много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло.

Слушатели, разумеется, приступили с просьбою хотя вкратце рассказать им историю Груни, и Иван Северьяныч это исполнил.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Видите, — начал Иван Северьяныч, — мой князь был человек души доброй, но переменчивой. Чего он захочет, то ему сейчас во что бы то ни стало вынь да положи — иначе он с ума сойдет, и в те поры ничего он на свете за это достижение не пожалеет, а потом, когда получит, не дорожит счастьем. Так это у него и с этой цыганкой вышло, и ее, Грушин, отец и все те ихние таборные цыганы отлично сразу в нем это поняли и запросили с него за нее невесть какую цену, больше как все его домашнее состояние позволяло, потому что было у него хотя и хорошее именьице, но разоренное. Таких денег, какие табор за Грушу назначил, у князя тогда налицо не было, и он сделал для того долг и уже служить больше не мог.

Знавши все эти его привычки, я много хорошего от него не ожидал и для Груши, и так на мое и вышло. Все он к ней ластился, безотходно на нее смотрел и дышал, и вдруг зевать стал и все меня в компанию призывать начал.

— Садись, — говорит, — послушай.

Я беру сту́л, сажусь где-нибудь поближе к дверям и слушаю. Так и часто доводилось: он, бывало, ее попросит петь, а она скажет:

— Перед кем я стану петь! Ты, — говорит, — холодный стал, а я хочу, чтобы от моей песни чья-нибудь душа горела и мучилась.

Князь сейчас опять за мною и посылает, и мы с ним двое ее и слушаем; а потом Груша и сама стала ему напоминать, чтобы звать меня, и начала со мною обращаться очень дружественно, и я после ее пения не раз у нее в покоях чай пил вместе с князем, но только, разумеется, или за особым столом, или где-нибудь у окошечка, а если когда она одна оставалась, то завсегда попросту рядом

с собою меня сажала. Вот так прошло сколько времени, а князь все смутнее начал становиться и один раз мне и говорит:

— А знаешь что, Иван Северьянов, так и так, ведь дела мои очень плохи.

Я говорю:

— Чем же они плохи? Слава богу, живете как надо, и все у вас есть.

А он вдруг обиделся.

— Как, — говорит, — вы, мой полупочтеннейший, глупы, «все есть»? что же это такое у меня *есть?*

— Да все, мол, что нужно.

— Неправда, — говорит, — я обеднел, я теперь себе на бутылку вина к обеду должен рассчитывать. Разве это жизнь? Разве это жизнь?

«Вот, — думаю, — что тебя огорчает», — и говорю:

— Ну, если когда вина недостача, еще не велика беда, потерпеть можно, зато есть что слаще и вина и меду.

Но он понял, что я намекаю на Грушу, и как будто меня устыдился, и сам ходит, рукою машет, а сам говорит:

— Конечно... конечно... разумеется... но только... Вот я теперь полгода живу здесь и человека у себя чужого не видал...

— А зачем, мол, он вам, чужой-то человек, когда есть душа желанная?

Князь вспыхнул.

— Ты, — говорит, — братец, ничего не понимаешь: все хорошо одно при другом.

«А-га! — думаю, — вот ты что, брат, запел?» — и говорю:

— Что же, мол, теперь делать?

— Давай, — говорит, — станем лошадьми торговать. Я хочу, чтобы ко мне опять ремонтеры и заводчики ездили.

Пустое это и не господское дело лошадьми торговать, но, думаю, чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало, и говорю: «Извольте».

И начали мы с ним заводить ворок. Но чуть за это принялись, князь так и унесся в эту страсть: где какие деньжонки добудет, сейчас покупать коней, и все берет, хватает зря; меня не слушает... Накупили обельму, а продажи нет... Он сейчас же этого не стерпел и коней бросил

да давай что попало городить: то кинется необыкновенную мельницу строить, то шорную мастерскую завел, и все от всего убытки и долги, а более всего расстройство в характере... Постоянно он дома не сидит, а летает то туда, то сюда, да чего-то ищет, а Груша одна и в таком положении... в тягости. Скучает. «Мало, — говорит, — его вижу», — а перемогает себя и великатится; чуть заметит, что он день-другой дома заскучает, сейчас сама скажет:

— Ты бы, — говорит, — изумруд мой яхонтовый, куда-нибудь поехал, прогулялся, что тебе со мною сидеть: я проста, неученая.

Этих слов он, бывало, сейчас застыдится, и руки у нее целует, и дня два-три крепится, а зато потом как выкатит, так уже и завьется, а ее мне заказывает.

— Береги, — говорит, — ее, полупочтенный Иван Северьянов, ты артист, ты не такой, как я, свистун, а ты настоящий, высокой степени артист, и оттого ты с нею как-то умеешь так говорить, что вам обоим весело, а меня от этих «изумрудов яхонтовых» в сон клонит.

Я говорю:

— Почему же это так? ведь это слово любовное.

— Любовное, — отвечает, — да глупое и надоедное.

Я ничего не ответил, а только стал от этого времени к ней запросто вхож: когда князя нет, я всякий день два раза на день ходил к ней во флигель чай пить и как мог ее развлекал.

А развлекать было оттого, что она, бывало, если разговорится, все жалуется:

— Милый мой, сердечный мой друг Иван Северьянович, — возговорит, — ревность меня, мой голубчик, тягостно мучит.

Ну, я ее, разумеется, уговариваю:

— Чего, — говорю, — очень мучиться: где он ни побывает, все к тебе воротится.

А она всплачет, и руками себя в грудь бьет, и говорит:

— Нет, скажи же ты мне... не потай от меня, мой сердечный друг, где он бывает?

— У господ, — говорю, — у соседей или в городе.

— А нет ли, — говорит, — там где-нибудь моей с ним разлучницы? Скажи мне: может, он допреж меня кого любил и к ней назад воротился, или не задумал ли он,

лиходей мой, жениться? — А у самой при этом глаза так и загорятся, даже смотреть ужасно.

Я ее утешаю, а сам думаю:

«Кто его знает, что он делает», — потому что мы его мало в то время и видели.

Вот как вспало ей это на мысль, что он жениться хочет, она и ну меня просить:

— Съезди, такой-сякой, голубчик Иван Северьянович, в город; съезди, доподлинно узнай о нем все как следует и все мне без потайки выскажи.

Пристает она с этим ко мне все больше и больше и до того меня разжалобила, что думаю:

«Ну, была не была, поеду. Хотя ежели что дурное об измене узнаю, всего ей не выскажу, но посмотрю и приведу все дело в ясность».

Выбрал такой предлог, что будто бы надо самому ехать лекарств для лошадей у травщиков набрать, и поехал, но поехал не спроста, а с хитрым подходом.

Груше было неизвестно и людям строго-настрого наказано было от нее скрывать, что у князя, до этого случая с Грушею, была в городе другая любовь — из благородных, секретарская дочка Евгенья Семеновна. Известная она была во всем городе большая на фортепьянах игрица, и предобрая барыня, и тоже собою очень хорошая, и имела с моим князем дочку, но располнела, и он ее, говорили, будто за это и бросил. Однако, имея в ту пору еще большой капитал, он купил этой барыне с дочкою дом, и они в том доме доходцами и жили. Князь к этой к Евгенье Семеновне, после того как ее наградил, никогда не заезжал, а люди наши, по старой памяти, за ее добродетель помнили и всякий приезд все, бывало, к ней захаживали, потому что ее любили и она до всех до наших была ужасно какая ласковая и князем интересовалась.

Вот я приехал в город прямо к ней, к этой доброй барыне, и говорю:

— Я, матушка Евгенья Семеновна, у вас остановился.

Она отвечает:

— Ну что же; очень рада. Только отчего же, — говорит, — ты к князю не едешь на его квартиру?

— А разве, — говорю, — он здесь в городе?

— Здесь, — отвечает. — Он уже другая неделя здесь и дело какое-то заводит.

— Какое, мол, еще дело?

— Фабрику, — говорит, — суконную в аренду берет.

— Господи! мол, еще что такое он задумал?

— А что, — говорит, — разве это худо?

— Ничего, — говорю, — только что-то мне это удивительно.

Она улыбается.

— Нет, а ты, — говорит, — вот чему подивись, что князь мне письмо прислал, чтобы я нынче его приняла, что он хочет на дочь взглянуть.

— И что же, — говорю, — вы ему, матушка Евгенья Семеновна, разрешили?

Она пожала плечами и отвечает:

— Что же, пусть приедет, на дочь посмотрит, — и с этим вздохнула и задумалась, сидит опустя голову, а сама еще такая молодая, белая да вальяжная, а к тому еще и обращение совсем не то, что у Груши... та ведь больше ничего, как начнет свое «изумрудный да яхонтовый», а эта совсем другое... Я ее и взревновал.

«Ох, — думаю себе, — как бы он на дитя-то как станет смотреть, то чтобы на самое на тебя своим несытым сердцем не глянул! От сего тогда моей Грушеньке много добра не воспоследует». И в таком размышлении сижу я у Евгеньи Семеновны в детской, где она велела няньке меня чаем поить, а у дверей вдруг слышу звонок, и горничная прибегает очень радостная и говорит нянюшке:

— Князенька к нам приехал!

Я было сейчас же и поднялся, чтобы на кухню уйти, но нянюшка Татьяна Яковлевна разговорчивая была старушка из московских: страсть любила все высказать и не захотела через это слушателя лишиться, а говорит:

— Не уходи, Иван Голованыч, а пойдем вот сюда в гардеробную за шкапу сядем, она его сюда ни за что не поведет, а мы с тобою еще разговорцу проведем.

Я и согласился, потому что, по разговорчивости Татьяны Яковлевны, надеялся от нее что-нибудь для Груши полезное сведать, и как от Евгеньи Семеновны мне был лодиколонный пузыречек рому к чаю выслан, а я сам уже тогда ничего не пил, то и думаю: подпущу-ка

я ей, божьей старушке, в чаек еще вот этого разговорцу из пузыречка, авось она, по благодати своей, мне тогда что-нибудь и соврет, чего бы без того и не высказала.

Удалились мы из детской и сидим за шкапами, а эта шкапная комнатка была узенькая, просто сказать — коридор, с дверью в конце, а та дверь как раз в ту комнату выходила, где Евгенья Семеновна князя приняла, и даже к тому к самому дивану, на котором они сели. Одним словом, только меня от них разделила эта запертая дверь, с той стороны материей завешенная, а то все равно будто я с ними в одной комнате сижу, так мне все слышно.

Князь как вошел, и говорит:

— Здравствуй, старый друг! испытанный!

А она ему отвечает:

— Здравствуйте, князь! Чему я обязана?

А он ей:

— Об этом, — говорит, — после поговорим, а прежде дай поздороваться и позволь в головку тебя поцеловать, — и мне слышно, как он ее в голову чмокнул и спрашивает про дочь. Евгенья Семеновна отвечает, что она, мол, дома.

— Здорова?

— Здорова, — говорит.

— И выросла небось?

Евгенья Семеновна рассмеялась и отвечает:

— Разумеется, — говорит, — выросла.

Князь спрашивает:

— Надеюсь, что ты мне ее покажешь?

— Отчего же, — отвечает, — с удовольствием, — и встала с места, вошла в детскую и зовет эту самую няню, Татьяну Яковлевну, с которою я угощаюсь.

— Выведите, — говорит, — нянюшка, Людочку к князю.

Татьяна Яковлевна плюнула, поставила блюдце на стол и говорит:

— О, пусто бы вам совсем было, только что сядешь, в самый аппетит, с человеком поговорить, непременно и тут отрывают и ничего в свое удовольствие сделать не дадут! — и поскорее меня барыниными юбками, которые на стене висели, закрыла и говорит: — Посиди, — а сама пошла с девочкой, а я один за шкапами остался и вдруг

слышу, князь девочку раз и два поцеловал и потетешкал на коленах и говорит:

— Хочешь, мой анфан, в карете покататься?

Та ничего не отвечает; он говорит Евгенье Семеновне:

— Же ву при, — говорит, — пожалуйста, пусть она с нянею в моей карете поездит, покатается.

Та было ему что-то по-французскому, дескать, зачем и пуркуа, но он ей тоже вроде того, что, дескать, «непременно надобно», и этак они раза три словами перебросились, и потом Евгенья Семеновна нехотя говорит нянюшке:

— Оденьте ее и поезжайте.

Те и поехали, а эти двоичкой себе остались, да я у них под сокрытьем на послухах, потому что мне из-за шкапов и выйти нельзя, да и сам себе я думал: «Вот же когда мой час настал и я теперь настоящее исследую, что у кого против Груши есть в мыслях вредного?»

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Пустившись на этакое решение, чтобы подслушивать, я этим не удовольнился, а захотел и глазком что можно увидеть и всего этого достиг: стал тихонечко ногами на табуретку и сейчас вверху дверей в пазу щелочку присмотрел и жадным оком приник к ней. Вижу, князь сидит на диване, а барыня стоит у окна и, верно, смотрит, как ее дитя в карету сажают.

Карета отъехала, и она оборачивается и говорит:

— Ну, князь, я все сделала, как вы хотели: скажите же теперь, что у вас за дело такое ко мне?

А он отвечает:

— Ну что там дело!.. дело не медведь, в лес не убежит, а ты прежде подойди-ка сюда ко мне: сядем рядом, да поговорим ладом, по-старому, по-бывалому.

Барыня стоит, руки назад, об окно опирается и молчит, а сама бровь супит. Князь просит:

— Что же, — говорит, — ты: я прошу, — мне говорить с тобой надо.

Та послушалась, подходит, он сейчас, это видя, опять шутит:

— Ну, мол, посиди, посиди по-старому, — и обнять ее хотел, но она его отодвинула и говорит:

— Дело, князь, говорите, дело: чем я могу вам служить?

— Что же это, — спрашивает князь, — стало быть, без разговора все начистоту выкладать?

— Конечно, — говорит, — объясняйте прямо, в чем дело? мы ведь с вами коротко знакомы, — церемониться нечего.

— Мне деньги нужны, — говорит князь.

Та молчит и смотрит.

— И не много денег, — молвил князь.

— А сколько?

— Теперь всего тысяч двадцать.

Та опять не отвечает, а князь и ну расписывать, — что: «Я, говорит, суконную фабрику покупаю, но у меня денег ни гроша нет, а если куплю ее, то я буду миллионер, я, говорит, все переделаю, все старое уничтожу и выброшу, и начну яркие сукна делать да азиатам в Нижний продавать. Из самой гадости, говорит, вытку, да ярко выкрашу, и все пойдет, и большие деньги наживу, а теперь мне только двадцать тысяч на задаток за фабрику нужно». Евгенья Семеновна говорит:

— Где же их достать?

А князь отвечает:

— Я и сам не знаю, но надо достать, а потом расчет у меня самый верный: у меня есть человек — Иван Голован, из полковых конэсеров, очень не умен, а золотой мужик — честный, и рачитель, и долго у азиатов в плену был и все их вкусы отлично знает, а теперь у Макария стоит ярмарка, я пошлю туда Голована заподрядиться и образцов взять, и задатки будут... тогда... я, первое, сейчас эти двадцать тысяч отдам...

И он замолк, а барыня помолчала, воздохнула и начинает:

— Расчет, — говорит, — ваш, князь, верен.

— Не правда ли?

— Верен, — говорит, — верен; вы так сделаете: вы дадите за фабрику задаток, вас после этого станут считать фабрикантом; в обществе заговорят, что ваши дела поправились...

— Да.

— Да; и тогда...

— Голован наберет у Макария заказов и задатков, и я верну долг и разбогатею.

— Нет, позвольте, не перебивайте меня: вы прежде поднимете всем этим на фуфу предводителя, и пока он будет почитать вас богачом, вы женитесь на его дочери и тогда, взявши за ней ее приданое, в самом деле разбогатеете.

— Ты так думаешь? — говорит князь.

А барыня отвечает:

— А вы разве иначе думаете?

— А ну, если ты, — говорит, — все понимаешь, так дай бог твоими устами да нам мед пить.

— *Нам?*

— Конечно, — говорит, — тогда всем нам будет хорошо: ты для меня теперь дом заложишь, а я дочери за двадцать тысяч десять тысяч процента дам.

Барыня отвечает:

— Дом ваш: вы ей его подарили, вы и берите его, если он вам нужен.

Он было начал, что: «Нет, дескать, дом не мой; а ты ее мать, я у тебя прошу... разумеется, только в таком случае, если ты мне веришь...»

А она отвечает:

— Ах, полноте, — говорит, — князь, то ли я вам, — говорит, — верила! Я вам жизнь и честь свою доверяла.

— Ах да, — говорит, — ты про это... Ну, спасибо тебе, спасибо, прекрасно... Так завтра, стало быть, можно прислать тебе подписать закладную?

— Присылайте, — говорит, — я подпишу.

— А тебе не страшно?

— Нет, — говорит, — я уже то потеряла, после чего мне нечего бояться.

— И не жаль? говори: не жаль? верно, еще ты любишь меня немножечко? Что? или просто сожалеешь? а?

Она на эти слова только засмеялась и говорит:

— Полноте, князь, пустяки болтать. Не хотите ли вы, лучше я велю вам моченой морошки с сахаром подать? У меня она нынче очень вкусная.

Он, должно быть, обиделся: не того, видно, совсем ожидал — встает и улыбается.

— Нет, — говорит, — кушай сама свою морошку, а мне теперь не до сладостей. Благодарю тебя и прощай, —

и начинает ей руки целовать, а тем временем как раз и карета назад возвратилась.

Евгенья Семеновна и подает ему на прощанье руку, а сама говорит:

— А как же вы с вашей черноокой цыганкой сделаетесь?

А он себя вдруг рукой по лбу и вскрикнул:

— Ах, и вправду! какая ты всегда умная! Хочешь верь, хочешь не верь, а я всегда о твоем уме вспоминаю, и спасибо тебе, что ты мне теперь про этот яхонт напомнила!

— А вы, — говорит, — будто про нее так и позабыли?

— Ей-богу, — говорит, — позабыл. И из ума вон, а ее, дуру, ведь действительно надо устроить.

— Устраивайте, — отвечает Евгенья Семеновна, — только хорошенечко: она ведь не русская прохладная кровь с парным молоком, она не успокоится смирением и ничего не простит ради прошлого.

— Ничего, — отвечает, — как-нибудь успокоится.

— Она любит вас, князь? Говорят, даже очень любит?

— Страсть надоела; но слава богу, на мое счастье, они с Голованом большие друзья.

— Что же вам из этого? — спрашивает Евгенья Семеновна.

— Ничего; дом им куплю и Ивана в купцы запишу, перевенчаются и станут жить.

А Евгенья Семеновна покачала головою и, улыбнувшись, промолвила:

— Эх вы, князенька, князенька, бестолковый князенька: где ваша совесть?

А князь отвечает:

— Оставь, пожалуйста, мою совесть. Ей-богу, мне теперь не до нее: мне когда бы можно было сегодня Ивана Голована сюда вытребовать.

Барыня ему и сказала, что Иван Голован, говорит, в городе и даже у меня и приставши. Князь очень этому обрадовался и велел как можно скорее меня к нему прислать, а сам сейчас от нее и уехал.

Вслед за этим пошло у нас все живою рукою, как в сказке. Надавал князь мне доверенностей и свидетельств, что у него фабрика есть, и научил говорить, какие сукна вырабатывает, и услал меня прямо из города к Макарью, так что я Груши и повидать не мог, а только все за нее

на князя обижался, что как он это мог сказать, чтобы ей моею женой быть? У Макарья мне счастие так и повалило: набрал я от азиатов и заказов, и денег, и образцов, и все деньги князю выслал, и сам приехал назад и своего места узнать не могу... Просто все как будто каким-нибудь волшебством здесь переменилось: все подновлено, словно изба, к празднику убранная, а флигеля, где Груша жила, и следа нет: срыт, и на его месте новая постройка поставлена. Я так и ахнул и кинулся: где же Груша? а про нее никто и не ведает; и люди-то в прислуге всё новые, наемные и прегордые, так что и доступу мне прежнего к князю нет. Допреж сего у нас с ним все было по-военному, в простоте, а теперь стало все на политике, и что мне надо князю сказать, то не иначе как через камердинера.

Я этого так терпеть не люблю, что ни одной бы минуты здесь не остался и сейчас бы ушел, но только мне очень было жаль Грушу, и никак я не могу узнать: где же это она делась? Кого из старых людей ни вспрошу — все молчат: видно, что строго заказано. Насилу у одной дворовой старушки добился, что Грушенька еще недавно тут была и всего, говорит, ден десять как с князем в коляске куда-то отъехала и с тех пор назад не вернулась. Я к кучерам, кои возили их: стал спрашивать, и те ничего не говорят. Сказали только, что князь будто своих лошадей на станции сменил и назад отослал, а сам с Грушею куда-то на наемных поехал. Куда ни метнусь, нет никакого следа, да и полно: погубил он ее, что ли, злодей, ножом, или пистолетом застрелил и где-нибудь в лесу во рву бросил да сухою листвою призасыпал, или в воде утопил... От страстного человека ведь все это легко может статься; а она ему помеха была, чтобы жениться, потому что ведь Евгенья Семеновна правду говорила: Груша любила его, злодея, всею страстной своею любовью цыганскою, каторжной, и ей было то не снесть и не покориться, как Евгенья Семеновна сделала, русская христианка, которая жизнь свою перед ним как лампаду истеплила. В этой цыганское пламище-то, я думаю, дымным костром вспыхнуло, как он ей насчет свадьбы сказал, и она тут небось неведомо что зачертила, вот он ее и покончил.

Так я все чем больше эту думу в голове содержу, тем больше уверяюсь, что иначе это быть не могло, и не могу смотреть ни на какие сборы к его венчанью с предводи-

тельскою дочкою. А как свадьбы день пришел и всем людям роздали цветные платки и кому какое идет по его должности новое платье, я ни платка, ни убора не надел, а взял все в конюшне в своем чуланчике покинул, и ушел с утра в лес, и ходил, сам не знаю чего, до самого вечера, все думал: не попаду ли где на ее тело убитое? Вечер пришел, я и вышел, сел на крутом берегу над речкою, а за рекою весь дом огнями горит, светится, и праздник идет; гости гуляют, и музыка гремит, далеко слышно. А я все сижу да гляжу уже не на самый дом, а в воду, где этот свет весь отразило и струями рябит, как будто столбы ходят, точно водяные чертоги открыты. И стало мне таково грустно, таково тягостно, что даже, чего со мною и в плену не было, начал я с невидимой силой говорить и, как в сказке про сестрицу Аленушку сказывают, которую брат звал, зову ее, мою сиротинушку Грунюшку, жалобным голосом:

— Сестрица моя, моя, — говорю, — Грунюшка! откликнись ты мне, отзовись мне; откликнися мне; покажися мне на минуточку! — И что же вы изволите думать: простонал я этак три раза, и стало мне жутко, и начало все казаться, что ко мне кто-то бежит; и вот прибежал, вокруг меня веется, в уши мне шепчет и через плеча в лицо засматривает, и вдруг на меня из темноты ночной как что-то шаркнет!.. И прямо на мне повисло и колотится...

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я от страха даже мало на землю не упал, но чувств совсем не лишился, и ощущаю, что около меня что-то живое и легкое, точно как подстреленный журавль, бьется и вздыхает, а ничего не молвит.

Я сотворил в уме молитву, и что же-с? — вижу перед своим лицом как раз лицо Груши...

— Родная моя! — говорю, — голубушка! живая ли ты или с того света ко мне явилася? Ничего, — говорю, — не потаись, говори правду: я тебя, бедной сироты, и мертвой не испугаюсь.

А она глубоко-глубоко из глубины груди вздохнула и говорит:

— Я жива.

— Ну, и слава, мол, богу.

— Только я, — говорит, — сюда умереть вырвалась.

— Что ты, — говорю, — бог с тобой, Грунюшка: зачем тебе умирать. Пойдем жить счастливою жизнью: я для тебя работать стану, а тебе, сиротиночке, особливую келейку учрежду, и ты у меня живи заместо милой сестры.

А она отвечает:

— Нет, Иван Северьяныч, нет, мой ласковый, мил-сердечный друг, прими ты от меня, сироты, на том твоем слове вечный поклон, а мне, горькой цыганке, больше жить нельзя, потому что я могу неповинную душу загубить.

Пытаю ее:

— Про кого же ты это говоришь? про чью душу жалеешь?

А она отвечает:

— Про ее, про лиходея моего жену молодую, потому что она — молодая душа, ни в чем не повинная, а мое ревнивое сердце ее все равно стерпеть не может, и я ее и себя погублю.

— Что ты, мол, перекрестись: ведь ты крещеная, а что душе твоей будет?

— Не-е-е-т, — отвечает, — я и души не пожалею, пускай в ад идет. Здесь хуже ад!

Вижу, вся женщина в расстройстве и в исступлении ума: я ее взял за руки и держу, а сам вглядываюсь и дивлюсь, как страшно она переменилась и где вся ее красота делась? тела даже на ней как нет, а только одни глаза среди темного лица как в ночи у волка горят и еще будто против прежнего вдвое больше стали, да недро разнесло, потому что тягость ее тогда к концу приходила, а личико в кулачок сжало, и по щекам черные космы трепятся. Гляжу на платьице, какое на ней надето, а платьице темное, ситцевенькое, как есть все в клочочках, а башмачки на босу ногу.

— Скажи, — говорю, — мне: откуда же ты это сюда взялась; где ты была и отчего такая неприглядная?

А она вдруг улыбнулася и говорит:

— Что?.. чем я нехороша?.. Хороша! Это меня так убрал мил-сердечный друг за любовь к нему за верную: за то, что того, которого больше его любила, для него по-

забыла и вся ему предалась, без ума и без разума, а он меня за то в крепкое место упрятал и сторожей настановил, чтобы строго мою красоту стеречь...

И с этим вдруг-с как захохочет и молвит с гневностью:

— Ах ты, глупая твоя голова княженецкая: разве цыганка барышня, что ее запоры удержат? Да я захочу, я сейчас брошуся и твоей молодой жене горло перееем.

Я вижу, что она сама вся трясется от ревнивой муки, и думаю: дай я ее не страхом ада, а сладким воспоминанием от этих мыслей отведу, и говорю:

— А ведь как, мол, он любил-то тебя! Как любил! Как ноги-то твои целовал... Бывало, на коленях перед диваном стоит, как ты поешь, да алую туфлю твою и сверху и снизу в подошву обцелует...

Она это стала слушать, и вечищами своими черными водит по сухим щекам, и, в воду глядя, начала гулким тихим голосом:

— Любил, — говорит, — любил, злодей, любил, ничего не жалел, пока не был сам мне по сердцу, а полюбила его — он покинул. А за что?.. Что она, моя разлучница, лучше меня, что ли, или больше меня любить его станет... Глупый он, глупый!. Не греть солнцу зимой против летнего, не видать ему век любви против того, как я любила; так ты и скажи ему: мол, Груша, умирая, так тебе ворожила и на рок положила.

Я тут и рад, что она разговорилась, и пристал, спрашиваю:

— Да что это такое у вас произошло и через что все это сталося?

А она всплескивает руками и говорит:

— Ах, ни черезо что ничего не было, а все через одно изменство... Нравиться ему я перестала, вот и вся причина, — и сама, знаете, все это говорит, а сама начинает слезами хлепать. — Он, — говорит, — платьев мне, по своему вкусу, таких нашил, каких тягостной не требуется: узких да с талиями; я их надену, выстроюсь, а он сердится, говорит: «Скинь; не идет тебе»; не надену их, в роспашне покажусь, еще того вдвое обидится, говорит: «На кого похожа ты?» Я все поняла, что уже не воротить мне его, что я ему опротивела...

И с этим совсем зарыдала и сама вперед смотрит, а сама шепчет:

— Я, — говорит, — давно это чуяла, что не мила ему стала, да только совесть его хотела узнать, думала: ничем ему не досажу и догляжусь его жалости, а он меня и пожалел...

И рассказала-с она мне насчет своей последней с князем разлуки такую пустяковину, что я даже не понял, да и посейчас не могу понять: на чем коварный человек может с женщиною вековечно расстроиться?

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Рассказала Груша мне, что как ты, говорит, уехал да пропал, то есть это когда я к Макарью отправился, князя еще долго домой не было: а до меня, говорит, слухи дошли, что он женится... Я от тех слухов страшно плакала и с лица спала... Сердце болело, и дитя подкатывало... думала: оно у меня умрет в утробе. А тут, слышу, вдруг и говорят: «Он едет!» Все во мне затрепетало... Кинулась я к себе во флигель, чтобы как можно лучше к нему одеться, изумрудные серьги надела и тащу со стены из-под простыни самое любимое его голубое морѐвое платье с кружевом, лиф без горлышка... Спешу, одеваю, а сзади спинка не сходится... я эту спинку и не застегнула, а так, поскорее, сверху алую шаль набросила, чтобы не видать, что не застегнуто, и к нему на крыльцо выскочила... вся дрожу и себя не помню, как крикнула:

«Золотой ты мой, изумрудный, яхонтовый!» — да обхватила его шею руками и замерла...

Дурнота с нею сделалась.

— А прочудилась я, — говорит, — у себя в горнице... на диване лежу и все вспоминаю: во сне или наяву я его обнимала; но только была, — говорит, — со мною ужасная слабость, — и долго она его не видала... Все посылала за ним, а он не ишел.

Наконец он приходит, а она и говорит:

«Что же ты меня совсем бросил-позабыл?»

А он говорит:

«У меня есть дела».

Она отвечает:

«Какие, — говорит, — такие дела? Отчего же их пре-

жде не было? Изумруд ты мой бралиянтовый!» — да и протягивает опять руки, чтобы его обнять, а он наморщился и как дернет ее изо всей силы крестовым шнурком за шею...

— На счастье, — говорит, — мое, шелковый шнурочек у меня на шее не крепок был, перезниял и перервался, потому что я давно на нем ладанку носила, а то бы он мне горло передушил; да я полагаю так, что он того именно и хотел, потому что даже весь побелел и шипит:

«Зачем ты такие грязные шнурки носишь?»

А я говорю:

«Что тебе до моего шнурка; он чистый был, а это на мне с тоски почернел от тяжелого пота».

А он:

«Тьфу, тьфу, тьфу», — заплевал, заплевал и ушел, а перед вечером входит сердитый и говорит:

«Поедем в коляске кататься!» — и притворился, будто ласковый и в голову меня поцеловал: а я, ничего не опасаясь, села с ним и поехала. Ехали мы долго и два раза лошадей переменяли, а куда едем — никак не доспрошусь у него, но вижу, настало место лесное и болотное, непригожее, дикое. И приехали среди леса на какую-то пчельню, а за пчельнею — двор, и тут встречают нас три молодые здоровые девки-однодворки в мареновых красных юбках и зовут меня «барыней». Как я из коляски выступила, они меня под руки выхватили и прямо понесли в комнату, совсем убранную.

Меня что-то сразу от всего этого, и особливо от этих однодворок, замутило, и сердце мое сжалось.

«Что это, — спрашиваю его, — какая здесь станция?»

А он отвечает:

«Это ты здесь теперь будешь жить».

Я стала плакать, руки его целовать, чтобы не бросал меня тут, а он и не пожалел: толкнул меня прочь и уехал...

Тут Грушенька умолкла и личико вниз спустила, а потом вздыхает и молвит:

— Уйти хотела; сто раз порывалась — нельзя: те девки-однодворки стерегут и глаз не спущают... Томилась я, да, наконец, вздумала притвориться, и прикинулась беззаботною, веселою, будто гулять захотела. Они меня гулять в лес берут, да всё за мной смотрят, а я смотрю по деревьям, по верхам ветвей да по кожуре примечаю —

куда сторона на полдень, и вздумала, как мне от этих девок уйти, и вчера то исполнила. Вчера после обеда вышла я с ними на полянку, да и говорю:

«Давайте, — говорю, — ласковые, в жмурки по полянке бегать».

Они согласились.

«А наместо глаз, — говорю, — станем друг дружке руки назад вязать, чтобы задом ловить».

Они и на то согласны.

Так и стали. Я первой руки за спину крепко-накрепко завязала, а с другою за куст забежала, да и эту там спутала, а на ее крик третья бежит, я и третью у тех в глазах силком скрутила; они кричать, а я, хоть тягостная, ударилась быстрей коня резвого: все по лесу да по лесу и бежала целую ночь и наутро упала у старых бортей в густой засеке. Тут подошел ко мне старый старичок, говорит — неразборчиво шамкает, а сам весь в воску и ото всего от него медом пахнет, и в желтых бровях пчелки ворочаются. Я ему сказала, что я тебя, Ивана Северьяныча, видеть хочу, а он говорит:

«Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз супротив ветра: он затоскует и пойдет тебя искать, — вы и встретитесь». Дал он мне воды испить и медку на огурчике подкрепиться. Я воды испила и огурчик съела, и опять пошла, и все тебя звала, как он велел, то по ветру, то против ветра — вот и встретились. Спасибо! — и обняла меня, и поцеловала, и говорит:

— Ты мне все равно что милый брат.

Я говорю:

— И ты мне все равно что сестра милая, — а у самого от чувства слезы пошли.

А она плачет и говорит:

— Знаю я, Иван Северьяныч, все знаю и разумею; один ты и любил меня, мил-сердечный друг мой, ласковый. Докажи же мне теперь твою последнюю любовь, сделай, что я попрошу тебя в этот страшный час.

— Говори, — отвечаю, — что тебе хочется?

— Нет; ты,— говорит,— прежде поклянись чем страшнее в свете есть, что сделаешь, о чем просить стану.

Я ей своим спасеньем души поклялся, а она говорит:

— Это мало: ты это ради меня преступишь. Нет, ты, — говорит, — страшней поклянись.

— Ну, уже я, мол, страшнее этого ничего не могу придумать.

— Ну так я же, — говорит, — за тебя придумала, а ты за мной поспешай, говори и не раздумывай.

Я сдуру пообещался, а она говорит:

— Ты мою душу прокляни так, как свою клял, если меня не послушаешь.

— Хорошо, — говорю, — и взял да ее душу проклял.

— Ну, так послушай же, — говорит, — теперь же стань поскорее душе моей за спасителя; моих, — говорит, — больше сил нет так жить да мучиться, видючи его измену и надо мной надругательство. Если я еще день проживу, я и *его* и *ее* порешу, а если их пожалею, себя решу, то навек убью свою душеньку... Пожалей меня, родной мой, мой миленый брат; ударь меня раз ножом против сердца.

Я от нее в сторону да крещу ее, а сам пячуся, а она обвила ручками мои колени, а сама плачет, сама в ноги кланяется и увещает:

— Ты, — говорит, — поживешь, ты богу отмолишь и за мою душу и за свою, не погуби же меня, чтобы я на себя руку подняла... — Н... н... н... у...

Иван Северьяныч страшно наморщил брови и, покусав усы, словно выдохнул из глубины расходившейся груди:

— Нож у меня из кармана достала... розняла... из ручки лезвие выправила... и в руки мне сует... А сама... стала такое несть, что терпеть нельзя...

«Не убьешь, — говорит, — меня, я всем вам в отместку стану самою стыдной женщиной».

Я весь задрожал, и велел ей молиться, и колоть ее не стал, а взял да так с крутизны в реку и спихнул...

Все мы, выслушав это последнее признание Ивана Северьяныча, впервые заподозрили справедливость его рассказа и хранили довольно долгое молчание, но, наконец, кто-то откашлянулся и молвил:

— Она утонула?..

— Залилась, — отвечал Иван Северьяныч.

— А вы же как потом?

— Что такое?

— Пострадали небось?

— Разумеется-с.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

— Я бежал оттоль, с того места, сам себя не понимая, а помню только, что за мною все будто кто-то гнался, ужасно какой большой и длинный, и бесстыжий, обнагощенный, а тело все черное и голова малая, как луновочка, а сам весь обростенький, в волосах, и я догадался, что это если не Каин, то сам губитель-бес, и все я от него убегал и звал к себе ангела-хранителя. Опомнился же я где-то на большой дороге, под ракиточкой. И такой это день был осенний, сухой, солнце светит, а холодно, и ветер, и пыль несет, и желтый лист крутит; а я не знаю, какой час, и что это за место, и куда та дорога ведет, и ничего у меня на душе нет, ни чувства, ни определения, что мне делать; а думаю только одно, что Грушина душа теперь погибшая и моя обязанность за нее отстрадать и ее из ада выручить. А как это сделать — не знаю и об этом тоскую, но только вдруг меня за плечо что-то тронуло: гляжу — это хворостинка с ракиты пала и далеконько так покатилась, покатилася, и вдруг Груша идет, только маленькая, не больше как будто ей всего шесть или семь лет, и за плечами у нее малые крылышки; а чуть я ее увидал, она уже сейчас от меня как выстрел отлетела, и только пыль да сухой лист вслед за ней воскурились.

Думаю я: это непременно ее душа за мной следует, верно она меня манит и путь мне кажет. И пошел. Весь день я шел сам не знаю куда и невмоготу устал, и вдруг нагоняют меня люди, старичок со старушкою на телеге парою, и говорят:

«Садись, бедный человек, мы тебя подвезем».

Я сел. Они едут и убиваются:

«Горе, — говорят, — у нас: сына в солдаты берут; а капиталу не имеем, нанять не на что».

Я старичков пожалел и говорю:

«Я бы за вас так, без платы, пошел, да у меня бумаг нет».

А они говорят:

«Это пустяки: то уже наше дело; а ты только назовись, как наш сын, Петром Сердюковым».

«Что же, — отвечаю, — мне все равно: я своему ангелу Ивану Предтече буду молитвить, а называться я могу всячески, как вам угодно».

Тем и покончили, и отвезли они меня в другой город, и сдали меня там вместо сына в рекруты, и дали мне на дорогу монетою двадцать пять рублей, а еще обещались во всю жизнь помогать. Я эти деньги, что от них взял, двадцать пять рублей, сейчас положил в бедный монастырь — вклад за Грушину душу, а сам стал начальство просить, чтобы на Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть. Так и сделалось, и я пробыл на Кавказе более пятнадцати лет и никому не открывал ни настоящего своего имени, ни звания, а все назывался Петр Сердюков и только на Иванов день богу за себя молил, через Предтечу-ангела. И позабыл уже я сам про все мое прежнее бытие и звание, и дослуживаю таким манером последний год, как вдруг на самый на Иванов день были мы в погоне за татарами, а те напаскудили и ушли за реку Койсу. Тех Койс в том месте несколько: которая течет по Андии, так и зовется андийская, которая по Аварии, зовется аварийская Койса, а то корикумуйская и кузикумуйская, и все они сливаются, и от сливу их зачинается Сулак-река. Но все они и по себе сами быстры и холодны, особливо андийская, за которую татарва ушли. Много мы их тут без счету этих татаров побили, но кои переправились за Койсу, — те сели на том берегу за камнями, и чуть мы покажемся, они в нас палят. Но палят с такою сноровкою, что даром огня не тратят, а берегут зелье на верный вред, потому что знают, что у нас снаряду не в пример больше ихнего, и так они нам вредно чинят, что стоим мы все у них в виду, они, шельмы, ни разу в нас и не пукнут. Полковник у нас был отважной души и любил из себя Суворова представлять, все, бывало, «помилуй бог» говорил и своим примером отвагу давал. Так он и тут сел на бережку, а ноги разул и по колени в эту холоднищую воду опустил, а сам хвалится:

«Помилуй бог, — говорит, — как вода тепла: все равно что твое парное молочко в доеночке. Кто, благодетели, охотники на ту сторону переплыть и канат перетащить, чтобы мост навесть?»

Сидит полковник и таким манером с нами растабарывает, а татары с того бока два ствола ружей в щель выставили, а не стреляют. Но только что два солдатика-охотнички вызвались и поплыли, как сверкнет пламя, и оба

те солдатика в Койсу так и нырнули. Потянули мы канат, пустили другую пару, а сами те камни, где татары спрятавшись, как роем, пулями осыпаем, но ничего им повредить не можем, потому что пули наши в камни бьют, а они, анафемы, как плюнут в пловцов, так вода кровью замутилась, и опять те два солдатика юркнули. Пошли за ними и третья пара, и тоже середины Койсы не доплыли, как татары и этих утопили. Тут уже за третьею парою и мало стало охотников, потому что видимо всем, что это не война, а просто убийство, а наказать злодеев надобно. Полковник и говорит:

«Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?»

Я и подумал:

«Чего же мне лучше этого случая ждать, чтобы жизнь кончить? благослови, господи, час мой!» — и вышел, разделся, «Отчу» прочитал, на все стороны начальству и товарищам в землю ударил и говорю в себе: «Ну, Груша, сестра моя названая, прими за себя кровь мою!» — да с тем взял в рот тонкую бечеву, на которой другим концом был канат привязан, да, разбежавшись с берегу, и юркнул в воду.

Вода страсть была холодна: у меня даже под мышками закололо, и грудь мрет, судорога ноги тянет, а я плыву... Поверху наши пули летят, а вокруг меня татарские в воду шлепают, а меня не касаются, и я не знаю: ранен я или не ранен, но только достиг берега... Тут татарам меня уже бить нельзя, потому что я как раз под ущельем стал, и чтобы им стрелять в меня, надо им из щели высунуться, а наши их с того берега пулями как песком осыпают. Вот я стою под камнями и тяну канат, и перетянул его, и мосток справили, и вдруг наши сюда уже идут, а я все стою и как сам из себя изъят, ничего не понимаю, потому что думаю: видел ли кто-нибудь то, что я видел? А я видел, когда плыл, что надо мною Груша летела, и была она как отроковица примерно в шестнадцать лет, и у нее крылья уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала... Однако, вижу, никто о том ни слова не говорит: ну, думаю, надо мне самому это рас-

сказать. Как меня полковник стал обнимать и сам целует, а сам хвалит:

«Ой, помилуй бог, — говорит, — какой ты, Петр Сердюков, молодец!»

А я отвечаю:

«Я, ваше высокоблагородие, не молодец, а большой грешник, и меня ни земля, ни вода принимать не хочет».

Он вопрошает:

«В чем твой грех?»

А я отвечаю:

«Я, — говорю, — на своем веку много неповинных душ погубил», — да и рассказал ему ночью под палаткою все, что вам теперь сказывал.

Он слушал, слушал, и задумался, и говорит:

«Помилуй бог, сколько ты один перенес, а главное, братец, как ты хочешь, а тебя надо в офицеры произвесть. Я об этом представление пошлю».

Я говорю:

«Как угодно, а только пошлите и туда узнать, не верно ли я показываю, что я цыганку убил?»

«Хорошо, — говорит, — и об этом пошлю».

И послали, но только ходила, ходила бумага и назад пришла с неверностью. Объяснено, что никогда, говорят, у нас такого происшествия ни с какою цыганкою не было, а Иван-де Северьянов хотя и был и у князя служил, только он через заочный выкуп на волю вышел и опосля того у казенных крестьян Сердюковых в доме помер.

Ну что тут мне было больше делать: чем свою вину доказывать?

А полковник говорит:

«Не смей, братец, больше на себя этого врать: это ты как через Койсу плыл, так ты от холодной воды да от страху в уме немножко помешался, и я, — говорит, — очень за тебя рад, что это все неправда, что ты наговорил на себя. Теперь офицером будешь; это, брат, помилуй бог как хорошо».

Тут я даже и сам мыслями растерялся: точно ли я спихнул Грушу в воду, или это мне тогда все от страшной по ней тоски сильное воображение было?

И сделали-с меня за храбрость офицером, но только как я все на своей истине стоял, чтобы открыть свою за-

прошедшую жизнь, то чтобы от этого мне больше беспокойства не иметь, пустили меня с Георгием в отставку.

«Поздравляем, — говорят, — тебя, ты теперь благородный и можешь в приказные идти; помилуй бог, как спокойно, — и письмо мне полковник к одному большому лицу в Петербург дал. — Ступай, — говорит, — он твою карьеру и благополучие совершит». Я с этим письмом и добрался до Питера, но не посчастливило мне насчет карьеры.

— Чем же?

— Долго очень без места ходил, а потом на фиту попал, и оттого стало еще хуже.

— Как на *фиту?* что это значит?

— Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них фамилиев начинается и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою — только пропащая работа, а он под фертом себя проименовал. Никакой пользы нет, а сиди на службе; ну, я и вижу, что дело плохо, и стал опять наниматься, по старому обыкновению, в кучера, но никто не берет; говорят: ты благородный офицер, и военный орден имеешь, тебя ни обругать, ни ударить непристойно... Просто хоть повеситься, но я благодаря бога и с отчаянности до этого себя не допустил, а чтобы с голоду не пропасть, взял да в артисты пошел.

— Каким же вы были артистом?

— Роли представлял.

— На каком театре?

— В балагане на Адмиралтейской площади. Там благородством не гнушаются и всех принимают: есть и из офицеров, и столоначальники, и студенты, а особенно сенатских очень много.

— И понравилась вам эта жизнь?

— Нет-с.

— Чем же?

— Во-первых, разучка вся и репетиция идут на страстной неделе или перед масленицей, когда в церкви поют: «Покаяния отверзи ми двери», а во-вторых, у меня роль была очень трудная.

— Какая?

— Я демона изображал.

— Чем же это особенно трудно?

— Как же-с: в двух переменах танцевать надо и кувыркаться, а кувыркнуться страсть неспособно, потому что весь обшит лохматой шкурой седого козла вверх шерстью; и хвост долгий на проволоке, но он постоянно промеж ног путается, а рога на голове за что попало цепляются, а годы уже стали не прежние, не молодые, и легкости нет; а потом еще во все продолжение представления расписано меня бить. Ужасно как это докучает. Палки эдакие, положим, пустые, из холстины сделаны, а в средине хлопья, но, однако, скучно ужасно это терпеть, что всё по тебе хлоп да хлоп, а иные к тому еще с холоду или для смеху изловчаются и бьют довольно больно. Особенно из сенатских приказных, которые в этом опытные и дружные: всё за своих стоят, а которые попадутся военные, они тем ужасно докучают, и всё это продолжительно начнут бить перед всей публикой с полдня, как только полицейский флаг поднимается, и бьют до самой до ночи, и все, всякий, чтобы публику утешить, норовит громче хлопнуть. Ничего приятного нет. А вдобавок ко всему со мною и здесь неприятное последствие вышло, после которого я должен был свою роль оставить.

— Что же это такое с вами случилось?

— Принца одного я за вихор подрал.

— Как принца?

— То есть не настоящего-с, а театрашного: он из сенатских был, коллежский секретарь, но у нас принца представлял.

— За что же вы его прибили?

— Да стоило-с его еще и не эдак. Насмешник злой был и выдумщик и все над всеми шутки выдумывал.

— И над вами?

— И надо мною-с; много шуток строил: костюм мне портил; в грельне, где мы, бывало, над угольями грелися и чай пили, подкрадется, бывало, и хвост мне к рогам при-

цепит или еще что глупое сделает на смех, а я не осмотрюсь да так к публике выбегу, а хозяин сердится; но я за себя все ему спускал, а он вдруг стал одну фею обижать. Молоденькая такая девочка, из бедных дворяночек, богиню Фортуну она у нас изображала и этого принца от моих рук спасать должна была. И роль ее такая, что она вся в одной блестящей тюли выходит и с крыльями, а морозы большие, и у нее у бедной ручонки совсем посинели, зашлись, а он ее допекает, лезет к ней, и когда мы втроем в апофезе в подпол проваливаемся, за тело ее щипет. Мне ее очень жаль стало: я его и оттрепал.

— И чем же это кончилось?

— Ничего; в провале свидетелей не было, кроме самой этой феи, а только наши сенатские все взбунтовались и не захотели меня в труппе иметь; а как они первые там представители, то хозяин для их удовольствия меня согнал.

— И куда же вы тогда делись?

— Совсем без крова и без пищи было остался, но эта благородная фея меня питала, но только мне совестно стало, что ей, бедной, самой так трудно достается, и я все думал-думал, как этого положения избавиться? На фиту не захотел ворочаться, да и к тому на ней уже другой бедный человек сидел, мучился, так я взял и пошел в монастырь.

— От этого только?

— Да ведь что же делать-с? деться было некуда. А тут хорошо.

— Полюбили вы монастырскую жизнь?

— Очень-с; очень полюбил,— здесь покойно, все равно как в полку, много сходственного, все тебе готовое: и одет, и обут, и накормлен, и начальство смотрит и повиновения спрашивает.

— А вас это повиновение иногда не тяготит?

— Для чего же-с? что больше повиноваться, то человеку спокойнее жить, а особенно в моем послушании и обижаться нечем: к службам я в церковь не хожу иначе, как разве сам пожелаю, а исправляю свою должность попривычному, скажут: «запрягай, отец Измаил» (меня теперь Измаилом зовут), — я запрягу; а скажут: «отец Измаил, отпрягай», — я откладываю.

— Позвольте, — говорим, — так это что же такое, выходит, вы и в монастыре остались... при лошадях?

— Постоянно-с в кучерах. В монастыре этого моего звания офицерского не опасаются, потому что я хотя и в малом еще постриге, а все же монах и со всеми сравнен.

— А скоро же вы примете старший постриг?

— Я его не приму-с.

— Это почему?

— Так... достойным себя не почитаю.

— Это все за старые грехи или заблуждения?

— Д-д-а-с. Да и вообще зачем? я своим послушанием очень доволен и живу в спокойствии.

— А вы рассказывали кому-нибудь прежде всю свою историю, которую теперь нам рассказали?

— Как же-с; не раз говорил; да что же, когда справок нет... не верят, так и в монастырь светскую ложь занес, и здесь из благородных числюсь. Да уже все равно дожи-вать: стар становлюсь.

История очарованного странника, очевидно, приходила к концу, оставалось полюбопытствовать только об одном: как ему повелось в монастыре.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Так как наш странник доплыл в своем рассказе до последней житейской пристани — до монастыря, к которому он, по глубокой вере его, был от рождения предназначен, и так как ему здесь, казалось, все столь благоприятствовало, то приходилось думать, что тут Иван Северьянович более уже ни на какие напасти не натыкался; однако же вышло совсем иное. Один из наших сопутников вспомнил, что иноки, по всем о них сказаниям, постоянно очень много страдают от беса, и вопросил:

— А скажите, пожалуйста, бес вас в монастыре не искушал? ведь он, говорят, постоянно монахов искушает?

Иван Северьянович бросил из-под бровей спокойный взгляд на говорящего и отвечал:

— Как же не искушать? Разумеется, если сам Павел-апостол от него не ушел и в послании пишет, что «ангел сатанин был дан ему в плоть», то мог ли я, грешный и слабый человек, не претерпеть его мучительства.

— Что же вы от него терпели?

— Многое-с.

— В каком же роде?

— Всё разные пакости, а сначала, пока я его не пересилил, были даже и соблазны.

— А вы и *его,* самого беса, тоже пересилили?

— А то как же иначе-с? Ведь это уже в монастыре такое призвание, но я бы этого, по совести скажу, сам не сумел, а меня тому один совершенный старец научил, потому что он был опытный и мог от всякого искушения пользовать. Как я ему открылся, что мне все Груша столь живо является, что вот словно ею одною вокруг меня весь воздух дышит, то он сейчас кинул в уме и говорит:

«У Якова-апостола сказано: «Противустаньте дьяволу, и побежит от вас», и ты, — говорит, — противустань». И тут наставил меня так делать, что ты, — говорит, — как если почувствуешь сердцеразжижение и ее вспомнишь, то и разумей, что это, значит, к тебе приступает ангел сатанин, и ты тогда сейчас простирайся противу его на подвиг: перво-наперво стань на колени. Колени у человека, — говорит, — первый инструмент: как на них падешь, душа сейчас так и порхнет вверх, а ты тут, в сем возвышении, и бей поклонов земных елико мощно, до изнеможения, и изнуряй себя постом, чтобы заморить, и дьявол как увидит твое протягновение на подвиг, ни за что этого не стерпит и сейчас отбежит, потому что он опасается, как бы такого человека своими кознями еще прямее ко Христу не привести, и помыслит: «Лучше его оставить и не искушать, авось-де он скорее забудется». Я стал так делать, и действительно все прошло.

— Долго же вы себя этак мучили, пока от вас ангел сатаны отступал?

— Долго-с; и все одним измором его, врага этакого, брал, потому что он другого ничего не боится: вначале я и до тысячи поклонов ударял и дня по четыре ничего не вкушал и воды не пил, а потом *он* понял, что ему со мною спорить не ровно, и оробел, и слаб стал: чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно

ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести.

— Однако же, положим... *он*-то... Это так: вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели?

— Ничего-с; что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал.

— И теперь вы уже совсем от него избавились?

— Совершенно-с.

— И он вам вовсе не является?

— В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит, а если порою еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде: визжит, как будто поросеночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать.

— Ну и слава богу, что вы со всем этим так справились.

— Да-с; я соблазны большого беса осилил, но, доложу вам, — хоть это против правила, — а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили.

— А бесенята разве к вам тоже приставали?

— Как же-с; положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут...

— Что же такое они вам делают?

— Да ведь ребятишки, и притом их там, в аду, очень много, а дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются, и чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают.

— Что же такое они, например... чем могут досаждать?

— Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие, весело: в ладоши хлопают и бежат к своему старшо́му: дескать, и мы смутили, дай нам теперь за то грошик. Ведь вот из чего бьются... Дети.

— Чем же именно им, например, удавалось вас смутить?

— Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился, и стали все послуш-

ники говорить, что это Иуда и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал: разве мало у нас, что ли, жидов осталось; но только раз ночью сплю в конюшне и вдруг слышу, кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву, — нет, все-таки стоит. Я перекрестил: все стоит и опять вздохнул. «Ну что, мол, я тебе сделаю: молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид, да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить, а пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню». Положил на него этакое заклятие, он и отошел, а я опять заснул, но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает... мешает спать, да и все тут. Как ни терпел, просто сил нет! Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться? Ну, нечего делать, видно, надо против тебя хорошее средство изобретать: взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал, и как пришла ночь, я и лег спокойно, думаю себе: уж теперь не придет, да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает! Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь! Всю как есть эту ночь он меня этак пугал, а утром, чуть ударили в первый колокол к заутрене, я поскорее вскочил и бегу, чтоб пожаловаться настоятелю, а меня встречает звонарь, брат Диомид, и говорит:

«Чего ты такой пужаный?»

Я говорю:

«Так и так, такое мне во всю ночь было беспокойство, и я иду к настоятелю».

А брат Диомид отвечает:

«Брось, — говорит, — и не ходи, настоятель вчера себе в нос пиявку ставил и теперь *пресердитый* и ничего тебе в этом деле не поможет, а я тебе, если хочешь, гораздо лучше его могу помогать».

Я говорю:

«А мне совершенно все равно; только сделай милость, помоги, — я тебе за это старые теплые рукавицы подарю, тебе в них зимою звонить будет очень способно».

«Ладно», — отвечает.

И я ему рукавицы дал, а он мне с колокольни старую церковную дверь принес, на коей Петр-апостол написан, и в руке у него ключи от царства небесного.

«Вот это-то, — говорит, — и самое важное есть *ключи:* ты этою дверью только заставься, так уже через нее никто не пройдет».

Я ему мало в ноги от радости не поклонился и думаю: чем мне этою дверью заставляться да потом ее отставлять, я ее лучше фундаментально прилажу, чтобы она мне всегда была ограждением, и взял и учинил ее на самых надежных плотных петлях, а для безопаски еще к ней самый тяжелый блок приснастил из булыжного камня, и все это исправил в тишине в один день до вечера и, как пришла ночная пора, лег в свое время и сплю. Но только, что же вы изволите думать: слышу — опять дышит! просто ушам своим не верю, что это можно, ан нет: дышит, да и только! да еще мало этого, что дышит, а прет дверь... При старой двери у меня изнутри замок был, а в этой, как я более на святость ее располагался, замка не приладил, потому что и времени не было, то он ее так и пихает, и все раз от разу смелее, и, наконец, вижу, как будто морда просунулась, но только дверь размахнулась на блоке и его как свистнет со всей силы назад... А он отскочил, видно, почесался, да, мало обождавши, еще смелее, и опять морда, а блок ее еще жестче щелк... Больно, должно быть, ему показалось, и он усмирел и больше не лезет, я и опять заснул, но только прошло мало времени, а он, гляжу, подлец, опять за свое взялся, да еще с новым искусством. Уже нет того, чтобы бодать и прямо лезть, а полегонечку рогами дверь отодвинул, и как я был с головою полушубком закрыт, так он вдруг дерзко полушубок с меня долой сорвал, да как лизнет меня в ухо... Я больше этой наглости уже не вытерпел: спустил руку под кровать и схватил топор да как тресну его, слышу — замычал и так и бякнул на месте. «Ну, — думаю, — так тебе и надо», — а вместо того, утром, гляжу, никакого жида нет, а это они, подлецы, эти бесенята, мне вместо его корову нашу монастырскую подставили.

— И вы ее поранили?

— Так и прорубил топором-с! Смущение ужасное было в монастыре.

— И вы, чай, неприятности какие-нибудь за это имели?

— Получил-с; отец игумен сказали, что это все оттого мне представилось, что я в церковь мало хожу, и благословили, чтобы я, убравшись с лошадьми, всегда напереди у решетки для возжигания свеч стоял, а они тут, эти пакостные бесенята, еще лучше со мною подстроили и окончательно подвели. На самого на Мокрого Спаса, на всенощной, во время благословения хлебов, как надо по чину, отец игумен и иеромонах стоят посреди храма, а одна богомолочка старенькая подает мне свечечку и говорит:

«Поставь, батюшка, празднику».

Я подошел к аналою, где положена икона «Спас на водах», и стал эту свечечку лепить, да другую уронил. Нагнулся, эту поднял, стал прилепливать, — две уронил. Стал их вправлять, ан, гляжу — четыре уронил. Я только головой качнул, ну, думаю, это опять непременно мне пострелята досаждают и из рук рвут... Нагнулся и поспешно с упавшими свечами поднимаюсь да как затылком махну под низ об подсвечник... а свечи так и посыпались. Ну, тут я рассердился да взял и все остальные свечи рукой посбивал. «Что же, — думаю, — если этакая наглость пошла, так лучше же я сам поскорее все это опрокину».

— И что же с вами за это было?

— Под суд меня за это хотели было отдать, да схимник, слепенький старец Сысой, в земляном затворе у нас живет, так он за меня заступился.

«За что, — говорит, — вы его будете судить, когда это его сатанины служители смутили».

Отец игумен его послушались и благословили меня без суда в пустой погреб опустить.

— Надолго же вас в погреб посадили?

— А отец игумен не благословили на сколько именно времени, а так сказали только, что «посадить», я все лето до самых до заморозков тут и сидел.

— Ведь это, надо полагать, скука и мучение в погребе, не хуже, чем в степи?

— Ну нет-с: как же можно сравнить? здесь и церковный звон слышно, и товарищи навещали. Придут, сверху над ямой станут, и поговорим, а отец казначей жернов мне на веревке велели спустить, чтобы я соль для поварни молол. Какое же сравнение со степью или с другим местом.

— А потом когда же вас вынули? верно, при морозах, потому что холодно стало?

— Нет-с, это не потому, совсем не для холода, а для другой причины, так как я стал пророчествовать.

— Пророчествовать!?

— Да-с, я в погребу, наконец, в раздумье впал, что какой у меня самоничтожный дух и сколько я через него претерпеваю, а ничего не усовершаюсь, и послал я одного послушника к одному учительному старцу спросить: можно ли мне у бога просить, чтобы другой более соответственный дух получить? А старец наказал мне сказать, что «пусть, говорит, помолится, как должно, и тогда, чего нельзя ожидать, ожидает».

Я так и сделал: три ночи всё на этом инструменте, на коленях, стоял в своей яме, а духом на небо молился и стал ожидать себе иного в душе совершения. А у нас другой инок Геронтий был, этот был очень начитанный и разные книги и газеты держал, и дал он мне один раз читать житие преподобного Тихона Задонского, и когда, случалось, мимо моей ямы идет, всегда, бывало, возьмет да мне из-под ряски газету кинет.

«Читай, — говорит, — и усматривай полезное: во рву это тебе будет развлечение».

Я, в ожидании невозможного исполнения моей молитвы, стал покамест этим чтением заниматься: как всю соль, что мне на урок назначено перемолоть, перемелю, и начинаю читать, и начитал я сначала у преподобного Тихона, как посетили его в келии пресвятая владычица и святые апостолы Петр и Павел. Писано, что угодник божий Тихон стал тогда просить богородицу о продлении мира на земле, а апостол Павел ему громко ответил знамение, когда не станет мира, такими словами: «Егда, — говорит, — все рекут мир и утверждение, тогда нападает на них внезапу всегубительство». И стал я над этими апостольскими словами долго думать и все вначале никак этого не мог понять: к чему было святому от апостола в таких словах откровение? На конец того начитываю в газетах, что постоянно и у нас и в чужих краях неумолчными усты везде утверждается повсеместный мир. И тут-то исполнилось мое прошение, и стал я вдруг понимать, что сближается реченное: «егда рекут мир, нападает внезапу всегубительство», и я исполнился страха за народ свой

русский и начал молиться и всех других, кто ко мне к яме придет, стал со слезами увещевать, молитесь, мол, о покорении под нозе царя нашего всякого врага и супостата, ибо близ есть нам всегубительство. И даны были мне слезы, дивно обильные!.. все я о родине плакал. Отцу игумену и доложили, что,— говорят,— наш Измаил в погребе стал очень плакать и войну пророчествовать. Отец игумен и благословили меня за это в пустую избу на огород перевесть и поставить мне образ *«Благое молчание»,* пишется Спас с крылами тихими, в виде ангела, но в Саваофовых чинах заместо венца, а ручки у груди смирно сложены. И приказано мне было, чтобы я перед этим образом всякий день поклоны клал, пока во мне провещающий дух умолкнет. Так меня с этим образом и заперли, и я так до весны взаперти там и пребывал в этой избе и все *«Благому молчанию»* молился, но чуть человека увижу, опять во мне дух поднимается, и я говорю. На ту пору игумен лекаря ко мне прислали посмотреть: в рассудке я не поврежден ли? Лекарь со мною долго в избе сидел, вот этак же, подобно вам, всю мою повесть слушал и плюнул:

«Экий, — говорит, — ты, братец, барабан: били тебя, били, и все никак еще не добьют».

Я говорю:

«Что же делать? Верно, так нужно».

А он, все выслушавши, игумену сказал:

«Я, — говорит, — его не могу разобрать, что он такое: так просто добряк, или помешался, или взаправду предсказатель. Это, — говорит, — по вашей части, а я в этом не сведущ, мнение же мое такое: прогоните, — говорит, — его куда-нибудь подальше пробегаться, может быть он засиделся на месте».

Вот меня и отпустили, и я теперь на богомоление в Соловки к Зосиме и Савватию благословился и пробираюсь. Везде был, а их не видал и хочу им перед смертью поклониться.

— Отчего же «перед смертью»? Разве вы больны?

— Нет-с, не болен; а все по тому же случаю, что скоро надо будет воевать.

— Позвольте: как же это вы опять про войну говорите?

— Да-с.

— Стало быть, вам *«Благое молчание»* не помогло?

— Не могу знать-с: усиливаюсь, молчу, а дух одолевает.

— Что же он?

— Все свое внушает: «ополчайся».

— Разве вы и сами собираетесь идти воевать?

— А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень помереть хочется.

— Как же вы: в клобуке и в рясе пойдете воевать?

— Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амуничку надену.

Проговорив это, очарованный странник как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам.

# ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том входят роман-хроника «Соборяне» (1872), «Запечатленный ангел» (1873) и «Очарованный странник» (1873). В этих произведениях Лесков во многом преодолел реакционные влияния, искажавшие его творчество 1860-х годов и определил круг новых тем и героев. «Соборянами» Лесков открыл собрание своих сочинений (1889—1890), поместив их в первом томе и тем самым подчеркнув значение, которое он придавал этому произведению.

К началу 1870-х годов новые творческие замыслы уводят Лескова все дальше от лагеря политической реакции. Полемика с революционной демократией, начатая им в романе «Некуда», занимает еще в «Соборянах» значительное место, но характерно, что печатанию этой вещи в «Русском вестнике» предшествовали долгие и сложные переговоры с редакцией; к «Запечатленному ангелу» Лескову пришлось приделать приемлемую для Каткова развязку; что касается «Очарованного странника», то Катков просто отказался его печатать. Лесков-художник уходил все дальше от врагов общественного прогресса — издателей «Русского вестника» и «Московских ведомостей».

В творчестве Лескова, начиная с «Соборян», главным героем становится правдолюбец, русский «праведник», человек, полный несокрушимой веры в силу деятельного добра. Если Савелий Туберозов («Соборяне») видит свой общественный и душевный подвиг в обновлении официальной церкви, в возвращении ее к евангельским заветам, то герои «Запечатленного ангела» и «Очарованного странника» только внешним образом связаны с официальной церковностью.

Народные художники и знатоки искусства в «Запечатленном ангеле», как и герой «Очарованного странника», богатырь, человек

эпической силы, действуют во многом под влиянием традиционных верований и представлений; но это уже не пассивно «чающие движения воды», как представлял себе людей из народа Лесков в пору наибольшего увлечения реакционными политическими идеями, в период работы над первой редакцией «Соборян», когда его любимый герой, Савелий Туберозов, с горечью писал в своем дневнике: «Омнепотенский (так именовался тогда нигилист Препотенский. — *И. С.*) и все ему подобные уверяют, что народ и днесь и мудр и силен. Не знаю, откуда они берут это. Что народ силен, сему не противоречу, но что он мудр — в сие не верую, ибо сего ни в чем не вижу. Я этот народ коротко знаю и так его понимаю, что ему днесь паче всего нужно христианство... В народе сем я вижу нечто весьма торгашеское: все он любит такое, из чего бы ему было что уступить. Калач пятак стоит, и сие каждому весьма ведомо, но он все еще не преминет случая за него поторговаться, и два старых гроша сулит» («Отечественные записки», 1867, апрель, стр. 602). Чем дальше, тем решительнее будет отходить Лесков от официальной церковности и тем большее место в его творчестве будет занимать деятельное начало русского национального характера, его творчески-созидательная сторона. Теперь Лесков видит более глубокие, коренные черты национального характера, воспитанные историей, веками борьбы и страданий. С этого времени жизнь столиц, «городской» материал, становится для него только объектом сатирического изображения. Уездная Русь — поле действия его героев, в которых он стремится воплотить свое понимание национального характера и народного нравственного идеала. Глубокое проникновение во внутренний мир людей из народа выразилось у Лескова в своеобразной художественной форме — в виде так называемого «сказа», разработанного им на основе народных говоров, профессиональных и областных диалектов, а также древнерусского книжного языка.

## СОБОРЯНЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, т. 1, СПб., 1889, стр. 3—377, с исправлениями по «Русскому вестнику», 1872, №№ 4—7, и по отдельному изданию «Соборяне. Старгородская хроника (роман) Н. С. Лескова». СПб., 1878. Данное издание Лесков назвал «третьим тиснением», так как вторым он считал отдельное издание «Соборян» 1872 года, представляющее собой сброшюрованные оттиски из «Русского вестника».

Ни одно из больших произведений Лескова не испытало столько трудностей при печатании, сколько пришлось вытерпеть «Соборя-

нам». Это, в свою очередь, очень усложнило работу писателя и помешало осуществлению его обширного замысла во всей полноте. В первоначальном виде «Соборяне» назывались «Чающие движения воды. Романическая хроника». На этом жанровом определении Лесков очень настаивал. В письме к А. А. Краевскому в начале осени 1866 года он писал: «Усердно прошу Вас... в объявлении при следующей книжке не печатать «большое беллетристическое произведение», а объявить прямо... *«Романическая хроника»* — «Чающие движения воды», ибо это будет хроника, а не роман. Так она была задумана, и так она и растет по милости божией. Вещь у нас мало привычная, но зато и поучимся» («Шестидесятые годы», изд. АН СССР, М. — Л., 1940, стр. 293). Работу над своей «романической хроникой» Лесков, по-видимому, начал в первой половине 1866 года. В июле этого года была готова первая часть. Тогда же была достигнута договоренность с Краевским, и в марте 1867 года в «Отечественных записках» началось печатание «Чающих движения воды».

В «Отечественных записках» хронике был предпослан эпиграф из евангелия от Иоанна: «В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды». Эпиграф этот взят Лесковым из евангельского рассказа о больных, собиравшихся возле водоема, к которому по временам сходил ангел, возмущал воду, и тогда эта вода исцеляла больных. В письме в Литературный фонд (20 мая 1867 г.) Лесков так разъяснял свой замысел: «...я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, *«чающих движения»* легального, мирного, тихого...» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, М., 1954, стр. 189). Печатание «Чающих движения воды» в «Отечественных записках» было прервано из-за неожиданно возникших разногласий между автором и Краевским. Несмотря на предупреждение Лескова не делать в «хронике» никаких изъятий без согласия автора, главы, напечатанные в апрельской книжке 1867 года, вышли с большими, как пишет Лесков, «помарками»: «В силу этих помарок одно из лиц романа (протопоп Савелий, в особе которого, по моему плану, должна была высказаться «чающая движения» партия честного духовенства) вышло изуродованным» (А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 189). В знак решительного протеста Лесков прекратил печатание романа в «Отечественных записках», и оно там более не возобновлялось. Напечатана была, таким образом, только «Книга первая».

Из напечатанного в «Отечественных записках» текста видно, что первоначальный замысел «хроники» был много шире, чем он был осуществлен в «Соборянах». Начинаются «Чающие движения

воды» с глав, характеризующих прошлое Старого Города, его внешний вид, местоположение; в главе II («Патриарх, прошедший с мечом и с миром») рассказывается о переходе части раскольников Старого Города вместе со своим главой Миной Силычем Кочетовым в православие после войны 1812 года. Другая же часть раскольников осталась в старой вере и выбрала себе наставником купца Семена Дмитриевича Деева. Главы IV—XV вводят в «хронику» Константина Пизонского, историю Платониды, невестки Маркела Деева, и воспитанниц Пизонского Глаши и Нилочки. После приостановки печатания «Чающих движения воды» Лесков выделил эти эпизоды из своей «хроники» и напечатал их в сборнике «Повести, очерки и рассказы М. Стебницкого», т. 1, СПб., 1867, под названием «Старгородцы (отрывки из неоконченного романа «Чающие движения воды»). Котин доилец и Платонида» (см. т. 1 наст. изд.). Только с XVII главы журнального текста начиналось изложение событий, совпадающее с первыми главами «Соборян». Главы XVII—XVIII занимает «Савельева синяя книга», главы XIX—XX снова посвящены Пизонскому и его маленькому воспитаннику Молвошке.

Журнальный текст «хроники» Лескова дает вполне достаточный материал для суждения о том, как развивалось действие в частях, не увидевших света в 1867 году. Из напечатанного можно заключить, что видное место в развитии событий «хроники» должен был занять Пизонский, образ которого был соотнесен с образом Савелия Туберозова, как практическое воплощение идеи служения людям. В последней главе первой книги «Чающих движения воды» Пизонскому в полусне-полуяви слышится разговор идущих ночью вдоль берега Августа Кальярского и ксендза Збышевского (в «Соборянах» Кальярский упоминается, Збышевский — совсем исчезает), в котором комментируется эпиграф к роману и революционные идеи объясняются плодами «польской интриги». В заключительных строках хроники Туберозов и Пизонский объединены общим ожиданием грядущих бед: «Так, среди общего сна и покоя, два человека, которым не спалось, встретили в Старом Городе... день, в который бездна застоя и спокойствия, наконец, призвала другую бездну; день, с которого под старогородскими кровлями начинается новая эра» («Отечественные записки», 1867, апрель, стр. 639).

По-видимому, большое место в романе должна была занять судьба Глаши, вышедшей замуж за умственно недоразвитого купеческого сына Маслюхина. О ней в хронике говорится, «что она, как Галатея, лишь ждет одного одухотворяющего прикосновения, и все дело теперь только в том, кто принесет прекрасному мрамору эту душу» («Отечественные записки», 1867, апрель, стр. 489).

По сравнению с окончательной редакцией «хроники» 1872 года «Савельева синяя книга» («Демикотоновая» — в «Соборянах») содержит больше прямых политических высказываний злободневного содержания. В них излагается политическая концепция, очень сходная с той, какую развивал с 1863 года в «Московских ведомостях» идейный вдохновитель реакционного лагеря Катков. Церковь, по мнению Савелия, это единственная опора русского народа, единственная его путеводительница. Ей (церкви), а следовательно и народу, угрожают раскольники и нигилисты, вдохновляемые и направляемые могущественной силой католицизма. 9 июня 1864 года Савелий записывает (в «Соборянах» этой записи нет): «А тут... в корень... в самую подпочву спущены мутные потоки безверия: не лев рычит, а шакалка подлая, Данилка-комиссар щекает... Мне это с трусости моей все кажется, что нам повсюду расставлены ехидство, ковы, сети; что на погубление Руси где-то слагаются цифровые универсалы... что мы в тяготе очес проспали пробуждение Руси... и вот она встала и бредет куда попало... и гласа нашего не ведает... Так все собирался я, старик, увидеть некое торжество; дождаться, что вечер дней моих будет яснее утра, и чаяний сих полный сидел, ряды годов, у великой купели, неустанно чающе ангела, который снизойдет возмутить воду сию и... скажи ми, господи, когда будет сие?.. Должна же восходить заря после полунощи; разбитые оковы пахаря, и суд вблизи обещанный уже не марево; но что ж такое, что сами себя мы никак сообразить не можем? Где наш хоть немудрый смысл, да крепкий?» («Отечественные записки», 1867, апрель, стр. 613). По-иному характеризуется «Савельевой синей книгой» новый губернатор, без того иронического отношения, с которым он изображен в «Соборянах».

Иной, чем в «Соборянах», является и внутренняя хронология романа. Последняя запись в «Савельевой синей книге» датируется 9 июня 1864 года, и, следовательно, все действие «хроники» должно было происходить в 1864 году, а не в 1867, когда происходит действие в «Соборянах». Вообще хронология записей в «Савельевой синей книге» чрезвычайно спутана. Некоторые годы (1837) повторяются трижды. В записи от 1 января 1857 года сказано, что «шесть лет и строки сюда не вписывал», а между тем предыдущие записи относятся к 1853 году, и т. д. Эта сбивчивость сохраняется и усугубляется в «Демикотоновой книге» («Соборяне»), где дважды появляется в записях 1849, 1863 годы и внутри годов спутан порядок месяцев. Как доказывает Б. В. Томашевский («Писатель и книга», Л., 1928, стр. 126—127), эти ошибки в хронологии не могут быть исправлены, так как они потребовали бы переработки всей книги. Если пы-

таться восстановить реальную хронологию событий, то окажется, что «мальчишка», воспитываемый Пизонским и упоминаемый в записи 27 декабря 1861 года (по тексту «Соборян»), родился в 1836 году. Следовательно в 1861 году ему должно было быть двадцать пять лет, в то время как он называется у Лескова «мальчишкой» и «младенцем» и ходит на святках с поздравительными стихами.

Лесков возобновил печатание своей «хроники» под названием «Божедомы (Эпизоды из неоконченного романа «Чающие движения воды»)» в начале 1868 года в «Литературной библиотеке» (январь, стр. 3—83; февраль, стр. 3—36). В новой публикации Лесков изменил не только название, но и характер произведения в целом, и даже эпиграф из евангелия от Иоанна был взят другой: «И дал им область чадами божиими быти, верующими во имя его». В новой редакции роман открывается обращением к героям (Савелию, Ахилле и Захарию) и указанием на то, что от первоначального широкого замысла романической хроники Лесков отказался: «Все эти три лица составляли духовную аристократию Старого Города, хронику которого некогда думал написать автор этого рассказа, прежде чем получил урок, что для такой хроники ныне еще не убо прииде время» («Литературная библиотека», 1868, январь, стр. 3). Из хроники общегородской выделилась таким образом история «Старгородской соборной поповки». Замысел Лескова сузился и получил дополнительное полемическое обоснование. Имея в виду Помяловского и других авторов, в неприглядном свете изображавших духовенство, Лесков писал: «Мы не берем своих длиннополых героев от дня рождения их и не будем рассказывать, много или мало секли их в семинарии. Это все уже со всякой полнотою описано другими людьми, более нас искусными в подобных описаниях, — людьми, евшими хлебы, собираемые с приходов их отцами, и воздвигнувшими пяту свою на своих крохоборных кормильцев. Мы просто хотим представить людей старгородской поповки, с сокровенными помыслами тех из них, у кого были помыслы, и с наиболее выступающими слабостями, которые имели все они, зане все они были люди и все человеческое им было не чуждо» («Литературная библиотека», 1868, январь, стр. 4).

В связи с изменением замысла и жанра автор удалил из «Божедомов» почти все касающееся истории города, судьбы Пизонского и связанных с ним лиц. Самый текст напечатанной части «Божедомов» очень близок к тексту «Соборян» в «Русском вестнике». В «Божедомах» появляются уже Марфа Андреевна Плодомасова и ее карлик. Рассказ карлика, намеченный к включению в «Демикотоновую книгу», Лесков решил напечатать позднее. Об

этом говорится в примечании: «Рассказ этот изъят автором из «Демикотоновой книги протоиерея Туберозова» и, в несравненно большем развитии, составит отдельный очерк, который будет помещен в одной из ближайших книг нашего журнала под заглавием «Боярыня Плодомасова» («Литературная библиотека», 1868, январь, стр. 52). Новым для сюжета «хроники», по сравнению с текстом «Отечественных записок», было введение эпизода церковной проповеди Савелия с указанием на Пизонского как на образец истинно нравственной жизни. Сильнее представлена в «Божедомах» католическая интрига: Савелию «является» призрак иезуита Грубера, деятельно занимавшегося католической пропагандой в России в конце XVIII — начале XIX веков. В связи с прекращением журнала на второй (февральской) книжке снова оборвалось печатание «многострадального» лесковского романа. «Божедомы» (в публикации «Литературной библиотеки») обрываются на борьбе из-за костей, начавшейся между Ахиллой и Варнавкой.

8 августа 1868 года «Божедомы» были отданы Лесковым В. В. Кашпиреву для журнала «Заря», который должен был начать выходить в 1869 году. Вскоре между автором и издателем начинаются недоразумения (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 270—271), оканчивающиеся судебным процессом в Петербургском окружном суде. После разрыва с Кашпиревым «Божедомы» предлагаются в славянофильский журнал С. А. Юрьева «Беседа»; о своих героях Лесков пишет: «Они церковный причт идеального русского города. Сюжет романа, или, лучше сказать, «истории», есть борьба лучшего из этих героев с вредителями русского развития. Само собою разумеется, что ничего узкого, фанатического и рутинного здесь нет. Детали романа нравятся всем, и, между прочим, Михаилу Никифоровичу Каткову, но в общей идее он для некоторых взглядов требует изменений, которых, по-моему, он (роман. — *И. С.*) вовсе не требует» (письмо С. А. Юрьеву от 5 декабря 1870 г. — см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 272). Не получив определенного ответа от Юрьева, Лесков в марте 1871 года едет в Москву и здесь договаривается с Катковым о печатании «Божедомов» в «Русском вестнике».

В подготовке «хроники» к печати, в ее доработке и сокращении, участвовал П. К. Щебальский, как видно из письма к нему Лескова («Шестидесятые годы», стр. 320, письмо от 8 июня 1871 г.).

В ходе этой доработки роман и получил, по-видимому, новое название — «Соборяне».

В критике «Соборяне» получили различную оценку, хотя представители всех направлений политической мысли почти единодушно

высоко оценили образ Савелия Туберозова и его дневник. Газеты реакционного направления «Русский мир», «Гражданин», журнал «Руководство для сельских пастырей» (Киев), писали о том, что Лескову удалось создать новый общественный тип. Анонимный автор «Обзора текущей литературы» в «Русском мире» писал: «Поп Савелий, с его словно из камня иссеченной фигурой, непосредственным русским умом и русским чувством, так характерно отразившимся в его «демикотоновом» дневнике, принадлежит, конечно, к числу самых сильных типов, созданных русской литературой, это тип из категории *вечных,* то есть таких, которые независимо от всякой литературной моды никогда не забудутся» («Русский мир», 1872, № 116, 6 мая). Буренин (тогда либерал) выступил против таких, по его мнению, чрезмерных похвал Савелию Туберозову, считая, что в «Соборянах» нет образов, имеющих эпохальное значение. Однако и он высоко оценил художественные достоинства «Демикотоновой книги»: «Протопоп Туберозов лицо, удавшееся автору и изображенное довольно добросовестно. Особенно у г. Лескова вышел хорош дневник этого протопопа: по моему мнению, этот дневник есть лучшее произведение автора «Некуда», если только он его произведение, а не извлечен, хотя частично, из какого-либо настоящего дневника, писанного не для печати. Прошу г. Лескова не обижаться таким предположением: если оно несправедливо — я извиняюсь перед автором заранее, и он, кроме того, может утешаться тем, что ведь такое предположение есть лучшая похвала его авторскому искусству» («С.-Петербургские ведомости», 1872, № 162, 16 июня).

Антинигилистическую линию романа одобрили только «Русский мир» и «Руководство для сельских пастырей». Даже рецензент «Гражданина» отозвался о ней с возмущением: «...вторые лица... или совершенно бледны и бескровны, как весь персонаж уездных властей, или слишком готовы на все для автора, слишком марионетны, как межеумок Препотенский... или же совершенно невозможны и отвратительны, как так наз. нигилисты: мошенник Термосесов и Бизюкина; эти двое последних составляют величайший непоэтический грех нашего автора: это не только не типы, это даже не карикатуры... нет, это просто созданья какого-то кошмара» («Гражданин. Газета-журнал», 1872, № 4, 22 января).

«Биржевые ведомости» (1872, № 296, 31 октября) указывали на то, что реалистическая сила романа умаляется из-за того, что в нем действительные трудности и противоречия жизни подменяются мнимыми: «Роман г. Лескова «Соборяне», в котором автор взялся рассказать жизнь русского священника посреди разных жизненных напастей, между равнодушием общества, между поляками и нигили-

стами, окончен. Как ни симпатичен иногда поп Савелий, несмотря на его беспокойный характер, — но автор потщился идеализировать его до приторности. Притом нам кажется, что жизнь русского священника достаточно горька и без разных интриг, польских и нигилистических, и потому автор для верного изображения ее легко мог бы обойтись без нигилистов и без поляков и даже без Термосесова и Борноволокова».

При обсуждении «Соборян» в отношении к Лескову в критике наметился несомненный перелом. В Лескове — Стебницком стали видеть уже не только тенденциозного романиста «Русского вестника», но и художника-реалиста, по-новому осветившего целую область русской жизни — быт и нравы православного духовенства. В одном автор безмолвно согласился с критикой — после «Соборян» в его произведениях больше не появлялись карикатурные нигилисты. Скоро Лесков разочаровался и в той борьбе за «истинную церковь», которую безуспешно вел его любимый герой — Савелий Туберозов. Через три года после выхода в свет «Соборян» Лесков писал из-за границы Щебальскому: «Вообще сделался «перевертнем» и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых... Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь много по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы «Соборян» так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. За то меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного *духовного христианина,* прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей» («Шестидесятые годы», стр. 330—331).

Стр. 5. *...как кудри Фидиева Зевса.* — Имеется в виду огромная (около 20 метров высоты) статуя Зевса работы скульптора Фидия (V в. до н. э.), не сохранившаяся и известная только по изображениям на монетах. Голову этой статуи украшали обильные волосы, поднимавшиеся над лбом и ниспадавшие по бокам густыми прядями.

Стр. 6. *Синтаксический класс* — последний класс духовного училища.

Стр. 7. *Класс риторики.* — В семинариях два первых года обучения назывались классом риторики, в них обучали по преимуществу духовному красноречию (риторике).

Стр. 8. *Двунадесятые праздники* — двенадцать главных праздников православной церкви.

Стр. 8. *Преосвященный* — почетное наименование архиерея.

*Форшлаг* (нем. Vorschlag) — один из видов мелодических украшений в музыке.

Стр. 9. *Притвор* — передняя часть церковного здания (предхрамие).

*Репейка* — резное деревянное украшение.

Стр. 10. *...благословил яко Иакова, а жену его умножил яко Рахиль.* — Здесь у Лескова неточность. В библии (Книга Бытия) рассказывается, что у Иакова было двенадцать сыновей и одна дочь, но только двое сыновей от Рахили.

*Карда* — изгородь для скота.

*Орчак* — кожаный седельный остов.

*Китайка* — простая хлопчатобумажная ткань.

Стр. 11. *Укрючный аркан* — веревка с арканом (петлей) на конце.

Стр. 12. *...как библейские змеи, которых кинули пред фараона египетские кудесники.* — В библии (Книга Исход) рассказывается о том, как египетские жрецы бросили свои жезлы перед фараоном и они превратились в змей.

Стр. 13. *Благочинный* — священник, в ведении которого находится надзор над церквами целой округи.

*Консистория* — церковное управление при архиерее с административными и судебными функциями.

Стр. 17. *«Жезл Ааронов расцвел».* — По библейскому рассказу (Книга Чисел), жезл Аарона, воткнутый в землю, расцвел и покрылся почками; этим бог утвердил первенство его потомков среди израильтян.

Стр. 18. *Паля* — удар линейкой по ладони.

Стр. 19. *Взвошить* — здесь: наказать.

Стр. 20. *...замотал покрепче руку ему в аксиосы...* — «Аксиос!» (греч. — достоин!) провозглашалось при пострижении в духовный сан. Отсюда и волосы в быту духовенства получили название — аксиосы.

*Подтолдыкнул* — подговорил.

*Мани факел фарес.* — По библейскому преданию (Книга пророка Даниила), эти слова появились на стене пиршественного зала, где царь Вавилона, Валтасар, пировал, пренебрегая опасностью со стороны персидских войск, осаждавших город. Призванный к Валтасару пророк Даниил разгадал смысл этой надписи: мани — *исчислил* бог царствие и положил конец ему; факел — ты *взвешен* и найден очень легким; фарес — *разделено* царство твое и отдано мидянам и персам.

Стр. 21. ...*и жертва его прямо идет, как жертва Авелева...* — По библейскому рассказу (Книга Бытия), дым от жертвенного костра, зажженного Авелем, поднялся прямо, а дым от костра, зажженного Каином, отклонился в сторону.

*Данка Нефалимка.* — Здесь у Лескова игра слов: Данка — уменьшительное от Дарья, а Дан и Нефалим в библии (Книга Бытия) имена двух сыновей Иакова.

*Вот, говорит, как его английский писатель Бирон изображает...* — Имеется в виду Д.-Г. Байрон, изобразивший в своей философской драме «Каин» (1821) библейского героя смелым борцом против религии.

Стр. 23. ...*как американский следопыт...* — Имеется в виду герой романа Ф. Купера «Следопыт» (СПб., 1854).

Стр. 24. *Шлафрок* (нем. Schlafrock) — халат.

*Фуляр* — тонкий шелковый платок.

Стр. 25. *Ночною темнотою* и т. д. — строки из переведенного Ломоносовым стихотворения Анакреона; оно было напечатано им в «Риторике» (1747) и вскоре стало популярной песней.

Стр. 26. *Мефодий Песношский* (Пешеношский) (ум. в 1393 г.) — ученик и последователь Сергия Радонежского, основатель Песношского монастыря (Дмитровский уезд б. Московской губернии).

Стр. 27. *Камилавка* — высокая бархатная шапка фиолетового цвета в виде расширяющегося кверху цилиндра; давалась как отличие священникам.

Стр. 28. *Евгениевский «Календарь»* — изданный Евгением (Болховитиновым) (1767—1837), профессором Петербургской духовной академии, «Церковный календарь» (1803).

*Демикотон* (франц. demicoton) — плотная хлопчатобумажная ткань.

*Юхтовый* — от юхть (юфть) — особым образом выделанная коровья или бычья кожа.

Стр. 29. *Экономические свечи* — свечи из низшего сорта стеарина желтоватого цвета, были в употреблении в 1860—1870-х годах.

*По рукоположении меня 4-го февраля 1831 года преосвященным Гавриилом...* — У Лескова хронологическая ошибка: Гавриил (Розанов) (1781—1854) был епископом Орловским и Севским в 1821—1828 годах. Рукоположение — обряд посвящения в священнический сан.

Стр. 30. *Указано противодействовать оному всячески.* — В начале 1830-х годов правительство Николая I повело политику преследований и притеснений раскольников, к которым при Александре I проявлялась известная терпимость.

Стр. 30. *...непочтительным Хамом...* — В библии (Книга Бытия) рассказывается, что Хам, увидев отца своего Ноя, спавшего обнаженным, не прикрыл его одеждой и посмеялся над ним.

Стр. 31. *...вспомяну вам слова... Татищева...* — Татищев В. Н. (1686—1750) — русский государственный деятель и историк, сторонник свободомыслия в религиозных вопросах. Лесков цитирует «Духовную» Татищева — систематическое изложение его взглядов общеполитического и морального содержания. Издана «Духовная» была только после смерти Татищева в 1773 году. Лесков скорей всего цитирует ее по книге Нила Попова «В. Н. Татищев и его время», М., 1861, стр. 226.

*«О подражании Христу».* — По-видимому, имеется в виду следующее издание: «О подражании Иисусу Христу, четыре книги, Фомы Кемпийского, перевод с латинского графа М. М. Сперанского», СПб., 1835. В книге средневекового философа-мистика Фомы Кемпийского (1379—1471) проповедуется добродетельная жизнь, братская взаимопомощь и отчуждение от грехов светской жизни. Книга Фомы Кемпийского неоднократно переводилась в России и усиленно рекомендовалась деятелями официальной церкви.

Стр. 32. *...мой хитон обличает мя, яко несть брачен...* — одежда моя показывает, что я не гожусь быть гостем на брачном пиру.

*Читал книгу об обличении раскола.* — По-видимому, имеется в виду неоднократно переиздававшаяся книга: Андрей Журавлев. Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцами, их учениях, делах и разногласиях. Изд. 4-е, СПб., 1831.

Стр. 33. *Деевская староверческая часовня* — смысл этого упоминания разъясняется обращением к тексту первой редакции «Соборян». В «Чающих движения воды» («Отечественные записки», 1867, март, стр. 188 и 192) рассказывается о купце Семене Дмитриевиче Дееве, наставнике старогородских раскольников. В доме Деева помещалась раскольничья молельня, и ее разрушение описывает Туберозов.

*...пошел по домам, воспевая «мучителя фараона»...* — Имеется в виду церковное песнопение о фараоновом воинстве, потопленном, по библейскому преданию, при переходе через Чермное море.

*Масака* — темно-лиловый.

Стр. 34. *Обонпол* — по ту сторону.

*Оле* — увы.

Стр. 35. *Архимандрит* — почетный титул игумена (настоятеля) монастыря.

Стр. 37. *Повапленный* — раскрашенный.

*Фриштик* (нем. Frühstück) — завтрак.

Стр. 38. *...а утехи Израилевой, Вениамина малого, дать ему лишенная.* — По библейскому преданию (Книга Бытия), у Рахили было два сына; рождение второго, долгожданного Вениамина, было причиной ее смерти.

*Оборучь* — рука в руку.

Стр. 41. *...под Петров день солнце караулят...* — Увидеть восход солнца под Петров день (29 июня ст. стиля), по народному поверью, предвещает счастье.

*«Соломон бе мудрейший из всех на земле сущих»* — цитата из библии (III Книга Царств).

Стр. 42. *Дискурс* (франц. discours) — речь, обсуждение.

Стр. 43. *...минули дни Могилы, Ростовского Димитрия...* — Имеются в виду известные проповедники-ораторы православной церкви: Петр Могила (1596—1647), митрополит Киевский, и Димитрий Туптало (1651—1709), митрополит Ростовский.

Стр. 44. *Марфа Андревна Плодомасова* является основным действующим лицом в незаконченной хронике Лескова «Старые годы в селе Плодомасове» (см. т. 3 наст. изд.). Об ошибке Лескова в возрасте Марфы Андревны см. примеч. к стр. 62.

Стр. 48. *Их есть царство божие* — цитата из евангелия от Марка.

Стр. 49. *Меледа* — мешкотное дело, работа без конца.

Стр. 50. *Альмантин* (альмандин) — особый вид рубинов.

Стр. 52. *Гроденапль* (франц. gros de Naples) — плотная шелковая ткань.

*Епитрахиль* — длинная полоса ткани, надеваемая на шею под ризу священника.

Стр. 53. *Пыжик* — малорослый человек.

Стр. 54. *Мовничать* (от мовня — баня) — мыться.

*«Духовный регламент»* (1721) — написанное Феофаном Прокоповичем и отредактированное Петром I Положение о церковном управлении и об учреждении вместо патриаршества духовной коллегии (позднее переименованной в синод). «Духовный регламент» узаконивал полное подчинение церкви государству. В нем сатирически изображены нравы церковных сановников, поэтому Лесков охотно цитировал в своих произведениях наиболее резкие выражения «Духовного регламента». Здесь у Лескова цитаты даны с сокращениями (см. «Духовный регламент», М., 1776, стр. 23 и 32).

Стр. 55. *...между владыкой и губернатором произошла некая распря...* — По-видимому, имеется в виду ссора между епископом

Орловским (в 1844—1858 гг.) Смарагдом Крыжановским (ум. в 1863 г.) и орловским губернатором П. И. Трубецким (1798—1871). Об этой ссоре и последовавшей за ней вражде Смарагда и Трубецкого подробно говорится у Лескова в «Мелочах архиерейской жизни» (см. т. 6 наст. изд.). У Лескова здесь, по-видимому, сознательное смешение разновременных фактов, так как в то время, к которому относится запись Туберозова, в Орле был епископом Никодим, правивший Орловской епархией в 1828—1839 годах.

Стр. 55. *Костыльник* — мальчик, служка, состоящий при посохе архиерея.

Стр. 56. *Набедренник* — четырехугольный продолговатый плат с изображением креста, который давался священникам как первая награда и носился на бедре с правой стороны.

*А я до сей поры и не знал, что наша губернаторша не немка.* — Туберозов считал губернаторшу, жену П. И. Трубецкого Эмилию Петровну (урожденную Сайн-Витгенштейн), немкой, так как она происходила из обрусевшей немецкой семьи.

*Скуфья* — небольшая бархатная фиолетовая шапка, дававшаяся в качестве второй награды священнику.

*Владыка на другой день в мантии его посетили.* — В «Мелочах архиерейской жизни» (см. т. 6 наст. изд.), Лесков отнес этот эпизод к числу легендарных.

*Был у нового владыки.* — По-видимому, речь идет о Евлампии Пятницком, епископе Орловском в 1840—1844 годах.

Стр. 57. *Наперсный* — нагрудный.

*Претекст* (франц. prétexte) — предлог.

Стр. 59. *К нам начинают ссылать поляков.* — По-видимому, речь идет об участниках восстания в Седлеце в начале 1846 года.

*...интересуюсь политичною заворожкой, что начинается на Западе...* — По-видимому, речь идет о попытке поднять общепольское восстание и добиться восстановления Польши, предпринятой в начале 1846 года деятелями польского революционного движения. Центром этого восстания был Краков (тогда вольный город). Войска Австрии и России подавили это движение, а Краков был присоединен к Австрии.

*...пренумеровал для сего себе политическую газету.* — В 1830—1840-х годах единственной частной ежедневной газетой была «Северная пчела» Ф. В. Булгарина — только она имела право помещать известия политического содержания о жизни России и Европы. Пренумеровал — выписал.

Стр. 61 *...припоминая себе слова французской девицы Шарлоты Кордай д'Армон, как она в предказненном письме своем писа-*

*ла...* — Лесков цитирует письмо Шарлотты Корде (Corday d'Armont) (1769—1793), — убийцы Марата — к Барбару́, написанное в день казни.

Стр. 62. *Схоронил мою благотворительницу Марфу Андревну Плодомасову.* — Здесь у Лескова ошибка: в 1850 году, к которому он относит смерть Марфы Андревны, ей должно было быть около 125 лет, так как в середине 1770-х годов ей было уже не менее 50 лет (см. «Старые годы в селе Плодомасове» — т. 3 наст. изд.).

Стр. 63. *«Колокол» господина Искандера.* — Герцен стал издавать еженедельную газету «Колокол» в Лондоне с 1 июля 1857 года. У Лескова здесь ошибка: Туберозов не мог читать «Колокол» в мае 1857 года.

*Читал «Записки» госпожи Дашковой и о Павле Петровиче: всё заграничного издания.* — «Записки» княгини Е. Р. Дашковой были впервые в русском переводе напечатаны Герценом в 1859 году, но Туберозов мог читать в «Полярной звезде на 1857 год» подробное изложение ее записок, сделанное Герценом: «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» (см. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, П., 1919, т. VIII, стр. 429—484). О Павле I много материалов было напечатано Герценом в «Историческом сборнике», кн. 2, 1861.

Стр. 64. *...о Петре...* — По-видимому, Туберозов не согласен был с общей отрицательной оценкой личности Петра I, которую дает в своих «Записках» Е. Р. Дашкова.

*«живота просише у тебе».* — просил у тебя жизни (псалом 20).

*Богослов* — ученик старшего класса духовной семинарии.

*Исход Израилев* — переселение евреев из Египта в Палестину, о котором рассказывается в одной из библейских легенд.

Стр. 65. *Ксендзы по Литве учредили общества трезвости...* — Первые общества трезвости в России появились в 1858 году на территории нынешней Литовской ССР и Западной Белоруссии. В центральных губерниях России общества трезвости стали появляться в следующем 1859 году.

*Говорил бы по мысли Кирилла Белозерского...* — Кирилл (1337—1427) основатель Кирилло-Белозерского монастыря. Туберозов цитирует его послание князю Андрею Можайскому: «И ты, господине, внимай себе, чтобы корчмы в твоей вотчине не было; зане же, господине, то велика пагуба душам: крестьяне ся, господине, пропивают, а души гибнут» (см. С. Шевырев. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, М., 1850, ч. 1, стр. 152—153).

Стр. 66. *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель католического ордена иезуитов, учивший, что любые преступления и обманы оправданы, если они служат на пользу церкви.

Стр. 67. *...уже Сарриных лет достигла...* — По библейскому мифу, Сарра, жена патриарха Авраама, дожила до очень преклонного возраста.

*...изволил озаглавить...* — См. примечание к стр. 54 о «Духовном регламенте».

Стр. 68. *Напол* — долбленая из пня кадушка.

*Пулярка* (франц. poularde) — особым образом откормленная курица.

Стр. 69. *Карафин* (франц. carafe) — графин.

Стр. 70. *«О сельском духовенстве».* — Имеется в виду книга священника И. С. Беллюстина «Описание сельского духовенства» (Париж, 1858), написанная по инициативе М. П. Погодина и им отредактированная. Книга Беллюстина рисовала жизнь и материальное положение русского сельского духовенства самыми мрачными красками, поэтому она была запрещена к распространению в России. Однако она стала известна и живо обсуждалась в современной журналистике. Добролюбов в 1859 году сочувственно отозвался о ней в рецензии на «Мысли светского человека о книге «Описание сельского духовенства», СПб., 1859» (см. Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. IV, М., 1937, стр. 343—347).

Стр. 71. *Павел, Александр, Кондратий.* — Павел, Кондратий — имена казненных декабристов: Павла Пестеля, Кондратия Рылеева. Какого Александра имеет в виду Лесков — неизвестно.

Стр. 74. *...Иона-пророк не мог быть во чреве китове...* — В библии (Книга пророка Ионы) рассказывается, что пророк Иона был проглочен китом, провел в его чреве трое суток и был извергнут живым и невредимым.

Стр. 75. *...относил сие все прямо к событиям в Польше.* — Речь шла, по-видимому, о расстреле демонстрации 8 апреля 1861 года в Варшаве и последовавших за нею арестах молившихся в костелах во время панихиды в память Костюшко 15 октября 1861 года.

Стр. 77. *Училище правоведения* — основанное в 1835 году в Петербурге учебное заведение «для образования благородного юношества на службу по судебной части». В него принимались только дети потомственных дворян.

Стр. 80. *Сухменность* — от сухмень — суходол, бесплодная почва.

Стр. 80. *«Жизнь и мнения Тристрама Шанди».* — Туберозов цитирует роман Стерна по изданию: «Жизнь и мнения Тристрама Шенди», т. I—VI, СПб., 1804—1805.

Стр. 81. *...с горящего жидкостью «керосин»...* — Керосин в России для освещения стал применяться с 1863 года.

*Юдоль* — земля, мир забот.

Стр. 88. *Гряди, плешиве!* — Этими словами израильские дети дразнили лысого пророка Елисея (Книга Царств).

Стр. 94. *Тюльбюри* (тильбюри) — легкий двухколесный экипаж.

Стр. 101. *Один Макдуф был вырезан из чрева...* — Макбету в одноименной трагедии Шекспира ведьмы предсказывают, что он умрет от руки человека, не рожденного женщиной; таким оказался Макдуф, который был «из чрева вырезан, а не рожден».

*...и в Неаполе...* — Неаполь до 1860 года был столицей королевства Обеих Сицилий, самого реакционного из итальянских государств. После объединения Италии (1861) в Неаполе вместо полицейско-церковной диктатуры был введен конституционный правопорядок и созданы условия для развития просвещения.

*В Испании... и заговоры, и восстания...* — По-видимому, речь идет о восстаниях в армии и флоте Испании в 1868 году, закончившихся победой либералов и низвержением в 1869 году королевы Изабеллы.

Стр. 103. *...мертвый человек без тления сто лет лежал...* — Речь идет о герцоге Кроа (Круа) К.-Е. (1651—1702), фельдмаршале, поступившем на службу в русскую армию и в битве при Нарве (1700) взятом в плен шведами. Проживая в Ревеле, Кроа наделал много долгов, и после его смерти заимодавцы наложили арест на его труп и не разрешили хоронить. Тело Кроа пролежало более ста лет в подвале одной из ревельских церквей под стеклом, не подвергаясь тлению, и было похоронено только в 1863 году.

Стр. 105. *...да ведь он помазан!* — При посвящении в церковный сан производилось помазание освященным елеем.

Стр. 112. *Страшная неделя* — народное название страстной недели, последней недели «великого поста» перед пасхой.

*«Святой Симеон, разгадай мой сон»...* — «Святой» Симеон, по народному поверию, помогает разгадывать сны.

Стр. 113. *«Домашняя беседа»* (1858—1877) — еженедельная газета религиозно-изуверского направления, издававшаяся В. И. Аскоченским.

Стр. 115. *...в одной скинии...* — здесь в значении: вместе в раю.

Стр. 118. *Вдовица Наинская.* — В евангелии рассказывается

о том, как Христос воскресил единственного сына вдовы, жительницы города Наин.

Стр. 119. *...бирюч, фактотум...* — Бирюч — древнерусское название глашатая, объявлявшего народу распоряжения властей; фактотум (лат. fac totum) — человек, исполняющий чьи-либо поручения.

Стр. 122. *...на дне, дремал крокодил...* — перефразированные стихи К. Н. Батюшкова:

> Сердце наше кладезь ясный,
> Тих, спокоен сверху вид,
> Но спустись на дно, — ужасный
> Крокодил на нем лежит.

*Жуковский вакштаф* — трубочный табак фабрики Жукова.

Стр. 125. *...Святой Николай Угодник Ария тоже ведь всенародно же смазал...* — Имеется в виду легендарный рассказ о пощечине, которую Николай Мирликийский будто бы дал на Никейском церковном соборе в 325 году Арию — главе религиозного направления, отрицавшего догмат о равенстве всех трех лиц Троицы.

Стр. 126. *...вводится новый суд...* — Реформа судебной системы была осуществлена в 1866 году.

Стр 127. *Пудромантель* (накидка, которую надевали во время бритья или прически у парикмахера) — здесь: головомойка.

Стр. 129—149. Примечания к главам 2—5 второй части «Соборян» см. в т. 3 наст. изд., стр. 603.

Стр. 154. *...певец «Одиссеи» недаром сказал...* — Лесков цитирует «Одиссею» Гомера (песнь VIII, стих 550) в переводе Жуковского.

Стр. 155. *...в умном романе «Живая душа» умная Маша написала своему жениху...* — В романе Марка Вовчка «Живая душа» («Отечественные записки», 1868, №№ 1—3, 5) главная героиня Маша действительно отказывает своему жениху потому, что находит его богатство несовместимым со служением передовым идеям («Отечественные записки», 1868, февраль, стр. 282—283), однако такого письма, которое цитирует Лесков, в романе нет; Маша пишет: «Я не согласна и никогда не соглашусь быть вашей женой. Вы мне очень дороги, но вы не по мне. Я это чувствую, я это знаю, и ничем этому нельзя помочь» (там же, стр. 283).

Стр. 156. *...жених, ожидая живую душу, побил свои статуи и порвал занавески?* — Подобного эпизода в романе «Живая душа» (см. предыдущее примечание) нет.

Стр. 158. *Как идет млад кузнец да из кузницы.* — Здесь и далее приводятся слова агитационной песни Бестужева и Рылеева «Уж как шел кузнец» (1824—1825), впервые опубликованной Ога-

ревым в сборнике «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861; в России впервые напечатана с цензурными пропусками в 1872 году.

Стр. 159. *...с зарезом...* — Зарез — складка позади шеи у лошади.

*Рейт-фрак* — куртка для верховой езды.

Стр. 162. *...а не в мастерских — у Веры Павловны.* — Имеются в виду мастерские на артельных началах, которые создавались демократической интеллигенцией в 1860-х годах по примеру героини романа Чернышевского «Что делать?» Веры Павловны. По-видимому, Лесков имеет в виду статью Ю. Г. Жуковского «Затруднения женского дела» («Современник», 1863, XII), в которой отрицалось общественное значение подобных мастерских: «Складывая рабочие нули, конечно ничего не получишь кроме нулей, на которые не устроишь никакого производства... Стало быть, мастерские Веры Павловны и общества женского труда хотя очень милые сами по себе вещи, но плохие средства для устройства женского дела».

Стр. 163. *Прификс* (франц. prix fixe) — окончательная цена.

*...как принято у глупых красных петухов...* — Выражение «красные петухи» Лесков мог взять из статьи «Московских ведомостей» Каткова (1866, № 167), в которой сообщалось о существовании в Лондоне с 1863 года «Комитета нигилистов», или «скопища красных петухов», для разорения помещичьего землевладения в России.

Стр. 166. *...«слаще мирра и вина»* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «В крови горит огонь желанья».

Стр. 167. *...этот траур носишь: по мексиканскому Максимилиану?* — Император Максимилиан (1832—1867), посаженный на мексиканский престол Наполеоном III, был взят в плен республиканскими войсками и, по приговору военного суда, расстрелян 19 июня 1867 года.

Стр. 168. *Горчаков. Канцлер... Он нам Россию отстоял!* — Имеется в виду князь Горчаков Александр Михайлович (1798—1883); в 1867 году ему присвоено было звание государственного канцлера (высший чин по табели о рангах). По-видимому, здесь идет речь о том отпоре, который дал Горчаков дипломатическому вмешательству Англии, Франции и Австрии во взаимоотношения России и Польши во время польского восстания 1863 года.

*...покойного графа Муравьева...* — Граф Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — реакционный государственный деятель, получивший за кровавое подавление польского восстания 1863 года титул графа. В демократических кругах его называли «Муравьев-вешатель».

Стр. 168. *...меня бог миловал, — а наши ког-кто наслаждались его беседой.* — В апреле 1866 года, после покушения Каракозова на Александра II, М. Н. Муравьев был назначен председателем следственной комиссии по розыску «преступного заговора». Развернулась кампания арестов среди литераторов и демократической интеллигенции. Допросы многих из арестованных вел Муравьев лично.

*...Некрасова музу вдохновил.* — 16 апреля 1866 года Некрасов, желая спасти «Современник» от закрытия, прочитал в Английском клубе М. Н. Муравьеву стихи, ему посвященные. Г. З. Елисеев вспоминал, что «весь смысл стихотворения заключался, помнится, в том, что поэт, обращаясь к Муравьеву, говорил: «Разыщи виновников и казни их» («Шестидесятые годы. Антонович и Елисеев. Воспоминания». 1933, стр. 321).

Стр. 170. *«Полюби и стань моей, Иродиада!»* — строка из поэмы Гейне «Атта Троль» в переводе Михайлова.

Стр. 171. *Принцы égalité.* — В 1792 году герцог Орлеанский и его сын Людовик-Филипп (в 1830—1848 годах — французский король) отказались от своего титула и приняли имя граждан Эгалите (Равенство).

Стр. 172. *Будьте-ка вы Иван Царевич...* — В романе Достоевского «Бесы» (ч. II, глава восьмая «Иван-царевич» — «Русский вестник», 1871, ноябрь) подобное предложение делает Ставрогину Петр Верховенский.

Стр. 173. *Макиавелли* Николо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политик и писатель, оправдывавший любые средства в политической борьбе.

*Меттерних* Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский министр иностранных дел (1809—1848), один из главных руководителей европейской реакции.

Стр. 174. *Я терн в листах твоего венца* — перефразированная цитата из «Полтавы» А. С. Пушкина:

> Петру я послан в наказанье,
> Я терн в листах его венца.

Стр. 175. *Дублюр* (франц. doublure) — подкладка.

*Ложемент* (франц. logement) — здесь: квартира.

Стр. 182. *Алё маршир* — здесь: ступай вон.

*Гог с Магогом.* — В библии имена князя и народа, упоминаемые в пророчестве Иезекииля. Здесь в смысле: столкновение двух противостоящих сил.

*...кто устоит в неравном споре?* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России».

Стр. 183. *Раут* — вечерний прием без танцев.

Стр. 186. *...о современных реформах в духовенстве...* — В конце 1860-х годов в печати оживленно обсуждалось положение православного духовенства и был осуществлен ряд реформ: сокращено число приходов, уничтожена (в 1869 г.) наследственность в замещении церковных должностей, введена выборность некоторых церковных должностей и периодические съезды выборных от духовенства для обсуждения вопросов, касающихся духовных учебных заведений.

Стр. 187. *...о каком-то «млеке» написал...* — Очевидно, имеется в виду «Словесное млеко, или собрание слов, произнесенных к курской пастве Илиодором, архиепископом Курским и Белоградским», СПб., 1844.

Стр. 192. *Киса* — кожаный мешок.

*...«кнута, и того сами не выдумали»* — неточно процитированные слова Потугина («Дым» И. С. Тургенева; напечатан в «Русском вестнике», 1867): «...даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы».

Стр. 193. *...а у остзейских баронов и теперь не идет.* — В Остзейском крае (Латвия и Эстония) освобождение крестьян без земли было проведено в 1817—1819 годах, но только в 1860-х годах была отменена барщина и заменена денежной арендой, а зажиточная часть крестьянства получила право выкупа в частную собственность земельных участков.

*Естественное право* — теория, основанная на признании прирожденных («естественных») и неотчуждаемых прав человека.

*Бездну на бездну призываешь* — перефразированное выражение из 41-го псалма: «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих: все воды твои и волны твои прошли надо мною».

Стр. 196. *Лампопо́* — переиначенное «пополам»; обозначает напиток, приготовляемый из пива с какими-нибудь добавлениями.

Стр. 197. *Люди черных сотен* (черносошные крестьяне) — так назывались до XIX века крестьяне, сидевшие на «черной», то есть государственной, а не помещичьей земле.

Стр. 200. *Дионис, тиран сиракузский.* — По-видимому, имеется в виду Дионисий Старший (432—367 до н. э.), тиран (властитель) города Сиракуз на острове Сицилия, талантливый организатор и полководец, отличавшийся крайней подозрительностью и бесчеловечной жестокостью.

Стр. 209. *Комплот* (франц. complot) — заговор.

Стр. 214. *«И тебя возненавидеть и хочу, да не могу»* — строки из стихотворения Я. П. Полонского «Подойди ко мне, старушка» (1856).

Стр. 217. *Вуле-ву* (франц. voulez-vous), — хотите ли.

Стр. 219. *...я как Пилат: еже писах — писах.* — Имеется в виду следующее место из евангелия от Иоанна: «Первосвященники же иудейские сказали Пилату: не пиши: царь Иудейский, но что он говорил: я царь Иудейский. Пилат отвечал: что я написал, то написал».

Стр. 223. *Хрептюг* — полотняный мешок, куда насыпается овес для корма лошадей.

Стр. 225. *Бланжевое* — телесного цвета.

Стр. 231. *«Боже, суд твой цареви даждь и правду твою сыну цареву»* — стих из 71-го псалма.

*Моисей, убивший египтянина...* — В библии (Книга Исход) рассказывается, что Моисей убил египетского надсмотрщика, жестоко обращавшегося с еврейскими рабочими, и вынужден был бежать в пустыню.

*Иннокентий Херсонский и его толкование.* — Иннокентий (Борисов) (1800—1857), — русский церковный деятель, архиепископ Херсонский и Таврический, выдающийся богослов и оратор. По-видимому, имеется в виду его сочинение «Последние дни земной жизни господа нашего Иисуса Христа, изображенные по сказанию всех четырех евангелистов», в котором говорится: «В жару и ослеплении фанатизма предатель для некоторых из слепо почивающих в законе мог казаться человеком праведным по закону» (Иннокентий. Сочинения, СПб., 1901, т. 1, стр. 213).

Стр. 232. *Ровоам* (X в. до н. э.) — сын Соломона и наследник его власти. При нем произошло распадение еврейского государства на два царства.

*...но и вземь вервие и изгна их из храма* — взял веревку и выгнал их из храма (евангелие от Иоанна).

*Блазнится* — смущается.

Стр. 233. *«Ныне отпущаеши раба твоего».* — Согласно евангелию, эти слова сказал, увидев младенца Иисуса, Симеон Богоприимец, которому, по преданию, было предсказано, что он не умрет, не увидав Христа.

*Подсыкать* — натравливать; здесь: подбираться.

Стр. 238. *Казак на север держит путь...* — стихи из «Полтавы» А. С. Пушкина.

Стр. 240. *...читает часы и паремии...* — Часы — четыре ежедневных богослужения; паремия — вечернее богослужение, во время которого читаются псалмы и писание.

Стр. 242. *Мордоконаки.* — По-видимому, имеется в виду Бенардаки Дмитрий Егорович (ум. в 1870 г.), — откупщик и золотопромышленник.

Стр. 246. *Анафема* — проклятие, отлучение от церкви.

Стр. 247. *Франц-Венецыян.* — Имеется в виду персонаж «Истории о храбром рыцаре Францыле Венециане» (1787).

Стр. 249. *Приветствую тебя, обитатель...* — Стихи капитана Повердовни сходны с пародийными стихами капитана Лебядкина в романе Достоевского «Бесы», печатавшемся за год до «Соборян» в «Русском вестнике».

Стр. 250. *«Когда деспот от власти отрекался...»* — отрывок из послания П. И. Вейнберга к Я. И. Ростовцеву, напечатанного в «Колоколе» А. И. Герцена в 1858 году. Последние шесть строк в этом послании взяты из поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко».

Стр. 253. *...по распоряжению самого обер-протопресвитера Бажанова...* — Бажанов Василий Борисович (1800—1883) — главный священник царского двора и гвардии; имел высшее духовное звание протопресвитера.

Стр. 254. *Делали мы Венгерскую кампанию в сорок восьмом году.* — Речь идет о действиях царских войск против революционной Венгрии в 1848 году.

Стр. 265. *Тьма, тьма над бездною... но дух божий поверх всего* — неточно приведенная цитата из библии (Книга Бытия): «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух божий носился над водою».

Стр. 268. *Сирах вменил в обязанности нам пещись о чести имени...* — Иисус сын Сирахов (II в. до н. э.) — автор сборника изречений «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова», входящего в состав библии; данная мысль высказана там следующим образом: «Во всех делах твоих будь главным и не клади пятна на честь твою».

*...первоверховный Павел протестовал против попранья прав его гражданства...* — Павел, по евангельскому преданию, один из ближайших учеников (апостолов) Христа. Имеется в виду эпизод из «Деяний апостолов», в котором рассказывается, как апостол Павел и его спутники были заключены в тюрьму в г. Филиппы (Македония); он отказался тайно выйти из заключения: «Но Павел сказал к ним: нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас».

Стр. 274. *Буниан* (Бэньян) Джон (1628—1688) — английский писатель; за свои религиозные убеждения после реставрации Стюартов был заключен в тюрьму на двенадцать лет; автор книги «Путь

паломника» (1678—1684), в которой проповедуется осуществление в условиях современной автору общественной жизни евангельского религиозно-нравственного идеала. Туберозов мог читать русский перевод его книги: «Сочинения Иоанна Бюниана», 1819.

Стр. 274. *...архиерей, вызванный на череду для присутствования в синоде.* — Как член синода, архиерей вызывался для участия в заседаниях синода.

Стр. 275. *...езжу на пол-империале...* — Полуимпериал — золотая монета, достоинством в 7 руб. 50 коп. Ахилла путает ее название с обозначением мест для седоков на крыше вагона конки (конно-железной дороги) — империал.

Стр. 276. *Ектения* — молитва, сопровождаемая обычно пением певчих.

Стр. 277. *«Жизнь за царя»* — под этим названием до 1917 года шла опера Глинки «Иван Сусанин».

*...как самого царя Ахиллу представляли.* — Речь идет об оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена», где пародируется сюжет и образы мифов о Троянской войне, в том числе и Ахиллес.

Стр. 282. *...когда не сам препояшешься, а другой тебя препояшет...* — строки из евангелия от Иоанна, где Христос предсказывает апостолу Петру его смерть: «Когда ты был молод, то опоясывался сам и шел куда хотел, а когда состаришься, то подымешь вверх руки твои, и иной человек тебя опояшет и поведет, куда ты не хочешь».

*Домовина* — гроб.

Стр. 285. *Орарь* — род длинной ленты; носится дьяконом на левом плече во время церковной службы.

Стр. 288. *«И возрят нань его же прободоша»* — «И будут смотреть на него те, которые его пронзили» (евангелие от Иоанна.);

Стр. 289. *...ты в стихаре...* — Стихарь — прямая длинная одежда, надеваемая дьяконами.

Стр. 290. *Лития* — здесь: особый род молитв, совершаемых при выносе умершего.

Стр. 291. *Гласно стужаетесь* — громко домогаетесь.

Стр. 294. *Академик* — здесь: окончивший одну из четырех православных духовных академий царской России.

Стр. 307. *Вельзевул* — по евангелию, сатана, глава злых демонов.

Стр. 314. *Щечился* — отделялся.

Стр. 315. *...апостолы... класы исторгали...* — Имеется в виду евангельский рассказ о том, как Христос и апостолы проходили по-

лями и для своего пропитания срывали колосья в субботу, хотя это запрещала иудейская религия.

Стр. 315. *Гевальдигер* (нем. Gewaltherr) — офицер, командующий полицейской частью при войсках.

Стр. 317. *Аркебузир* — стрелок из аркебуза, старинного ружья.

## ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ АНГЕЛ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Полное собрание сочинений, т. I, СПб., 1889, стр. 463—540, с исправлениями по первой журнальной публикации («Русский вестник», 1873, т. CIII, № 1, январь, стр. 229—292) и по отдельным изданиям — «Запечатленный ангел. Рождественский рассказ. — Монашеские острова на Ладожском озере. Путевые заметки Н. С. Лескова», СПб., 1874; «Повести и рассказы Н. С. Лескова. Книга III. Запечатленный ангел», СПб., 1887.

«Запечатленный ангел» писался, по-видимому, в 1872 году, скорей всего во второй половине года, после того как в «Русском вестнике» были напечатаны «Соборяне». По указанию А. Н. Лескова, первоначально «Запечатленный ангел» был предложен в журнал С. А. Юрьева «Беседа», но принят издателем не был и затем уже отдан в «Русский вестник» (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 293—294).

Лесков заинтересовался раскольниками еще в начале 1860-х годов. Интерес этот отразился в ряде его статей, связанных с официальными поручениями («С людьми древлего благочестия» — «Библиотека для чтения», 1863, № 11, ноябрь; 1864, № 9, сентябрь, и др.). Как писал позднее Лесков, его взгляд на раскол сложился под влиянием П. И. Мельникова-Печерского: см. статью Лескова «Народники и расколоведы (Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове)» — «Исторический вестник», 1883, т. XII, № 5, май. Общественно-историческую роль раскола Лесков оценивал отрицательно. Это критически-отрицательное отношение проявилось в «Чающих движения воды» (1867), где раскольники являются носителями застарелых традиций домостроевского жизненного уклада, фанатичными и жестокими изуверами.

На рубеже 1860—1870-х годов Лесков увидел в расколе ту сторону, которую ранее не замечал. Заинтересовавшись в это время русской иконописью, особенно старинной, Лесков увидел в раскольниках истинных хранителей древнего русского народного искусства, гибнущего от невнимания и отсутствия какой-либо правительственной или общественной поддержки. Сам Лесков позднее склонен был

объяснять возникновение у него интереса к русскому иконописанию тем положением, в которое он себя поставил романом «Некуда». В статье «Благоразумный разбойник» Лесков писал: «Когда, в довольно долголетнем отвержении от литературы... меня от скуки и бездействия заняла и даже увлекла церковная история и самая церковность, я, между прочим, предался изучению церковной археологии вообще и особенно иконографии, которая мне нравилась» («Художественный журнал», 1883, № 3, стр. 194). Не отрицая значения этих обстоятельств общественной биографии Лескова, можно считать, что его увлечение древнерусским искусством, несомненно, связано с общим его интересом к национально-своеобразным чертам русской жизни в ее прошлом и настоящем.

Большое значение для практического изучения русской иконописи имело знакомство Лескова с Никитой Севастьяновичем Рачейсковым (ум. в 1886 г.). В статье, написанной после смерти Рачейскова («О художном муже Никите и совоспитанных ему» — «Новое время», 1886, № 3889, 25 декабря), Лесков писал: «Никита Рачейсков был «изограф», то есть иконописец в древнем русском стиле. После знаменитого московского мастера Силачева, который тоже умер, Никита Рачейсков по справедливости мог считаться одним из самых лучших мастеров по изографскому искусству. Особенно он был искусен в миниатюре, которую исполнял своими огромными и грубыми на вид ручищами удивительно нежно и тонко, как китаец. В этом роде я не видал и не знал равного ему мастера в России... По выходе в свет моего рождественского рассказа «Запечатленный ангел» (который был весь сочинен в жаркой и душной мастерской у Никиты) он имел много заказов ангела». В мастерской Никиты Рачейскова Лесков мог познакомиться с техникой иконописи, с иконописными сюжетами, с так называемым «Иконописным подлинником» — рукописным руководством для «изографов», в котором содержались указания по тематике, композиции и по образам святых, расположенным в порядке православных святцев, то есть по календарю; несомненно, что многое для бытовой и технической стороны содержания «Запечатленного ангела» было почерпнуто Лесковым из общения с Никитой Рачейсковым.

«Запечатленный ангел» появился в печати в то время, когда было положено начало научному изучению древнерусской живописи и, в частности, иконописи. Таким основополагающим трудом было исследование Ф. И. Буслаева «Общие понятия о русской иконописи» («Сборник общества древнерусского искусства», М., 1866, стр. 3—107), в котором впервые древнерусская живопись была под-

вергнута рассмотрению с точки зрения ее места в процессе мирового художественного развития, определено ее своеобразие и значение в истории мирового искусства. Лесков в своих статьях упоминает об этой работе Буслаева. Мысль Буслаева о том, что только русская иконопись сохранила до XVIII века всю цельность и чистоту религиозного взгляда на жизнь и на искусство, была принята Лесковым и положена в основу замысла «Запечатленного ангела». Буслаев писал в своем исследовании: «Искусство русское, самими недостатками к развитию удержанное в пределах религиозного стиля, до позднейшего времени во всей чистоте, без всяких посторонних примесей, осталось искусством церковным. Со всею осязательностью внешней формы в нем отразилась твердая самостоятельность и своеобразность русской народности, во всем ее несокрушимом могуществе, воспитанном многими веками коснения и застоя, в ее непоколебимой верности однажды принятым принципам, в ее первобытной простоте и суровости нравов» («Сборник общества древнерусского искусства», М., 1866, стр. 24). Буслаев видит преимущество древнерусского искусства перед западноевропейским в том, что оно не пережило своей эпохи Возрождения, не заменило религиозный идеал материалистическим, чувственно-земным.

При такой оценке исторического значения древнерусского искусства живописи Буслаев, в противоречии с самим собой, в сущности отказывает русской иконописи в эстетическом значении. При этом он с большим неодобрением отзывается о развитии иконописания в Строгановской школе.

Следуя Буслаеву в общей оценке древнерусской живописи как подлинного выражения народного духа и национального характера, Лесков резко расходится с ним в эстетической ее оценке. Тот художественно-эстетический анализ иконописи, который дан Лесковым в «Запечатленном ангеле», является совершенно самостоятельным и оригинальным.

Любители и знатоки, до Буслаева писавшие о русской иконописи (И. П. Сахаров. Исследования о русском иконописании, СПб., 1849; Д. А. Ровинский. История русских школ иконописания, СПб., 1856), также не касались художественной стороны древнерусского иконописания. Рассказ Лескова в этом отношении оказал несомненно влияние на начавшееся в России в конце XIX — начале XX веков действительно научное изучение русской иконописи как одного из важных явлений истории искусства, а не только памятника религиозной мысли.

С чисто фактической стороны «Запечатленный ангел» довольно точно отражает достигнутый тогда наукой о русской иконописи уро-

вень знаний. Так, Лесков повторяет деление на иконописные школы, изложенное у Ровинского; вслед за современниками он повторяет ошибочную датировку Ватиканских створов русской работы XIII веком; не знает, что описанные им как очень древние, особо чтимые героями рассказа иконы ангела-хранителя и богородицы на самом деле никак не старше второй половины XVII века, и т. д.

В критике 1870-х годов «Запечатленный ангел» получил в общем положительную оценку. Критика с удовлетворением отмечала, что в новом произведении Лескова нет «злокозненных нигилистов» («Новое время», 1873, № 55, 28 февраля, «Журналистика»). Тогда еще либерал В. Буренин писал («С.-Петербургские ведомости», 1873, № 61, 3 марта, «Журналистика»): «Относительно формы повести я позволю себе высказать слово похвалы. Говорю «позволю себе», потому что г. Лесков имеет такую литературную репутацию, что хвалить его есть своего рода смелость. Но рискнем похвалой на этот раз; быть может, она повлияет на г. Стебницкого благоприятно и будет способствовать тому, что в следующих своих произведениях он воздержится хоть от двух-трех «стебницизмов». Похвала моя относится к языку повести. Автор ведет рассказ от лица раскольника, и надо отдать справедливость авторскому дарованию: язык этого раскольника выходит у него очень типичным и оригинальным. Видно, что г. Стебницкий добросовестно вчитывался в произведения раскольничьей литературы и прислушивался к живому говору раскольников». Однако критика единодушно осуждала концовку повести, указывая, что обращение раскольников в православие носит «водевильно-комический» характер (С. Т. Герцо-Виноградский. Очерки современной журналистики — «Одесский вестник», 1873, № 88, 25 апреля). К общей положительной оценке «Запечатленного ангела» (хотя и с осуждением развязки) присоединился и Ф. М. Достоевский, печатавший тогда в «Гражданине» свой «Дневник писателя» («Смятенный вид» — Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений, М. — Л., т. 11, 1929, стр. 55—57). В другой статье «Дневника писателя», уже полемического содержания («Ряженый» — там же, стр. 89—92), Достоевский дал очень интересное определение стилистического своеобразия Лескова, впервые с такой полнотой проявившегося именно в «Запечатленном ангеле». Речевую характеристику, принятую Лесковым для своих героев, Достоевский назвал «эссенциями»: «У типиста-художника он (герой. — *И. С.*) говорит характерностями сплошь, по записанному, — и выходит неправда. Выведенный тип говорит как по книге. Публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете» («Ряженый» — там же, стр. 90).

Дружное осуждение критикой развязки «Запечатленного ангела» запомнилось Лескову. Через десять лет в заключительной главе «Печерских антиков» («Киевская старина», 1883, т. V, апрель) Лесков написал «нечто вроде пародии» на финал «Запечатленного ангела»: «Такого происшествия, какое передано в рассказе, в Киеве никогда не происходило, то есть никакой иконы старовер не крал и по цепям через Днепр не переносил. А было действительно только следующее: однажды, когда цепи были уже натянуты, один калужский каменщик, по уполномочию от товарищей, сходил во время пасхальной заутрени с киевского берега на черниговский по цепям, но не за иконою, а за водкою, которая на той стороне Днепра продавалась тогда много дешевле. Налив бочонок водки, отважный ходок повесил его себе на шею и, имея в руках шест, который служил ему балансом, благополучно возвратился на киевский берег с своею корчемною ношею, которая и была здесь распита во славу св. пасхи.

Отважный переход по цепям действительно послужил мне темою для изображения отчаянной русской удали, но цель действия и вообще вся история «Запечатленного ангела», конечно, иная, и она мною просто вымышлена» (см. Собрание сочинений Н. С. Лескова, т. 10, СПб., 1890, стр. 419).

Стр. 320. *...накануне Васильева вечера* — то есть 31 декабря, так как день памяти святого Василия Великого — 1 января.

*...перекрестился древним... крестом* — двумя пальцами, как старообрядец.

Стр. 323. *точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем...* — По легендарному библейскому рассказу, евреи, покинув Египет, сорок лет странствовали по пустыне, пока не достигли земли обетованной.

*Скиния* — здесь: переносная церковь.

*...либо первых новгородских или строгановских изографов.* — Имеются в виду русские школы иконописания: новгородская (XIV—XV в.), строгановская, возникшая из новгородской после переселения на север, в Сольвычегодск и Великий Устюг, выходцев из Новгорода (в том числе богатых купцов Строгановых), поддержавших и развивших традиции новгородского иконописания. Икона, которую пишет мастер Севастьян у Лескова, выполнена в традициях строгановской школы «мелкого письма».

*Деисус* — трехличная икона, на которой изображались: Христос посередине, а по сторонам богородица и Иоанн Предтеча.

Стр. 323. *нерукотворенный Спас с омоченными власы...* — На некоторых иконах волосы и борода у Христа рисовались прямыми, без волнистости, «имеющими вид как бы омоченных (выражение русских знатоков)» (И. П. Сахаров. Исследования о русском иконописании, ч. II. СПб., 1849, стр. 32).

*Многоличные иконы с деяниями* — иконы, на которых изображено много фигур (лиц) в различных эпизодах (деяниях). Далее перечисляются типы таких икон: Индикт — с этой иконы начинался перечень иконописных сюжетов в «Подлинниках», расположенных в порядке дней года с 1 сентября — принятого тогда в России начала года; Святцы — многоличная икона с изображением святых по дням месяца; Собор — на иконе под таким названием изображался архангел Михаил или Гавриил с круглой иконой отрока Эммануила (Христа) в руках, окруженный сонмом ангелов; Отечество — икона, на которой изображались бог-отец с младенцем Христом на руках, держащим голубя; Шестоднев, или Неделя, — икона, разделенная на шесть частей по числу дней недели; Целебник — икона очень редкого типа, появившегося в конце XVIII — начале XIX веков: на ней изображались святые с указанием, кто от какой болезни исцеляет.

*...троица с Авраамлиим поклонением у дуба Мамврийского* — у иконописцев это так называемая «ветхозаветная троица», на которой изображалась троица в виде трех ангелов за столом в гостях у Авраама под сенью дуба. Основой для этого сюжета послужил библейский рассказ (Книга Бытия) о том, как Авраам поставил жертвенник богу в дубраве Мамвре, и бог являлся к нему.

*Палихово* (Палех) — село в Ивановской области РСФСР. С XVI века — центр иконописания. Наибольшего расцвета мастерство палехских иконописцев достигло в XVIII веке. Во второй половине XIX века начался упадок палехского искусства, ныне возродившегося в совершенно ином, нерелигиозном духе.

*...с греческих переводов старых московских царских мастеров.* — Перевод здесь: образец; царские мастера — иконописцы, состоявшие на государственной службе в Москве в XVII веке.

Стр. 323—324 *...пресвятая владычица в саду молится, а пред ней все древеса кипарисы и олинфы до земли преклоняются...* — Икона на этот сюжет появилась в России только в XVIII веке. Олинфы — оливковые деревья.

Стр. 324. *Ушки с тороцами.* — «Иконописный подлинник» так объясняет символическое значение тороков: «Ангелы имеют над ушами тороки, то есть — покоище святого духа, который и действо имеет...» (Ф. Буслаев. Исторические очерки русской народной словесности и искусства, СПб., 1861, т. II, стр. 297).

Стр. 324. *Рясно* — ожерелье или подвески.

*Доспех пернат* — доспех, нарисованный в виде крупной чешуи.

*Рамена* — (ед. число — рамо) — плечи.

*...младенческий лик Эмануилев* — см. примечание к стр. 323.

*Огнепалящий меч* — меч, изображенный в виде извилистого пучка пламени.

*Веселиил* — по библейской легенде (Книга Исход), главный строитель храма, воздвигнутого евреями в пустыне после ухода из Египта.

Стр. 325. *...чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить.* — Здесь описана постройка висячего цепного моста через Днепр под Киевом в 1849—1853 годах.

Стр. 326. *Тябло* — полочка для икон в иконостасе.

*Лествица* — лестница.

*Аналогий* (аналой) — высокий столик с наклонной доской для чтения стоя.

*...положит благословящий начал...* — Начал — молитва по обряду раскольников.

*...пения, расположенного по крюкам...* — До начала XVIII века православная церковь в России применяла особую безлинейную систему обозначения нот над текстом при помощи знаков (крюков), до сих пор не до конца расшифрованную.

Стр. 327. *Амалфеев рог* — рог изобилия.

*Мраволев* — фантастическое животное, у которого, по утверждению древнерусского сборника «Физиолог», «передняя часть львиная, задняя же муравьиная».

*Щаповатый* — щеголеватый.

*Велиар* — библейское название темной силы; олицетворение нечестия и беззакония.

*Оцетность* — от оцет (польск. ocet) — уксус.

Стр. 328. *...толщины в руку рослого человека.* — Болты, которыми скреплялись звенья мостовой цепи, были диаметром в 12,5 сантиметра.

*Колоника* — сгустившийся на осях деготь.

*Жвир* (польск. zwir) — крупный песок.

Стр. 332. *Цыбастый* — тонконогий.

*Сойга* (сайга) — степная коза.

Стр. 335. *Молозиво* — первое молоко после родов; здесь обозначает ягненка-сосунка.

Стр. 336. *Гаплик* — застежка.

*Остегны* — штаны.

Стр. 337. *Ботвить* — щеголять, чваниться.

Стр. 338. *Хабар* — тюркско-татарское слово, означающее барыш или взятку.

Стр. 340. *...эта обновленная Иродиада...* — По евангельскому рассказу, Иродиада, жена иудейского царя Филиппа, потребовала казни Иоанна Крестителя, смело обличавшего ее развратную жизнь.

*Кучиться* — просить неотступно.

Стр. 341. *Вскрамолились* — подняли мятеж.

Стр. 342. *Котёлки* — баранки.

Стр. 343. *Излихá* — сердито.

*Скиба* (скипа) — куча, связка.

Стр. 344. *...будто сам архиерей такой дикости... не одобрил...* — По-видимому, имеется в виду Филарет (Амфитеатров) (1779—1857), митрополит Киевский и Галицкий.

Стр. 345. *Водный труд* — водянка (болезнь).

*Аммос* — один из библейских пророков, смело обличал современных ему правителей израильских.

Стр. 346. *Отитлован* — отмечен знаком.

Стр. 347. *...по полному требнику Петра Могилы...* — Имеется в виду изданный Петром Могилой (1596—1647), митрополитом Киевским, требник — руководство по богослужению под названием «Евхологион, альбо молитвослов» (1646).

*Вапа* — краска.

Стр. 348. *Животолюбивый* — привязанный к земной жизни.

*Мстера* — поселок в Ивановской области РСФСР; исторически сложившийся в XVIII—XIX веках район иконописи.

Стр. 349. *...ушаковское писание.* — Имеется в виду Симон (Пимен) Федорович Ушаков (1626—1686) — русский художник и теоретик искусства, один из крупнейших представителей русской живописи второй половины XVII века. В его творчестве наметился переход от иконописной условности к технике светской реалистической живописи.

*...про рублевское...* — Речь идет об Андрее Рублеве (ок. 1360—1430) — великом русском живописце, создателе московской школы иконописи. В Московской Руси Рублев пользовался большой популярностью; в «Стоглаве» (1551), сборнике постановлений церковного собора, указывалось: «писать иконы с древних образцов, как греческие живописцы и как писал Андрей Рублев и прочие пресловутые живописцы». Позднее Рублев был забыт, и наследие его стало доступно изучению только в начале XX века.

*...про древнейшего русского художника Парамшина...* — Парамша, или Парамшин, — «серебряных и золотых дел мастер». О нем из-

вестно, что в 1356 году делал икону и крест, «золотом кованы». Икона эта упоминается в завещаниях великих князей Московских Ивана Ивановича (1356—1359), Дмитрия Ивановича Донского (1389), Василия Дмитриевича (1455), Василия Васильевича (1462). Крест работы Парамшина упоминается в завещаниях Василия Васильевича (1462) и Ивана III (1505).

Стр. 350. *...в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали.* — Эти же створы (складная трехчастная или двухчастная икона) упоминаются у Лескова в статье «О русской иконописи» («Русский мир», 1873, № 254, 26 сентября): «...Капонийские створы русского письма, находящиеся в Ватикане у папы...» Лесков разделял общепринятое мнение о датировке этих створов XIII веком. Позднее было доказано, что они написаны не раньше второй половины XVII века. Капонийскими они называются по имени итальянского археолога и библиографа А.-К. Капони (1683—1746), купившего их у одного из родственников Герасима Фоки, духовника Петра I, которому эти створы были подарены царем.

*...Христа Спаса жидовином пишут.* — Это полемическое высказывание можно понимать двояким образом: возможно, что здесь имеется в виду картина А. Иванова «Явление Христа народу» (1832—1856), но более вероятно, что этой репликой Лесков включился в споры, которые шли вокруг картины Крамского «Христос в пустыне» (1872).

*Студодейное* — непотребное.

Стр. 351. *...рассказал, как писано в Новегороде звездное небо...* — В новгородском Софийском соборе на иконе «Софии, премудрости божией» небо изображено в виде длинного темно-синего полотна, усеянного звездами и поддерживаемого ангелами» (Д. А. Ровинский. История русских школ иконописания до конца XVII века, СПб., 1856, стр. 62).

*...потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме...* — Описание этого изображения имеется у И. П. Сахарова («Исследования о русском иконописании», СПб., 1849, ч. II, стр. 33).

Стр. 353. *Притоманный* — коренной, основной.

*Пакибытие* — здесь: духовное возрождение, обновление духа.

*Преполовение* — половина, средина.

*...мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом... в Орле...* — Марк и Левонтий посетили наиболее важные раскольничьи общины.

Стр. 354. *...одному пишет рефтью, а другому нефтью...* — Рефть — краска, составленная из лазури и чернил (т. е. голубой и черной красок); нефть белая употреблялась для растворения золота.

Стр. 355. *Нарохтятся* (норохтятся) — собираются что-либо сделать.

Стр. 356. *Иосифов плач* — духовное песнопение.

Стр. 357. *Крестует* — распинает на кресте.

*Анахорит (анахорет)* — отшельник.

*Аристетилевы врата* — «Аристотелевы врата», название несохранившегося сборника, существовавшего на Руси до XVIII века. В постановлениях Стоглавого собора (1551) этот сборник был включен в список отреченных или еретических книг: «Аристотелевы врата и иные составы и мудрости... которые прелести от бога отлучают...»

*...путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют...* — В библии и в «Деяниях апостолов» упоминается бог Ремфан, которому поклонялись иудеи в пустыне.

Стр. 358. *...он был Давиду-царю в дарах принесен.* — По библейскому рассказу, Давид получил в дары кофейные зерна (Вторая книга Царств).

*Невеглас* — невежество.

Стр. 359. *Отрясовица* — лихорадка.

Стр. 360. *Не спяй и бдяй сохранит* — не спящего и бодрствующего сохранит.

Стр. 361. *Леторосль* — здесь: молодое деревцо.

Стр. 364. *Демоноговейный* — идолопоклоннический.

Стр. 365. *Поспешай Вавилон строить?* — Библейский рассказ о Вавилоне и постройке в нем башни до неба (Книга Бытия) в духовной литературе (особенно раскольничьей) стал применяться в переносном значении к мирской жизни вообще.

Стр. 368. *Соломия* — по евангелию, мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова.

Стр. 369. *Призелень* (празелень) — иссиня-зеленоватая краска.

*Бокан* (бакан) — багряная краска.

*Червленый* — ярко-малиновый.

*Вохряный* — желтый.

*... и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто...»* — Лесков цитирует с некоторыми отступлениями от текста патриаршую грамоту по статье Ф. Буслаева «Общие понятия о русской иконописи» («Сборник общества древнерусского искусства», М., 1868, ч. 1, стр. 23).

Стр. 370. *Крыга* — льдина, пловучий лед.

*Халепа* — зимняя непогодь, мокрый снег.

*Жамкнуть* — давить, здесь: ударить.

Стр. 371. *Еспер* (Геспер) — вечерняя звезда, планета Венера, которая первой становится заметной после захода солнца.

Стр. 372. *Басма* — вытисненное на тонкой серебряной пластине иконописное изображение.

*Корнавка* — куртка.

Стр. 379. *А она немует по-своему...* — говорит так, что разобрать нельзя.

Стр. 380. *Катавасия* — вид церковного хорового пения.

## ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Печатается по тексту: Н. С. Лесков. Собрание сочинений, СПб., 1889, т. 2, стр. 291—443, с исправлениями по первой газетной публикации («Русский мир», 1873, №№ 272, 274, 276, 281, 283, 286, 288, 290, 293, 295, 297, 300, 302, 304, 307, 309 и 311 — «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения. Рассказ. Посвящается Сергею Егоровичу Кушелеву») и по отдельному изданию («Очарованный странник. Рассказ Н. С. Лескова», СПб., 1874).

Повесть «Очарованный странник» (по Лескову — «рассказ») была, по всей вероятности, задумана после летней поездки Н. С. Лескова в 1872 году по Ладожскому озеру, давшей ему материал для последней части «Очарованного странника». В первоначальном виде под названием «Черноземный Телемак» рассказ был послан в «Русский вестник», по-видимому в начале 1873 года. 8 мая 1873 года Н. А. Любимов сообщил Лескову отказ Каткова: «Михаил Никифорович прочел «Черноземного Телемака» и после колебаний пришел к заключению, что печатать эту вещь будет неудобно. Не говоря о некоторых эпизодах, как, например, о Филарете и св. Сергии, вся вещь кажется ему скорее сырым материалом для выделки фигур, теперь весьма туманных, чем выделанным описанием чего-либо в действительности возможного и происходящего... Он советует вам подождать печатать эту вещь, самый мотив которой может, по его мнению, выделаться во что-либо хорошее» (см. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова, стр. 296). В письме к Щебальскому («Шестидесятые годы», стр. 327, письмо от 4 января 1873 г.), отвечая на его критические замечания об «Очарованном страннике», Лесков писал уже после публикации повести, имея в виду мнение редакции «Русского вестника» вообще: «Нельзя от картин требовать того, что Вы требуете. Это жанр, а жанр надо брать на одну мерку: искусен он или нет? Какие же тут проводить направления? Этак оно обратится в ярмо для искусства и удавит его, как быка давит веревка, привязанная к колесу. Потом: почему же лицо са-

мого героя должно непременно стушевываться? Что это за требование? А Дон-Кихот, а Телемак, а Чичиков? Почему не идти рядом и среде и герою?»

Форма рассказа о приключениях «Очарованного странника» действительно напоминает и разъезды Чичикова по окрестным помещикам, и выезды Дон-Кихота в поисках соперников, и даже в какой-то мере роман Фенелона о странствованиях Телемака в поисках Одиссея. Ощутимо в «Очарованном страннике» и влияние народно-эпических русских былин. Материалом для этой повести, видимо, послужили Лескову его воспоминания и впечатления от службы в фирме Шкотт, действовавшей в Пензенской губернии. Так, например, ярмарка, на которой Иван Северьянович убил своего соперника, происходит в Пензе; о графах К. (Каменских) Лесков мог слышать еще в детстве, и т. д.

Среди разнообразных приключений Ивана Северьяновича два эпизода являются основными: плен у киргизов и история цыганки Груши и любви к ней Ивана Северьяновича. В этих эпизодах эпопеи «Очарованного странника» Лесков воскрешает темы и образы русской романтической литературы 1820—1830-х годов. Такое «воскрешение» романтики было характерным явлением в литературе начала 1870-х годов. Так, Тургенев в рассказе «Конец Чертопханова» (1872), воспроизвел основные мотивы из «Бэлы» Лермонтова: тургеневский герой, Чертопханов любит Машу, как Печорин; а своей страстной привязанностью к лошади он во многом напоминает лермонтовского Казбича. Привязанность к лошади оказывается у Чертопханова сильнее любви к цыганке.

Лесков в «Очарованном страннике» в отношениях князя и Груши воспроизводит основную психологическую коллизию той же повести Лермонтова: любовь князя и Груши проходит те же стадии, что и пылкое, но недолгое увлечение Печорина Бэлой.

«Страстью» к лошадям наполнена душа Ивана Северьяновича до тех пор, пока его не вытесняет глубокая привязанность к Груше. Сочетание этих двух чувств у Чертопханова и у Ивана Северьяновича говорит о том, что Лесков создавал своего героя с несомненной оглядкой на тургеневский персонаж, а князь у Лескова является очень сниженным, прозаическим вариантом лермонтовского Печорина.

Другой значительный эпизод «Очарованного странника» также возрождает одну из наиболее распространенных в романтической литературе 1820—1830-х годов тему — тему «пленника». После «Кавказского пленника» Пушкина русская литература была наводнена десятками различных «пленников». Среди них выделился и сюжет «киргизского пленника», разработанный в поэме Н. Муравьева (1828) и в

романе Ф. Булгарина «Петр Выжигин» (1831). Воскрешая эту тему («плен у киргизов») в рассказе о странствованиях Ивана Северьяновича, Лесков имел перед глазами пример Л. Н. Толстого, в 1872 году напечатавшего («Заря», № 2) рассказ «Кавказский пленник», в котором высокая романтическая тема изложена языком человека из народа.

Такая художественная перекличка Лескова с Лермонтовым, Тургеневым и Толстым не могла быть случайным явлением в его творчестве. Она — свидетельство того, что Лесков как художник чувствовал себя в силах браться за разработку тем, уже затронутых его великими предшественниками и современниками.

Лесков в «Очарованном страннике» (Иван Северьянович у киргизов) взял ту же ситуацию, что и Толстой, но если у Толстого человек из народа является только рассказчиком, то у Лескова рассказчик из народа становится и действующим лицом. Романтическая тема «плена» у Лескова изображена реалистически, дана в восприятии Ивана Северьяновича и рассказана его языком. При этом она проникнута истинной поэзией (описание степи, воспоминания о родной деревне), естественно сочетающейся с суровой простотой самого рассказа.

Художественное новаторство Лескова в «Очарованном страннике» не было оценено критикой: повесть осталась незамеченной, а то, что было в ней своеобразного, вызвало только удивление. В этом смысле характерна позднейшая статья Н. К. Михайловского («Литература и жизнь» — «Русское богатство», 1897, № 6, стр. 104): «В смысле богатства фабулы это, может быть, самое замечательное из произведений Лескова, но в нем же особенно бросается в глаза отсутствие какого бы то ни было центра, так что и фабулы в нем, собственно говоря, нет, а есть целый ряд фабул, нанизанных как бусы на нитку, и каждая бусинка сама по себе и может быть очень удобно вынута, заменена другою, а можно и еще сколько угодно бусин нанизать на ту же нитку».

Стр. 385. *Валаам* — остров в северной части Ладожского озера, на котором находился монастырь.

Стр. 386. *Послушник он был или постриженный монах...* — Послушниками в русских монастырях назывались готовящиеся к принятию монашества и исполняющие разные послушания: церковные службы и хозяйственные работы. Пострижение — обряд посвящения в монашество, сопровождавшийся крестовидным выстрижением волос на голове посвящаемого.

Стр. 387. *...напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А. К. Толстого.* — Имеется в виду большая картина Василия Петровича Верещагина (1835—1909) «Илья Муромец на пиру у князя Владимира», исполненная в 1871 году для одного из петербургских дворцов; баллада А. К. Толстого — «Илья Муромец», напечатана в «Русском вестнике», 1871, № 9.

*Епархия* — церковно-административный округ, подчиненный епископу или архиепископу.

Стр. 388. *Преподобный Сергий* — Сергий (1314—1392) — русский церковный деятель, основатель монастыря Троицы (г. Загорск); в 1452 году православной церковью объявлен святым.

*Филарет* (Дроздов) (1782—1876) — митрополит Московский, ученый богослов, один из наиболее реакционных деятелей высшего духовенства.

Стр. 389. *Стратопедарх* — начальник военного лагеря.

*Проскомидия* — первая часть церковной службы.

Стр. 390. *Иеромонах* — монах, имеющий сан священника.

*Рясофор* — ношение в монастыре монашеской одежды без пострижения.

Стр. 391. *Кантонист.* — В России до 1856 года кантонистами назывались дети солдат, обязанные уже в силу своего происхождения служить в армии.

*Ремонтер* — офицер, занятый подбором и закупкой лошадей для кавалерийской части.

*Рарей* Джон (1827—1866) — американский дрессировщик лошадей, создатель особой системы гуманного обращения с животными. В 1857 году был в России и демонстрировал свой метод. Автор книги «Искусство укрощения и дрессировки лошадей», СПб., 1859.

Стр. 392. *...князя Всеволода-Гавриила из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал...* — Всеволод-Гавриил Мстиславич (ум. в 1137 г.), князь новгородский, сделал несколько удачных походов, воевал с соседями Новгорода; православная церковь объявила его святым.

*Муравный* — глазированный.

Стр. 395. *Граф К.* — граф Сергей Михайлович Каменский (1771—1835), жестокий крепостник; вел расточительный образ жизни, держал крепостной театр и оркестр; количество дворни у него доходило до 400 человек. Он же выведен Лесковым в рассказе «Тупейный художник».

Стр. 396. *Ворок* — скотный двор.

Стр. 396. *...стариннoю синею ассигнацией жалован.* — Бумажные деньги пятирублевого достоинства синего цвета были выпущены в 1786 году.

*Форейтор* (нем. Vorreiter) — верховой кучер при запряжке четверкой или шестеркой на одной из передних лошадей.

*...битюцкие...* — битюги, русская порода лошадей, разводимая по реке Битюгу в б. Воронежской губернии.

Стр. 397. *Кофишенок* (нем. Kaffeeschenk) — придворная должность смотрителя за кофе и чаем.

Стр. 398. *П... пустынь* — по-видимому, Предтечева Яминская пустынь; находилась в Трубчевском уезде б. Орловской губернии.

Стр. 400. *...в Воронеж, — к новоявленным мощам...* — В 1832 году в Воронеже были «открыты» мощи Митрофания, первого воронежского епископа.

*Село Крутое* находится в 10 километрах к юго-западу от г. Ельца.

Стр. 406. *....разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию...* — Ассигнационный рубль стоил тогда, в 1830—1840-х годах, 27 копеек серебром.

Стр. 407. *Заседатель* — выборный от дворян член уездного суда или судебной палаты.

*...от Митрофания...* — из воронежского благовещенского Митрофаниевского монастыря.

Стр. 410. *Сарацины* — в русском народном творчестве — мусульманские народы.

Стр. 417. *Хан Джангар* — хан (начальник) Букеевской киргизской орды, кочевавшей в пределах б. Астраханской губернии; назначенный русским правительством в 1824 году, Джангар числился на государственной службе, получал ордена и чины. Он вел крупную торговлю лошадьми, в основанном им в 1826 году поселке Ханская ставка и выезжая на дальние ярмарки.

*Рынь-пески* (нарын — по-казахски — узкий песок) — гряда песчаных холмов в низовьях Волги.

Стр. 418. *Зорость* — от зариться — стремиться к чему-либо.

Стр. 419. *Селикса* — село, расположенное в 50 километрах на юго-восток от Пензы по дороге к Приволжским степям.

Стр. 420. *Мордовский ишим* — село в 40 километрах на восток от Пензы.

Стр. 421. *Курохтан* (турухтан) — степная птица.

Стр. 435. *Хлупь* — кончик крестца у птицы.

*...ни живота...* — здесь: ни жизни.

Стр. 439. *...ибо и по апостолу Павлу... рабы должны повино-*

*ваться.* — Имеются в виду следующие слова Павла («Послание к ефесянам»): «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу».

Стр. 442. *...из Хивы пришли...* — Хивинское ханство (на территории нынешних Узбекской и Таджикской союзных республик) в 1830—1850-х годах находилось во враждебных отношениях с Россией.

Стр. 446. *...Кереметн бычка жертвую.* — Кереметн в чувашской мифологии — добрые духи, живущие в деревьях.

Стр. 447. *Зачичкался* — захилел, похудел.

Стр. 451. *Храпок* — часть переносья у лошади.

*Соколок* — артерия.

Стр. 458. *Гран-мерси* (франц. grand merci) — большое спасибо.

Стр. 460. *...Иов на гноище...* — В библии (Книга Иова) рассказывается о том, что бог, желая испытать веру Иова, лишил его всех детей, богатства и поразил проказой, так что Иов должен был удалиться из города и сидеть в грязи.

Стр. 461. *Магнетизм* — принятое в первой половине XIX века обозначение гипнотизма.

*Силянс* — (франц. silence) — молчание.

Стр. 462. *Атанде* (франц. attendez) — подождите.

*Лонтрыга* — мот, пьяница, праздный гуляка.

Стр. 463. *Четминеи* (правильнее — Минеи-Четии) — собрание житий святых, расположенных по порядку месяцев и дней, изданное впервые Димитрием Ростовским и впоследствии многократно переиздававшееся.

Стр. 469. *...синие синицы, и серые утицы, и красные косачи, — только одних белых лебедей нет.* — Имеются в виду ассигнации различного достоинства: синие — пятирублевые, серые — десятирублевые, красные — двадцатипятирублевые, белые — достоинством в 100 и 200 рублей.

Стр. 471. *«Челнок»* — романс на слова стихотворения Д. В. Давыдова «И моя звездочка» («Море воет, море стонет...»).

Стр. 473. *Ерихонится* — важничает, ломается.

Стр. 475. *Коник* — ларь с подъемной крышкой.

Стр. 481. *Обельма* — множество.

Стр. 486. *Анфан* (франц. enfant) — дитя.

*Же ву при* (франц. Je vous prie) — я вас прошу.

Стр. 495. *Перезниял* — истлел.

*Мареновые* — окрашенные мареновой (синей) краской.

Стр. 496 *...у старых бортей...* — Борть — дуплистое дерево, в котором водятся пчелы.

Стр. 498. *Луновочка* — небольшой предмет серповидной формы.

Стр. 499. *Зелье* — здесь: порох.

Стр. 502. *...буки, или покой, или како...* — названия букв *б, п, к* старославянского алфавита.

*В балагане на Адмиралтейской площади.* — В Петербурге (до 1873 года) на рождество и пасху в деревянных балаганах на Адмиралтейской площади давались представления для народа.

Стр. 506. *У Якова апостола сказано...* — Имеется в виду «Соборное послание апостола Иакова».

Стр. 510. *...на Мокрого Спаса...* — 1 августа по старому стилю.

Стр. 511. *Житие преподобного Тихона Задонского.* — Имеется в виду многократно переиздававшееся «Житие иже во святых отца нашего Тихона, епископа Воронежского, Задонского и всея России чудотворца», вышедшее первым изданием в 1862 году.

Стр. 512. *К Зосиме и Савватию* — на богомолье в монастырь на Соловецких островах, основанный в XV веке Зосимой и Савватием.

## СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. ЛЕСКОВ

*Собрание сочинений, т. 4*

*Редактор А. М. Еихтер*
*Художник Г. Д. Епифанов*
*Художественный редактор А. М. Гайденков*
*Технический редактор Л. П. Крючкина*
*Корректор А. А. Большаков*

Сдано в набор 14/III-1957 г.
Подписано к печати 13/VI 1957 г.
Бумага 84×108$^{1}/_{32}$ = 17,5 печ. л. = 28,7 усл. печ. л. = 28,87 уч.-изд. л.
Тираж 350 000 экз. Заказ № 227.
Цена 12 руб.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.